

АКУТАГАВА

АКУТАГАВА









ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»





АКУТАГАВА
РЮНОСКЭ

ИЗБРАННОЕ
В 2-х ТОМАХ

Том 2

«ЖИЗНЬ
ИДИОТА»
И ДРУГИЕ НОВЕЛЛЫ

Перевод
с японского

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»

МОСКВА
1971

И(Яп)
А44

Составители

В. Гривнин и

А. Стругацкий

Комментарий

Н. Фельдман

7—3—4
200—71



УСМЕШКА БОГОВ

В весенний вечер padre Organtino в одиночестве, волоча длинные полы сутаны, прогуливался в саду храма Намбандзи.

В саду между соснами и кипарисовиками были посажены розы, оливы, лавр и другие европейские растения. От распускающихся роз в слабом лунном свете, струившемся между деревьями, растекался сладковатый аромат. Это придавало тишине сада какое-то совсем не японское странное очарование.

Одиноко прохаживаясь по дорожкам, усыпанным красным песком, Органтино углубился в воспоминания. Главный храм в Риме, гавань Лиссабона, звуки рабэйки, вкус миндаля, псалом «Господь, зеркало нашей души» — такие воспоминания вызывали в душе этого рыжеватого монаха тоску по родине. Чтобы разогнать тоску, он стал призывать имя дэусу. Но тоска не проходила, мало того, чувство угнетенности становилось все тяжелее.

«В этой стране природа красива, — напоминал себе Органтино. — В этой стране природа красива. Климат здесь мягкий. Жители... но не лучше ли негры, чем эти широколицые коротышки? Однако и в их нраве есть что-то располагающее. Да и верующих в последнее время набралось десятки тысяч. Даже в этой столице

теперь возвышается такой дивный храм. Выходит, что жить здесь пусть и не совсем приятно, но и не так уж неприятно? Однако я то и дело впадаю в уныние. Мне хочется вернуться в Лиссабон, мне хочется отсюда уехать. Только ли из-за тоски по родине? Нет, не только в Лиссабон, — если б я имел возможность покинуть эту страну, я поехал бы куда угодно: в Китай, в Сиам, в Индию... Значит, не только тоска по родине причина моего уныния. Мне хочется одного — как можно скорее бежать отсюда... Но... но в этой стране природа красива. И климат мягкий...»

Органтино вздохнул. В это время его взгляд упал на видневшийся между деревьями мох. И он поднял белевший среди мха цветок сакура. Сакура! Органтино почти с испугом всматривался в полутемные просветы между деревьями. Там между несколькими вееролистными пальмами как туман белели цветы плакучей сакура.

— Храни нас господи!

Органтино готов был защитить себя крестным знаменем. На мгновение цветущая в сумерках плакучая сакура показала его глазам жуткой. Жуткой... нет, скорее эта сакура встревожила его, как будто перед ним предстала сама Япония. Но он тут же понял, что в этом нет ничего странного, что это обыкновенная вишня, и, пристыженно усмехнувшись, усталой походкой тихонько побрел по тропинке.

* * *

Через полчаса он в главном приделе храма Намбандзи возносил молитвы дэусу. Там было пусто, только с купола свешивалось паникадило. При свете паникадила на стенной фреске святой Михаил и дьявол сражались из-за трупа Моисея. Но не только величавый архангел, а и расвирепевший дьявол в этот вечер, может быть, из-за тусклого света, казались красивее, чем обычно. А может быть, так казалось из-за струившегося аромата свежих роз и раkitника. Стоя за алтарем на коленях со склоненной головой, Органтино горячо молился:

«Милосердный, всемилостивый боже! С тех пор как я покинул Лиссабон, вся моя жизнь посвящена тебе. С какими бы трудностями я ни встречался, я неуклонно

шел вперед ради того, чтобы воссиял святой крест. Конечно, это удалось не только благодаря одним моим усилиям. Все совершается милостью всевышнего, твоей милостью. Но, живя здесь, в Японии, я понемногу стал понимать, как тяжела моя миссия. В этой стране, и в горах ее, и в лесах, и в городах, где рядами стоят дома, — везде сокрыта какая-то странная сила. И она исподволь противится моей миссии. Если бы не это, я не впадал бы в беспричинное уныние. А что это за сила, я не понимаю. Но как бы то ни было, эта сила, словно подземный источник, разливается по всей стране. Сокруши эту силу, о милосердный, всемилостивый боже! Не знаю, может быть, японцы, погрязшие в ложной вере, никогда не узрят величия парайсо. Из-за этого я мукой мучаюсь столько дней. Ниспошли своему слуге Органтино мужество и терпение...»

В эту минуту Органтино послышалось, будто запел петух. Не обращая внимания, он продолжал молитву:

«Чтобы выполнить свою миссию, я должен бороться с силой, таящейся в горах и реках этой страны, может быть, с невидимыми людским глазам духами. Ты когда-то поверг на дно Красного моря полчища египтян. Сила духов этой страны не меньше силы египетских полчищ. Молю тебя, окажи и мне, как когда-то оказал древнему пророку, помощь в борьбе с этими...»

Вдруг слова молитвы на его устах замерли. У самого алтаря раздалось громкое пенье петуха. Органтино, недоумевая, огляделся вокруг. И что же — за его спиной на алтаре, свесив белый хвост и выпятив грудь, петух, словно настал рассвет, еще раз издал победный клич.

Органтино вскочил с колен и, поспешно распростерши рукава сутаны, старался прогнать птицу. Но, дважды раза топнув ногой и воскликнув «господи!», опять растерянно замер. Полутемный храм наполнили неведомо откуда взявшиеся бесчисленные петухи. Они то взлетали, то бегали туда-сюда, и везде, насколько хватал глаз, расстилалось море петушиных гребней.

— Храни нас господи!

Он опять хотел перекреститься. Но его рука, точно сжатая щипцами, не двигалась. Тем временем придел, словно от факелов, озарился красноватым светом. По мере того как свет разгорался, Органтино, задыхаясь,

стал различать смутно вырисовывавшиеся человеческие фигуры.

Фигуры быстро обретали четкие очертания. Это была толпа мужчин и женщин непривычного вида, с нанизанной на нитку яшмой вокруг шеи; они смеялись и веселились. Когда фигуры стали видны вполне ясно, бесчисленные петухи, собравшиеся в приделе, запели еще громче. Вместе с тем стена придела — стена, где нарисована была фреска со святым Михаилом, — как туман растворилась в ночной темноте. И потом...

Японская вакханалия развернулась перед глазами обомлевшего Органтино, словно мираж. Он видел, как при свете костра японцы в старинных одеждах, усевшись в кружок, наливали друг другу чарки сакаэ. В середине круга на большой опрокинутой бадье бешено плясала женщина, такая статная, какую он в Японии еще не встречал. Он видел, как за бадьей высоко держал на ветках вероятно вырванной с корнем эйрии то ли драгоценный камень, то ли зеркало богатырского вида мужчина. Кругом, stalkиваясь друг с другом крыльями и гребнями, все время весело пели бесчисленные петухи. А еще дальше... Органтино не поверил собственным глазам — еще дальше, точно заслоняя вход в грот, возвышалась могучая скала.

Женщина на бадье не переставая плясала. Охватывавшая ее волосы виноградная лоза развевалась в воздухе. Яшмовое ожерелье на шее звякало, будто сыпался град. Веткой низкорослого бамбука в руке она размахивала, поднимая ветер. А ее обнаженная грудь! Выделявшиеся в красном свете факелов ее сверкающие груди казались Органтино не чем иным, как воплощением самой чувственности. Молясь дэусу, он страстно хотел отвернуться. Но тело его, словно скованное какой-то проклятой силой, не могло пошевелиться.

Тем временем на призрачных людей вдруг снизошла тишина. Женщина на бадье, будто опомнившись, перестала плясать. Даже петухи мгновенно затихли с вытянутыми шеями. И в тишине откуда-то послышался прекрасный женский голос:

— Если я буду здесь, в заключении, разве мир не останется погруженным во мрак? А похоже, что боги именно этому радуются и оттого веселятся.

Когда голос затих в темноте, женщина, стоявшая на бадье, окинув взглядом присутствующих, неожиданно мягко ответила:

— Они радуются, потому что появился новый бог, сильнее тебя.

«Этот новый бог — не дэусу ли это?» — Воодушевленный такой мыслью, Органтино с любопытством устремил взор на призрачное видение, которое так загадочно менялось.

Некоторое время царило молчание. Но вдруг петухи разом громко запели, а скала в глубине, выделявшаяся в ночном тумане, медленно раздвинулась. И из расселины, заливая все вокруг, хлынул какой-то удивительный свет.

Органтино хотел крикнуть. Но язык не повиновался. Органтино хотел бежать. Но ноги не двигались. Он чувствовал, что от сильного света у него кружится голова. И слышал, как при этом свете в небе разносятся ликующие крики толпы:

— Охирумэмути! Охирумэмути! Охирумэмути!

— Нового бога нет! Нового бога нет!

— Кто тебе противится, тот погибнет!

— Смотрите, как исчезает тьма!

— Всюду, куда ни помотришь, — твои горы, твои леса, твои города, твои моря!

— Нет никаких новых богов! Все твои слуги.

— Охирумэмути! Охирумэмути! Охирумэмути!

При этих возгласах Органтино в холодном поту, что-то простонав, свалился на пол.

Этой же ночью, близко к третьей страже, Органтино пришел в себя. В его ушах как будто еще звучали возгласы богов. Но когда он оглянулся, в мертвенно-тихом приделе свисавшее с купола паникадило по-прежнему освещало смутно виднеющуюся фреску. Органтино со стоном поднялся и отошел от алтаря. Что означало явившееся ему видение, он не мог понять. Но в том, что видение ему явил не дэусу, он был уверен.

— Бороться с духами этой страны...

На ходу он невольно тихонько говорил про себя:

— Бороться с духами этой страны труднее, чем я думал. Сумею ли я одержать победу или потерплю поражение...

В этот миг до ушей его донесся шепот:

— Ты потерпишь поражение!

Органтино с опаской вперил взор туда, откуда до-
несся шепот. Но там по-прежнему, кроме роз и раки-
тника, ничего и никого не было видно.

* * *

На другой день вечером Органтино снова прогуливался
в саду храма Намбандзи. В его голубых глазах свети-
лась радость. Потому что в этот день в ряды верующих
вступило несколько японских самураев.

Оливы и лавры тихо высились в темноте. Тишину
нарушало только хлопанье крыльев возвращавшихся
домой храмовых голубей. Благоухание роз, влажный
песок — все было мирно, как в те древние сумерки,
когда крылатые ангелы, «увидев красоту дочерей чело-
веческих», спустились, чтобы взять себе жену.

«При свете креста грязным японским духам, види-
мо, не одержать победы. Однако вчерашнее видение?
Что же, это всего только видение. Разве святого Анто-
ния дьявол не соблазнял такими видениями? В доказа-
тельство моей правоты сегодня появилось несколько
новых верующих. Вскоре и в этой стране повсюду воз-
двигнутся господни храмы».

С такими мыслями Органтино шагал по дорожкам,
посыпанным красным песком. И вдруг сзади кто-то ти-
хонько ударил его по плечу. Органтино сразу огля-
нулся. Но увидел лишь, что по молодой листве слабо
разливается лунный свет.

— Храни нас господь!

Пробормотав так, Органтино медленно пошел даль-
ше. И вдруг рядом с ним смутно, точно призрак, выри-
совываясь в полутьме, зашагал откуда-то взявшийся
старик с ниткой яшмы на шее.

— Кто ты такой?

Пораженный Органтино невольно остановился.

— Кто я — не все ли равно? Один из духов этой
страны, — улыбаясь, дружелюбно ответил старик. —
Пройдемся вместе. Я хочу немного побеседовать с тобой.

Органтино перекрестился. Но старик не обнаружил
при этом никакого страха.

— Я не злой дух. Посмотри на эту яшму, на этот
меч. Будь он закален в адском огне, он не был бы

таким светлым и чистым. Перестань произносить заклятия.

Органтино волей-неволей, скрестив руки, нехотя пошел рядом со стариком.

— Ты явился, чтобы распространять веру в небесного царя? — спокойно заговорил старик. — Может быть, это и не дурное дело. Но даже если дэусу придет в эту страну, в конце концов он будет побежден.

— Дэусу — всемогущий господь, дэусу... — начал было Органтино, но вдруг, опомнившись, перешел на более вежливый тон, каким обычно разговаривал с верующими этой страны. — Я думаю, над дэусу никто не может одержать победы.

— Но надо считаться с действительностью. Послушай. Издалека в нашу страну пришел не только дэусу. Из Китая сюда пришли Конфуций, Мэн-цзы, Чжуан-цзы, да и сколько еще других мудрецов. А ведь в то время наша страна только родилась. Мудрецы Китая, кроме учения дао, принесли шелка из страны У, яшму из страны Цинь и много других вещей. Они принесли нечто более благородное и чудесное, чем яшма, — иероглифы. Но разве благодаря этому Китай смог подчинить нас? Посмотри, например, на иероглифы. Ведь не иероглифы подчинили нас, а мы подчинили себе иероглифы. Среди издавна известных наших древних соотечественников был поэт Какиномото Хитомаро. Сочиненная им песня «Танабата» сохранилась в нашей стране до сих пор. Прочитай ее. Пастуха и простой ткачихи там не найдешь. Воспетые там возлюбленные — это звезды Волопас и Ткачиха. У их изголовья журчала Небесная река, как журчат реки нашей страны. Это не был шум волн Млечного Пути, похожего на реки Хуанхэ или Янцзы-цзян. Но я должен рассказать тебе не о песне, а об иероглифах. Чтобы записать эти песни, Хитомаро применил иероглифы. Не столько ради их смысла, сколько ради их звучания. Но когда был введен знак «лодка», «фунэ» всегда оставалось «фунэ». Не то наш язык мог бы стать китайским. Здесь действовал не столько Хитомаро, сколько охранявшая его душу сила богов нашей страны. Мудрецы Китая привезли в нашу страну также искусство каллиграфического письма. Кукай, Косэй, Дофу, Сари — я постоянно навещал их тайно от людей. Образцом им обычно слу-

жила китайская каллиграфия. Однако их кисть всегда рождала новую красоту. Их знаки как-то незаметно стали знаками не Ван Си-чжи и Чжу Суй-ляна, а японскими. Но мы одержали победу не только над иероглифами. Наше дыхание, как морской ветер, смягчило даже учение Конфуция и учение Лао-цзы — дао. Спроси жителей этой страны. Все они верят, что, если на судно погружены сочинения Мэн-цзы, легко вызывающие наш гнев, оно непременно потонет. А ведь бог ветра Синадо ни разу еще не совершал такой шалости. Но в этой вере смутно угадывается живущая в нашем народе сила. Не так ли?

Органтино тупо поглядел на старика. Ему, незнакомому с историей этой страны, при всем красноречии собеседника половина сказанного осталась непонятной.

— После мудрецов Китая к нам пришел из Индии царевич Сиддхарта.— Продолжая свой рассказ, старик сорвал с куста возле дорожки розу и с удовольствием вдохнул ее аромат. Но хотя роза была сорвана, она осталась на кусте. А цветок в руке у старика, по форме и цвету такой же, был призрачным, как туман.

— Будду постигла такая же судьба. Но рассказывать все подробности, пожалуй, значит только усилить твою скуку. Я лишь хочу, чтобы ты обратил внимание на учение о воплощении в нашей стране буддийских божеств. Это учение привело жителей нашей страны к убеждению, что богиня Охирумэмути то же самое, что будда Дайнити-нёрай. Значит ли это, что победила богиня Охирумэмути? Или что победил будда Дайнити-нёрай? Допустим, что в настоящее время среди жителей нашей страны Охирумэмути неизвестна, а будду Дайнити-нёрай многие знают. Все же не примет ли в их снах Дайнити-нёрай облик богини Охирумэмути, а не индийского будды? Я вместе с Синраном и Нитирэном гулял в тени цветов шореи. Будда, в которого они горячо верят, не какой-нибудь черноликий с нимбом. Это преисполненный величия брат таких, как наш принц Дзёгу-тайси... Но долгий рассказ обо всем этом я, как обещал, прекращаю. Хочу лишь сказать, что хотя такие, как дэусу, в нашу страну и приходят, но никто нас не победил.

— Нет, подожди, вот ты так говоришь...— перебил его Органтино,— а сегодня несколько самураев обратились в святую веру.

— Пусть обращаются сколько угодно. Если дело идет только об обращении, то большинство жителей нашей страны восприняло учение царевича Сиддхарты. Но наша сила не в том, чтобы разрушать. Она в том, чтобы переделывать.

Старик бросил розу. Отделившись от его руки, роза растаяла в вечернем полумраке.

— В самом деле ваша сила в том, чтобы переделывать? Но так не только у вас. В любой стране... например, даже злые духи, считающиеся богами Греции...

— Великий Пан умер. Но может быть, и Пан когда-нибудь воскреснет? Однако мы пока живы.

Органтино с удивлением покосился на старика.

— Ты знаешь Пана?

— О нем было написано в книгах с поперечными строчками, которые привезли с собой сыновья наших даймё с Кюсю, вернувшиеся из западных стран. Но сейчас разговор вот о чем: пусть сила переделывать есть не только у нас, все равно, нельзя быть беспечным. Даже больше, именно поэтому тебе надо быть настороже. Ведь мы — старые боги. Мы, как и греческие боги, видели рассвет мира.

— Но дэусу должен победить.

Органтино упорно повторял то же самое. Однако старик, как будто не слыша, продолжал:

— На днях я сошел с корабля на западном берегу нашей страны. И повстречался с путником, вернувшимся из Греции. Он не был богом, он был простым смертным. Сидя с ним на скале при лунном свете, я услышал от него разные рассказы. О том, как его схватил одноглазый бог, о богине, обращающей людей в свиней, о русалках с красивыми голосами... Ты знаешь имя этого путника? С тех пор как он повстречался со мной, он превратился в аборигена нашей страны. Теперь он зовется Юри-вака. Поэтому будь настороже. Нельзя сказать, что дэусу непременно победит. Как бы широко ни распространялась вера в небесного царя, нельзя сказать, что она непременно победит.

Старик постепенно перешел на шепот.

— Может статься, что дэусу сам превратится в аборигена нашей страны. Все идущее из Китая и Индии ведь стало нашим. И все идущее с Запада тоже им станет. Мы живем в деревьях. Мы живем в мелких речонках. Мы живем в ветерке, пролетающем над розами. В вечернем свете, упавшем на стену храма. Везде и всегда. Будь настороже. Будь настороже.

Его голос вдруг прервался, и старик, как тень, растаял в полумраке. И в тот же миг с колокольни над головой нахмурившегося Органтино разнесся звон вечернего колокола Ave Maria.

* * *

Сошедший с ширм падре Органтино из храма Намбандзи, — нет, не только Органтино. Рыжеволосые люди с орлиными носами, волочащие полы сутаны, из зарослей лавра и роз, залитых сумеречным светом, возвратились на прежнее место. На старинные, уже три века хранящиеся ширмы с картиной, изображающей вход в бухту корабля Южных Варваров.

Прощай, падре Органтино! Ты теперь, прохаживаясь с приятелем по берегу Японии, смотришь на корабль Южных Варваров, над которым в тумане из золотой пыли высоко вздымается флаг. Победил ли дэусу или богиня Охирумэмути, — может быть, пока решить нельзя. Но наша задача не в том, чтобы выносить решение. Спокойно смотри на нас с берега прошлого. Пусть ты вместе с капитаном, ведущим на поводке собаку, и негритенком, держащим над ним зонтик от солнца, погрузишься в пучину забвения, все же неизбежно настанет время, когда грохот каменных огненных стрел с черных кораблей, вновь появившихся на горизонте, нарушит твой сон. А до тех пор... прощай, падре Органтино! Прощай, патэрэн Уруган из храма Намбандзи!

Декабрь 1921 г.



ВАГОНЕТКА

Работы по проведению узкоколейки Одавара — Атами начались, когда Рёхэю было восемь лет. Рёхэй ежедневно ходил на окраину деревни глядеть на работы. Вернее, не на работы, а на то, как перевозят землю в вагонетках, вот на что он засматривался.

На вагонетку, груженную землю, сзади становились двое землекопов. Поскольку вагонетка шла под уклон, она катилась сама, без помощи людской силы. Кузов раскачивался, как от ветра, полы курток землекопов развевались; тянулась, изгибаясь, узкая колея... Рёхэй глядел на все это, и ему хотелось стать землекопом. Или, по крайней мере, хоть раз прокатиться с рабочими на вагонетке. Скотившись на равнину за окраиной деревни, вагонетка останавливалась. В тот же миг землекопы ловко спрыгивали и вываливали землю из вагонеток на конечный пункт колеи. Потом, на этот раз уже подталкивая вагонетку, пускались в обратный путь вверх по склону. И тогда Рёхэй думал, что раз уж нельзя прокатиться на вагонетке, то хорошо бы ее хоть потолкать!

И вот однажды под вечер, — была первая декада февраля, — Рёхэй с братишкой, который был на два года моложе его, и соседским мальчиком, одноплетком брата, пошел на окраину деревни к вагонеткам.

Смеркалось, вагонетки, не очищенные от грязи, стояли в ряд. Куда ни глянь, никого из землекопов не было видно. Тогда дети с опаской подтолкнули крайнюю вагонетку. Под действием толчка колеса вагонетки пришли в движение... От их стука Рёхэй похолодел. Но когда стук повторился, он не испугался. Тук-тук, тук-тук... Под эти звуки подталкиваемая тремя парами рук вагонетка двинулась вверх по колее.

Между тем через десяток кэн колея круче пошла в гору. Сколько они ни толкали, вагонетка не поддавалась и не трогалась с места. Иногда же вместе с вагонеткой они сами откатывались назад. Рёхэй решил, что толкать больше не надо, и сделал знак младшим мальчикам.

— Ну, поехали!

Они все вместе отняли руки и мигом взобрались на вагонетку. Вагонетка сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее покатила по колею. В эту минуту окружающий вид вдруг словно распахнулся и во всю ширь развернулся перед их глазами. Ветер, в сумерках бьющий в лицо, под ногами подрагиванье вагонетки — Рёхэй был просто на седьмом небе.

Но через две-три минуты вагонетка остановилась в тупике на прежнем месте.

— Ну, подтолкнем еще разок!

Мальчики опять принялись было толкать вагонетку. Но прежде чем завертели колеса, за спиной у них послышались чьи-то шаги. Мало того, едва мальчики услышали их, как вслед за шумом шагов раздался крик:

— Ах, мерзавцы! Кто вам позволил трогать вагонетку?

За ними стоял высокий землекоп в поношенной рабочей куртке и не по сезону легкой соломенной шляпе.

Мальчики оглянулись на него, только успев отбежать на пять-шесть кэн. И с той поры, даже когда Рёхэй, возвращаясь откуда-нибудь домой, видел, что на строительной площадке нет ни души, он все равно не решался прокатиться на вагонетке. Фигура того землекопа надолго ему запомнилась. Желтевшая в сумерках маленькая соломенная шляпа... Но даже это воспоминание с годами стало бледнеть.

Дней через десять после этого случая Рёхэй опять, на этот раз один, после полудня, стоял на строительной площадке и глядел на спускающиеся вагонетки. И вот рядом с вагонетками, груженными землей, по широкой колее, которая, вероятно, была главной, стала подниматься вагонетка, груженная шпалами. Эту вагонетку толкали двое молодых парней. Увидев их, Рёхэй решил, что у них добродушные лица.

«Эти-то меня не выругают», — подумал он и подбежал к вагонетке.

— Дяденьки! Давайте я помогу потолкать.

Один из них — тот, что был в полосатой рубашке, — не подымая склоненной головы и не отрывая рук от вагонетки, ответил, как мальчик и ожидал, ласково:

— Ну что ж, помоги.

Рёхэй встал между парнями и принялся толкать изо всей силы.

— А ты, видать, здорово силен! — похвалил Рёхэя другой парень, у которого за ухом была заткнута папироса.

Между тем уклон колеи становился все более отлогим. В глубине души Рёхэй стал опасаться, как бы ему не сказали: «Можешь больше не толкать». Но молодые рабочие продолжали молча, только немного выпрямившись, толкать вагонетку. Не в силах больше терпеть, Рёхэй робко спросил:

— Мне можно толкать, сколько захочу?

— Можно, — ответили оба одновременно.

Рёхэй подумал: «Добрые люди».

Через пять-шесть тё колея опять пошла круто вверх. Там по обе стороны в мандариновых садах золотились под солнцем бесчисленные плоды.

«Дорога вверх лучше, ведь дают толкать, сколько хочешь», — думал Рёхэй, изо всех сил толкая вагонетку.

Когда подъем среди мандариновых садов закончился, колея вдруг пошла под уклон. Парень в полосатой рубашке сказал Рёхэю:

— Ну, садись!

Рёхэй мигом взобрался на вагонетку. Как только все трое на нее сели, вагонетка плавно заскользила по рельсам среди аромата мандариновых садов. «Катиться

куда лучше, чем толкать!» — продолжал размышлять Рёхэй; его хаори раздувалось от ветра. «Если туда долго толкаешь, то и обратно долго катишься».

Докатившись до бамбуковой рощи, вагонетка потихоньку замедлила ход и остановилась. Все трое вновь принялись толкать тяжелую вагонетку. Бамбуковая роща сменилась смешанным лесом. На подъеме попадались такие места, где под горами опавших листьев почти не видно было ржавых рельсов. Когда поднялись вверх по дороге, то за высоким обрывом открылось широко простертое холодное море. И тут Рёхэй почувствовал, что ушел слишком далеко от дома.

Они опять сели в вагонетку. Вагонетка катилась под деревьями в лесу вдоль расстилавшегося справа моря. Но у Рёхэя было уже не так хорошо на душе, как раньше.

— Может, вернемся, — стал было он просить. Но что ни вагонетка, ни рабочие не могут вернуться, пока не доберутся до места, это, конечно, он и сам прекрасно понимал.

Потом вагонетка остановилась перед чайной с соломенной крышей, стоявшей у выемки горы. Рабочие вошли в чайную и стали неторопливо пить чай вместе с хозяйкой, у которой за спиной был грудной ребенок. Рёхэй, оставшись один, обеспокоенно бродил вокруг вагонетки. К толстым доскам кузова присохли брызги грязи.

Немного спустя из чайной вышел парень с папирсой за ухом (впрочем, теперь у него уже не было за ухом папирсы) и дал стоявшему возле вагонетки Рёхэю газетный кулек с деревенским печеньем. Рёхэй холодно сказал «спасибо». Но сейчас же сообразил, что, поблагодарив так холодно, поступил невежливо. Чтобы загладить свою вину, он положил одно печенье в рот. Печенье пахло керосином, которым, по-видимому, была запачкана газета.

Подталкивая вагонетку, они втроем стали подниматься по пологому склону. Хотя руки Рёхэя по-прежнему упирались в вагонетку, думал он теперь совсем о другом.

Когда они спустились по другую сторону склона, там оказалась еще одна чайная. Рабочие зашли туда, а Рёхэй, сидя на вагонетке, думал только о возвраще-

нии домой. Перед чайным домиком на цветущей сливе угасали лучи заходящего солнца. Вот уже смеркается, — при этой мысли Рёхэй не в силах был спокойно усидеть на месте. Он то пытался ногой повернуть колесо, то, зная, что один не в состоянии сдвинуть вагонетку, все же пытался это сделать, — только бы как-нибудь отвлечься от тревожных мыслей.

А рабочие, выйдя из чайной и начав сгружать шпалы с вагонетки, как ни в чем не бывало сказали ему:

— Ты теперь ступай домой. Мы сегодня заночуем здесь.

— Если вернешься слишком поздно, у тебя дома, верно, будут беспокоиться.

Рёхэй на миг опешил. Ведь скоро стемнеет. В конце прошлого года они с матерью ходили до Ивámура, но сегодня он прошел в три-четыре раза дальше... И сейчас ему придется возвращаться пешком, совсем одному... Все это мигом пронеслось у него в голове. Он чуть не заплакал. Но подумал, что слезами горю не поможешь. Не такой случай, чтобы плакать. С трудом заставив себя поклониться двум молодым рабочим, он пустился бежать вдоль колеи.

Рёхэй бежал и бежал вдоль колеи, не помня себя. Во время бега он заметил, что сверток с печеньем, засунутый за пазуху, мешает ему, и выбросил его на обочину, а заодно снял и швырнул вслед за печеньем свои деревянные дзори. Теперь через тонкие носки в подошвы впивались камешки, но зато ногам стало гораздо легче. Чувствуя слева от себя дыхание моря, он бегом поднялся по крутому склону. Время от времени к горлу подступали слезы, и тогда лицо у него непроизвольно кривилось. Он с трудом сдерживался и только непрерывно шмыгал носом.

Когда он бежал мимо бамбуковой рэщи, на закатном небе над горой Хиганэ уже угасала вечерняя заря. Волнение Рёхэя росло. Все кругом казалось ему другим, может быть, оттого, что путь туда и путь обратно — вещи разные, и это внушало ему тревогу. Теперь ему мешало и то, что одежда на нем насквозь промокла от пота. Продолжая бежать из последних сил, он стянул с себя и бросил на обочину хаори.

К тому времени, как он добрался до мандариновых садов, уже совсем стемнело. «Только бы остаться

живым...» — думал Рёхэй и, скользя и спотыкаясь, мчался дальше.

Наконец в полной темноте показалась строительная площадка на окраине деревни, и Рёхэй готов был тут же на месте расплакаться. Но и на этот раз он сдержался.

Когда он прибежал в деревню, из домов по обе стороны улицы падал электрический свет. В этом свете Рёхэй сам отчетливо видел, как над его головой поднимаются испарения пота. Женщины, бравшие воду из колодца, мужчины, возвращавшиеся с полей, увидев запыхавшегося Рёхэя, окликали его: «Эй, что случилось?» Но он, не отвечая, пронесся мимо освещенных домов, мимо мелочной лавки, мимо парикмахерской.

Влетев в ворота своего дома, Рёхэй уже не мог больше удержаться и громко, во весь голос, заплакал. Услыхав его плач, вмиг подбежали к нему отец и мать. Мать что-то говорила, порывалась его обнять. Но Рёхэй, ломая руки и топоча ногами, всхлипывал навзрыд. Должно быть, оттого, что он слишком громко плакал, три-четыре соседки подошли и стали в темноте у ворот. Все, в том числе отец и мать, наперебой спрашивали, отчего он плачет. Но что Рёхэю ни говорили, он только плакал. Плакал, вспоминая свою беспомощность и страх, пережитый им, пока он бежал весь этот далекий путь, и чувствовал, что никак не наплачется.

В возрасте двадцати шести лет Рёхэй с женой и ребенком уехал в Токио. Теперь он сидит на втором этаже в редакции одного журнала и читает корректуры. Но случается иногда, что, хоть и совершенно беспричинно, он вспоминает себя, каким он был в тот день. Совершенно беспричинно. Перед ним, усталым от житейских забот, и теперь, как тогда, тянется узкой лентой извилистая, с рощами, с подъемами и спусками, полутемная дорога.

Февраль 1922 г.



ПОВЕСТЬ
ОБ ОТПЛАТЕ ЗА ДОБРО

РАССКАЗ АМАКАВА ДЗИННАЯ

Меня зовут Дзиннай. Родовое имя? С давних пор люди как будто зовут меня Амакава Дзиннай. Амакава Дзиннай — это имя и вам знакомо? Нет, не надо пугаться! Как вы знаете, я знаменитый вор. Но в эту ночь я пришел не для воровства. На этот счет, прошу вас, будьте спокойны.

Как я слышу, среди патэрэнов в Японии вы человек самых высоких добродетелей. Так что пробыть, хотя и недолго, с человеком, которого называют вором, вам может быть, неприятно. Но не думайте — я ведь не только ворую! Один из подручных Росона Сукэдзаэмона, приглашенных во дворец Дзюраку, — он именовался Дзиннай! А кувшин, известный под названием «Красная голова», который так ценил Рикю Кодзи? Ведь настоящее имя мастера рэнга, приславшего кувшин в дар, как я слышал, тоже Дзиннай! А разве переводчика из Омура, который два-три года назад написал книгу «Амакава-никки», не звали Дзиннай? А потом еще — странствующий флейтист, спасший капитана Мальдонадо в драке у Сандзёгавара, а купец, торговавший иноземными лекарствами у ворот храма Мёкудзи в Сакай? Если бы открыли их имя, это, несомненно, оказался бы некий Дзиннай. Да нет, есть кое-кто и поважней — тот

самый, кто в прошлом году принес в дар храму Санто-Франциско золотой ковчег с ногтями пресвятой девы Марии,— это ведь был верующий тоже по имени Дзиннай!

Но сегодня, к сожалению, у меня нет времени рассказывать вам подробно обо всех этих вещах. Только прошу вас, поверьте, что Амакава Дзиннай не так уж отличается от всякого обыкновенного человека. Хорошо? Ну тогда по возможности коротко изложу, что мне нужно. Я пришел просить вас отслужить мессу о спасении души одного человека... Нет, он мне не родственник. Но он и не окрасил своей кровью моего клинка. Имя? Имя... Открыть его или нет — я и сам никак не решу. Я хочу помолиться за упокой души одного человека... за упокой души японца по имени Поро¹. Нельзя? Да, конечно, раз просит Амакава Дзиннай, вы не склонны с легкостью согласиться. Ну что же, так и быть! Попробую коротко рассказать, как все произошло. Только обещайте, что вы не скажете никому ни слова, хотя бы дело шло для вас о жизни или смерти. Вы поклянетесь этим крестом на вашей груди сдержать обещание? Нет... простите меня. (Улыбка.) Не доверять вам, патэрэн, для меня, вора, просто дерзость. Но если вы не сдержите обещания (внезапно серьезно), то пусть вы и не будете гореть в яростном пламени инфэруно — кара постигнет вас на этом свете.

Это случилось больше двух лет назад. Была ненастная полночь. Я бродил по улицам Киото, переодетый странствующим монахом. Бродил я по улицам Киото не первую ночь. Уже пять дней каждый вечер, как только пробьет первая стража, я, стараясь не попадаться людям на глаза, украдкой осматривал дом за домом. Зачем? Я думаю, нечего объяснять... В то время я как раз намеревался ненадолго уехать за море, хотя бы в Марика, и поэтому деньги мне нужны были больше, чем всегда.

На улицах, конечно, давным-давно прекратилось движение, и только неумолчно шумел ветер при свете звезд. Я прошел вдоль темных домов всю Огавадори и вдруг, обогнув угол у перекрестка, увидел большой дом. Это было городское жилище Ходзёя Ясоэмона, из-

¹ Искаженное Paulo (португ.).

вестного даже в Киото. Правда, хотя оба они вели морскую торговлю, «Торговый дом Ходзёя» нельзя было поставить на одну доску с таким домом, как «Кадокура». Но как бы то ни было, Ходзёя отправлял один-два корабля в Кокусямуро и на Лусон, так что, несомненно, был изрядно богат. Выходя на дело, я вовсе не имел в виду именно этот дом, но раз уж набрел как раз на него, мне захотелось подзаработать. К тому же, как я уже сказал, ночь была поздняя, поднялся ветер, и для моего промысла все складывалось как нельзя лучше. Спрятав свою плетеную шляпу и посох за дождевую бадью на обочине дороги, я сразу же перелез через высокую ограду.

Только послушать, какие обо мне ходят толки! Амакава Дзиннай умеет делаться невидимкой, говорят все и каждый. Надеюсь, вы не верите этому, как верят простые люди. Я не умею делаться невидимкой и не в сговоре с дьяволом. Просто, когда я был в Макао, врач с португальского корабля научил меня науке о природе вещей. И если только применять ее на деле, то отвернуть большой замок, снять тяжелый засов — все это для меня не слишком трудно (улыбка). Невиданные доселе у нас воровские уловки, — ведь их, как крест и пушки, наша дикая Япония тоже переняла у Запада.

Не прошло и часа, как я уже пробрался в дом. Но когда я миновал темный коридор, к моему изумлению, оказалось, что, несмотря на такое позднее время, в одной из комнат еще горит огонь. Мало того, было слышно, как кто-то разговаривает. Судя по местонахождению, это была чайная комната. «Чай в непогоду!» — усмехнулся я, тихонько подкрадываясь ближе. В самом деле, слыша голоса, я не столько думал о помехе моей работе, сколько хотелось мне узнать, каким тонким развлечениям предаются в этой изысканной обстановке хозяин дома и его гость.

Как только я прильнул к фусума, до моего слуха, как я и ожидал, донеслось бульканье воды в котелке. Но, кроме этого, я, к своему удивлению, вдруг услышал, что кто-то в комнате плачет. Кто-то? Нет, я сразу же понял, что это женщина. Если в таком важном доме в чайной комнате среди ночи плачет женщина — это неспроста. Затаив дыхание, я через щель слегка раздвинутой фусума заглянул в комнату.

Освещенное висячим бумажным фонарем старинное какэмоно в токонома, хризантема в вазе... На всем убранстве, как и полагается в чайной комнате, лежал налет старомодности. Старик, сидевший перед токонома лицом прямо ко мне, был, по-видимому, сам хозяин Ясоэмон. В мелкоузорчатом хаори, неподвижно скрепив на груди руки, он, видимо, прислушивался, как кипит котелок. Немного ниже Ясоэмона сидела ко мне боком старуха почтенной наружности, в прическе со шпильками, и время от времени утирала слезы.

«Ни в чем не терпят недостатка, а, видно, такие же у них горести!» — подумал я, и у меня на губах невольно появилась усмешка. Усмешка — это отнюдь не значит, что у меня была какая-нибудь злоба лично к супругам Ходзэя. Нет, у меня, человека, за которым сорок лет бежит дурная слава, несчастье других людей, в особенности людей на первый взгляд счастливых, всегда само собой вызывает усмешку. (С жестоким выражением лица.) И тогда вздохи супругов доставляли мне такое же удовольствие, как если бы я смотрел на представление Кабуки. (С насмешливой улыбкой.) Да ведь не я один таков. Кого ни спроси о любимой книжке — это всегда какая-нибудь печальная повесть!

Немного погодя Ясоэмон со вздохом сказал:

— Раз уж случилось такое несчастье, сколько ни плачь, сколько ни вздыхай, — былого не воротишь. Я решил завтра же рассчитать всех в лавке.

Тут сильный порыв ветра потряс стены комнаты и заглушил голоса. Ответа жены Ясоэмона я не расслышал. Но хозяин, кивнув, положил руки на колени и поднял глаза к плетеному камышовому потолку. Густые брови, острые скулы и в особенности удлинённый разрез глаз... Чем больше я смотрел, тем больше убеждался, что это лицо я уже где-то видел.

— О, господин Дзэсусу Киристо-сама! Ниспошли в наши сердца свою силу!

Ясоэмон с закрытыми глазами начал шептать слова молитвы. Старуха, видимо, тоже, как и ее муж, молила о покровительстве небесного царя. Я же все время, не мигая, всматривался в лицо Ясоэмона. И вот, когда пронесся новый порыв ветра, в моей душе сверкнуло воспоминание о том, что случилось двадцать лет назад,

и в этом воспоминании я отчетливо увидел облик Ясэомона.

Двадцать лет назад... впрочем, стоит ли рассказывать! Короче говоря, дело было так. Когда я ехал в Макао, один японец-корабельщик спас мне жизнь. Мы тогда друг другу имени своего не назвали и с тех пор не встречались, но Ясэомон, на которого я теперь смотрел, — это, несомненно, и был тогдашний корабельщик. Пораженный странной встречей, я не сводил глаз с лица старика. И теперь мне уже казалось, что его сильные плечи, его пальцы с толстыми суставами дышат пеной прибоя у коралловых рифов и запахом сандаловых лесов.

Окончив свою долгую молитву, Ясэомон спокойно обратился к жене с такими словами:

— Впредь положимся во всем на волю небесного владыки... Ну, раз котелок уже вскипел, не нальешь ли мне чаю?

Но старуха, сдерживая вновь подступившие к горлу рыдания, слабым голосом ответила:

— Сейчас... А все же жалко, что...

— Вот это-то и значит роптать! То, что «Ходзёмару» затонул и все деньги, вложенные в дело, погибли, все это...

— Нет, я не о том. Если б хоть сын наш Ясабурó был с нами...

Слушая этот разговор, я еще раз усмехнулся. Но на этот раз не горе Ходзёя доставляло мне удовольствие. «Пришло время отплатить за бывшее добро», — вот чему я радовался. Ведь и мне, Амакава Дзиннаю, радость от того, что можно как следует отплатить за добро... Да нет, кроме меня, вряд ли кому еще эта радость знакома по-настоящему. (Насмешливо.) Мне жаль всех добродетельных людей: не знают они, как радостно вместо злодейства совершить доброе дело!

— Ну... что его нет, это еще счастье! — Ясэомон с горечью перевел взгляд на фонарь. — Если бы только остались целы те деньги, что он промотал, мы, пожалуй, выпутались бы из беды. Право, стоит мне подумать об этом, о том, что я выгнал его из дома, как...

Тут Ясэомон испуганно посмотрел на меня. Неудивительно, что он испугался: в эту минуту я, не

произнеся ни звука, отодвинул крайнюю фусума. Вдобавок я был одет монахом и вместо плетеной шляпы, которую я сбросил еще раньше, голову мою покрывал иноземный капюшон.

— Кто здесь хозяин?

Ясозмон хоть и старик, а разом вскочил.

— Бояться нечего! Меня зовут Амакава Дзиннай. Ничего, будьте спокойны. Амакава Дзиннай — вор, но в эту ночь он пришел к вам с иными намерениями.

Я скинул капюшон и сел против Ясозмона.

О том, что было дальше, вы можете догадаться и без моего рассказа. Я дал обещание отплатить за добро: чтобы выручить «Дом Ходзёя» из беды, я обещал в три дня, ни на день не погрешив против срока, достать шесть тысяч кан серебра...

Ого, кажется, за дверью слышатся чьи-то шаги? Ну, так прощайте! Завтра или послезавтра ночью я еще раз проберусь сюда. Есть созвездие Большой Крест — в небе над Макао оно сияет, а на небе Японии его не видать. И если я так же, как оно, не исчезну из Японии, то не искуплю своей вины перед душой Поро, о котором пришел просить вас отслужить мессу. Что? Как я уйду? Об этом не беспокойтесь. Я могу без труда выбраться через это высокое окно в потолке или через этот большой очаг. И еще раз убедительно прошу — ради души благодетеля Поро никому не обмолвитесь ни словом!

РАССКАЗ ХОДЗЁЯ ЯСОЭМОНА

Ваша милость, патэрэн, прошу вас, выслушайте мою исповедь. Как вам известно, есть такой вор Амакава Дзиннай, о котором в последнее время ходит много рассказов. Слышал я, что и тот, кто жил в башне храма Нэгородэра, и тот, кто украл меч у кампаку, и тот, кто далеко за морем напал на наместника Лусона, — все это он. Может быть, дошло до вас и то, что его наконец схватили на днях у моста Модорибаси, что в Итидзё выставили на позор его голову. Мне этот Амакава Дзиннай оказал великое благодеяние. Но из-за этого самого благодеяния я теперь переживаю

невыразимое горе. Прошу вас, выслушайте все обстоятельства и помолитесь о том, чтобы небесный царь ниспослал свою милость грешнику Ходзёя Ясоэмону.

Это случилось два года назад, зимой. Из-за непрерывных штормов мой корабль «Ходзёя-мару» затонул, деньги, вложенные в дело, пропали, — одна беда шла за другой, и в конце концов «Торговый дом Ходзёя» не только разорился, но и совсем дошел до крайности. Как вы знаете, среди горожан есть только покупатели, а человека, которого можно было бы назвать товарищем, нет. И наше дело, как корабль, втянутый в водоворот, пошло ко дну. И вот однажды ночью... я и теперь не забыл ее... ненастной ночью мы с женой разговаривали, не думая о позднем часе. И вдруг вошел человек в одежде странствующего монаха, с иноземным капюшном на голове. Это и был Амакава Дзиннай. Я, конечно, и испугался и рассердился. Но когда я выслушал его — что же оказалось? Он пробрался в мой дом, чтобы совершить воровство, но в чайной комнате еще горел свет, слышались голоса, и когда он через щель фусума заглянул внутрь, то увидел, что Ходзёя Ясоэмон — тот самый благодетель, который двадцать лет назад спас ему, Дзиннаю, жизнь.

В самом деле, при этих его словах я вспомнил, что в ту пору, как еще был корабельщиком и водил в Макао «фусута», как-то раз я выручил одного японца, у которого и бороды-то еще не было: как он мне тогда рассказал, он в пьяной ссоре убил китайца, и за ним гнались. И что же? Теперь он превратился в знаменитого вора Амакава Дзинная! Как бы там ни было, я убедился, что слова Дзинная не выдумка, и поскольку, к счастью, все в доме спали, я первым делом спросил его, что ему нужно.

И вот, по словам Дзинная, оказалось, что он в оплату за старое добро хочет, если это будет в его силах, выручить «Дом Ходзёя» из беды и спрашивает, как велика сумма, необходимая в настоящее время. Я невольно горько усмехнулся. Чтобы деньги мне достал вор — это не только смешно. У кого водятся такие деньги, будь это хоть сам Амакава Дзиннай, тому незачем забираться в мой дом для воровства. Но когда я назвал сумму, Дзиннай, слегка склонив голову набок, как ни в чем не бывало обещал все сделать, предупредив, что в эту

ночь ему трудно, а через три дня он достанет. Но так как потребная сумма была немалая — целых шесть тысяч кан, то ручаться, что ему удастся ее достать, нельзя было. По моему же мнению, чем полагаться на то, сколько выпадет очков в игре в кости, лучше было считать, что дело это ненадежное.

В эту ночь Дзиннай спокойно выпил чай, который ему налила жена, и ушел в непогоду. На другой день обещанных денег он не доставил. На третий день — тоже. На четвертый... В этот день пошел снег, наступила ночь, а никаких вестей все еще не было. Я и раньше говорил, что не полагался на обещание Дзинная. Однако раз я никого в лавке не рассчитал и предоставил всему идти своим ходом, значит, в глубине души все же надеялся. И в самом деле, на четвертую ночь, сидя под фонарем в чайной комнате, я все же напряженно прислушивался к скрипу снега.

Когда пробила уже третья стража, в саду за чайной комнатой вдруг раздался шум, точно там кто-то дрался. В душе у меня, конечно, блеснула тревожная мысль о Дзиннае: уж не поймали ли его караульные? Я раздвинул сёдзи, выходящие в сад, и осветил фонарем. Перед чайной комнатой, в глубоком снегу, там, где свешивались листья бамбука, сцепились двое людей, но не успел я разглядеть их, как один из них оттолкнул накинувшегося на него противника и, прячась за деревья, бросился к ограде. Шорох осыпающегося снега, шум, когда перелезали через ограду, и наступившая затем тишина показывали, что человек благополучно перелез и спрыгнул где-то по ту сторону. Но тот, кого он оттолкнул, не стал гнаться за ним, а, стряхивая с себя снег, спокойно подошел ко мне.

— Это я, Амакава Дзиннай.

Пораженный изумлением, я уставился на Дзинная. На нем, как и в ту ночь, был иноземный капюшон и ряса.

— Ну и шум подняли! Еще счастье, что от этой драки никто в доме не проснулся.

Входя в комнату, Дзиннай усмехнулся.

— Пустяки! Как раз, когда я пробирался в дом, кто-то пытался забраться сюда под пол. Ну, я его придержал, хотел было посмотреть, кто это такой, да он убежал.

Так как я все еще беспокоился, то спросил, не был ли это караульный. Но Дзиннай сказал, что это вовсе не караульный, а верней всего — вор. Вор хотел поймать вора — может ли быть что-нибудь более удивительное? Теперь уже на моих губах мелькнула усмешка. Как бы то ни было, пока я не знал, чем кончилась попытка достать деньги, на сердце у меня было тревожно. Но прежде, чем я успел раскрыть рот, Дзиннай, словно читая у меня в душе, медленно развязал пояс и выложил перед очагом свертки с деньгами.

— Будьте спокойны. Шесть тысяч кан добыты. Собственно, большую часть я достал уже вчера, но около двухсот кан не хватало, поэтому я принес их только сегодня. Вот, примите свертки. А деньги, собранные ко вчерашнему дню, я потихоньку от вас обоих спрятал здесь же, под полом чайной комнаты. Вероятно, давешний вор пронюхал про эти деньги.

Я слушал его слова, как во сне. Принять деньги от вора — я и без вас знаю, что это дело не из хороших. Однако, пока я был на грани уверенности и сомнения в том, удастся ли достать деньги, я не думал, хорошо это или дурно, да и теперь не мог так легко отказаться. Ведь если бы я отказался, то не только мне, но и всей моей семье оставалось одно — идти на улицу. Прошу вас, будьте снисходительны к такому моему положению. Смирненно коснувшись руками пола, я склонился перед Дзиннаем и, не произнося ни слова, заплакал.

С тех пор я два года ничего не слышал о Дзиннае. Но так как я избежал разорения и проводил свои дни в благополучии только благодаря Дзиннаю, то тайком от людей я всегда возносил святой матери Марии-сама молитвы о счастье этого человека. И что же? На днях пошла по городу молва о том, что Амакава Дзиннай схвачен и что у моста Модорибаси выставлена на позор его голова! Я ужаснулся. Украдкой проливал слезы. Но как подумаешь, что это расплата за все содеянное им зло, — что тут делать! Скорее странно, что небесная кара постигла его лишь теперь. Все же мне хотелось в отплату за добро, хотя бы втайне, совершить поминовение. С этой мыслью я сегодня, не взяв никого с собой, поспешно пошел к Модорибаси посмотреть на выставленную на позор голову.

Когда я дошел до моста, там, где была выставлена голова, уже толпился народ. Доска из некрашеного дерева с перечнем преступлений казненного, стражники, охраняющие его голову, — все было как обычно. Но голова, насаженная на три свежих бамбуковых ствола, скрепленных между собой, эта страшная, залитая кровью голова, — о, что же это такое? В давке среди шумной толпы, увидев эту мертвенно-бледную голову, я окаменел. Эта голова... была не его! Это не была голова Амакава Дзинная. Эти густые брови, эти острые скулы, этот шрам между бровями — в них не было ничего похожего на Дзинная. Она... Солнечный свет, толпа вокруг меня, насаженная на бамбук голова, все отодвинулось в какой-то далекий мир — такой безумный ужас меня охватил. Это была голова не Дзинная. Это была моя голова! Она принадлежала мне, такому, каким я был двадцать лет назад — тогда, когда я спас Дзинную жизнь. Ясабуро!.. Если бы только язык у меня мог шевелиться, я, может быть, так бы и крикнул. Но я не мог издать ни звука и только, как в лихорадке, дрожал всем телом.

Ясабуро! Я смотрел на выставленную голову сына, как на призрак. Голова, слегка запрокинутая, неподвижно смотрела на меня из-под полуприкрытых век. Как это случилось? Может быть, сына по ошибке приняли за Дзинная? Но если его подвергли допросу, ошибка бы выяснилась. Или тот, кто назывался Амакава Дзиннай, был мой сын? Переодетый монах, пробравшийся в мой дом, был некто другой, присвоивший себе имя Дзинная? Нет, не может быть! Достать шесть тысяч кан в три дня, ни на один день не погрешив против срока, — кто во всей обширной стране Японии сумел бы это, кроме Дзинная? Значит... В этот миг в душе у меня вдруг отчетливо всплыл облик того никому не известного человека, который два года назад, в снежную ночь, боролся в саду с Дзиннаем. Кто он? Не был ли то мой сын? Да, даже мельком взглянув на него тогда, я заметил, что по облику он напоминает моего сына Ясабуро! Но не было ли это просто заблуждением моего сердца? Если то был сын... Словно очнувшись, я пристально посмотрел на голову. И я увидел — на посиневших, странно раздвинутых губах сохранилось слабое подобие улыбки.

У выставленной головы сохранилась улыбка! Слушая такие слова, вы, пожалуй, засмеетесь. Я и сам, заметив это, подумал, что мне просто померещилось. Но сколько я ни смотрел — высохшие губы были чуть озарены чем-то похожим на улыбку. Долго не отводил я глаз от этих странно улыбающихся губ. И незаметно на моем лице тоже появилась улыбка. Но одновременно с улыбкой из глаз у меня полились горячие слезы.

«Отец, простите!.. — говорила мне без слов эта улыбка.

Отец, простите, что я был дурным сыном! Два года назад в снежную ночь я прокрался домой только для того, чтобы просить прощения, просить вас принять меня обратно. Днем мне стыдно было попасться на глаза кому-нибудь в лавке, поэтому я нарочно дождался глубокой ночи, чтобы постучаться к отцу в спальню и поговорить с ним. Но когда, обрадовавшись, что за сѣдзи чайной комнаты виден свет, я робко направился туда, вдруг сзади кто-то, ни слова не говоря, набросился на меня.

Отец, что случилось дальше, вы знаете сами. Я был поражен неожиданностью, и едва увидел вас, как оттолкнул нападавшего и перескочил через ограду. Но так как при отсветах снега я, к своему удивлению, увидел, что мой противник — монах, то, убедившись, что за мной никто не гонится, я опять рискнул подкрасться к чайной комнате. И сквозь сѣдзи слышал весь разговор.

Отец! Дзиннай, спасший «Дом Ходзѐя», благодетель всей нашей семьи. И я решил, что, если ему будет грозить опасность, я отплачу ему за добро, хотя бы пришлось отдать за него жизнь. И отплатить ему за добро не мог никто, кроме меня, бродяги, выгнанного из дому. Два года выжидал я подходящего случая. И вот случай настал. Простите, что я был дурным сыном! Я родился непутевым, но я отплатил за добро, оказанное нашей семье. Вот единственное мое утешение...»

На пути домой, смеясь и плача, я восхищался благородством сына. Вероятно, вы не знаете — мой сын Ясабуро, как и я, был приверженцем нашей веры и был даже наречен Поро. Но... но и сын мой был несчастен. И не только сын. Ведь если бы Амакава Дзиннай не спас тогда мой дом от разорения, мне не пришлось бы

теперь так скорбеть. Как бы я ни терзался, одна мысль не дает мне покоя: что было лучше — избежать разорения или сохранить в живых сына?.. (Вдруг с мукой.) Спасите меня! Если я так буду жить дальше, то, может быть, моего великого благодетеля Дзинная возненавижу. (Долгие рыдания.)

РАССКАЗ ПОРО ЯСАБУРО

О, святая мать Мария-сама! Завтра на рассвете мне отрубят голову. Голова моя скатится на землю, но моя душа, как птица, полетит ввысь, к тебе. Нет, может быть, вместо того чтобы умиляться великолепием парайсо (рая), я, совершивший лишь злодеяние, буду низвергнут в яростное пламя инфэруно. Но я доволен. Такой радости душа моя не знала двадцать лет.

Я — Ходзэя Ясабуру. Но моя голова, которую выставляют напоказ после казни, будет называться головой Амакава Дзинная. Я — Амакава Дзиннай! Может ли быть что-нибудь приятней? Амакава Дзиннай! Ну что? Разве это не прекрасное имя? Стоит только моим губам произнести это имя, и я чувствую себя так, как будто моя темница засыпана небесными лилиями и розами.

Это случилось зимой, два года назад, в незабываемую снежную ночь. Я прокрался в дом отца, чтобы добыть денег для игры. Так как за сёдзи чайной комнаты еще горел свет, я хотел было тихонько заглянуть внутрь, но тут кто-то, ни слова не говоря, схватил меня за ворот. Я обернулся, сцепился с моим противником — кто он, я не знал, но, судя по огромной силе, это был человек необыкновенный. Мало того: пока мы с ним дрались, раздвинулись сёдзи, в сад упал свет фонаря, — сомнения быть не могло, в чайной комнате стоял мой отец Ясоэмон. Напрягши все силы, я высвободился из цепких рук противника и бросился вон из сада.

Но, пробежав полквартила, я спрятался под навесом дома и осмотрелся кругом. На улице нигде ничто не шевелилось, только иногда, белея в ночной мгле, вздымалась снежная пыль. Противник, видно, махнул на меня рукой и отказался от преследования. Но кто он такой? Насколько я в тот миг успел разглядеть, он

был одет монахом. Однако, судя по его силе и в особенности по тому, что он знал и боевые приемы, вряд ли это был простой монах. Да и то, чтобы в такую снежную ночь в саду оказался какой-то монах, — разве это не странно? Немного поразмыслив, я решил рискнуть и все же еще раз подкрасться к чайной комнате.

Прошел час. Подозрительный странствующий монах, пользуясь тем, что снег как раз перестал, шел по улице Огавадори. Это был Амакава Дзиннай. Самурай, мастер рэнга, горожанин, бродячий флейтист, человек, по слухам, умеющий принимать любой образ, знаменитый в Киото вор! Я украдкой шел по его следам. Никогда еще не радовался я так, как в тот миг. Амакава Дзиннай! Амакава Дзиннай! Как я тосковал по нему даже во сне! Тот, кто похитил меч у кампаку, — это был Дзиннай. Тот, кто выманил кораллы у Сямуроа, — это был Дзиннай. И тот, кто срубил дерево кяра у правителя провинции Бидзэн, и тот, кто украл часы у капитана Пэрэйра, и тот, кто в одну ночь разрушил пять амбаров, и тот, кто убил восемь самураев Микава, и тот, кто совершил еще много других редкостных злодейств, о которых будут рассказывать до скончания века, — все это был Дзиннай. И этот Дзиннай теперь, низко надвинув плетеную шляпу, идет предо мной по чуть белеющей снежной дороге. Разве то, что я могу его видеть, уже само по себе не есть счастье? Но я хотел стать более счастливым.

Когда мы дошли до задней стороны храма Дзёгондзи, я быстро нагнал Дзиннаю. Здесь тянулся длинный земляной вал, совершенно без жилищ, и для того, чтобы даже днем не попасться людям на глаза, лучшее место трудно было отыскать. Но Дзиннай, увидев меня, не обнаружил ни малейшего страха, а спокойно остановился. И, опершись на посох, не проронил ни звука, как будто ожидая моих слов. Я робко опустился перед ним на колени, положив перед собой руки. Но когда я увидел его спокойное лицо, слова застряли у меня в горле.

— Пожалуйста, извините! Я — Ясабуро, сын Ходзёя Ясэомона, — наконец заговорил я с пылающим лицом. — Я пошел за вами вслед, потому что имею к вам просьбу.

Дзиннай только кивнул. Как благодарен был я, малодушный, за это одно! Смелость вернулась ко мне, и,

все так же держа руки прямо на снегу, я кратко рассказал ему, что отец выгнал меня из дому, что теперь я вожусь с негодяями, что сегодня ночью я пробрался к отцу с целью воровства, но неожиданно наткнулся на него, Дзинная, и что я слышал всю тайную беседу Дзинная с отцом. Но Дзиннай по-прежнему холодно смотрел на меня, безмолвно сжав губы. Окончив свой рассказ, я немного придвинулся на коленях к нему и впился взглядом в его лицо.

— Добро, оказанное «Дому Ходзёя», касается и меня. В знак того, что я не забуду этого благодеяния, я решил стать вашим подручным. Прошу вас, возьмите меня к себе! Я умею воровать, умею устраивать поджоги. И прочие простые преступления умею совершать не хуже других...

Но Дзиннай молчал. С сильно бьющимся сердцем я заговорил еще горячее:

— Прошу вас, возьмите меня к себе! Я буду работать. Киото, Фусими, Сакаи, Осака — нет мест, которых я бы не знал. Я могу пройти пятнадцать ри в день. Одной рукой подымаю мешок в четыре то. И убийства — два-три — уже совершил. Прошу вас, возьмите меня к себе. Ради вас я сделаю все, что угодно. Белого павлина из замка Фусими — если скажете «укради!» — украду. Колокольню храма Санто-Франциско — если скажете «сожги!» — сожгу. Дочь удайдзина — если скажете «добудь!» — добуду. Голову градоправителя — если скажете «принеси!»...

При этих словах меня вдруг опрокинул пиннок ноги.

— Дурак!

Бросив это ругательство, Дзиннай хотел было пройти дальше. Но я, как безумный, вцепился в подол его рясы.

— Прошу вас, возьмите меня к себе! Никогда ни за что я от вас не отступлюсь! Ради вас я пойду в огонь и в воду. Ведь даже царя-льва из рассказа Эзопа спасла мышь... Я сделаюсь этой мышью. Я...

— Молчи! Не тебе, мальчишка, быть благодетелем Дзинная! — Стряхнув мои руки, Дзиннай еще раз пнул меня ногой. — Подлец! Ты бы лучше был добрым сыном!

Когда он во второй раз пнул меня ногой, мною овладела злоба.

— Ладно! Так стану же я твоим благодетелем!

Но Дзиннай, не оглядываясь, быстро шагал по снегу. При свете как раз выплывшей из-за туч луны еле виднелась его плетеная шляпа... И с тех пор я целых два года не видел Дзинная. (Вдруг смеется.) «Не тебе, мальчишка, быть благодетелем Дзинная». Так он сказал. Но завтра на рассвете меня убьют вместо Дзинная.

О, святая мать Мария-сама! Как страдал я эти два года от желания отплатить Дзиннаю за добро! Нет, не столько за добро, сколько за обиду. Но где Дзиннай? Что он делает? Кому это ведомо? И прежде всего, каков он с виду? Даже этого никто не знал. Переодетый монах, которого я встретил, был невысокого роста, лет около сорока. Но тот, кто приходил в квартал веселых домов в Янагимати,— разве это не был тридцатилетний странствующий самурай с усами на красном лице? А согбенный рыжеволосый чужестранец, который, как говорили, произвел переполох на представлении Кабуки, а юный самурай с ниспадающими на лоб волосами, похитивший сокровища из храма Мёкоудзи... Если допустить, что все это был Дзиннай, то, значит, даже установить истинный вид этого человека выше человеческих сил... И тут в конце прошлого года у меня открылось кровохарканье.

Только бы как-нибудь отплатить за обиду!.. Худея, тощая день ото дня, я думал лишь об этом одном. И вот однажды ночью в душе у меня блеснула мысль. О Мария-сама! О Мария-сама! Эту мысль, без сомнения, внушила мне твоя доброта. Всего-навсего лишиться своего тела, своего измученного кровохарканьем тела, от которого остались кожа да кости,— стоит решиться на это одно, и мое единственное желание будет выполнено. В эту ночь, смеясь про себя от радости, я до утра твердил одно и то же: «Мне отрубят голову вместо Дзинная! Мне отрубят голову вместо Дзинная!»

Мне отрубят голову вместо Дзинная! Какие великолепные слова! Тогда, конечно, вместе со мной погибнут и все его преступления. Дзиннай сможет гордо расхаживать по всей обширной Японии. Зато я... (Опять смеется.) Зато я в одну ночь сделаюсь прославленным разбойником. Тем, кто был помощником Сукэдзаэмона на Лусоне. Кто срубил дерево кяра у правителя провинции Бидзэн. Кто был приятелем Рикю Кодзи, кто

выманил кораллы у Сямуроя, кто взломал кладовую с серебром в замке Фусими, кто убил восемь самураев Микава... Всей, всей славою Дзинная целиком завладею я! (В третий раз смеется.) Спасая Дзинная, я убью имя Дзинная, платя ему за добро, сделанное семье, я отплачу за свою собственную обиду, — нет радостнее расплаты. Понятно, что от радости я смеялся всю ночь. Даже теперь — в этой темнице — могу ли я не смеяться!

Задумав такую хитрость, якобы с целью кражи я забрался в императорский дворец. Помнится, был вечер, полутьма, через бамбуковые шторы просвечивал огонь, среди сосен белели цветы. Но когда я спрыгнул с крыши галереи в безлюдный сад, вдруг, как я и надеялся, меня схватили самураи из стражи. И тогда-то оно и случилось. Поваливший меня бородатый самурай, крепко связывая меня, проворчал: «Наконец-то мы поймали Дзинная!» Да. Кто же, кроме Амакава Дзинная, заберется воровать во дворец? Услышав эти слова, я даже в тот миг, извиваясь в стянувших меня веревках, невольно улыбнулся.

«Не тебе, мальчишка, быть благодетелем Дзинная!» Так он сказал. Но завтра на рассвете меня убьют вместо Дзинная. О, как сладко бросить это ему в лицо! С выставленной на позор отрубленной головой я буду ждать его прихода. И в этой голове Дзинная непременно почувствует безмолвный смех. «Ну как, Ясабуро отплатил за добро? — вот что скажет ему этот смех. — Ты больше не Дзинная: Амакава Дзинная — вот эта голова! Она — этот знаменитый по всей стране, первый в Японии великий вор». (Смеется.) О, я счастлив! Так счастлив я первый раз в жизни. Но если мою голову увидит отец Ясозмон... (Горько.) Простите меня, отец! Если бы даже мне не отрубили голову, я, больной чашоткой, не прожил бы и трех лет. Прощу вас, простите, что я был дурным сыном. Я родился непутевым, но ведь как-никак сумел отплатить за добро, оказанное нашей семье...

Март 1922 г.



СВЯТОЙ

Дорогие читатели!

Сейчас я нахожусь в Осака и поэтому расскажу вам одну из здешних историй.

В старину жил один человек. Он пришел в город Осака наниматься на службу. Полное его имя неизвестно, и поскольку он пришел из деревни, чтобы поступить в услужение, его называли, говорят, просто Гонскэ.

Пройдя за занавеску конторы по найму слуг, Гонскэ обратился с просьбой к чиновнику, сосавшему трубку с длинным чубуком.

— Господин чиновник, я хочу стать святым. Определите меня на такое место, где бы я мог им стать.

Чиновник так и остался сидеть, не в силах произнести ни слова, будто его хватил солнечный удар.

— Господин чиновник! Не слышите, что ли? Я хочу стать святым и поэтому прошу подыскать мне подходящую службу.

Чиновник наконец пришел в себя.

— Искренне сожалею,— промолвил он, снова принимаясь сосать свою трубку,— но дело в том, что нашей конторе еще ни разу не приходилось определять кого-нибудь в святые. Может быть, вы обратитесь в другое место?

Но Гонскэ, с недовольным видом выставив вперед колени, обтянутые светло-зелеными штанами, стал протестовать.

— Что-то вы не то говорите. Разве вы не знаете, что написано на вывеске вашей конторы? Разве не говорится там: «Определяем на любую службу»? А раз пишете «на любую», значит, и должны устраивать на любую, какую бы от вас ни потребовали. Или ваша вывеска только для того, чтобы людей обманывать?

Действительно, если взглянуть на дело с этой стороны, то у Гонскэ были все основания возмущаться.

— Нет, на нашей вывеске все сущая правда, — поспешил уверить его чиновник. — И если уж вы непременно хотите, чтобы мы подыскали вам службу, где можно стать святым, зайдите завтра. А мы постараемся сегодня разузнать, нет ли поблизости чего-нибудь подходящего.

И чтобы хоть как-нибудь оттянуть время, чиновник принял просьбу Гонскэ. Но откуда было ему знать, на какой службе можно выучиться ремеслу святого? Поэтому, едва выпроводив Гонскэ, чиновник сразу же отправился к лекарю, жившему неподалеку. Изложив ему суть дела, он обеспокоенно спросил:

— Как же быть? Не знаете ли вы, сэнсэй, куда лучше определить человека, чтобы он выучился на святого?

Такой вопрос, естественно, и лекаря поставил в тупик. Некоторое время он сидел, скрестив руки, тупо уставившись на сосну во дворе. Но тут вступила в разговор злая жена лекаря, по прозвищу «Старая лиса», которая слышала рассказ чиновника:

— А вы его к нам присылайте. В нашем доме он за два-три года наверняка узнает все, что нужно, чтобы стать святым, — уверила она чиновника.

— Да что вы говорите? — обрадовался тот. — Как хорошо, что я зашел к вам! Премного благодарен! Я всегда чувствовал, что у вас, врачей, есть что-то общее со святыми!

И невежественный чиновник, отвечивая поклон за поклоном, удалился.

Лекарь с кислой миной выпроводил чиновника, а затем обрушился с проклятьями на жену:

— Что за чушь ты тут нагородила? Вообрази, что будет, если этот деревенщина поднимет скандал, убедившись, что, сколько бы лет он ни прожил у нас, никакого секрета бессмертия не узнает?

Однако жена и не думала оправдываться.

— Помолчал бы лучше. С таким честным дураком, как ты, в этом жестоком мире и на чашку риса не заработаешь,— презрительно усмехаясь, парировала она упреки мужа.

Итак, на следующий день, как и было договорено, бывший деревенский житель Гонскэ в сопровождении чиновника явился в дом лекаря. На этот раз на нем было хаори с гербами,— наверное, он считал, что так и полагается быть одетым, когда приходишь в первый раз знакомиться,— и теперь он по виду ничем не отличался от простого крестьянина. Как раз этого-то, видимо, никто и не ожидал. Лекарь так и уставился на Гонскэ, словно перед ним был диковинный зверь из заморских краев. Пристально глядя в глаза Гонскэ, он подозрительно спросил:

— Говорят, ты хочешь стать святым. А почему, собственно, у тебя появилось такое желание?

— Да никакой особой причины нет. Просто, глядя как-то на Осацкий замок, я подумал, что даже такие выдающиеся люди, как Тоётоми Хидэёси, в конце концов все-таки умирают. Выходит, что человек, как бы ни велики были его дела, все равно умрет.

— Значит, ты готов выполнять любую работу, только бы стать святым? — воспользовавшись моментом, вмешалась в разговор хитрая лекарша.

— Да, чтобы стать святым, я согласен на любую работу.

— Тогда поступай ко мне на службу сроком на двадцать лет, и на последнем году я обучу тебя искусству святого.

— Да что вы говорите? Вот уж счастье-то мне привалило! Премного вам благодарен.

— Но все двадцать лет ты будешь за это служить мне, не получая ни гроша платы.

— Хорошо, хорошо, я согласен!

С той поры Гонскэ двадцать лет работал на лекаря. Воду носил. Дрова колот. Обед варил. Дом и двор подметал. И вдобавок таскал ящик с лекарствами за

лекарем, когда тот выходил из дому. И при этом он ни разу не попросил ни гроша за свою службу. Такого бесценного слуги не сыскать было во всей Японии.

Но вот прошло наконец двадцать лет, и Гонскэ, надев, как и в первый день своего прихода, хаори с гербами, предстал перед хозяином и хозяйкой. Он почтительно поблагодарил их за все, что они для него сделали в эти прошедшие двадцать лет, и сказал:

— А теперь мне хотелось бы, чтобы вы, по нашему давнему уговору, научили меня искусству святого — быть нестареющим и бессмертным.

Просьба Гонскэ привела лекаря в замешательство: он не знал, что ответить слуге. Ведь нельзя же теперь, после того как Гонскэ прослужил двадцать лет, не получив ни гроша, сказать ему, что, мол, искусству святого они научить его не могут. Ничего не оставалось лекарю, как холодно ответить:

— Это ведь не я, а моя жена знает секрет, как стать святым. Пусть она тебя и научит.

И, сказав это, лекарь отвернулся от Гонскэ.

Однако жена его и глазом не моргнула.

— Что ж, я научу тебя секретам святого, но ты должен будешь исполнить в точности все, что я тебе велю, как бы трудно это ни было. Если же ты не исполнишь хотя бы один мой приказ, ты не только не станешь святым, но должен будешь служить мне без всякой платы еще двадцать лет. Иначе тебя постигнет страшная кара, и ты умрешь.

— Слушаюсь! Я постараюсь в точности исполнить все, что вы изволите приказать, как бы трудно это ни было.

Гонскэ, радуясь всей душой, ждал, что прикажет ему сделать хозяйка.

— В таком случае заберись на сосну, что растет во дворе, — последовал приказ лекариши. Разумеется, она не могла знать никакого секрета, как стать святым. Просто она хотела, наверное, дать Гонскэ очень трудный, невыполнимый приказ и заставить его служить задаром еще двадцать лет. Однако едва Гонскэ услышал слова хозяйки, как тотчас же вскарабкался на сосну.

— Выше! Еще, еще выше! — командовала лекариша, стоя на краю веранды и глядя на Гонскэ, взбиравшегося на дерево.

И вот уже хаори Гонскэ с гербами развеивается на самой верхушке высокой сосны, растущей во дворе дома лекаря.

— Теперь отпусти правую руку!

Гонскэ, изо всех сил уцепившись левой рукой за толстый сук, осторожно разжал правую руку.

— Теперь отпусти и левую руку!..

— Эй, подожди! — раздался голос лекаря. — Ведь стоит этому деревенщине отпустить левую руку, как он тут же шлепнется на землю. Там ведь камни, и ему наверняка не уцелеть.

И на веранде появился лекарь со встревоженным лицом.

— Не суйся не в свое дело! Положись во всем на меня. ...Так отпускай же левую руку!

Не успели замолкнуть эти слова лекаря, как Гонскэ, собравшись с духом, отпустил и левую руку. Что ни говори, трудно рассчитывать, чтобы человек, взобравшийся на самую верхушку дерева, не упал, если отпустит обе руки. И в самом деле, в тот же миг фигура Гонскэ в хаори с гербами отделилась от вершины сосны. Но, оторвавшись от дерева, Гонскэ вовсе не думал падать на землю — чудесным образом замер он неподвижно среди светлого неба, словно кукла в спектакле «дзёрури».

— Премного вам благодарен за то, что вашими заботами и я смог причислиться к лику святых.

Произнеся с вежливым поклоном эти слова, Гонскэ спокойно зашагал по синему небу и, удаляясь все дальше и дальше, скрылся, наконец, в высоких облаках...

Что потом стало с лекарем и его женой, никто не знает. Сосна же, что росла во дворе их дома, прожила еще очень долго. Говорят, что сам Тацугоро Ёдоя велел специально пересадить это огромное, в четыре обхвата, дерево в свой сад, чтобы любоваться им, когда оно покрыто снегом.

Март 1922 г.



САД

НАЧАЛО

То был сад старинной семьи Накамура, управителей дома для знатных проезжих при почтовой станции.

Лет десять после революции сад кое-как сохранял свой прежний вид. И пруд в форме тыквы-горлянки оставался прозрачным, и ветви сосен свешивались с искусственных горок. Целы были и беседки — «Хижина залетной цапли», «Павильон омовения сердца»; с уступов гор, ограждавших пруд с задней его стороны, по-прежнему белея, сверкая, низвергались водопады. И в зарослях желтого шиповника, разраставшихся год от года, все еще стоял каменный фонарь, которому, как говорили, название было пожаловано по случаю высочайшего проезда принцессы Кадзу. И все-таки не скрыть было каких-то примет запустения. Особенно ранней весной, в те дни, когда и в саду, и вокруг него на деревьях набухали почки, еще более явственно ощущалось, как из-за этого созданного человеческими руками живописного вида надвигается неведомая, тревожная, дикая сила.

Ушедший на покой глава семьи Накамура, грубый с виду старик инкё, тихо проводил свои дни с женой, страдавшей паршой, у очага в главном доме, обращенном к саду, играя в го или цветочные карты. Время от времени случалось, что старуха жена раз пять-шесть

подряд обыгрывала его, и тогда он вскипал и сердился. Старший сын, к которому перешло главенство в семье, с молодой женой — своей двоюродной сестрой — жил в тесном флигеле, сообщавшемся с главным домом посредством галереи. Сын, принявший для писания хайку псевдоним Бунсицу, был вспыльчивый, несдержанный человек. Не только больная жена и младшие братья, это уж само собой, — его побаивался даже старик инкё. Иногда приходил к нему в гости нищенствующий поэт Сэйгэцу, живший тогда на этой станции. Старший сын почему-то с ним одним обращался приветливо, угощал сакэ, усаживал писать стихи. Сохранились от того времени такие строфы: «На горах еще / Аромат цветов и трав / И кукушки зов» (Сэйгэцу). «Там и сям среди груды скал / Водопадов светлый блеск» (Бунсицу). Было еще два сына: средний ушел зятем в семью родственника-рисоторговца, младший служил у крупного водочного заводчика в городе, расположенном в пяти-шести ри от станции, где они жили. Оба, точно сговорившись, редко показывались в родном доме. Младший сын и жил далеко, и, помимо того, издавна был не в ладах с главой семьи; средний сын вел разгульную жизнь и даже в семье жены почти не появлялся.

А сад через два-три года запустел еще больше. На поверхности пруда стали покачиваться водоросли. Среди зеленых насаждений появились сухие деревья. Тем временем в жаркое, засушливое лето старик отец умер от удара. Дней за пять до этого, когда он пил свою настойку в «Павильоне омовения сердца», по ту сторону пруда то и дело появлялся какой-то кугэ, весь в белом, — так, по крайней мере, ему померещилось среди дня. На следующий год поздней весной средний сын, захватив деньги своих приемных родителей, бежал с прислужницей из чайного дома. А осенью его жена родила недоношенного мальчика.

После смерти отца старший сын поселился с матерью в главном доме. Освободившийся флигель снял директор местной школы. Директор был приверженцем утилитаризма, теории Фукудзава Юкити, и поэтому постоянно уговаривал старшего сына насадить в саду фруктовые деревья. С тех пор весной в саду среди привычных ив и сосен пестрели цветы финиковых слив,

персиков, абрикосов. Прогуливаясь по новому фруктовому саду, директор школы иногда обращался к старшему сыну: «Смотрите, здесь можно отлично любоваться цветами... Одним выстрелом двух зайцев...» Но искусственные холмы, пруд, беседки из-за этого приняли еще более жалкий вид. К естественному разрушению присоединилось еще и разрушение, произведенное, как говорится, руками человеческими.

Осенью на горах за прудом вспыхнул давно уже не случавшийся пожар. С тех пор низвергавшиеся в пруд водопады совершенно пересохли, и сразу вслед за этой бедой заболел с первым снегом сам глава семьи. Как сказал врач, у него открылась по-старому — чахотка, по-нынешнему — туберкулез. Больной то лежал, то вставал и становился все более раздражительным. Дошло до того, что, жестоко поспорив с младшим братом, который пришел поздравить его с Новым годом, он швырнул в него грелкой для рук. С тех пор младший брат больше домой не приходил и даже, когда старший брат умер, не показался. Старший брат прожил еще около года и, окруженный неусыпной заботой жены, скончался под навешенной над постелью сеткой от комаров. «Лягушки кричат... Что с Сэйгэцу?» — были последние его слова. Но Сэйгэцу уже давным-давно, словно ему наскучили виды этой местности, не приходил даже за подаванием.

После того как отметили годовщину смерти старшего сына, младший женился на дочери своего хозяина. И, воспользовавшись тем, что директора начальной школы, снимавшего флигель, перевели в другое место, он с молодой женой перебрался туда. Во флигеле появились черные лаковые комоды, комната украсилась свертками розовой и белой ваты... Но в это время в главном доме заболела жена покойного старшего сына. Болезнь ее была та же, что и у мужа. Лишившийся отца, единственный ребенок Рэнъити, с тех пор как мать стала харкать кровью, всегда спал у бабушки. Бабушка перед сном непременно повязывала голову полотенцем. Тем не менее на запах парши поздней ночью к ней подбирались крысы. Случалось, что она забывала о полотенце, и тогда, конечно, крысы кусали ей голову. К концу года жена покойного старшего брата скончалась тихо, как гаснет лампада. А на другой день после

похорон от сильного снегопада рухнула стоявшая у горы «Хижина залетной цапли».

И когда опять наступила весна, весь сад превратился в зеленеющие почками заросли, где только и виднелась у мутного пруда тростниковая кровля «Павильона омовения сердца».

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Однажды, в сумерки пасмурного дня, на десятый год после своего бегства, средний сын вернулся в отчий дом. Отчий дом, хотя он и назывался так, на самом деле был все равно что дом младшего сына. Младший брат встретил блудного брата как ни в чем не бывало — без особого неудовольствия, но и без особой радости.

С тех пор средний брат в «комнате будд» в главном доме, выткнув на полу свое зараженное дурной болезнью тело, молчаливо и неподвижно следил за огнем очага. В этой комнате в божнице стояли таблички с именами покойных отца и старшего брата. Он задвигал дверцы перед божницей, чтобы не видеть этих табличек. И уж, разумеется, ни с матерью, ни с младшим братом и его женой он, если не считать того, что они три раза в день встречались за общим столом, почти совсем не видался. Лишь сирота Рэнъити иногда заходил к нему в комнату поиграть. Он рисовал мальчику на грифельной доске горы, корабли. И иногда неверной рукой набрасывал смутные обрывки старинной песенки: «Расцвели на Мукодзима вишни. Выйди, нэйсан, из чайного дома...»

И опять наступила весна. В саду среди разросшихся кустов и деревьев скудно цвели персики и абрикосы. В тускло поблескивающем пруду отражался «Павильон омовения сердца». Но средний брат по-прежнему сидел один взаперти у себя в комнате и даже днем большей частью дремал. И вот однажды до его слуха донесся слабый звук сямисэна. И в то же время запел чей-то прерывистый голос: «Тогда случилось так... / В битве при Сува / Мацумото родич, князь / Ёси-сама / У орудий в крепости / Соизволил быть...» Он, все так же лежа, приподнял голову: и пение и сямисэн — это, несомненно, его мать поет в столовой. «Пышен был его

наряд. В этот ясный день / Величавой поступью / Вышел на врага / Славный воин и герой. / По всему видать...» Мать все пела, вероятно, внуку шуточные песни с лубочных картинок Оцу. А это была песенка, которая считалась модной лет двадцать — тридцать назад и которой ее покойный муж, этот грубый с виду старик, выучился у какой-то ойран. «Вражья пуля просвистит, / Грудь его пробьет, / Ах, не миновать того — / Жизнь брэнная его / У моста Тоё, / Как росинка на траве, / Хоть и пропадет, / До скончания веков / Имя будет жить...» На давно не бритом лице сына удивленно блеснули глаза.

Через два-три дня младший брат обнаружил, что средний брат копает землю у заросшей подбелом искусственной горки. Он, задыхаясь, неумело взмахивал киркой. В его усилиях, на первый взгляд смешных, чувствовалось упорство. «Братец, что вы делаете?» — окликнул его младший брат, подходя сзади с папиросой в зубах. «Я? — Средний брат в замешательстве поднял глаза на младшего. — Хочу провести здесь проток». — «Провести проток — это зачем же?» — «Хочу сделать сад, чтобы он был как раньше». Младший брат усмехнулся и больше ничего не спросил.

Средний брат каждый день, с киркой в руках, усердно работал над протоком. Но для него, истощенного болезнью, это было делом нелегким. Он быстро уставал. От непривычной работы у него появились мозоли, ломались ногти, все тело ныло. Иногда он бросал кирку и как мертвый валялся наземь. А вокруг него, среди окутывавших сад испарений, дышали влагой цветы и молодые побеги. Отдохнув несколько минут, он вставал и опять, пошатываясь, упрямо брался за работу.

Но дни шли за днями, а в саду не видно было значительных перемен. В пруду по-прежнему густо зеленели водоросли, среди деревьев и кустов торчали засохшие ветки. Особенно после того, как отцвели фруктовые деревья, сад казался, пожалуй, еще более заглохшим, чем раньше. К тому же в доме ни стар, ни млад не почувствовали затее среднего брата. Младший брат, одержимый духом спекуляции, был поглощен мыслями о ценах на рис и на шелковичные коконы. Его жена питала чисто женское отвращение к болезни деверя. Мать... мать боялась, как бы это копанье в земле не повредило

его здоровью. И все-таки средний брат, вопреки людям и природе, упорно мало-помалу переделывал сад.

Однажды утром, выйдя после дождя, он увидел, что Рэнъити выкладывает камешками края протока, с которых над водой свешивались листья подбела. «Дядюшка! — Рэнъити весело смотрел на него. — Давайте я вам буду помогать!» — «Что ж, помогай!» Средний брат улыбнулся ему в ответ светлой улыбкой, как давно уже не улыбался. С тех пор Рэнъити неотлучно и горячо помогал дяде. А тот, усевшись перевести дух в тени деревьев, чтобы развлечь племянника, рассказывал ему о разных удивительных вещах — о море, о Токио, о железной дороге. Рэнъити грыз зеленые сливы и слушал его как замороженный.

В этом году в «сезон дождей» дождей выпадало мало. Они — старый инвалид и ребенок, не поддаваясь ни палящим лучам солнца, ни испарениям от зелени, копали пруд, рубили деревья и все расширяли границы своей работы. Однако, хотя внешние препятствия они кое-как преодолевали, с внутренними им было не совладать. Средний брат мог представить себе старый сад лишь смутно, как сквозь сон. Как были посажены деревья, как были проложены дорожки — стоило ему начать припоминать, и все расплывалось. Иногда в разгаре работ он вдруг опирался на кирку и рассеянно озираясь по сторонам. Рэнъити сейчас же подымал на него встревоженные глаза. «В чем дело?» — «Что тут было раньше? — растерянно бормотал про себя вспотевший дядя. — Мне кажется, что этого клена здесь не было». Рэнъити грязными ручонками давил муравьев, и только.

Внутренние препятствия этим не ограничивались. По мере того как лето подходило к концу, у среднего брата, вероятно, от непрерывной непосильной работы, стало мутиться в голове. Часть пруда, которую он сам же выкопал, он засыпал землей; на то самое место, откуда вырывал сосну, он сажал другую — все это с ним теперь случалось не раз. Особенно рассердило Рэнъити, что на колья для пруда он срубил ивы, росшие у самой воды. «Ведь эти ивы вы сами только недавно посадили!» Рэнъити с досадой глядел на дядю. «Правда? Я стал совсем беспамятным!» И дядя угрюмо смотрел на залитый солнцем пруд.

И все-таки, когда настала осень, заросли подстриженных кустов и трав придали саду очертания, смутно напоминавшие прежние. Конечно, не приходилось сравнивать его с прежним: и «Хижины залетной цапли» больше было не видать, и водопады уже не низвергались с гор. Да и вообще весь созданный знаменитым садоводом дух старинного изящества исчез почти бесследно. Но сад все-таки существовал. В прозрачной воде пруда еще раз отразились искусственные горки. И сосны еще раз величественно распростирали свои ветви перед «Павильоном омовения сердца». Но в то самое время, когда сад был восстановлен, средний сын слег. Жар держался день за днем, все суставы ломило. «Зря усердствовал!» — снова и снова причитала мать, сидевшая у его изголовья. Но он был счастлив. Конечно, в саду оставались места, которые ему еще хотелось подправить. Однако с этим уже ничего не поделаешь. По крайней мере, он потрудился даром. И он чувствовал себя удовлетворенным. Десятилетний труд научил его покорности судьбе, покорность судьбе спасла его.

В конце осени средний брат незаметно для всех выпустил последний вздох. Обнаружил это Рэнъити. Он с громким криком побежал по галерее к флигелю. Сейчас же к покойнику с испуганными лицами собралась вся семья. «Посмотри, братец как будто улыбается!» — обернулся младший брат к матери. «О, сегодня дверца божницы открыта!» — заметила его жена, не глядя на покойника.

После похорон дяди Рэнъити часто сиживал один у «Павильона омовения сердца». Всегда, словно в недоумении, глядя на осенние деревья и воды...

КОНЕЦ

То был сад старинной семьи Накамура, управителей дома для знатных проезжих при почтовой станции. Не прошло и десяти лет с тех пор, как был восстановлен его прежний вид, и сад погиб опять, на этот раз вместе со всей семьей. На месте погибшего сада выстроили железнодорожную станцию, перед станцией открылся маленький ресторан.

Из семьи Накамура к этому времени здесь никого не осталось. Мать, конечно, уже давным-давно присоединилась к отошедшим. Младший брат, разорившись, уехал куда-то в Осака.

Поезда каждый день приходили и уходили. На станции за большим столом сидел молодой начальник. На необременительной службе в свободные от дела часы он смотрел на голубые горы, разговаривал с местными служащими. В этих разговорах о семье Накамура никогда не упоминалось. А что на том самом месте, где они сейчас стоят, когда-то были беседки и искусственные горки, — об этом тем более никто и не думал.

А в это время Рэнъити сидел за мольбертом в студии европейской живописи в Акасака, в Токио. Свет, падавший через стеклянный потолок, запах масляных красок, натурщица в прическе «момоварэ» — вся обстановка студии не имела ничего общего с родным домом его детства. Но иногда, когда он водил кистью по холсту, в его душе всплывало грустное стариковское лицо. И это лицо, улыбаясь, говорило ему, усталому от беспрерывной работы: «Ты еще ребенком помогал мне. Давай теперь я помогу тебе!»

Рэнъити и теперь, в бедности, по-прежнему пишет картины. О младшем брате никто ничего не слышал.

Июнь 1922 г.



БАРЫШНЯ РОКУНОМИЯ

1

Отец барышни Рокуномия происходил из древнего знатного рода. Но, будучи человеком старого склада, отсталым от века, он по чину не пошел дальше звания хёбунодайю. Барышня жила с отцом и матерью в невысоком доме недалеко от Рокуномия, и прозвали ее барышней Рокуномия, по названию этой местности.

Родители баловали ее. Однако, тоже по старому обычаю, никому не показывали. Они только горячо надеялись, что кто-нибудь посватается к их дочери. И барышня проводила свои дни чинно, скромно, как учили ее отец с матерью. То было существование без всяких горестей, зато и без всяких радостей. Но барышня, совсем не знавшая жизни, не чувствовала себя неудовлетворенной. «Только бы отец с матерью были здоровы!» — думала она.

Вишни, склонявшиеся над самым прудом, год за годом скудно покрывались цветами. Между тем красота барышни как-то сразу приобрела оттенок зрелости. Отец, ее опора, пристрастившись в старости к саке, внезапно скончался. Через полгода от непрерывных сетований по невозвратному за ним последовала и мать. Барышня не так опечалилась, как растерялась.

В самом деле, у нее, взлелеянной дочери, на всем свете не осталось, кроме кормилицы, ни одной близкой души.

Кормилица мужественно, не щадя своих сил, трудилась ради барышни. Но хранившиеся из рода в род перламутровые шкатулки и серебряные курильницы одна за другой исчезали из дома. В то же время стали уходить слуги и прислужницы. Барышня тоже мало-помалу начала понимать трудности жизни. Но помочь делу ей было не под силу. И в унылых покоях барышня, совсем как в былые времена, проводила время все за теми же однообразными развлечениями — играла на кото, слагала танка.

И вот однажды осенью, в сумерки, кормилица подошла к барышне и медленно, с расстановкой, сказала ей так:

— Просил меня мой племянник-монах: говорит, что некий благородный человек, прежний правитель провинции Тамба, просит дозволения повидаться с вами. Собой он хорош, и душа у него добрая, и отец его чином высок, а родом он из близкой ко двору знати — так не соизволите ли свидеться с ним? Все лучше, чем жить в таком стеснении...

Барышня тихонько заплакала. Отдаться этому человеку — все равно что продать свое тело ради спасения от постылой нужды. Конечно, она знала, что на свете и это часто случается. Но когда так сложилось у нее самой, печаль ее была велика. И, сидя против кормилицы, барышня под свист ветра, проносящегося в листьях пуэрарии, долго прикрывала лицо рукавом...

2

Все же она стала каждую ночь встречаться с этим кавалером. Кавалер, как и говорила кормилица, обладал мягким нравом. И лицом и осанкой он был изящен, как ему и приличествовало быть. А кроме того, почти всем было ясно, что ради красоты барышни он забывал обо всем на свете. Барышня, конечно, тоже не питала к нему неприязни. По временам она даже думала о нем как о своей опоре. Но когда, жмурясь от света светильников, она лежала с ним ночью на ложе за ширмой с

бабочками и цветами, она ни разу не чувствовала радости.

Тем временем в доме мало-помалу становилось веселее. Появились новые черные лаковые полки и бамбуковые шторы; прибавилось слуг; кормилица, радуется, вела хозяйство бодрее, чем раньше. Но, даже видя все эти перемены, барышня только грустила.

Однажды в дождливую ночь, сидя с барышней за сакэ, кавалер рассказал ей страшную историю, случившуюся, по его словам, в провинции Тамба. Некие путники по дороге из столицы в Идзумодзи заночевали у подножья горы Оямá. Жена хозяина гостиницы как раз в ту ночь благополучно родила девочку. И вот путники увидели, как из комнаты роженицы быстрыми шагами вышел какой-то никому не ведомый мужчина. Проронив только: «От роду восьми лет... наложит на себя руки...» — он вдруг исчез. Через восемь лет путники, на этот раз по дороге в Киото, заночевали в том же доме. И что же? В самом деле оказалось, что девочка в возрасте восьми лет погибла странной смертью. Падая с дерева, она наткнулась горлом на серп. Вот о чем рассказал кавалер.

Услышав этот рассказ, барышня ужаснулась тщете человеческой жизни. По сравнению с судьбой той девочки — жить, имея опорой кавалера, без сомнения, было еще счастьем. «Надо все предоставить судьбе — что мне еще остается?» Думая так, она пленительно улыбалась.

Ветви нависших над кровлей сосен не раз сгибались под тяжестью снега. Барышня днем, как в былые времена, перебирала струны кото или играла в сугороку, а по ночам, разделяя ложе с кавалером, слушала, как утки садятся на пруд. То было время почти без горестей, зато почти и без радостей. Но барышне такой унылый покой по-прежнему приносил призрачное удовлетворение.

Однако и этому покою неожиданно быстро пришел конец. Однажды ночью ранней весной кавалер, оставшись с барышней наедине, с усилием промолвил:

— Встречаюсь я с вами последнюю ночь.

Его отец получил новое назначение правителем провинции Муцу. И кавалер тоже должен был уехать с

отцом в эту снежную глушь. Конечно, расставаться с барышней ему было тяжелее всего. Но так как он сделал ее своей женой тайно от отца, то теперь открыться ему было не время. Он долго-долго говорил ей об этом, перемежая слова вздохами.

— Но через пять лет срок службы истечет. Ждите, не тоскуя.

Барышня лежала ничком и плакала. Расстаться с кавалером, о котором она думала хотя и без любви, но как о своей опоре, было ей несказанно горестно. Кавалер, глядя барышню по спине, утешал ее и ободрял. Но у него самого на каждом втором слове голос дрожал от слез.

Тут ничего не подозревающая кормилица в сопровождении молодой служанки принесла подносы и кувшинчики с сакэ. Принесла, рассказывая о том, что на вишнях, склонившихся над старым прудом, распустились почки...

3

Прошло пять лет, и снова наступила весна. Но кавалер, уехавший в северные края, так и не вернулся в Киото. За это время слуги все до единого разбрелись кто куда, а покои, в которых жила барышня, как-то раз во время бури рухнули. С тех пор жилищем барышни, а с ней вместе и кормилицы, стала боковая пристройка для слуг. Хотя пристройка называлась жилищем, но была тесна и запущена и лишь кое-как служила защитой от дождя и росы. Когда они перебрались в эту пристройку, кормилица от жалости не могла смотреть на барышню без слез. Но бывало и так, что она беспричинно сердилась.

Жилось им, конечно, тяжело. Резные шкафчики давным-давно исчезли, зато бывали у них овощи и рис. Теперь и из одежды у барышни не оставалось ничего, кроме того, что было надето на ней. Случалось даже, что, когда не хватало дров, кормилица отрывала доску у полусгнившего дома. Но барышня, как в былые времена, отдыхала душой за кото и танка и неустанно ждала кавалера.

И вот осенью того же года в лунный вечер кормилица подошла к барышне и медленно, с расстановкой, сказала ей так:

— Его светлость, наверное, не вернется. Что, если бы вы соизволили позабыть его светлость? Кстати, некий младший управитель лекарского приказа не дает мне проходу, домогаясь встречи с вами...

Слушая эти слова, барышня вспомнила то, что произошло шесть лет назад. Шесть лет назад ей было так грустно, что, сколько она ни плакала, никак не могла наплакаться. Но теперь и телом и душой она слишком устала. «Лишь бы спокойно состариться...» — больше она не думала ни о чем. Выслушав кормилицу, она подняла исхудалое лицо к белой луне и скорбно покачала головой:

— Мне больше ничего не нужно. Жить ли, умереть ли — мне все равно.

* * *

Как раз в этот же час кавалер в далекой провинции Хитати пил сакэ с новой женой. Жена пришлась отцу по нраву: она была дочь правителя этой провинции.

— Что это, слышишь? — сказал кавалер, вдруг испуганно подняв взгляд к карнизу крыши, залитому ровным лунным светом. В эту минуту перед глазами у него почему-то ясно встал образ барышни.

— Должно быть, каштан упал.

Ответив так, жена из Хитати неуклюже наклонила над чаркой кувшинчик с сакэ.

4

Кавалер вернулся в Киото через девять лет поздней осенью. По дороге в Авадзу он с женой из Хитати и ее родней, чтобы переждать неблагоприятный по приметам день, несколько задержался. В Киото они намеренно прибыли в сумерки, чтобы не привлекать внимания людей. Живя в глуши, кавалер раза два-три посылал киотоской жене нежные письма. Но один голец не являлся обратно, другой возвращался, не найдя барышни, и кавалер ни разу не получил ответа. Поэтому, когда он приехал в Киото, любовь его разгоре-

лась еще сильнее. Едва препроводив благополучно жену во дворец отца, он в тот же час, даже не переехавшись с дороги, отправился к Рокуномия.

Когда он пришел к Рокуномия, он увидел, что и ворота на четырех столбах, и дом, крытый корой дерева хиноки, и покои барышни — все исчезло, осталась лишь груда обломков. Кавалер стоял по колени в траве и растерянно обводил взором то место, где когда-то был сад. Там в полужасыпанном пруду появилось немного осоки. В сиянии молодого месяца осока тихо шелестела.

Неподалеку от бывшего помещения дворецкого он заметил покосившийся дощатый домик. Когда он подошел ближе, там как будто мелькнула чья-то тень. Вглядываясь в темноту, он тихо позвал. Тогда на лунный свет, пошатываясь, вышла старая монахиня, показавшаяся ему как будто знакомой.

Когда кавалер назвал себя, монахиня долго плакала, не говоря ни слова. Потом прерывающимся голосом она рассказала ему о барышне.

— Ваша милость, верно, меня позабыли. Я мать женщины, что была в услужении у госпожи. Дочь прислуживала еще пять лет после того, как ваша милость изволили отбыть из Киото. А тут сошлось так, что она с мужем поехала в Тадзима, и я тогда попросила отпустить меня вместе с дочерью. Но недавно я забеспокоилась, что теперь с барышней, и одна поехала в Киото. И что ж, как изволите видеть — ведь даже дом и тот пропал. Где теперь барышня, я, право, давно уже не знаю, что и думать. Ваша милость, вероятно, не знает, что, когда дочь моя была в услужении, барышне жилось так худо, что и сказать нельзя...

Выслушав все, кавалер снял одну из своих нижних одежд и отдал этой согбенной монахине. И затем, понурив голову, молча зашагал прочь.

..... 5

Начиная с утра следующего дня кавалер в поисках барышни исходил всю столицу. Но ни где барышня, ни что с ней, ему так и не удалось узнать.

И вот несколько дней спустя под вечер он стоял, укрываясь от струй дождя, под навесом Западной

галереи перед воротами Судзакумón. Кроме него, там пережидал дождь еще какой-то монах, похожий на нищего. Дождь печально накрапывал сквозь просвет покрытых лаком ворот. Поглядывая уголком глаз на монаха, кавалер, стараясь рассеять досаду, ходил взад и вперед по каменным плитам. Вдруг слух его уловил, что за решеткой полутемного окна галереи кто-то есть. Он равнодушно кинул взгляд в окно.

Там монахиня, оправляя дырявые циновки, ухаживала за больной женщиной. Даже в слабом свете сумерек лицо женщины казалось до ужаса изможденным. Но довольно было одного взгляда, чтобы узнать в ней барышню. Кавалер хотел с ней заговорить. Но так жалок был ее облик, что голос его оборвался. А она, не зная о том, что он рядом, ворочаясь на дырявой циновке, с мучительным усилием произнесла такую танка:

У изголовья
Со свистом дует в щели
Холодный ветер.
А ты все стерпишь, тело,
Игрушка бренной жизни...

Услыхав этот голос, кавалер невольно произнес имя барышни. Барышня подняла голову. Но едва она увидела кавалера, как со слабым криком снова упала ничком на циновку. Монахиня — ее верная кормилица — вместе с вбежавшим кавалером испуганно бросилась ее поднимать. Но когда, поддерживая ее за плечи, они приподняли ее и взглянули ей в лицо, не только кормилица, но и кавалер испугались еще больше.

Кормилица, точно обезумев, кинулась к нищему монаху и попросила его прочесть молитвы над умирающей. Монах согласился и сел у изголовья барышни. Но вместо того, чтобы читать молитвы, он обратился к ней с такими словами:

— Жизнь и смерть не во власти человека. Не щадя сил, призывай будду Амида.

Поддерживаемая кавалером, барышня стала чуть слышно возглашать имя будды. Но сейчас же испуганно устремила глаза на темный потолок.

— Ах, там огненная колесница!

— Не бойся! Молись будде, и снизойдет на тебя благо.

Монах слегка возвысил голос. Немного погодя барышня, словно грезя наяву, пробормотала:

— Я вижу золотой лотос. Огромный лотос, похожий на священный зонт.

Монах хотел что-то сказать, но не успел. Барышня прерывающимся голосом проговорила:

— Уже не вижу лотоса. Теперь темно, только ветер свистит во тьме.

— Всем сердцем призывай будду. Отчего не призываешь ты будду?

Монах говорил почти гневно. Но барышня, словно при последнем издыхании, повторяла все то же:

— Ничего... ничего не вижу. Темно... Только ветер... только холодный ветер свистит во тьме.

Кавалер и кормилица, глотая слезы, поминали вполголоса имя Амида. Монах, набожно сложив руки, помогал барышне молиться. И так, при словах молитвы, мешавшихся с шумом дождя, на дырявой циновке барышня мало-помалу отошла в царство смерти...

6

Через несколько дней в лунную ночь оборванный монах, призывавший барышню молиться, опять сидел, обхватив колени, в Западной галерее перед воротами Судзакумон. По освещенной луной дороге, беспечно что-то напевая, шел самурай. Увидев монаха, он остановился и равнодушно сказал:

— Говорят, с недавних пор здесь у ворот слышится женский плач?

Не поднимаясь с каменных плит, монах ответил одним словом:

— Слушай.

Самурай прислушался. Но, кроме слабого шороха сверчков, не слышно было ничего. В ночном воздухе разносился лишь смолистый запах сосен. Самурай хотел заговорить. Но не успел он произнести и слова, как вдруг откуда-то донесся тихий-тихий женский стон.

Самурай схватился за меч. Но голос, оставив за собой долгий, протяжный отзвук, где-то бесследно затих.

— Молись будде! — Монах поднял лицо к луне.—
То дух никчемной женщины, не ведающей ни рая, ни ада. Молись будде!

Но самурай, не отвечая, всматривался в лицо монаха. И вдруг, изумленно шагнув к нему, схватил его за руки.

— Ведь вы — преподобный Найки? Почему в таком месте...

Тот, кого назвали «преподобный Найки», в миру Ёсисигэ Ясутанэ, был благочестивейший буддийский монах, достославный даже среди учеников преподобного Куя.

Июнь 1922 г.



ЧИСТОТА О-ТОМИ

Это было в послеполуденные часы четырнадцатого мая первого года Мэйдзи, в те послеполуденные часы, когда вышел приказ: «Завтра на рассвете правительственные войска начнут военные действия против отряда сэгитай в монастыре Тоэйдзан. Всем проживающим в районе Уэно предлагается незамедлительно выселиться куда угодно». В галантерейной лавке во втором квартале улицы Ситая после ухода хозяина Когая Масабэя оставался один только большой трехцветный кот: он тихонько лежал, свернувшись клубком, в углу кухни, у раковины аваби.

В доме с наглухо закрытыми дверьми, разумеется, было совершенно темно даже днем. Не слышно было ни шагов, ни голосов. До слуха доносился только шум дождя, лившего уже несколько дней подряд. Дождь время от времени вдруг потоками проливался на невидимые крыши и опять удалялся в пространство. Всякий раз, когда дождь усиливался, кот округлял свои янтарные глаза. Тогда в кухне, где нельзя было разглядеть даже очага, на миг появлялись два зловещих фосфорических огонька. Но, почувствовав, что кругом ничего не меняется, кот, так и не пошевелившись, снова сощуривал глаза в узкие щелки.

Так повторялось много раз, и наконец кот, уже, видимо, засыпая, больше не открывал глаза. Но дождь

по-прежнему то вдруг усиливался, то стихал. Восемь... Восемь без половины... Время шло, и под шум дождя день понемногу клонился к вечеру.

И вот уже близко к семи часам кот, чем-то обеспокоенный, неожиданно широко раскрыл глаза. И в то же время как будто насторожил уши. Дождь уже не лил так сильно. Раздались голоса носильщиков паланкина, пробежавших по улице. Больше ничего не было слышно. Но после нескольких секунд тишины в темной кухне вдруг стало как-то светлеть. Дощатый настил возле очага, блеск воды в кувшине без крышки, сосенка бога кухонного очага, шнур от окошка в потолке — все это одно за другим вырисовывалось из мрака. С беспокойством поглядывая на водосток, кот медленно поднялся во весь свой рост.

В это время дверцу водостока открыл, — нет, не только дверцу, в конце концов и сѣдзи отодвинул, — какой-то до костей промокший бродяга. Просунув в кухню голову, повязанную старым полотенцем, он некоторое время настороженно прислушивался к тишине, царящей в доме. Удостоверившись, что никого не слышно, он потихоньку вошел в кухню в своем рогожном плаще, на котором темнели мокрые пятна. Кот, прижав уши, слегка попятился. Но бродяга, не обращая на него внимания, задвинул за собой сѣдзи и медленно снял с головы полотенце. На лице, заросшем волосами и сплошь покрытом грязью, в нескольких местах были наклеены пластыри. Однако сами черты были вполне обыкновенными.

Выжимая воду из волос и отирая капли с лица, бродяга тихим голосом позвал кота по имени:

— Микѓ, Микѓ!

Кот, оттого что голос был ему знаком, снова поднял прижатые было уши. Однако с места не трогался и время от времени с опаской поглядывал на пришедшего. Бродяга тем временем снял свой рогожный плащ и уселся перед котом на пол, скрестив босые ноги, настолько грязные, что из-за грязи не видно было кожи.

— Ну что, Микэшка? Я вижу, никого тут нет, выходит, одного тебя не выселили.

Бродяга засмеялся и своей большой рукой погладил кота по голове. Кот весь напрягся, словно приготовился бежать. Но — только и всего: он не отскочил, а наобо-

рот, опять сел, как прежде, и понемногу даже стал щурить глаза. Погладив кота, бродяга, отогнув кверху полу своего старого кимоно, вытащил из-за пазухи масляно поблескивающий пистолет и при тусклом свете стал осматривать курок. Какой-то бродяга с пистолетом в кухне всеми покинутого дома, в котором царила атмосфера войны, — это была, несомненно, картина необычная, какая бывает в романах... Но кот, сощуря глаза и по-прежнему выгибая спину, сидел спокойно, словно знал все тайны.

— А завтра, Микэшка, тут всюду дождем будут падать пули. Попадет в тебя — тут тебе и крышка. Так что завтра спрячься под пол и сиди там весь день, что бы ни происходило...

Осматривая свой пистолет, бродяга время от времени заговаривал с котом.

— Мы с тобой старые знакомые. Но сегодня мы распрощаемся. Завтра и для тебя злой день, и я, может быть, завтра умру. А если не умру и останусь жив, все же по-прежнему рыться с тобой в помойках я не намерен. Ты, вероятно, будешь очень доволен?

В это время шум дождя снова усилился. Тучи нависли низко-низко над самой крышей, окутывая мглой черепицу. Тусклый свет, разлитый по кухне, стал еще слабее. Однако бродяга, не поднимая головы, закончил осмотр пистолета и тщательно зарядил его.

— И все же тебе жаль будет со мной расстаться? Впрочем, коты, как говорят, не помнят добра. Поэтому ждать от тебя нечего. Ну да это все равно. Только вот, когда тут меня не будет...

Бродяга вдруг замолчал: ему показалось, что снаружи кто-то подошел к водостоку.

Спрятать пистолет и обернуться — для бродяги это было делом одного мгновения. Но и сёдзи у водостока со стуком раздвинулись в то же мгновение. Моментально приняв оборонительную позу, бродяга взглянул прямо в глаза пришельцу.

Но этот кто-то, раздвинувший сёдзи, увидев бродягу, слегка вскрикнул, как бы, в свою очередь, пораженный неожиданностью. Это была еще совсем молодая женщина, босая, с большим зонтом в руках. В безотчетном страхе она чуть не выскочила обратно под дождь. Но испуг прошел, к ней вернулось мужество, и она

стала всматриваться в лицо бродяги, пронизывая взглядом полутьму кухни.

Бродяга, тоже, видно, ошеломленный, сидел неподвижно, приподняв одно колено и не спуская с нее глаз. Выражение у него было уже не такое настороженное, как раньше. Некоторое время они молча смотрели друг на друга.

— Что такое? Это ты, Синко? — будто несколько успокоенная, обратилась женщина к бродяге. Бродяга, улыбаясь, закивал головой.

— Извини, пожалуйста. Так льет сегодня, вот я и забрался сюда в отсутствие хозяев. Только ты не подумай, что я променял свою веру на занятие домушника.

— Напугал! В самом деле... Хотя ты и говоришь, что забрался сюда не как вор, но всякому нахальству есть предел. — Страхивая с зонта капли, женщина сердито добавила: — Ну, а теперь уходи. Я хочу войти.

— Ладно, уйду, не гони, сам уйду. А ты что, еще не выселилась?

— Выселилась. Выселилась, да только... Ну, не все ли тебе равно?

— Забыла что-нибудь? Да проходи же сюда, ведь на тебя дождь льет.

Не отвечая на эти слова бродяги, женщина, все еще раздосадованная, опустилась на дощатый настил водостока. Затем протянула к водостоку грязные ноги и принялась мыть их, поливая водой из черпака. Бродяга, спокойно сидевший со скрещенными ногами, пристально глядел на нее, почесывая щетинистый подбородок. Женщина эта была молодая, со смуглым лицом, с веснушками у носа, на вид — простая деревенская девушка. И одета она была, как служанка, в одно только легкое, бумажное кимоно с дешевым поясом. Но в живых чертах и во всей ее плотной фигуре была какая-то красота, вызывавшая в представлении свежий персик или грушу.

— Когда среди такой сумятицы возвращаются, значит, забыто что-то очень важное. Что же ты тут забыла, а, о-Томи-сан? — продолжал свои расспросы Синко.

— Не все ли тебе равно что. Лучше ступай отсюда. — О-Томи ответила раздраженно. Но вдруг, словно вспомнив о чем-то, повернулась к Синко и серьезно спросила: — Синко, ты не видел нашего Микэ?

— Микэ? Микэ только что тут был. Куда ж он девался?

Бродяга огляделся кругом. Оказалось, что кот забрался на полку и свернулся там клубком между ступкой и сковородкой. Его одновременно с Синко вдруг увидел и о-Томи. Она бросила черпак и, словно забыв о самом существовании бродяги, поднялась с настила. Светло улыбаясь, она стала звать лежавшего на полке кота.

Синко изумленно перевел глаза с кота, лежавшего в полутьме, на о-Томи.

— Кошка? Так ты забыла кошку?

— Хоть и кошку! Что ж тут плохого? Микэ, Микэ, поди сюда!

Синко вдруг расхохотался. В шуме дождя его смех прозвучал почти зловеще. О-Томи, покраснев от гнева, опять накинулась на Синко:

— Что тут смешного? Забыли кота, а хозяйка совсем с ума сходит. Все время заливается слезами: что, если кота убьют? Мне самой стало жалко, вот я и вернулась сюда в этот дождь...

— Ладно, не буду.— Синко прервал ее, все еще смеясь.— Больше не смеюсь. Но все-таки подумай сама. Завтра начнется сражение. А тут всего-навсего кошка, одна там или две — все равно, ведь это смешно. Хоть не мне говорить тебе об этом, но такой безголовой нюни, как твоя хозяйка, я не видывал. Из-за этого Микэшки...

— Замолчи! Не желаю слушать, как поносят мою хозяйку!

О-Томи чуть не топнула ногой. Однако бродяга сверх ожидания не испугался ее гневного вида. Более того, он, не стесняясь, разглядывал фигуру женщины. И правда, в этот момент она была полна какой-то дикой красоты. Мокрые от дождя кимоно и набедренная повязка плотно прилипли к коже и явственно обрисовывали ее тело, молодое нетронутое девичье тело. Не сводя глаз с о-Томи, Синко продолжал со смехом:

— Я понимаю, тебя послали за Микэшкой. Разве не так? А ведь сейчас во всем Уэно нет ни одного дома, из которого жители не выселились бы. Выходит, что хоть тут дома и стоят, а все равно, что безлюдная пустыня. Положим, волки сюда не забредут, но попасть в беду всегда можно. Вот что я хотел тебе сказать.

— Как-нибудь обойдусь без твоих забот! Лучше бы снял с полки кота. От этого и сражение не начнется, и беды никакой не случится.

— Брось шутки! Когда женщине опасно ходить одной, если не в такое время? Скажу тебе коротко: нас тут только двое — ты да я. А вдруг мне что-нибудь взбредет в голову, что ты станешь делать?

Тон у Синко был какой-то непонятный — не то шуточный, не то серьезный. Однако в ясных глазах о-Томи не мелькнуло и тени страха, только щеки запылали еще сильнее.

— Что такое? Уж не собираешься ли ты угрожать мне?

О-Томи сама с грозным видом шагнула к Синко.

— Угрожать? Если только это, тогда еще ничего. В наше время дурных людей много даже среди тех, кто нацепил на плечи парчовые нашивки. Что же говорить о таком, как я, бродяге? Угрозы угрозами, а вдруг мне и вправду что-нибудь на ум взбредет?

Синко не договорил — на его голову обрушился удар. О-Томи стояла перед ним с поднятым зонтом.

— Я тебе покажу, как дерзить!

Она опять изо всей силы ударила зонтом, целясь в голову Синко. Синко хотел отстраниться, но зонт все же угодил ему в плечо, прикрытое старым кимоно. Перепуганный шумом кот, сбив сковородку, спрыгнул на полочку бога кухонного очага. На Синко свалились и сосенка, и масляный светильник. Прежде чем он успел вскочить на ноги, ему пришлось не раз почувствовать на себе зонт о-Томи.

— Ах ты скотина, скотина!

О-Томи продолжала взмахивать зонтом. Однако Синко, осыпаясь ударами, все же в конце концов вырвал у нее зонт. Отшвырнув зонт в сторону, он яростно бросился на о-Томи. Некоторое время они боролись на узком дощатом настиле. В самый разгар этой борьбы дождь снова забарабанил по крыше кухни. По мере того как шум дождя усиливался, сумрак в кухне сгущался. Синко, осыпаясь ударами, исцарапанный, старался повалить о-Томи. Но после нескольких неудачных попыток он, думая, что наконец-то удалось схватить ее, вдруг, наоборот, словно отброшенный пружиной, сам отлетел к водостоку.

— Чертовка!

Упираясь спиной в сѣдзи, Синко смотрел на о-Томи. О-Томи с растрепанными волосами сидела на настиле и сжимала в руке бритву, которая, видимо, была спрятана у нее за поясом. Она была полна дикой ярости и в то же время удивительной прелести. Чем-то она напоминала сейчас кота, стоявшего с выгнутой спиной на полочке бога кухонного очага. Оба в полном молчании следили глазами друг за другом. Но через мгновение Синко с нарочито холодной усмешкой вынул из-за пазухи пистолет.

— Ну, попробуй теперь повернуться.

Дуло пистолета медленно обратилось в сторону о-Томи. Однако она только раздраженно глядела на Синко и не раскрыла рта. Увидев, что она не испугалась, Синко под влиянием какой-то мысли повернул пистолет дулом вверх. Там в темноте сверкали янтарные глаза кота.

— Ну как, а, о-Томи-сан? — Как бы дразня ее, Синко проговорил это тоном, в котором слышался смех. — Грохнет этот пистолет, и твой кот кувырком слетит отсюда. И с тобой будет то же. Как тебе это понравится?

Курок уже готов был спуститься.

— Синко! — вдруг заговорила о-Томи. — Не надо, не стреляй!

Синко перевел взгляд на о-Томи. Однако дуло пистолета было по-прежнему направлено на кота.

— Известно, что не надо!

— Жалко его убивать! Пощади хоть Микэ.

У о-Томи было теперь совсем другое лицо — обеспокоенное, дрожащие губы ее слегка приоткрылись, показывая ряд мелких зубов. Глядя на нее полунасмешливо, полуподозрительно, Синко наконец опустил пистолет. В тот же миг на лице о-Томи отразилось облегчение.

— Кота я пощажу. Но взамен... — Синко произнес с ударением: — Взамен я возьму тебя.

О-Томи чуть отвела взор. Казалось, в ее душе на мгновение вспыхнули одновременно и злоба, и гнев, и отвращение, и печаль, и многие другие чувства. Не переставая внимательно следить за этими переменами в девушке, Синко зашел сбоку ей за спину и раздвинул

сёдни в комнату за кухней. Там, разумеется, было еще темнее, чем в кухне. Но в ней можно было разглядеть шкафчик и большое хибати, брошенные при выселении. Синко перевел взгляд на ворот кимоно о-Томи, влажный от пота. Видимо, о-Томи почувствовала этот взгляд и, вся сжавшись, оглянулась на стоявшего позади Синко. На ее щеках уже снова появился прежний румянец. Но Синко как-то странно мигнул, словно заколебавшись, и вдруг снова прицелился в кота.

— Не надо! Не надо, говорят тебе!

О-Томи удержала его и в этот момент выронила бритву.

По лицу Синко пробежала легкая усмешка.

— А не надо, так иди туда.

— Противно! — с отвращением пробормотала о-Томи. Но внезапно она встала и, будто на все махнув рукой, прошла в комнату за кухней. Синко, казалось, был несколько удивлен тем, как легко она примирилась со своей участью. Дождь в это время притих. Сквозь облака, видимо, пробивались лучи вечернего солнца, отчего в кухне понемногу становилось светлее. Стоя в кухне, Синко прислушивался к тому, что делается в комнате рядом. Вот она развязывает пояс. Вот ложится на циновку. Затем все стихло.

Поколебавшись, Синко шагнул в полутемную комнату. Там посередине, закрыв лицо руками, лежала на спине о-Томи... Синко, едва взглянув на нее, тут же, словно убегая от чего-то, вернулся в кухню. На его лице было какое-то странное, непередаваемое выражение: не то злость, не то стыд. Он снова вышел на дощатый настил и все так же, стоя спиной к той комнате, вдруг горько рассмеялся.

— Я пошутил, слышишь, о-Томи-сан? Пошутил. Иди сюда.

...Через несколько минут о-Томи с котом за пазухой и с зонтом в руках о чем-то беззаботно разговаривала с Синко, который стелил на полу свою рваную циновку.

— Послушай, я хотел бы спросить тебя об одной вещи.

Все еще чувствуя некоторую неловкость, Синко старался не смотреть на о-Томи.

— О чем?

— Ни о чем особенно... Ведь отдаться мужчине для женщины важнейшая вещь в жизни. А ты была готова на это, чтобы спасти жизнь какой-то кошки... Не слишком ли это много? — Синко замолчал. Но о-Томи только улынулась и погладила kota у себя за пазухой. — Ты так любишь этого kota?

— Люблю и Микэ. — О-Томи ответила уклончиво.

— Ты слывешь очень преданной своим хозяевам. Может быть, ты боялась остаться виноватой перед хозяйкой, если Микэ убьют?

— Ну да, я и Микэ люблю, и хозяйки боюсь. Но только...

О-Томи, склонив голову набок, как бы всматривалась куда-то вдаль.

— Как бы это сказать? Поступи я сейчас иначе, у меня сердце было бы не на месте...

Еще через несколько минут Синко, оставшись один, сидел в кухне, обхватив руками колени, покрытые старым кимоно. Вечерние тени под шорох редкого дождя все больше и больше заполняли комнату. Шнур от окна в потолок, кувшин с водой у водостока — все одно за другим исчезало во мраке. И вот в дождевых тучах прокатились один за другим тяжелые удары храмового колокола в Уэно. Синко, как будто пробужденный этими звуками, окинул взглядом затихшую комнату. Затем, нащупав черпак, зачерпнул воды.

— Мураками Синдзабурё... Минамото-но Сигэмицу! Сегодня ты проиграл!

* * *

Двадцать шестого марта двадцать третьего года Мэйдзи о-Томи с мужем и тремя детьми проходила через площадь Уэно.

В этот день на Такэнодай открывалась Третья всеяпонская выставка, вдобавок у ворот Курамон уже зацвели вишни, поэтому площадь кишела народом. Сюда же со стороны Уэно непрерывной вереницей двигались экипажи и коляски рикш. Мээда Масэда, Тагути Укити, Сибусэва Эйити, Цудзи Синдзи, Окакура Какудзё, Гэдзё Масэо... В этих экипажах и колясках сидели и такие люди.

Муж с пятилетним малышом на руках и со старшим

сынишкой, уцепившимся за его рукав, сторонясь толпы, то и дело с беспокойством оглядывался на о-Томи с дочерью, шедших позади. О-Томи всякий раз отвечала ему своей светлой улыбкой. Разумеется, двадцать лет принесли ей старость. Однако ясное сияние ее глаз не совсем померкло. В четвертом или пятом году Мэйдзи она вышла замуж за хозяйского племянника Югая Масабэя. Муж ее тогда имел маленькую часовую мастерскую в Йокогама, теперь — на Гиндза.

Вдруг о-Томи подняла глаза. В пароконном экипаже, проезжавшем мимо нее как раз в эту минуту, покоилась фигура Синко. Да, Синко. Правда, теперешний Синко был весь покрыт знаками отличия — тут были и плюмаж из страусовых перьев, и внушительные нашивки из золотого позумента, и несколько больших и малых орденов. Но обращенное в сторону о-Томи красноватое лицо с седеющими усами и бородой было, несомненно, лицом бродяги минувших времен. О-Томи невольно замедлила шаг. Однако, как ни странно, она не удивилась. Синко не был простым бродягой. Почему-то она это знала. По лицу ли, по его речи или по пистолету, который у него имелся? Так или иначе, она это знала. О-Томи, не шевельнув и бровью, пристально смотрела на Синко. И Синко, намеренно ли или случайно, тоже смотрел на нее. Воспоминание о дождливом дне двадцать лет назад в это мгновение с необычайной ясностью всплыло в душе о-Томи. В тот день она была готова без колебания отдаться Синко, чтобы спасти кошку. Что тогда руководило ею? Этого она не знала. И Синко тогда не захотел пальцем коснуться тела, которое она ему отдавала. Что тогда руководило им? И этого она не знала. Но хоть она ничего и не знала, все равно, то, что произошло, было для о-Томи более чем естественно. Отступая, чтобы дать дорогу экипажу, она почувствовала, что на сердце у нее стало как-то легко.

Когда экипаж Синко проехал, муж снова обернулся из толпы к о-Томи. Встретившись с ним глазами, о-Томи как ни в чем не бывало улыбнулась ему. Ясно, радостно...

Август 1922 г.



О-ГИН

То ли в годы Гэнна, то ли в годы Канъэй — было это, во всяком случае, в глубокую старину.

В те времена стоило принявшим святое учение господу обнаружить свою веру, как их ждал костер или распятие. Но казалось, что чем яростней гонения, тем милостивей «господь всеведущий» простирает на верующих округи свою благую защиту. Случалось, что вместе с сиянием вечерней зари деревни вокруг Нагасаки навещали ангелы и святые. И шла молва, что даже сам Сан-Дзеан Батиста явился однажды верующему Мигэру¹-Яхэю на его водяной мельнице в Ураками. А в то же время, чтобы помешать спасению верующих, и дьявол не раз появлялся в тех деревнях то в облике невиданного арапа, то в виде иноземного зелья или повозки с плетеньем адзиро. И даже мыши, занимавшие Мигэру-Яхэя в подземной темнице, где не отличить дня от ночи, были на самом деле, как говорят, лишь оборотнями злых духов. Осенью восьмого года Гэнна Яхэя вместе с одиннадцатью другими верующими сожгли на костре. То ли в годы Гэнна, то ли в годы Канъэй — было это, во всяком случае, в глубокую старину.

¹ Искаженное Miguel (португ.).

В той же горной деревне Ураками жила девушка по имени о-Гин. Родители о-Гин перебрались в Нагасаки издалека, из Осака. Но раньше, чем успели они обжиться на новом месте, оба скончались, оставив о-Гин одну. Конечно, они, жители другой округи, знать святое учение не могли. Верой их был буддизм, учение Сакья-Муни. По словам некоего французского иезуита, Сакья-Муни, от природы преисполненный коварства, обошел все области Китая, проповедуя учение будды Амида. А потом перебрался за тем же в Японию. По учению Сакья-Муни, наша анима, в зависимости от того, тяжки или легки, велики или малы наши грехи, воплощается либо в быка, либо в дерево. Мало того, Сакья-Муни при рождении убил свою мать. Что учение Сакья-Муни нелепо — это само собой понятно, но что оно, кроме того, дурно, тоже очевидно. Однако мать и отец о-Гин, как уже упоминалось, знать этого не могли. Даже после того, как от них отлетело дыхание, они продолжают верить в учение Сакья-Муни. И в тени сосен печального кладбища, не ведая, что их ждет инфэрнуо, грезили об эфемерном рае.

Но юную о-Гин, к счастью, не запятнало невежество родителей. Сострадательный Дзэан-Магóсити, крестьянин, проживавший в той же горной деревушке, давно уже, окропив чело святой водой, нарек ее Мария. О-Гин не верила в то, что Сакья-Муни при рождении, указуя перстом на небо и землю, возгласил гласом великим: «На небе вверху, под небом внизу — я один свят». Зато она верила, что «преблагостная, великосердная, сладчайшая дева Санта Мария-сама» зачала без греха. Верила, что «умерший распятым на кресте, положенный в каменную гробницу», похороненный глубоко под землей Дзэсусу через три дня воскрес. Верила, что, когда протрубит труба Страшного суда, «господь в великой славе, в великой силе снизойдет с небес, воссоединит ставшее прахом тело людей с прежней их анима, вернув им душу, воскресит их, и праведники познают небесное блаженство, а грешники с бесами низринутся в ад». Особенно верила она в высокое сагурамэнтó, когда «силою божественного слова хлеб и вино, не меняя своего вида, претворяются в тело и кровь господни». Душа о-Гин не была, подобно душе ее родителей, бесплодной пустыней, над которой проносятся жаркие ветры. Она

была плодоносной нивой, взращивающей и злаки, и чистые полевые розы. Потеряв родителей, о-Гин сделалась приемной дочерью Дзэан-Магосити. Жена Магосити, Дзэанна-о-Суми, тоже была женщиной доброго сердца; о-Гин вместе с приемными родителями ходила за скотом, жала ячмень и проводила дни в мире. Но при таком существовании не забывали они, так, чтобы это не бросалось в глаза односельчанам, блюсти посты и читать молитвы. В тени смоковницы у колодца, глядя ввысь на молодой месяц, о-Гин часто жарко молилась. Молитва этой девушки с распущенными волосами была проста: «Благодарю тебя, милосердная мать! Изгнанное дитя праматери Эва взывает к тебе! Склони милосердный взор твой на жалкую обитель слез. Аминь».

И вот однажды в ночь натара дьявол вместе со стражами внезапно вошел в дом Магосити. В доме Магосити в большом очаге пылал «колыбельный огонь». И на закопченной стене на одну эту ночь был повешен крест. В довершение всего, когда стражи пошли в хлев позади дома, то обнаружили в кормушке воду для омовения новорожденного Дзэсусу-сама. Стражи, кивнув друг другу, набросили веревку на Магосити и его жену. О-Гин тоже связали. Но все трое не выказывали признаков страха. Для спасения своей анима они готовы были на любые муки. Господь, конечно, дарует им свою защиту. И разве то, что их схватили в ночь натара, не есть вернейшее доказательство небесной благодати? Так, точно сговорившись, твердо верили все они. Связанных, стражи повели их во дворец наместника. Но и по дороге, под ночным ветром, они не переставая твердили рождественские молитвы: «О, Вакагими-сама, родившийся в стране Бэрэн, где ты ныне? Славься!»

Дьявол, видя, что они схвачены, захлопал в ладоши и радостно засмеялся. Но их мужество немало сердило его. Оставшись один, дьявол плюнул и тут же превратился в большую каменную ступку. И, с грохотом покотившись во тьму, исчез.

Дзэана-Магосити, Дзэанну-о-Суми и Марию-о-Гин бросили в подземную темницу и подвергли всяческим пыткам, чтобы заставить отречься от святого учения. Но ни под пыткой водой, ни под пыткой огнем реши-

мость их не поколебалась. Пусть горят кожа и мясо, еще вздох, и они попадут в парайсо.

Стоило подумать о милости господней, как мрачная темница преисполнялась великоления парайсо! Вдобавок не то во сне, не то наяву светлые ангелы и святые не раз слетали утешать их. Особенно удостаивалась этого счастья о-Гин. Случалось, что о-Гин видела, как Сан-Дзэан Батиста протягивает ей в обеих руках пригоршни акрид, говоря: «Ешь». Случалось, что она видела, как архангел Габуриэру, сложив свои белые крылья, предлагает ей воду в красивой золотой чаше.

Так как наместник, конечно, не знал святого учения, не знал и учения Будды, он никак не мог уразуметь, почему заключенные так упорствуют. Он даже подумывал, не сошли ли все трое с ума. Когда же он понял, что они не сумасшедшие, они стали казаться ему не то исполинскими удавами, не то единорогами, во всяком случае — зверями, не имеющими ничего общего с человеческим родом. Оставить таких зверей живыми не только противоречило бы законам, но грозило бы спокойствию всей страны. Протомиб заключенных в темнице месяц, он наконец решил сжечь их. (По правде говоря, наместник, как и все обыкновенные люди, почти не думал о том, грозит ли их существование спокойствию страны: во-первых, имелись законы, во-вторых, имелась мораль народа, поэтому не стоило над этим особо задумываться.)

Даже по пути к месту казни на краю деревни трое верующих, во главе с Дзэаном-Магосити, не обнаруживали никаких признаков страха. Местом казни был избран каменистый пустырь рядом с кладбищем. Их привели туда, прочитали им, в чем состоят их преступления, и привязали к толстым четырехугольным столбам. Затем столбы укрепили в середине пустыря, поставив справа Дзэанну-о-Суми, в середине Дзэана-Магосити и слева Марию-о-Гин. О-Суми от продолжительных пыток казалась постаревшей. И у Магосити на заросших щеках не было ни кровинки. А о-Гин? О-Гин по сравнению с ними обоими не так уж сильно изменилась. Но у всех троих, стоявших на хворосте, лица были спокойны.

Вокруг места казни давно уже собралась толпа зевак. А там, позади зрителей, несколько кладбищенских

сосен распростерли в небе свои ветви, похожие на священные балдахины.

Когда все приготовления были окончены, один из стражей торжественно выступил вперед, стал перед приговоренными и сказал, что им дается время одуматься и отречься от святого учения.

— Подумайте хорошенько, если отречетесь от святого учения, веревки сейчас же развяжут.

Но приговоренные не отвечали. Они смотрели в высокое небо, и на губах у них даже блуждала улыбка.

И наступила небывалая тишина. Не только стражи, но даже зрители затихли в эти минуты. Глаза всех, не мигая, устремились на лица приговоренных. Но не от волнения все затаили дыхание. Зрители ждали, что вот-вот загорится огонь, а стражам так наскучило ждать казни, что даже не хотелось разговаривать.

И вдруг все присутствующие отчетливо услышали:

— Я отрекаюсь от святого учения.

Голос принадлежал о-Гин.

Зрители зашумели. Но гул голосов сразу же опять сменился тишиной. Магосити, обернувшись к о-Гин, горестно произнес угасающим голосом:

— О-Гин! Тебя завлек дьявол! Если ты еще каплю потерпишь, ты узришь лик господа.

Не успел он договорить, как, собрав последние силы, словно издалека, подала голос о-Суми:

— О-Гин! О-Гин! В тебя вселился дьявол! Молись!

Но о-Гин не отвечала. Только глаза ее смотрели туда, где позади толпы кладбищенские сосны распростерли свои ветви, похожие на священные балдахины. Тем временем другой страж приказал развязать о-Гин.

Увидев это, Дзэан-Магосити закрыл глаза, словно покоряясь судьбе.

— Всемогущий господь, да будет воля твоя!

Освобожденная от веревок, о-Гин некоторое время стояла, растерянно глядя перед собой. Но, взглянув на Магосити и о-Суми, она вдруг упала перед ними на колени и, ни слова не говоря, залилась слезами. Магосити не открывал глаза. О-Суми отвернулась, даже не взглянув на о-Гин.

— О отец, о мать, прошу вас, простите меня! — говорила наконец о-Гин. — Я отреклась от святого учения. Это оттого, что я вдруг заметила вон там ветви сосен, похожие на священные балдахины. Мои родители, покоящиеся под сенью этих кладбищенских сосен, не знали святого господнего учения и, наверно, низвергнуты в инфэрнуо. И если бы теперь я одна вошла во врата парайсо, не было бы мне родительского прощенья. Я последую за родителями в ад. О отец, о мать, идите к Дзэсусу-сама и Мария-сама. А я, отрекшаяся от святого учения, не могу больше жить...

Проговорив все это прерывающимся голосом, о-Гин зарыдала. Тогда и из глаз Дзэанны-о-Суми прямо на грудь хвороста под ее ногами покатались слезы. Разумеется, готовясь войти в парайсо, бесплодно вздыхать — это верующим никак не пристало. Дзэан-Магосити, с горестью обернувшись к привязанной рядом жене, гневно крикнул пронзительным голосом:

— И тебя увлек дьявол? Если хочешь отречься от святого учения, сделай милость, отрекайся сколько угодно. Я один сгорю у вас на глазах.

— Нет, я умру с тобой! Но это... — глотая слезы, выкрикнула о-Суми, — но это не потому, что я хочу попасть в парайсо. Я только хочу с тобой... всегда быть с тобой.

Магосити долго молчал. Лицо его то бледнело, то снова разливалось по нему кровь. На лбу каплями выступил пот. Магосити духовным взором видел сейчас свою анима. Видел ангела и дьявола, борющихся за его душу. Если бы в эту минуту о-Гин, рыдавшая у его ног, не подняла голову... Но нет, лицо о-Гин уже было обращено к нему. И со странным блеском в глазах, полных слез, она пристально посмотрела на Магосити. В ее взоре сияла не только невинная девичья душа. В нем сияла душа человека — душа «изгнанной дочери Эва».

— Отец! Пойдем в ад! И мать, и меня, и того отца, и ту мать — всех нас унесет дьявол.

И Магосити пал.

Из столь многих в нашей стране преданий о мучениях ревнителем веры этот рассказ дошел до нас как

пример самого постыдного падения. Да, когда они все трое отреклись от святой веры, даже зрители — старые и молодые, мужчины и женщины — все их осудили. Может быть, от досады, что не удалось увидеть сожжение на костре, ради которого они собрались. И, как говорит предание, дьявол от чрезмерной радости всю ночь, обратившись огромной книгой, летал над местом казни. Впрочем, был ли это успех, достойный столь безрассудного ликования, автор сильно сомневается.

Август 1922 г.



ТРИ СОКРОВИЩА

1

Лес. Трое разбойников, ссорясь, делят награбленные сокровища: сапоги-скороходы, плащ-невидимку и меч, разрубающий сталь. Правда, с первого взгляда видно, что это никуда не годное старье.

Первый разбойник. Плащ давайте сюда.

Второй разбойник. Хватит болтать. Меч давайте мне. Ух ты, сапоги у меня стащили.

Третий разбойник. Да это же мои сапоги! Ты их у меня стащил.

Первый разбойник. Ну, ладно, ладно. Плащ все равно мой будет.

Второй разбойник. Вот скотина! Почему не отдаешь?

Первый разбойник. Ну хватит, хватит! Вы что, меч мой тоже стащили?

Третий разбойник. У, воруга, отдавай плащ!

Завязалась драка. А в это время по лесной дороге верхом на коне ехал принц.

Принц. Эй, эй, что вы делаете? *(Слезает с коня.)*

Первый разбойник. Да он вот во всем виноват. Меч у меня стащил и плащ еще требует.

Третий разбойник. Сам и виноват. Плащ-то ведь он у меня стащил.

Второй разбойник. Уж эти двое что хочешь украдут. Ведь все это мое.

Первый разбойник. Ври!

Второй разбойник. Сам ты врун и есть!

Снова готовы затеять драку.

Принц. Пойдите, пойдите. Ну из-за чего вы ссоритесь? Не все ли равно кому достанется старый плащ, а кому — дырявые сапоги?

Второй разбойник. Нет, так не пойдет. Плащ этот не простой. Стоит надеть его, как сразу станешь невидимым.

Первый разбойник. А меч может разрубить какой угодно стальной шлем.

Третий разбойник. А наденешь эти сапоги и враз пролетишь тысячу ри.

Принц. Да, за такие сокровища стоит поспорить. Но разве нельзя поделить их, не жадничая, каждому по одной вещи?

Второй разбойник. Попробуй подели. Не успеешь оглянуться, как тебе этим мечом голову отхватят.

Первый разбойник. Это бы еще ничего. Хуже другое. Кто наденет плащ — тот и кради что хочешь.

Второй разбойник. Да что там! Надевай сапоги, хватай, что понравилось, — только тебя и видели.

Принц. Да, вполне резонно. Но, может быть, чтобы не спорить, вы все три вещи мне продадите?

Первый разбойник. Ну как, продадим этому господину?

Третий разбойник. Может, и правда это самое лучшее?

Второй разбойник. А за сколько?

Принц. За сколько... Давайте так сделаем. Вместо вашего плаща я отдам свой красный плащ. Он даже отделан шитьем. Вместо сапог — свои сапоги, украшенные драгоценными камнями. А если вы получите этот оправленный золотом меч, то ничуть не прогадаете, отдав за него свой. Ну как, подходит вам такая цена?

Второй разбойник. Я, пожалуй, вместо этого плаща его плащ возьму.

Первый разбойник и третий разбойник. Мы тоже согласны.

Принц. Ну что ж. Тогда давайте меняться.

Принц выменивает плащ, меч и сапоги, снова садится на коня и собирается ехать дальше по лесной дороге.

Там впереди нет постоянного двора?

Первый разбойник. Как только выедете из лесу, сразу же будет постоянный двор «Золотой рожок». Ну, счастливого пути.

Принц. Понятно. Прощайте. *(Уезжает.)*

Третий разбойник. Выгодное дельце мы про-вернули. Я даже и не думал, что у него такие сапоги. Смотрите. В пряжки вставлены бриллианты.

Второй разбойник. А чем плох его плащ? Наденешь его — и сразу станешь похожим на господина.

Первый разбойник. Да и меч этот — стоящая вещь. И эфес и ножны золотые. И надули мы его так легко потому, что принц, видно, порядочный дурак. Верно?

Второй разбойник. Тсс! Даже у стен есть уши, даже бутылка из-под водки может заговорить. Ну что ж, пошли куда-нибудь выпьем.

И три разбойника, перебрасываясь шутками, уходят, но не в ту сторону, куда уехал принц.

2

Харчевня постоянного двора «Золотой рожок». В углу сидит принц и жует хлеб. Кроме него, в харчевне семь-восемь человек — все по виду крестьяне.

Хозяин постоянного двора. Скоро вроде свадьба принцессы.

Первый крестьянин. Да, говорят. А жених-то как будто черный король?

Второй крестьянин. И ходят слухи, что принцесса ненавидит этого короля.

Первый крестьянин. Если ненавидит, то пусть лучше откажется от свадьбы.

Хозяин. Но этот черный король обладает тремя сокровищами. Первое — сапоги-скороходы, второе — меч, разрубающий сталь, третье — плащ-невидимка. И все их он собирается преподнести в дар отцу невесты. Потому-то наш жадный король пообещал отдать за него принцессу.

Второй крестьянин. Кого жаль, так это принцессу.

Первый крестьянин. Но неужели никто не пробовал спасти ее?

Хозяин. Почему же. Среди принцев из разных стран, наверное, есть такие, кто хотел бы спасти ее, но черного короля никому не одолеть. Вот и сидят, помалкивают.

Второй крестьянин. Да вдобавок, говорят, жадный король, чтобы не украли принцессу, поставил дракона стеречь ее.

Хозяин. Нет, говорят, не дракона, а солдат.

Первый крестьянин. Если бы я знал заклинания, то первым поспешил бы на помощь принцессе.

Хозяин. Ну, ясно. Знай я эти заклинания, не стал бы вас дожидаться.

Все смеются.

Принц (*неожиданно вмешивается в разговор*). Не горюйте. Я спасу принцессу.

Все (*с изумлением*). Вы?!

Принц. Да, да. Подходи, кто хочешь, хоть черный король, хоть еще кто. (*Закатав рукава, смотрит на компанью.*) Всех подряд уложу.

Хозяин. Но у короля есть, говорят, три сокровища. Первое — сапоги-сороходы, второе...

Принц. Меч, разрубающий сталь? У меня он тоже есть. Посмотрите на эти сапоги. Посмотрите на этот меч. Посмотрите на этот старый плащ. Все эти сокровища ничуть не отличаются от тех, что у черного короля.

Все (*снова с изумлением*). Эти сапоги?! Этот меч?! Этот плащ?!

Хозяин (*с сомнением*). Но ведь сапоги-то ваши дырявые.

Принц. Да, они дырявые. Но хоть они и дырявые — шагнешь в них раз и пролетишь тысячу ри.

Хозяин. Правда?

Принц (*с сожалением*). Ты думаешь, наверное, что я лгу. Ну что ж, покажу тебе, как я сейчас полечу. Открой двери. Готово? Не успею взлететь, как сразу же исчезну.

Хозяин. Но сначала, может быть, господин заплатит по счету?

Принц. Пустяки, я тут же вернусь. Какие тебе принести подарки? Итальянский гранат? Испанскую дыню? Или, может быть, фиги из далеких арабских стран?

Хозяин. Если подарок, то все равно какой. Ну, покажите, как вы летаете.

Принц. Лечу. Раз, два, три!

Принц прыгает изо всех сил, но, не достигнув и порога, падает навзничь.

Все смеются.

Хозяин. Я так и думал.

Первый крестьянин. Вот тебе и тысяча ри — два-три кэна и то не пролетел.

Второй крестьянин. Нет, он пролетел тысячу ри. За один раз пролетел тысячу ри туда, за другой — тысячу ри обратно, и вот сейчас он вернулся на старое место.

Первый крестьянин. Брось шутить. Глупая это история.

Компания хохочет. Принц с трудом поднимается и уныло бредет к выходу.

Хозяин. Пойдите, заплатите по счету.

Принц молча бросает ему деньги.

Второй крестьянин. А подарки?

Принц (*кладет руку на эфес меча*). Что?!

Второй крестьянин (*пяясь*). Нет, нет. Я ничего не говорил. (*Как будто про себя*.) А мечом, наверно, голову можно отсечь?

Хозяин (*миролюбиво*). Господин еще слишком молод, и поэтому ему лучше возвратиться в королевство своего отца. Сколько бы он ни старался, черного короля ему все равно не одолеть. Человек прежде всего должен быть рассудительным и соразмерять свои силы.

Все. Послушайте, послушайте, он добра вам желает.

Принц. Я думал, что все, все смогу. (*Плачет*.) Мне стыдно перед вами. (*Прячет лицо*.) Я готов провалиться сквозь землю.

Первый крестьянин. Пусть господин попробует надеть этот плащ. Может, тогда и исчезнет.

Принц. Скотина! *(Топает ногами.)* Ладно, издевайтесь, сколько хотите. Во что бы то ни стало я спасу любимую принцессу от черного короля! Пусть в сапогах я не могу пролететь тысячу ри, но у меня есть меч. И плащ. *(С жаром.)* Нет! Я спасу ее даже голыми руками. Смотрите, как бы вам не раскаться тогда! *(Как безумный, выскакивает из харчевни.)*

Хозяин. Ну что ты будешь делать. Хорошо бы, не убил его этот черный король.

8

Парк королевского дворца. Среди роз бьет фонтан. Вначале нет никого. Через некоторое время появляется принц в плаще.

Принц. Стоило мне надеть этот плащ, и я, похоже, стал невидимым. Когда я входил в ворота замка, то мне повстречались и стража и фрейлины. Но никто из них не остановил меня. Значит, в этом плаще я, подобно ветерку, благоухающему розами, смогу, наверное, проникнуть в покои принцессы. Ой, кто это идет сюда? Не принцесса ли, о которой мне рассказывали? Надо бы пока спрятаться. Да что там. Даже если я здесь и останусь, принцесса не сможет меня увидеть.

Принцесса подходит к фонтану и печально вздыхает.

Принцесса. Как я несчастна. Не пройдет и недели, как этот ужасный черный король увезет меня в Африку. В Африку, где львы и крокодилы. *(Садится на траву.)* Я хочу всегда жить в этом замке. Хочу слушать шум этого фонтана среди роз...

Принц. Как прекрасна принцесса. Даже если мне это будет стоить жизни, я спасу ее.

Принцесса *(испуганно глядя на принца)*. Кто вы?

Принц *(как будто про себя)*. Черт возьми! Напрасно я заговорил.

Принцесса. Напрасно заговорил? Что с вами происходит? Такое милое лицо, и вот...

Принц. Лицо? Вы видите мое лицо?

Принцесса. Вижу, конечно. А что в этом удивительного?

Принц. И этот плащ видите?

81

Принцесса. Да, ужасно старый плащ, не правда ли?

Принц (*растерянно*). Но вы не должны были меня видеть.

Принцесса (*удивленно*). Почему?

Принц. Это плащ, надев который становишься невидимым.

Принцесса. Такой плащ только у черного короля.

Принц. Нет, этот тоже такой.

Принцесса. Но разве вы стали невидимым?

Принц. Когда мне повстречались стража и фрейлины, я на самом деле был невидимым. Доказательством служит хотя бы то, что, с кем бы я ни встречался, никто меня не остановил.

Принцесса (*смеется*). Так и должно было случиться. В этом старом плаще вас просто приняли за слугу.

Принц. Слуга! (*Растерянно садится*.) Случилось то же самое, что и с этими сапогами.

Принцесса. А что с сапогами?

Принц. Это сапоги-скороходы.

Принцесса. Такие же, как сапоги черного короля?

Принц. Да. Только недавно я попробовал было шагнуть в них, но не пролетел даже каких-нибудь два-три кэна. У меня есть еще меч. Он должен разрубать даже сталь...

Принцесса. А вы пробовали рубить им что-нибудь?

Принц. Нет, я не должен ничего рубить им, пока не отрублю голову черному королю.

Принцесса. Ах, так! Вы приехали, чтобы сразиться с черным королем?

Принц. Нет, я приехал не для того, чтобы сражаться. Я приехал, чтобы спасти вас.

Принцесса. Правда?

Принц. Правда.

Принцесса. О, какое счастье!

Неожиданно появляется черный король. Принц и принцесса поражены.

Черный король. Здравствуйте. Я только что одним прыжком прилетел из Африки. Видите, на что способны мои сапоги?

Принцесса (*холодно*). А теперь можете снова отправляться в Африку.

Король. Нет, сегодня я хочу спокойно поговорить с вами. (*Замечает принца.*) Откуда этот слуга?

Принц. Слуга? (*Встает возмущенный.*) Я принц. Я приехал, чтобы спасти принцессу. И пока я здесь, не позволю даже пальцем ее коснуться.

Король (*нарочито вежливо*). Я обладаю тремя сокровищами. Вам известно это?

Принц. Меч, сапоги и плащ? Верно, в моих сапогах не пролетишь и одного тѣ. Но если со мной будет принцесса, то даже в этих сапогах меня не испугают ни тысяча, ни две тысячи ри. А теперь посмотрите на этот плащ. Ведь только благодаря ему меня приняли за слугу и мне удалось предстать перед принцессой. Значит, он смог сделать невидимым принца. Не так ли?

Король (*насмешливо*). Перестаньте хвастать. Посмотрите лучше, на что способен мой плащ. (*Надевает плащ. В тот же миг исчезает.*)

Принцесса (*хлопает в ладоши*). А-а, исчез. Как только исчез этот человек, я стала по-настоящему счастлива.

Принц. А этот плащ короля удобен. Он сделан специально для нас.

Король (*внезапно снова появляется. Говорит противным голосом*). Совершенно верно. Он сделан специально для вас. Мне от него нет никакой пользы. (*Отбрасывает плащ.*) Но у меня есть меч. (*Бросает на принца злобный взгляд.*) Вы посягаете на мое счастье. Вызываю вас на честный бой. Мой меч может разрубить даже сталь. Ваша голова для него ничто. (*Вытаскивает меч.*)

Принцесса (*быстро встает и загораживает принца*). Если ваш меч разрубает сталь, то сможет пронзить и мою грудь. Ну, попробуйте, пронзите одним ударом.

Король (*отступая*). Нет, вас он не может пронзить.

Принцесса (*насмешливо*). Неужели он не может пронзить мою грудь? Ведь вы говорили, что им можно разрубить даже сталь.

Принц. Подождите. (*Отстраняет принцессу.*) Король правильно говорит. Я его противник и должен вести с ним честный бой. (*Королю.*) Ну, что же, начнем поединок. (*Вытаскивает меч.*)

Король. Хоть вы и молоды, но настоящий мужчина. Готовы? Дотронетесь до меча — расстанетесь с жизнью. Смотрите!

Мечи короля и принца скрещиваются. И вдруг король, словно тростинку, рассекает меч принца.

Ну как?

Принц. Меч мой действительно разрублен. Но я все равно посмеюсь над вами.

Король. Так продолжим поединок?

Принц. Конечно. Ну, подходите.

Король. Нет, поединок можно не продолжать. (*Внезапно отбрасывает меч.*) Вы победили. Меч мой ничего не стоит.

Принц (*с удивлением смотрит на короля*). Почему?

Король. Почему? Если я убью вас, то принцесса меня еще больше возненавидит. Разве вы этого не понимаете?

Принц. Нет, я понимаю. Потому что и вы согласились понять это.

Король (*задумчиво*). Я думал, что, обладая тремя сокровищами, смогу получить и принцессу. Но, как видно, ошибся.

Принц (*положив руку на плечо короля*). А я думал, что, обладая тремя сокровищами, смогу спасти принцессу. Но, видимо, тоже ошибся.

Король. Да, мы оба ошибались. (*Берет руку принца.*) Давайте помиримся. Примите мои извинения.

Принц. Простите и вы меня. Сейчас и не поймешь — кто из нас победил.

Король. Нет, вы победили меня. Я сам победил себя. (*Принцессе.*) Я возвращаюсь в Африку. Так что успокойтесь, пожалуйста. Меч принца, вместо того чтобы разрубить сталь, пронзил мое сердце, еще более твердое, чем сталь. На свадьбу я дарю вам три сокровища: меч, сапоги и плащ. И если у вас будут эти три сокровища, то, я думаю, на свете не найдется злодея, который мог бы причинить вам горе. Ну, а если все-таки появится какой-нибудь негодяй, дайте знать об

этом в мое королевство. Я в любую минуту вместе с миллионом черных всадников выступлю, чтобы покарать ваших врагов. (*Грустно.*) Ожидая вас, в самом центре своей африканской столицы я выстроил мраморный дворец. Вокруг дворца цветут лотосы. (*Принцу.*) А вы иногда надевайте эти сапоги и прилетайте ко мне развлечься.

Принц. Обязательно прилечу в гости.

Принцесса (*прикрепляет к груди черного короля розу*). Я очень виновата перед вами. Мне даже и во сне не могло присниться, что вы такой добрый. Будьте снисходительны ко мне. Я действительно очень виновата. (*Прижав к груди короля, плачет, как ребенок.*)

Король (*гладит волосы принцессы*). Спасибо. Мне очень приятно слышать это. Я ведь тоже не какой-нибудь злой дух. Черный король, похожий на злого духа, бывает только в сказках. (*Принцу.*) Не правда ли?

Принц. Совершенно верно. (*Обращаясь к зрительному залу.*) Друзья! Мы трое проснулись. И черный король, похожий на злого духа, и принц, обладающий тремя сокровищами, бывают только в сказках. Но так как мы уже проснулись, то нам нечего оставаться в стране сказки. Перед нами сквозь туман проглядывает необъятный мир. И мы все вместе уходим из мира роз и фонтанов в этот мир. В необъятный мир! Он безобразен, он прекрасен, этот мир — мир огромной сказки! Мы не знаем, что ждет нас в этом мире, — горе или радость. Мы знаем одно — нужно идти в этот мир смело, как храбрые солдаты.

Декабрь 1922 г.



ИЗ ЗАПИСОК ЯСУКИТИ

ГАВ

Однажды в зимний день, под вечер, Ясукити сидел в маленьком грязном ресторанчике на втором этаже и жевал пропахшие несвежим жиром гренки. Напротив его столика, на растрескавшейся белой стене, криво висела узкая длинная полоска бумаги. На ней была надпись: «Всегда хотто (горячие) сэндвичи». (Один из его приятелей прочел: «облегченные¹ (горячие) сэндвичи» — и всерьез удивился.) Слева от столика — лестница, которая вела вниз, справа — застекленное окно. Жуя гренки, он рассеянно поглядывал в окно. На противоположной стороне улицы виднелась лавка старьевщика, в которой висели синие рабочие тужурки, плащи цвета хаки.

Английский вечер на курсах начнется в половине седьмого. Он должен там быть, и, поскольку он приезжий, ему лишь оставалось торчать здесь после занятий до половины седьмого, хотя это и не доставляло ему никакого удовольствия. Помнится, в стихотворении Токи Дзэнмаро (если ошибаюсь, прошу меня простить)

¹ Непереводаемая игра слов: «хотто» — «горячий», от английского «hot» — «горячий». Есть японское слово «хотто» — «испытывать чувство облегчения».

говорится: «Я уехал далеко, должен есть бифштекс дерьмовый — люблю тебя, жена, люблю». Эти стихи приходили ему на память каждый раз, когда он приезжал сюда. Правда, женой, которую нужно было любить, он еще не обзавелся. Когда он, то поглядывая в окно на лавку старьевщика, то на «хотто (горячие) сэндвичи», жевал пропахшие несвежим жиром гренки, слова «люблю тебя, жена, люблю» сами срывались с губ.

Вдруг Ясукиги обратил внимание на двух морских офицеров, пивших пиво. Один из них был интендантом военной школы, где преподавал Ясукиги. Они были мало знакомы, и Ясукиги не знал его имени. Да и не только имени. Не знал даже, младший он лейтенант или лейтенант. Словом, знал его постольку, поскольку ежемесячно получал у него жалованье. Требуя все новые порции пива, они не находили других слов, кроме «эй» или «послушай». И официантка, никак не выражая своего неудовольствия, со стаканами в руках сновала по лестнице вверх и вниз. Потому-то она и не несла несчастную чашку чая, заказанную Ясукиги. Так случилось с ним не только здесь. То же бывало во всех других кафе и ресторанах этого города.

Они пили пиво и громко разговаривали. Ясукиги, разумеется, не прислушивался к их разговору. Но неожиданно его удивили слова: «А ну, погавкай». Он не любил собак. Он был из тех, кто радовался, что среди писателей, не любивших собак, были Гете и Стриндберг. Услышав эти слова, он представил себе огромного пса, которого здесь держат. И ему стало как-то не по себе при мысли, что собака бродит у него за спиной. Он украдкой оглянулся. Но там был все тот же ухмыляющийся интендант, который глядел в окно. Ясукиги предположил, что пес под окном. Но это показалось ему несколько странным. А интендант снова повторил: «Гавкни. Ну, гавкни». Ясукиги, слегка наклонившись, глянул вниз. Первое, что бросилось в глаза, — еще не зажженный у входа фонарь, служивший одновременно и рекламой сакэ «Масамунэ». Потом — поднятая штора. Потом — носки, сушившиеся на краю кадки для дождевой воды, точнее, пустой пивной бочки, и забытые там. Потом — лужа на дороге. Потом — ну что ты скажешь, собаки нигде не было видно. Вместо нее

он заметил нищего лет двенадцати — тринадцати, который стоял на холоде, запрокинув голову и глядя на окно второго этажа.

— Гавкни! Ну, гавкни же! — опять закричал интендант.

В этих словах была какая-то магическая сила, притягивавшая нищего. Точно сомнамбула, неотрывно глядя вверх, нищий сделал два-три шага и подошел под самое окно. Тут-то Ясукити и увидел, в чем состояла проделка гнусного интенданта. Проделка? А может быть, совсем не проделка. И если нет, то, значит, это был эксперимент. Эксперимент, который должен был выявить: как низко может пасть человек, принося в жертву собственное достоинство ради того, чтобы набить брюхо. Ясукити считал, что это вопрос решенный и не нуждается в подобных экспериментах. Исав ради печеного мяса отказался от права первородства. Сам Ясукити ради хлеба стал учителем. Фактов как будто вполне достаточно. Но, видимо, их было недостаточно для психолога-экспериментатора, жаждущего опыта. В общем, *De gustibus non est disputandum*¹, только сегодня он говорил это своим ученикам. Кому что нравится. Хочешь экспериментировать — экспериментировать. Думая так, Ясукити продолжал смотреть на нищего под окном.

Интендант замолчал. А нищий стал с беспокойством озираться по сторонам. Он уже готов был изобразить собаку, и единственное, что его смущало, — это взгляды прохожих. Глаза его еще продолжали бегать, когда интендант высунул в окно свою красную морду и стал ему что-то показывать.

— Погавкай. Погавкаешь, получишь вот это.

Лицо нищего мгновенно вспыхнуло от жадности. Ясукити временами испытывал к нищим какой-то романтический интерес. Но никогда это не было состраданием или сочувствием. И он считал дураком или лжецом всякого, кто говорил, что испытывает к ним такие чувства. Но сейчас, глядя на этого ребенка-нищего с запрокинутой головой и горящими глазами, он почувствовал что-то вроде жалости. Именно «вроде». Ясукити действительно испытывал не столько жалость,

¹ О вкусах не спорят (лат.).

сколько любовался фигуркой нищего, точно выписанной Рембрандтом.

— Не будешь? Ну, гавкни же.

Нищий сморщился.

— Гав.

Голос у него был очень тихий.

— Громче.

— Гав, гав.

Нищий громко пролаял два раза. И тут же из окна полетел апельсин. Дальше можно и не писать. Нищий, конечно, подбежит к апельсину, а интендант, конечно, засмеется.

Не прошло и недели, как Ясукити в день зарплаты пошел в финансовую часть получать жалованье. Интендант с деловым видом раскрывал разные папки, перелистывал в них какие-то документы. Взглянув на Ясукити, он спросил односложно: «Жалованье?» — «Да», — в тон ему ответил Ясукити. Интендант, может быть, был занят и все не выдавал жалованья. В конце концов он просто повернул к Ясукити спину, обтянутую военным мундиром, и начал нескончаемое перебрасывание костяшек на счетах.

— Интендант.

Это умоляюще сказал Ясукити, подождав немного. Интендант повернулся к нему. С его губ уже совсем готово было сорваться «сейчас». Но Ясукити опередил его и закончил свою мысль.

— Интендант. Может быть, мне гавкнуть? А, интендант?

Ясукити был уверен, что голос его, когда он говорил это, был нежнее, чем у ангела.

ИНОСТРАНЦЫ

В этой школе было два иностранца, они обучали разговорному и письменному английскому языку. Один — англичанин Таундсенд, другой — американец Столлет.

Таундсенд, лысый добродушный старичок, прекрасно знал японский язык. Издавна повелось, что преподаватели-иностранцы, даже самые необразованные, любят поговорить о Шекспире, о Гете. Но, к счастью,

Таундсенд не претендовал на осведомленность в литературе. Однажды зашла речь о Вордсворте, и он сказал: «Стихи — вот их я совсем не понимаю. Чем хорош этот Вордсворт?»

Ясукиги жил с Таундсендом на одной даче и ездил с ним в школу и обратно одним поездом. Дорога отнимала минут двадцать. И они оба, с глазгоскими трубками в зубах, болтали о табаке, о школе, о призраках. Таундсенд, будучи теософом, хотя и оставался равнодушным к Гамлету, тем не менее испытывал интерес к тени его отца. Но как только разговор заходил об occult sciences ¹, будь то магия или алхимия, он, грустно покачивая головой и в такт ей трубкой, говорил: «Дверь в таинство открыть не так трудно, как думают невежественные люди. Наоборот, страшно то, что трудно ее закрыть. Лучше не касаться таких вещей».

Столлет, совсем еще молодой, был охотником до шуток. Зимой он носил темно-зеленое пальто и красный шарф. В отличие от Таундсенда, он время от времени просматривал книжные новинки. Во всяком случае, иногда читал на английских вечерах лекции на тему: «Современные американские писатели». Правда, по его лекциям получалось, что самыми крупными современными американскими писателями были Роберт Луис Стивенсон и О'Генри!

Столлет жил не на одной с Ясукиги даче, но по той же дороге в небольшом городке, и поэтому довольно часто они вместе ездили в поезде. Ясукиги почти совсем не помнил, о чем они говорили. Осталось в памяти лишь то, как однажды они сидели на вокзале около печки в ожидании поезда. Ясукиги говорил, зевая: «До чего же тосклива профессия педагога! А привлекательный Столлет, в очках без оправы, сделав удивленное лицо, сказал: «Педагог — не профессия. Это скорее дар божий. You know, Socrates and Platon are two great teachers... Etc ²».

Роберт Луис Стивенсон, называй он его янки или кем-либо еще, — это в конце концов не важно. Но он говорил, что Сократ и Платон педагоги — и с тех пор Ясукиги проникся к нему симпатией.

¹ Окультные науки (англ.).

² Ведь Сократ и Платон — два великих учителя... и т. д. (англ.).

ДНЕВНОЙ ОТДЫХ

(Фантазия)

Ясукиги вышел из столовой, расположенной на втором этаже. Преподаватели языка и литературы после обеда шли, как правило, в находившуюся по соседству курительную комнату. Ясукиги же решил не заходить сегодня туда и стал спускаться по лестнице во двор. Навстречу ему, точно кузнечик, перепрыгивая через три ступеньки, взбегал унтер-офицер. Увидев Ясукиги, он приосанился и отдал честь. Видимо, немного поторопившись, он проскочил мимо Ясукиги. Ясукиги слегка поклонился пустоте и продолжал спокойно спускаться с лестницы.

Во дворе, между подокарпов и торрей цвели магнолии. Цветы одного вида магнолии почему-то не были обращены к югу, в сторону солнца. А вот у другого вида росшей здесь магнолии цветы были обращены к югу. Ясукиги, закуривая сигарету, поздравил магнолию с индивидуальностью. Точно кто-то бросил камешек — рядом села трясогузка. Она его совсем не боялась. И то, что она трясла своим маленьким хвостиком, означало приглашение.

— Сюда! Сюда! Не туда. Сюда! Сюда!

Следуя призывам трясогузки, Ясукиги шел по усыпанной гравием дорожке. Но трясогузка — что ей почудилось? — вдруг снова взмыла в небо. И вместо нее на дорожке появился шедший навстречу высокий моторист. Ясукиги показалось, что ему откуда-то знакомо его лицо. Моторист отдал честь и быстро прошел мимо. А Ясукиги, дымя сигаретой, продолжал думать, кто же это такой. Два шага, три шага, пять шагов — на десятом он вспомнил. Это Поль Гоген. Или перевоплощение Гогена. Он, несомненно, возьмет сейчас вместо совка кисть. А позже будет убит сумасшедшим товарищем, который выстрелит ему в спину. Очень жаль, но ничего не поделаешь.

В конце концов Ясукиги вышел по дорожке к плацу перед парадным входом. Там, между соснами и бамбуком, стояли две трофейные пушки. Он на миг приложился ухом к стволу — звук был такой, будто пушка дышит. Может быть, и пушки зевают. Он присел под пушкой. Потом закурил вторую сигарету. На гравии в

круглом садике блестела ящерица. Если у человека оторвать ногу — конец, она никогда больше не вырастет. Если же у ящерицы оторвать хвост, у нее вскоре появится новый. Зажав сигарету в зубах, Ясукиги думал, что ящерица-ламаркианка больше, чем сам Ламарк. Он смотрел на нее некоторое время, и ящерица вдруг превратилась в полоску мазута, пролитого на гравий.

Ясукиги с трудом поднялся. Он пошел вдоль выкрашенного здания школы, направляясь в противоположный конец двора, и оказался на спортивной площадке, обращенной к морю. На теннисном корте, посыпанном красным песком, самозабвенно состязаются несколько офицеров и преподавателей. В небе над кортом то и дело что-то взрывается. И одновременно то вправо, то влево от сетки мелькает беловатая линия. Это не мяч. Это открывают невидимые бутылки шампанского. И шампанское с удовольствием пьют боги в белых рубашках. Вознося хвалу богам, Ясукиги повернул на задний двор.

Задний двор был весь в розовых кустах. Но не распустился еще ни один цветок. Подойдя к кусту, он заметил на склоненной почти до земли ветке гусеницу. А вот еще одна ползет по соседнему листку. Гусеницы кивали друг другу, будто разговаривая о нем. Ясукиги тихонько остановился и решил послушать.

Первая гусеница. Когда же этот учитель станет наконец бабочкой? Ведь еще со времени наших прапрапрадедов он только и делает, что ползает по земле.

Вторая гусеница. Может быть, люди и не превращаются в бабочек.

Первая гусеница. Нет, вроде бы превращаются. Посмотри, кто-то летает.

Вторая гусеница. Ну конечно же, кто-то летает. Но как это отвратительно выглядит! Мне кажется, люди лишены даже чувства прекрасного.

Приложив ладонь козырьком ко лбу, Ясукиги стал смотреть на самолет, пролетавший над его головой.

Неизвестно чему радуясь, подошел дьявол, обернувшийся товарищем по работе. Дьявол, учивший в прошлые времена алхимии, преподавал сейчас прикладную химию. И это существо, ухмыляясь, обратилось к Ясукиги.

— Вечерком встретимся?

В ухмылке дьявола Ясукиги отчетливо послышались строчки из «Фауста»: «Теория, мой друг, суха, но зеленеет жизни древо»¹.

Расставшись с дьяволом, он направился к школе. Все классы пусты. По дороге, заглядывая в каждый, Ясукиги увидел в одном оставшийся на доске геометрический чертеж. Чертеж, поняв, что его заметили, подумал, конечно, что его сотрут. И вдруг, то растягиваясь, то сжимаясь, произнес:

— На следующем уроке еще понадоблюсь.

Ясукиги поднялся по той же лестнице, по которой спускался, и вошел в преподавательскую филологов и математиков. В преподавательской был только лысый Таундсенд. И этот старый педагог, насвистывая скучнейший мотив, пытался воспроизвести какой-то танец. Ясукиги лишь улыбнулся горько и пошел к умывальнику сполоснуть руки. И там, взглянув неожиданно в зеркало, он, к ужасу своему, обнаружил, что Таундсенд в какой-то миг превратился в прекрасного юношу, а сам Ясукиги стал согбенным седоголовым старцем.

СТЫД

Перед тем как идти в класс, Ясукиги обязательно просматривал учебник. И не только из чувства долга: раз получаешь зарплату, не имеешь права относиться к работе спустя рукава. Просто в учебнике было множество морских терминов, что объяснялось самим профилем школы. И если их как следует не изучить, в переводе легко допустить грубейшую ошибку. Например, выражение *cat's paw* может означать «кошачья лапа», и в то же время «бриз».

Однажды с учениками второго курса он читал какую-то небольшую вещицу, в которой рассказывалось о морском путешествии. Она была поразительно плоха. И хотя в мачтах завывал ветер и в люки врывались волны, со страниц не вставали ни эти волны, ни этот ветер. Заставляя учеников читать и переводить, он в первую очередь сам скучал. Не было более неподходя-

¹ Перевод Б. Пастернака.

щего времени, чтобы вызвать у учеников интерес к идейным проблемам или хотя бы проблемам повседневной жизни. Преподаватель ведь, в сущности, хочет обучить и тому, что выходит за рамки его предмета. Мораль, приверженность, мировоззрение — можно назвать это как угодно. В общем, он хочет научить тому, что ближе его сердцу, чем учебник или грифельная доска. Но, к сожалению, ученики не хотят знать ничего, кроме учебника. Нет, не то чтобы не хотят. Они просто ненавидят учение. Ясукити был в этом убежден, поэтому и на сей раз ему не оставалось ничего другого, как, превозмогая скуку, следить за чтением и переводом.

Но даже в те минуты, когда Ясукити не бывало скучно, когда он, внимательно прислушавшись к тому, как читает и переводит ученик, обстоятельно поправлял ошибку, даже в эти минуты все ему было достаточно противно. Не прошло и половины урока, который длится час, как он прекратил чтение и перевод. Вместо этого он стал сам читать и переводить абзац за абзацем. Морское путешествие в учебнике по-прежнему было невыразимо скучным. Но и его метод обучения ни капли не уступал ему в невыразимой скуке. Подобно паруснику, попавшему в полосу штиля, он неуверенно, то и дело замирая на месте, продвигался вперед, либо путая время глагола, либо смешивая относительные местоимения.

И вдруг Ясукити заметил, что до конца того куска, который он подготовил, осталось всего пять-шесть строк. Если он перевалит через них, то попадет в коварное, бушующее море, полное рифов, морской терминологии. Краешком глаза он посмотрел на часы. До трубы, возвещавшей перерыв, оставалось еще целых двадцать минут. Со всей возможной тщательностью он перевел подготовленные им последние пять-шесть строк. Но вот перевод уже закончен, а стрелка часов за это время передвинулась всего на три минуты.

Ясукити некуда было деваться. Единственный выход, единственное, что могло спасти его, — вопросы учеников. А если и после этого останется время, тогда только один выход — закончить урок раньше. Откладывая учебник в сторону, он открыл было рот, чтобы сказать: «Вопросы?» И вдруг густо покраснел. Почему же он покраснел? Этого он и сам не смог бы объяснить.

Обмануть учеников было для него пустяковым делом, а на этот раз он почему-то покраснел. Ученики ничего, конечно, не подозревая, внимательно смотрели на него. Он снова посмотрел на часы. Потом... Едва взяв в руки учебник, начал как попало читать дальше.

Может быть, и потом морское путешествие в учебнике было скучным. Но в метод, каким он обучал, Ясуки-ти верит и поныне. Ясуки-ти был преисполнен отваги больше, чем парусник, борющийся с тайфуном.

ДОВЛЕСТНЫЙ ЧАСОВОЙ

В конце осени или в начале зимы — точно не помню. Во всяком случае, это было время, когда в школу ходили в пальто. Все сели за обеденный стол, и один молодой преподаватель-офицер рассказал сидевшему рядом с ним Ясуки-ти о недавнем происшествии.

— Глубокой ночью два-три дня назад несколько вооруженных бандитов пристали на лодке к берегу позади училища. Заметивший их часовой, который нес ночную вахту, попытался в одиночку задержать их. Но после ожесточенной схватки бандитам удалось уплыть обратно в море. Часовой же, промокнув до нитки, кое-как выбрался на берег. А лодка с бандитами в это время скрылась во мраке. Часового зовут Оура. Остался в дураках.

Офицер грустно улыбался, набивая рот хлебом.

Ясуки-ти тоже знал Оура. Часовые, их несколько, сменяясь, сидят в караульной около ворот. И каждый раз, когда входит или выходит преподаватель, независимо от того, военный он или штатский, они отдают честь. Ясуки-ти не любил, чтобы его приветствовали, и сам не любил приветствовать. Поэтому, проходя через караульную, изо всех сил ускорял шаг, чтобы не оставить времени для приветствия. Ему не удавалось усыпить бдительность лишь одного Оура. Сидя в первой караульной, он неотрывно просматривает расстояние в пять-шесть кэннов перед воротами. Поэтому, как только появляется фигура Ясуки-ти, он, не дожидаясь, пока тот подойдет, уже вытягивается в приветствии. Ну что же, от судьбы не уйдешь. В конце концов Ясуки-ти примирился с этим. Нет, не только примирился.

Стоило ему увидеть Оура, как он, чувствуя себя, точно заяц перед гремучей змеей, еще издали снимал шляпу.

И вот сейчас Ясукиги услышал, что из-за бандитов Оура пришлось искупаться в море. Немного сочувствуя ему, он не мог все же удержаться от улыбки.

Через пять-шесть дней в зале ожиданий на вокзале Ясукиги столкнулся с Оура. Увидев его, Оура, хотя место было совсем не подходящее, вытянулся и со своей обычной серьезностью отдал честь. Ясукиги даже померещился за ним вход в караульную.

— Ты недавно...— начал после непродолжительного молчания Ясукиги.

— Да, не удалось бандитов задержать...

— Трудно пришлось?

— Счастье еще, что не ранили...— С горькой улыбкой, точно насмехаясь над собой, Оура продолжал: — Да что там, если бы я очень захотел, то одного уж наверняка бы задержал. Ну, хорошо, задержал, а дальше что?

— Как это что дальше?

— Ни награды, ничего бы не получил. Видите ли, в уставе караульной службы нет точного указания, как поступать в таких случаях.

— Даже если погибнешь на посту?

— Все равно, даже если и погибнешь.

Ясукиги взглянул на Оура. По его собственным словам выходило, что он и не собирался, как герой, рисковать жизнью. Прикинув, что никакой награды все равно не получишь, он просто-напросто отпустил бандитов, которых должен был задержать. Но Ясукиги, вынимая сигарету, сочувственно кивнул:

— Действительно, дурацкое положение. Рисковать задаром нет никакого резона.

Оура понимающе хмыкнул. Выглядел он необычайно мрачным.

— Вот если бы давали награду...

Ясукиги спросил угрюмо:

— Ну, а если бы давали награду, разве каждый бы стал рисковать? Я что-то сомневаюсь.

На этот раз Оура промолчал. Ясукиги взял сигарету в зубы, а Оура сразу же чиркнул спичкой и поднес ее Ясукиги. Ясукиги, приближая сигарету к

красному колышущемуся огоньку, сжал зубы, чтобы подавить невольную улыбку, проскользнувшую у краешка губ.

— Благодарю.

— Ну что вы, пожалуйста.

Произнеся эти ничего не значащие слова, Оура положил спички обратно в карман. Но Ясукити уверен, что в тот день он по-настоящему разгадал тайну этого доблестного часового. Той самой спичкой чиркнул он не только для Ясукити. На самом деле Оура чиркнул ее для богов, которых он призывал в свидетели его верности бусидо.

Апрель 1923 г.

БОЛЕЗНЬ РЕБЕНКА

Посвящается Ити Ютэю

Учитель Нацумэ взглянул на изображенные на какэмоно иероглифы и как бы про себя сказал: «Кёкусо». В самом деле на какэмоно стояла подпись: Кёкусо, летописец. Я обратился к учителю: «Кёкусо, кажется, внук Тансо? А как же звали сына Тансо?» На что сразу последовал ответ: «Мусо».

И тут я внезапно проснулся. Сквозь сетку от москитов проникал электрический свет из соседней комнаты. Жена, похоже, меняла простынки двухлетнему сыну. Ребенок не переставая плакал. Я повернулся на другой бок и попытался снова уснуть.

— Ох, Така-тян опять захворал! — сказала жена.

— Что случилось?

— Что-то с желудком.

Не в пример старшему сыну, Такаси почему-то часто хворал. Это меня беспокоило, но в то же время я настолько привык к его болезням, что перестал обращать на них внимание.

— Пусть завтра С. его осмотрит.

— Хорошо, а я думала показать его С. еще сегодня вечером.

Когда ребенок перестал плакать, я снова уснул крепким сном.

Проснувшись на следующее утро, я отчетливо помнил все, что мне приснилось. Тансо, которого я увидел во сне, очевидно, Хиросэ Тансо. Кёкусо же и Мусо явно несуществующие лица. Правда, подумал я, среди сказителей был один по имени Нансо. Болезнь ребенка меня вначале особенно не беспокоила. Я начал волноваться лишь после того, как жена вернулась от С.

— Очевидно, расстройство желудка. Доктор обещал попозже прийти,— сердито сказала она, держа ребенка под мышкой.

— Какая температура?

— Тридцать семь и шесть, а вечером была нормальная.

Я поднялся на второй этаж в кабинет и принялся за свою повседневную работу. Работа, как всегда, не клеилась. Виной тому была не только болезнь ребенка.

Между тем по листьям деревьев в саду застучали капли парного, не приносившего прохлады дождя. Сидя перед начатым рассказом, я выкурил подряд несколько «Сикисима».

С. приходил дважды — утром и к концу дня. Вечером он сделал Такаси промывание, во время которого Такаси, моргая, смотрел на лампочку. Влитая жидкость вернулась обратно вместе с клейкой темной массой. Было такое ощущение, будто я увидел причину болезни.

— Ну как, доктор?

— Ничего серьезного. Только кладите непрерывно на голову лед. Ну и не тормошите сейчас ребенка,— посоветовал С. и откланялся.

Я работал до поздней ночи и лег лишь около часа. Выходя перед сном из уборной, я услышал какой-то стук в темной кухне.

— Кто здесь?

— Это я,— послышался в ответ голос матери.

— Что ты там делаешь?

— Колю лед.

Я почувствовал стыд за свою беззаботность и сказал:

— Включила бы свет.

— Ничего, я на ощупь.

Тем не менее я щелкнул выключателем. Мать стояла в одном ночном кимоно, перехваченном узким по-

ясом, и неумело орудовала молотком. Вся ее фигура казалась до неприличия жалкой. В таком виде у нас в семье я ее видел впервые. Обмытые водой грани льда отражали электрический свет.

На следующее утро температура у Такаси поднялась выше тридцати девяти. С. снова заходил утром, а вечером повторил промывание. Помогая ему, я надеялся, что сегодня этой клейкой массы будет меньше. Но, заглянув в горшок, убедился, что ее значительно больше, чем было накануне вечером. Жена невольно вскрикнула: «Как много!» Казалось, она забыла, что уже давно не школьница, а солидная мать семейства. Я взглянул на С.

— Не дизентерия ли?

— Нет. Пока ребенка не отняли от груди, дизентерия исключается.

Против ожидания, С. был совершенно спокоен.

Когда С. ушел, я занялся своей обычной работой. Я писал рассказ для специального номера «Санди майнити». Причем рукопись надо было передать в редакцию не позднее завтрашнего утра. Работа над рассказом меня несколько не воодушевляла, и я буквально заставлял себя водить пером по бумаге. Плач Такаси действовал мне на нервы. Мало того. Как только он прекращался, начинал во весь голос реветь Хироси. Он был старше Такаси на два года.

Но не только это выводило меня из равновесия.

После полудня ко мне пришел незнакомый юноша с просьбой помочь деньгами.

— Я работник физического труда. Вот рекомендательное письмо от господина Ц.,— безо всяких околичностей заявил он.

У меня в кошельке оказалось не более двух-трех иен. Поэтому я вручил юноше две ненужные книги и предложил превратить их в деньги.

— Здесь написано, что книги продаже не подлежат,— заявил юноша, тщательно изучив выходные данные.— Можно ли за них что-нибудь получить?

Я почувствовал себя неловко, но ответил, что продать их, должно быть, можно.

— Вы так считаете? В таком случае разрешите откланяться.— И юноша ушел, не сказав ни единого слова благодарности.

В конце дня С. снова сделал промывание. На этот раз клейкой массы было значительно меньше.

— Ну вот, сегодня вечером мало,— сказала, внося теплую воду для рук, мать с таким видом, будто речь шла о великом событии. Я тоже если и не совсем успокоился, то почувствовал некоторое облегчение. Тому были причиной не только результаты промывания, но и нормальный цвет лица, и отсутствие каких-либо перемен в поведении Такаси.

— Завтра, должно быть, спадет температура. К счастью, у него не наблюдается рвоты,— с удовлетворением говорил С. матери, моя руки.

Когда на следующее утро я открыл глаза, в соседней комнате тетка уже складывала сетку от moskitov. Звеня кольцами сетки, она что-то говорила. Я разобрал только слово «Така-тян».

— Такаси? — переспросил я равнодушно, еще не вполне очнувшись от сна.

— С Така-тян плохо. Надо класть в больницу.

Я поднялся с постели. «Как же так,— думал я,— вчера доктор говорил совсем другое».

— А где С.?

— Он уже здесь. Вставайте скорее.

Лицо тетки казалось странно равнодушным, как будто она силилась скрыть охватившее ее беспокойство. Я сразу же пошел умываться. По-прежнему стояла какая-то гнетущая погода. Небо заволокло тучами. Я вошел в ванную. В ушате плавали две кем-то небрежно брошенные горные лилии. Казалось, что их запах и коричневая пыльца липнут к коже, пропитывают ее.

Всего за одну ночь у Такаси запали глаза. Утром, когда жена хотела приподнять малыша, голова его бесильно откинулась назад и его начало рвать чем-то белым. Такаси все время зевал. Это тоже был, по-видимому, нехороший признак. Меня неожиданно пронзило чувство трогательного умиления и жалости. И в то же время стало жутко. С. сидел у изголовья и молча жевал мундштук «Сикисима». Он взглянул на меня и сказал:

— Мне нужно с вами поговорить.

Я пригласил его на второй этаж. Мы сели друг против друга перед остывшей хибати.

— Полагаю, что ничего угрожающего нет...— на-

чал С. По словам С., у Такаси серьезное расстройство желудка. Для того чтобы привести его в норму, остается один только выход: голодание в течение двух-трех дней.— Поэтому, полагаю, лучше всего было бы поместить его в больницу,— заключил С.

Я подумал, что состояние Такаси значительно тяжелее, чем говорит доктор. У меня мелькнула даже мысль, что, может быть, уже поздно везти его в больницу. Но сейчас не время было предаваться таким мыслям, и я попросил С. отправить Такаси в больницу как можно скорее.

— Думаю, что следует поместить его в больницу У. Она, ко всему прочему, находится поблизости от вашего дома.

Отказавшись от предложенного ему чая, С. пошел звонить по телефону в больницу. Тем временем я позвал жену и сказал, чтобы она попросила тетку отправиться вместе с Такаси в больницу.

В тот день я принимал гостей. Уже с утра их пришло четверо. Беседуя с ними, я все время думал о том, что жена и тетка торопливо собирают сына в больницу. Внезапно я почувствовал на кончике языка что-то вроде песчинки. Подумал было, что это откололся кусочек пломбы. Хотел пощупать кончиком пальца недавно запломбированный зуб, но оказалось, что его нет. Я ощутил суеверный страх, однако продолжал курить и болтать с гостями о том, что прошел слух, будто продается принадлежавший Хоицу сямисэн.

Тем временем снова заявился вчерашний «работник физического труда». Еще не заходя в дом, он начал жаловаться, что за две полученные им вчера книги ему заплатили всего одну иену и двадцать сэнов, и не смогу ли я поэтому дать ему еще четыре-пять иен. Я наотрез отказался и, потеряв терпение, заорал:

— Мне некогда выслушивать все это. Уходите!

Юноша, однако, продолжал клянчить недовольным тоном:

— Дайте хотя бы на обратный проезд. Пятидесяти сэнов будет достаточно.

Убедившись, что ничем поживиться ему не удастся, он резко задвинул входную дверь и исчез за воротами. В ту же минуту я поклялся, что отныне ни один бездельник не получит от меня ни единой иены.

К четырем гостям прибавился пятый — молодой исследователь французской литературы. Я разминулся с ним, когда пошел в гостиную посмотреть, как идут дела. Все приготовления были уже закончены, и тетка ходила взад и вперед по веранде, держа на руках необычно растолстевшего от множества одежд Такаси. Я прикоснулся губами ко лбу сына. Цвет лица у него был болезненный. Лоб — горячий. На виске резкими толчками пульсировала кровь.

— Рикша?

— Рикша уже прибыл, — вежливо ответила тетка, как будто говорила с кем-то чужим. Тем временем появилась жена. На ней было новое кимоно. Она несла пуховую подушку и корзинку.

— Ну, мы пошли, — сказала она необычно серьезным голосом и вежливо склонилась, коснувшись руками земли.

Я только сказал, чтобы на Такаси надели новую шапку. Эту летнюю шапку я лишь недавно купил.

— Шапка на нем, — ответила жена и стала поправлять воротник кимоно, глядя в зеркало над комодом. Я не стал их провожать и снова поднялся на второй этаж.

Мой новый гость говорил о Жорж Санд. В этот момент сквозь молодую листву деревьев в саду я увидел два экипажа. Их поднятые верха, покачиваясь, проплыли над изгородью, мелькнули перед глазами и мгновенно исчезли. Ясно помню, как гость с энтузиазмом говорил: «В целом, несомненно, превосходят писателей второй половины...»

Поток гостей не иссяк и после полудня. И только к вечеру я смог отправиться в больницу. Стал накрапывать дождик. Переодеваясь, я попросил прислугу принести мне гэта на высоких подставках. Как раз в этот момент пришел за рукописью Н. из Осака. Его сапоги были забрызганы грязью, а на пальто блестели капли дождя. Я встретил его у порога и тут же извинился, сказав, что ничего не смог написать по таким-то и таким-то обстоятельствам. Н. выразил мне сочувствие.

— Ну, что ж, ничего не поделаешь, — сказал он.

У меня было такое ощущение, будто я вынудил Н. выразить мне сочувствие. В то же время я подумал, что

в качестве предлога использовал тяжелое состояние находившегося при смерти сына.

Не успел уйти Н., как из больницы возвратилась тетка. По ее словам, у Такаси опять дважды была рвота. К счастью, как сказал врач, никаких мозговых нарушений у него не наблюдается. Тетка сообщила также, что на ночь придет дежурить в больницу мать жены.

— Как только Така-тян поместили в больницу, ученики воскресной школы прислали букет цветов. В общем, все хорошо. Только цветы не к месту...

Тетка не удержалась и сообщила мне даже это... Я сразу вспомнил, как вчера во время беседы с гостями обнаружил, что у меня выпал зуб. Но ничего ей не сказал.

Когда я вышел из дома, было совершенно темно. Моросил дождик. За воротами я сразу же обнаружил, что надел низкие гэта, к тому же у левого гэта ослабел спереди ремешок. Я вдруг подумал, что если ремешок соскочит, мой сын умрет. Но заставить себя возвратиться в дом и сменить гэта было свыше моих сил. Возмущаясь глупостью прислуги, которая не вынесла мне гэта на высоких подставках, я осторожно шагал, все время боясь оступиться.

До больницы я добрался уже в десятом часу. Перед палатой Такаси в наполненном водой умывальнике плавало несколько лилий и гвоздик. Из-за выброшенного на электрическую лампочку не то фуросики, не то чего-то еще в палате царил полумрак и трудно было даже разглядеть лица. Жена и ее мать лежали по обе стороны от Такаси, не развязав даже оби. Такаси мирно спал, положив голову на руку бабушки. Увидев меня, жена приподнялась и тихо сказала:

— Спасибо вам за заботу.

То же самое повторила и ее мать. Против ожидания, в их голосах не чувствовалось особого беспокойства. У меня несколько отлегло от сердца, и я присел у изголовья. Жена пожаловалась, что она вдвойне страдает от того, что Такаси нельзя кормить грудью: сын плачет, а грудь набухла и болит.

— От резиновой соски толку мало. В конце концов пришлось дать ему пососать язык.

— Теперь он ест мое молочко,— засмеялась мать жены и обнажила свою сморщенную грудь.

— Изю всех сил сосет. Смотрите, как покраснела! Я не выдержал и засмеялся.

— Ну, все обстоит лучше, чем я ожидал. А я уж решил, что нет никакой надежды.

— Это вы о Така-тян? С Така-тян все в порядке. Ничего страшного. Всего лишь понос. Завтра, должно быть, жар спадет.

— Все это, конечно, по милости Ососи-сама,— поддразнила жена. Однако верившая в «Сутру священного лотоса» мать жены, делая вид, что не слышит, старательно дула на лобик Такаси, желая, наверно, поскорее уменьшить опасный жар.

* * *

Такаси не умер. Когда дело пошло на поправку, я решил связанные с его болезнью события отобразить в небольшом рассказе. Но меня охватил суеверный страх: а вдруг болезнь снова возобновится, если я напишу рассказ! И я отказался от своего замысла. Но теперь Такаси совсем выздоровел и спит в гамаке в саду.

Меня недавно попросили дать какую-нибудь рукопись для печати, и я тут же подумал: не рассказать ли о болезни Такаси. Пусть не посетует на меня читатель.

Апрель 1923 г.



ПОКЛОН

Ясукити совсем недавно исполнилось тридцать лет. Как и всякий литературный поденщик, он ведет жизнь, суматошную до головокружения, у него едва хватает времени подумать о завтрашнем дне, а о вчерашнем он почти никогда не вспоминает. Но один случай из прошлого отчетливо встает в памяти — идет ли Ясукити по улице, сидит ли за работой, едет ли в электричке. Ясукити знает по опыту, что это результат ассоциации, вызванной знакомыми запахами, точнее говоря — зловонием, этим бедствием городской жизни. Вряд ли кому-нибудь нравится вдыхать, например, паровозную копоть. Но стоило Ясукити ощутить ее запах, как в нем вспыхивало, подобно искрам, вылетающим из трубы, воспоминание об одной встрече, происшедшей лет пять-шесть назад.

Впервые он увидел эту девушку на одной дачной станции, где он жил в то время, вернее, на перроне этой станции. В любую погоду, будь то дождь или ветер, он уезжал утром восьмичасовым поездом, который шел из Токио, а вечером, в четыре двадцать, возвращался домой. Зачем он это делал — в конце концов, не важно. Но если каждый день в одно и то же время ждешь электричку, то, конечно, появляется, по крайней мере, с дюжину знакомых лиц. Одно из этих лиц принадлежало

той самой девушке. Он, однако, хорошо помнил, что ни разу не видел ее в предвечерние часы, по крайней мере, с новогодних праздников и примерно до двадцатых чисел марта, а утренним поездом на Токио, которым ездила девушка, Ясукити не пользовался.

Девушке было лет шестнадцать — семнадцать. На ней всегда был неизменный серебристо-серый костюм, точно такая же шляпка, серебристо-серые чулки и туфли на высоком каблуке. Небольшого роста, она все же производила впечатление стройной, особенно стройны были ноги, изящные, как у лани. Ее нельзя было назвать красавицей. Но ведь даже среди героинь современных романов, будь то западных или восточных, Ясукити ни разу не встречал безупречных красавиц. В описании женщин каждый писатель почему-то считал своим долгом оговориться: «Она не была красивой. Однако...» — будто признание красоты могло повредить престижу современного человека. Поэтому не удивительно, что и Ясукити, думая о девушке, мысленно делал такую оговорку. Итак, ее нельзя было назвать красавицей. Она была просто мила, круглолица, с чуть вздернутым носиком.

Девушка то стояла с рассеянным видом в шумной толпе, то, сидя на скамейке, читала что-нибудь, то медленно прогуливалась по платформе. При виде девушки Ясукити не испытывал ни сердцебиения, ни какого-либо особого волнения, как это бывает в любовных романах. Просто он мысленно отмечал: «А вот и она», — как делал это, заметив командующего военно-морским округом или кошку в лавчонке. Короче говоря, девушка была для него просто знакомым лицом, к которому он питал дружеское расположение. И если случилось, что ее не было на платформе, он ощущал нечто похожее на разочарование, словно ему чего-то не хватало. Примерно такое же чувство он испытал однажды, когда исчезла на несколько дней кошка из лавки. Пожалуй, еще меньше взволновало бы Ясукити известие о смерти командующего военно-морским округом или о другой постигшей его беде.

Это случилось в один из теплых сырых пасмурных дней конца марта. Ясукити, как всегда, ехал с работы в поезде токийского направления, пришедшем на станцию в четыре двадцать. Видимо, он сильно устал, пото-

му что в вагоне не читал, как обычно, а сидел, прислонившись к окну, и смотрел на весенние горы и поля. Вдруг он вспомнил, что в одном из европейских романов шум поезда, бегущего по равнине, был передан так: «Тратата, тратата», а стук колес по железнодорожному мосту — «Трарарах-трарарах». Если слушать не очень внимательно, может показаться, что это и в самом деле так. Да, все это Ясукити помнил.

Прошло тридцать томительных минут, и Ясукити наконец сошел с поезда на уже известной читателю дачной платформе. Там стоял поезд из Токио, пришедший немного раньше. Ясукити смешался с толпой и вдруг среди выходящих из этого поезда увидел девушку. Никогда раньше он не встречал ее здесь в это время дня. И вот сейчас она совсем неожиданно появилась перед ним, серебристо-серая, как облако, пронизанное солнечным светом, как ветка серебристой ивы. Ясукити опешил. Кажется, девушка в этот момент тоже взглянула на него. Он даже был в этом уверен. И тут Ясукити, сам того не ожидая, поклонился ей.

Девушка растерялась. К сожалению, он не помнил, какое у нее было тогда выражение лица, да и не до того ему было. «Что я наделал!» — мелькнуло у него в голове, и он тотчас почувствовал, как горят у него уши. Но он хорошо помнил, что девушка ответила на поклон.

Наконец он вышел со станции, продолжая злиться на себя за свою глупость. Что это он вдруг поклонился? Это получилось произвольно. Так человек моргает, когда неожиданно сверкнет молния. А за поступок, совершенный помимо воли, никто не несет ответственности. Но все же что она подумала о нем? Да, ведь она ему кивнула. Быть может, тоже произвольно? Быть может, она считает Ясукити скверным мальчишкой? Надо было сразу же извиниться перед ней за дерзость. И то, что ему даже не пришло это в голову...

Не заходя домой, Ясукити пошел на взморье, там было тихо и пустынно. Когда ему становилась постылой его комната, которую он снимал за пять иен в месяц, пятидесятидневные завтраки и вообще весь мир, он приходил на этот песчаный берег подышать своей трубкой из Глазго. Это случалось с ним довольно часто. Вот и сегодня, глядя на пасмурное море, он прежде всего поднес спичку к трубке. Сделанного не поправишь. Но

ведь завтра он снова увидит эту девушку. Как она поведет себя? Быть может, не удостоит даже взглядом? Или снова ответит на поклон, если не считает его скверным мальчишкой? На его поклон? Неужели он — Ясукити Хорикава — намерен как ни в чем не бывало еще раз поклониться этой девушке? Нет, он не сделает этого. Но ведь сегодня он это сделал, и, возможно, при случае он и девушка снова обменяются приветствиями. Допустим, что это так... Ясукити вдруг вспомнил, какие красивые у нее брови...

С тех пор прошло лет семь или восемь, но Ясукити удивительно отчетливо помнит, как спокойно было тогда море. Он долго стоял на берегу, рассеянно глядя на его неподвижную поверхность, трубка давно погасла. Сначала он размышлял о девушке, потом мысли его перешли на задуманный им новый роман. Героем его будет учитель английского языка, проникнутый революционным духом. У него твердый характер, он никогда ни перед кем не склоняет головы... Но вот однажды он нечаянно поклонился одной девушке, которую знал в лицо. Небольшого роста, она все же производила впечатление стройной, особенно стройны ноги в серебристо-серых чулках и туфельках на высоком каблуке. Видимо, девушка не выходила из головы Ясукити.

На следующее утро, без пяти восемь, Ясукити ходил по перрону, заполненному людьми, и в смятении ждал появления девушки. Он был бы рад избежать встречи и в то же время желал ее. Так чувствует себя боксер накануне матча с сильным противником. Ясукити одолевало какое-то странное беспокойство, он боялся, что совершит опрометчивый поступок. Ведь поцеловал же когда-то при всех Жан Ришпен Сару Бернар. Ясукити — японец и на такую дерзость не отважится. Но показать язык или соорудить гримасу — на это он способен. Ощущая в сердце холодок страха, он исподтишка посматривал на людей. И наконец увидел девушку, — она неторопливо шла прямо к нему. Ясукити тоже продолжал идти, будто навстречу самой судьбе. Они быстро приближались друг к другу. Десять шагов, пять шагов, три шага — вот они поравнялись. Ясукити посмотрел ей в глаза. Девушка спокойно, даже бесстрастно ответила на его взгляд. Они уже готовы были разминуться, как совершенно незнакомые друг другу люди.

Но в это мгновение Ясукити уловил какое-то движение в глазах девушки, и ему неудержимо захотелось поклониться. Все это произошло буквально в один миг. Похожая на серебристое облако, пронизанное солнцем, на ветку серебристой ивы, девушка медленно прошла мимо, а он, мысленно ахнув, остался на месте...

Минут двадцать спустя Ясукити, с английской трубкой в зубах, трясся в поезде. У девушки были красивы не только брови, но и глаза, черные и ясные... И чуть вздернутый нос... Неужели это любовь? Он не помнит, как ответил тогда сам себе на этот вопрос. Помнит лишь ощущение охватившей его смутной тоски. Следя за струйкой дыма, поднимавшейся из трубки, он с грустью неотрывно думал о девушке. А поезд несся и несся по ущелью в горах, освещенных утренним солнцем.

«Тратата, тратата, тратата, трарарах».

Сентябрь 1923 г.

А-БА-БА-БА-БА

Ясукити знал хозяина этой лавки очень давно.

Очень давно,— кажется, с того самого дня, когда его перевели сюда в морской корпус. Он случайно зашел купить коробку спичек. В лавке была маленькая витрина; за стеклом, вокруг модели крейсера «Микаса» с адмиральским вымпелом, стояли бутылки кюрасо, банки какао и коробки с изюмом. Но над входом висела вывеска с красной надписью «Табак», значит, конечно, должны быть в продаже и спички. Ясукити заглянул в лавку и сказал: «Дайте коробку спичек». Неподалеку от входа за высокой конторкой стоял со скучающим видом косоглазый молодой человек. При виде посетителя он, не отодвигая счетов, не улыбнувшись, ответил:

— Возьмите вот это. Спички, к сожалению, все вышли.

«Вот это» было крошечной коробочкой, какие дают в приложение к папиросам.

— Мне, право, неудобно... Тогда дайте пачку «Асахи».

— Ничего. Берите.

— Нет уж, дайте пачку «Асахи».

— Берите же, если она вам годится. Незачем покупать то, что не нужно.

Слова косоглазого были, несомненно, вполне любезны. Но его тон и лицо выражали удивительную неприветливость. И попросту ужасно не хотелось у него что-либо брать. А повернуться и уйти было как-то неловко. Ясукиги волей-неволей положил на конторку медную монетку в один сэн.

— Ну, так дайте две таких коробочки.

— Пожалуйста, хоть две, хоть три. Только платить не надо.

К счастью, в эту минуту из-за рекламы «Кинсэн-сайда», висевшей у двери, показался приказчик — прыщеватый малый с неопределенным выражением лица.

— Спички здесь, хозяин.

Внутренне торжествуя, Ясукиги купил коробку спичек нормального размера. Стоили они, разумеется, один сэн. Но никогда еще спички не казались ему такими красивыми. А торговая марка — парусник на треугольных волнах — была так хороша, что хоть вставляй в рамку. Бережно опустив спички в карман брюк, Ясукиги с чувством одержанной победы вышел из лавки.

С тех пор в течение полугода Ясукиги по пути в корпус и обратно часто закахивал в эту лавку. И теперь еще, закрыв глаза, он мог отчетливо ее себе представить. С потолочной балки свешивается камакурская ветчина. Через окно в мелком переплете падает на оштукатуренную стену зеленоватый солнечный свет. Бумажки, валяющиеся на дощатом полу, — это рекламы сгущенного молока. На столбе прямо напротив входа висит под часами большой календарь. И остальное — крейсера «Микаса» на витрине, реклама «Кинсэн-сайда», стул, телефон, велосипед, шотландское виски, американский изюм, манильские сигары, египетские папиросы, копченая сельдь, жаренная в сое говядина — почти все сохранилось в памяти. Особенно выставлявшаяся из-за высокой конторки надутая физиономия хозяина, на которого он насмотрелся до отвращения. Не только насмотрелся. Он знал до мелочей все его привычки и повадки, как он кашляет, как отдает распоряжения приказчику, как уговаривает покупателя, зашедшего за банкой какао. «Возьмите лучше не «Фрай», а это. Это голландское «Дрост». Знать все это было неплохо.

Но, уж конечно, очень скучно. И иногда, когда Ясуки-ти заходил в эту лавку, ему начинало казаться, что он служит учителем уже давным-давно. На самом же деле он не прослужил еще и года.

Но всеильные перемены не обошли и этой лавки. Как-то утром в начале лета Ясуки-ти зашел купить папирос. В лавке все было как обычно, все так же на обрызганном полу валялись рекламы сгущенного молока. Но вместо косоглазого хозяина за конторкой сидела женщина, причесанная по-европейски. Лет ей было, вероятно, девятнадцать. Её face она походила на кошечку. На белую кошечку, которая щурится на солнце. Изумляясь, Ясуки-ти подошел к конторке.

— Две пачки «Асахи».

— Сейчас.

Женщина ответила смущенно. Вдобавок подала она ему не «Асахи»: обе пачки были «Микаса» с изображением восходящего солнца на оборотной стороне. Ясуки-ти невольно перевел взгляд с пачек на личико женщины. И сейчас же представил себе, что у нее под носиком торчат длинные кошачьи усы.

— Я просил «Асахи», а это «Микаса».

— Ох, в самом деле! Извините, пожалуйста.

Кошечка — нет, женщина — покраснела. Это её душевное движение было чисто девическим. И не таким, как у современной барышни. Это была девушка во вкусе «Кэньюся», каких нет уже лет пять-шесть. Шаря в кармане в поисках мелочи, Ясуки-ти вспомнил «Сверстников», свертки в двухцветных фуросики, ирисы, квартал Рёоку, Кабураги Киёката и многое другое. Тем временем женщина старательно искала под конторкой «Асахи».

Тут из внутренней двери показался прежний косоглазый хозяин. Увидев «Микаса», он с первого взгляда уяснил себе положение. С обычным своим кислым выражением лица он опустил руку под конторку и протянул Ясуки-ти две пачки «Асахи». Но в глазах у него, хоть и едва заметно, теплилось что-то похожее на улыбку.

— Спичек?

Глаза женщины томно сощурились, точно у кошечки, готовой замурлыкать. Хозяин, не отвечая, только слегка кивнул, женщина моментально положила на

конторку маленькую коробочку спичек. Потом еще раз смущенно засмеялась.

— Извините, пожалуйста...

Извинялась она не только за то, что дала «Микаса» вместо «Асахи». Переводя взгляд с нее на хозяина, Ясукиги почувствовал, что улыбается сам.

С тех пор, когда бы он ни пришел, женщина сидела за конторкой. Впрочем, она уже не была причесана по-европейски, как в первый раз. Теперь волосы у нее были уложены в большой узел марумагэ с аккуратно продетой красной лентой. Но с покупателями она обращалась все так же неумело. Мешкала с ответом. Путала товары. Вдобавок по временам краснела. Она совсем не была похожа на хозяйку. Ясукиги понемногу начинал питать к ней симпатию. Это не значило, что он влюбился. Просто ему нравилась ее застенчивость.

Как-то в томительный зной, под вечер, Ясукиги по пути из корпуса зашел в лавку за банкой какао. Женщина и на этот раз сидела за конторкой, читая журнал «Кодан-курабу». Ясукиги спросил прыщеватого приказчика, нет ли какао марки «Ван Гутен».

— Сейчас есть только такое.

Приказчик протянул ему банку «Фрай». Ясукиги окинул взглядом лавку. Среди фруктовых консервов оказалась банка с маркой, изображающей европейскую монахиню.

— А вон там, кажется, есть «Дрост»?

Приказчик оглянулся на указанную полку, и лицо его выразило растерянность.

— Да, это тоже какао.

— Значит, есть не только такое?

— Нет, только такое... Хозяйка, какао у нас только «Фрай»?

Ясукиги оглянулся на женщину. Лицо женщины, слегка сощурившей глаза, было красивого зеленого оттенка. В этом не было ничего удивительного — лучи вечернего солнца падали в лавку через цветные стекла окна в мелком переплете. Не снимая локтя с журнала, женщина, как обычно, с запинкой ответила:

— Я думала, что осталось только такое, но...

— Видите ли, в какао «Фрай» иногда попадают черви, — серьезным тоном заговорил Ясукиги. На самом

деле ему ни разу не случилось видеть какао с червями: просто он был уверен, что сказать так — верный способ убедиться, имеется ли какао «Ван Гутен». — И попадаются довольно крупные. С мизинец...

Женщина чуть-чуть испуганно перегнулась за конторку.

— А вон там не осталось ли? На задней полке?

— Только красные банки. Здесь других нет.

— Ну, а тут?

Постукивая своими гэта, женщина вышла из-за конторки и принялась с беспокойством искать по лавке. Растерянному приказчику тоже волей-неволей пришлось посмотреть среди консервов. Ясукити, закурив папиросу, с расстановкой говорил для поощрения:

— А если таким червивым какао напоить детей, то у них разболится живот. (Он снимал на даче комнату совершенно один.) Да что там дети — жена тоже раз пострадала. (Никакой жены у него, разумеется, не было.) Так что не подумайте, что я чересчур осторожен...

Ясукити вдруг замолчал. Женщина, вытирая руки передником, в замешательстве смотрела на него.

— Право, не могу найти...

В глазах ее была робость. Губы силились улыбнуться. Особенно забавно было, что на носу у нее выступили капельки пота. Встретившись с ней глазами, Ясукити вдруг почувствовал, что в него вселился злой бес. Эта женщина была точь-в-точь как мимоза. На каждое раздражение она реагировала именно так, как он ожидал. И раздражение это могло быть совсем простым. Достаточно было пристально посмотреть ей в лицо или тронуть ее кончиком пальца. Одного этого было бы довольно, чтобы она поняла, чего хочет Ясукити. Как бы она поступила, поняв, чего он хочет, это, разумеется, оставалось неизвестным. А вдруг она не даст отпора?.. Нет, кошку можно у себя держать. Но ради женщины, похожей на кошечку, отдавать душу во власть злого беса не очень-то разумно. Ясукити выбросил недокуренную папиросу и вышвырнул вселившегося в него беса. Бес от неожиданности перекувырнулся и попал в нос приказчику — и приказчик, не успев увернуться, несколько раз подряд громко чихнул.

— Ничего не поделаешь. Дайте банку «Дрост».

Ясукити с кривой улыбкой стал шарить в кармане, ища мелочь.

После этого у Ясукити с ней не раз повторялся тот же разговор. К счастью, сколько он помнил, это был единственный раз, когда в него вселился бес. Более того, как-то раз Ясукити даже почувствовал, что на него слетел ангел.

Однажды поздней осенью Ясукити, зайдя под вечер за папиросами, решил заодно воспользоваться в лавке телефоном. Перед лавкой на самом солнце хозяин возился с велосипедом, накачивая шину. Приказчик, повидимому, ушел по поручениям. Женщина, сидя, как обычно, за конторкой, приводила в порядок какие-то счета. Во всей этой неизменной обстановке лавки не было ничего неприятного. Все здесь дышало мирным счастьем, как жанровая картина голландской школы. Стоя позади женщины с телефонной трубкой у уха, Ясукити вспомнил свою любимую репродукцию Де Хуга.

Однако, сколько он ни звонил, он никак не мог добиться соединения с нужным номером. Мало того, телефонистка, переспросив раза два: «Номер?» — вдруг совсем замолкла. Ясукити звонил снова и снова. Но в трубке только потрескивало. Тут уж ему стало не до того, чтобы вспоминать Де Хуга, Ясукити вытащил из кармана «Руководство по социализму» Спарго. К счастью, возле телефонного аппарата был ящичек, служивший чем-то вроде подставки для книг. Ясукити положил на него книгу и, пока глаза бегали по строкам, рука его, как только можно было медленно, упорно крутила ручку телефона. Это был его метод войны с упрямой телефонисткой. Как-то, подойдя к телефону-автомату на Гиндза-Овари-тё, он, прежде чем позвониться, успел прочесть всего «Сабаси Дзингоро». И на этот раз он намеревался не отнимать руки от звонка, пока не добьется ответа телефонистки.

Пока он, основательно разругавшись с телефонисткой, наконец поговорил по телефону, прошло минут двадцать. Желая поблагодарить, Ясукити оглянулся на прилавок. Но за прилавком никого не было. Женщина стояла у дверей и разговаривала с мужем. Хозяин, видимо, все еще возился со своим велосипедом на осеннем солнце. Ясукити направился к выходу, он невольно за-

медлил шаги. Женщина, стоя спиной к нему, спрашивала мужа:

— Давеча один покупатель хотел купить подменный кофе — что такое подменный кофе?

— Подменный кофе? — Хозяин разговаривал с женой тем же неприветливым тоном, что и с покупателями. — Ты, наверно, ослышалась: ячменный кофе.

— Ячменный кофе? А, кофе из ячменя! То-то я думала — смешно: подменного кофе в бакалее не бывает.

Ясукити стоял в лавке и смотрел на эту сцену. Тут-то он и почувствовал, как слетел ангел. Ангел пролетел под потолком, с которого свешивался окорок, и осенил благословением этих двух ничего не подозревавших людей. Правда, от запаха копченых селедок он слегка поморщился... Ясукити вдруг сообразил, что забыл купить копченых селедок. Их жалкие тушки грудой высились перед самым его носом.

— Послушайте, дайте мне этих селедок.

Женщина сразу же обернулась. Это было как раз в ту минуту, когда она уразумела, что подменного кофе в бакалее не бывает. Несомненно, она догадалась, что ее разговор был услышан. Не успела она поднять глаз, как ее лицо, похожее на кошачью мордочку, залилось краской смущения. Ясукити, как уже упоминалось, и раньше не раз замечал, что она краснеет. Но такой пунцовый, как сейчас, он еще не видел ее никогда.

— Селедок? — тихо переспросила женщина.

— Да, селедок, — на этот раз особенно почтительным тоном ответил Ясукити.

После этого случая прошло месяца два, был январь следующего года. Женщина вдруг куда-то исчезла. Исчезла не на несколько дней. Когда бы Ясукити ни заходил, в лавке у старой печки со скучающим видом сидел в одиночестве косоглазый хозяин. Ясукити чувствовал, что ему чего-то не хватает, и строил разные догадки о причинах исчезновения хозяйки. Но обратиться к намеренно нелюбезному хозяину с вопросом: «Ваша супруга?..» — он не решался. В самом деле, он не только никогда ни о чем не говорил с хозяином, но даже к этой застенчивой женщине обращался только со словами: «Дайте то-то или то-то».

Тем временем замерзшие дороги начинало топить, то два подряд пригревать солнце. Но женщина все не

показывалась. В лавке вокруг хозяина витал дух запустения. Понемногу Ясукити перестал замечать отсутствие хозяйки...

Как-то вечером в конце февраля только что закончив урок английского языка, Ясукити, обвеваемый теплым южным ветром, случайно проходил мимо лавки. За витриной, сверкая в электрическом свете, рядами стояли бутылки с европейскими винами и банки с консервами. В этом, разумеется, не было ничего необычного. Но вдруг он заметил, что перед лавкой стоит женщина с младенцем на руках и лепечет какой-то вздор. Из лавки на улицу падала широкая полоса света, и Ясукити сразу узнал, кто эта молодая мать.

— А-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-а...

Она прохаживалась перед лавкой и забавляла младенца. Покачивая его, она вдруг встретилась глазами с Ясукити. Ясукити мгновенно представил себе, как в ее глазах появится робость и как, заметно даже в темноте, покраснеет ее лицо. Однако женщина оставалась безмятежной. Глаза ее тихо улыбались, на лице не было и тени смущения. Мало того, в следующее мгновение она опустила глаза на младенца и, не стесняясь чужих глаз, повторила:

— А-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-а...

Миновав женщину, Ясукити, сам того не замечая, горько засмеялся. Это уже была не «та женщина». Это была просто обыкновенная добрая мать. Страшная мать, одна из тех матерей, которые, когда дело идет об их ребенке, во все века готовы были на любое злодейство. Разумеется, пусть ей эта перемена принесет всяческое счастье. Но вместо девушки-жены обнаружить наглую мать... Шагая дальше, Ясукити рассеянно смотрел в небо над крышами. На небе, под которым веял южный ветер, слабо серебрилась круглая весенняя луна.

Ноябрь 1923 г.



УДИВИТЕЛЬНЫЙ ОСТРОВ

Я лежу в тростниковом шезлонге. По-видимому, на палубе. Перед глазами перила, а за ними в серых волнах что-то поблескивает, кажется, летающие рыбы. Но зачем я сел на пароход? Этого, как ни странно, я не помню. Еду ли я один или с кем-нибудь — и об этом у меня самое туманное представление.

Туман... Морская даль в тумане, она как бы подернута дымкой. Мне лень шевелиться, но я хочу рассмотреть, что там за этой дымкой. И тут, будто вызванные усилием моей воли, впереди возникают очертания острова. В центре, придавая острову конусообразную форму, сгрудились горы. Довольный результатом, я еще раз напрягаю волю. Но напрасно, я по-прежнему вижу только нечеткие контуры острова. На этот раз воля не помогла.

Тут я услышал справа от себя чей-то смех.

— Ха-ха-ха, не получилось? Воля не подействовала, да? Ха-ха-ха!

Рядом со мной в тростниковом кресле сидит старик, с виду англичанин. Лицо его, хотя и в морщинах, все еще красиво. Старик одет по моде восемнадцатого века, и кажется, будто сошел с картины Хогарта. На нем шляпа с серебряными полями, так называемая

cocked hat¹, расшитая рубашка и панталоны чуть ниже колен. Волосы ниспадают на плечи, но это не его волосы. Он в парике цвета конопли, присыпанном какой-то мукой. Я был так поражен, что даже ничего не ответил.

— Возьмите мою подзорную трубу. Через нее хорошо видно.

И старик с недоброй усмешкой протянул мне старую подзорную трубу. Похоже, что раньше она была в каком-то музее.

— О-о, тэнкс.

Я непроизвольно перешел на английский. Но старик продолжал говорить на безупречном японском языке, указывая в сторону острова рукой в манжете, из-под которого виднелись похожие на пену кружева.

— Этот остров называется Суссанрап. Как пишется? Извольте: Sussanrap. Его стоит посмотреть. Наш паром стоит здесь дней пять-шесть, непременно совершите поездку по острову. Там есть и университет и храм. Особенно великолепен остров в базарные дни, когда туда съезжаются многочисленные жители с соседних островов.

Пока старик говорил, я смотрел в подзорную трубу. В поле зрения попал город, расположенный на берегу острова. Видны ряды чистых домиков. Ветер качает верхушки деревьев. Высится храм. Дымка исчезла. Все отчетливо видно. Восхищенный увиденным, я поднял подзорную трубу немного выше... И чуть не вскрикнул от удивления.

В безоблачное небо уходит похожая на Фудзи гора. В этом нет ничего удивительного. Но гора, насколько хватает глаз, покрыта овощами: капустой, помидорами, луком, редькой, репой, морковью, тыквой, огурцами, картофелем, корнями лотоса, имбирем. Самыми различными овощами. Покры... Да нет. Она сложена из них. Удивительная овощная пирамида!

— Это... Это что такое?

Не выпуская из рук подзорной трубы, я оборачиваюсь к старику. Но его уже нет. Только газета лежит на тростниковом кресле... Неожиданно я почувствовал, что кровь отливает от головы, и опять впал в какое-то тяжелое забытие.

¹ Cocked hat — треуголка (англ.).

— Ну как, осмотрели остров?

И старик, недобро улыбаясь, сел рядом со мной.

Мы в гостинице. В необычно просторном зале, обставленном в стиле secession.

Я сижу на диване в углу зала и курю первосортную «гавану».

Сверху свисают побеги тыквы, растущей в горшке. Среди закрывающих горшок широких листьев видны распутившиеся желтые цветы.

— Да, осмотрел. Сигару?

Но старик покачал головой, как ребенок, и достал старинную табакерку слоновой кости. Я видел такую где-то в музее. Да, стариков, как этот, нет теперь на Западе, не говоря уже о Японии. Хорошо бы познакомиться с ним Сато Харуо! Вот бы удивился!

— Как только выходишь за город, начинаются огороды,— продолжал я.

— Большинство населения Суссанрапа выращивает овощи. Этим занимаются и мужчины и женщины.

— Наверное, на овощи большой спрос?

— Они продают их жителям близлежащих островов. Но, конечно, продается не все. Остатки сваливаются в кучу. Вы, наверное, видели гору тысяч в двадцать футов вышиной?

— Неужели это все непроданные остатки, эта овощная пирамида?

Я мог только, глядя на старика, хлопать от удивления глазами. А старик не переставал загадочно улыбаться.

— Да, это все остатки. Причем скопившиеся только за последние три года. А если бы собрать и за прежние годы, овощами можно было бы засыпать Тихий океан. Но жители Суссанрапа продолжают выращивать овощи. Они не знают покоя ни днем, ни ночью. Ха-ха-ха! Вот и сейчас, когда мы с вами разговариваем, они трудятся не покладая рук. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!

Невесело посмеиваясь, старик достал пахнущий жасмином носовой платок. Это был не простой смех. Он напоминал смех сатаны, издевающегося над людской глупостью. Я нахмурился и перевел разговор на другую тему.

— Скажите, когда здесь бывает базар?

— В начале каждого месяца. Но это обычные базары. А три раза в год — в январе, апреле и сентябре — устраиваются еще большие базары. Самый большой — в январе.

— Наверное, перед большими базарами на острове царит оживление?

— Да, конечно. Каждый старается к этому времени вырастить свои овощи. Используются фосфатные удобрения и жмыхи, овощи помещают в теплицы, подключают электрический ток... Всего не расскажешь. Бывает и так, что, стремясь как можно скорее вырастить овощи, люди губят их.

— Да, сегодня я тоже видел, как по огороду бегал мужчина с обезумевшим лицом и кричал: «Не успею, не успею».

— Вполне возможно. Ведь скоро новогодний базар. Городские торговцы тоже сбились с ног.

— Городские торговцы?

— Да, те, кто занимается торговлей овощами. Торговцы покупают овощи, которые выращивают деревенские жители на своих огородах, а люди, приезжающие с островов, покупают овощи у этих торговцев. Таков здешний порядок.

— Наверное, это и был торговец. Толстый мужчина с черным портфелем в руках. Все приговаривал: «Плохо дело, плохо дело». А какие овощи здесь самые ходкие?

— На то воля божья. Точно сказать трудно. Каждый год положение меняется, а почему — неизвестно.

— Но, видимо, те, что лучше качеством, лучше и расходятся?

— Да как вам сказать. Здесь ведь качество обычно определяют калеки.

— Почему же калеки?

— Очень просто. Калеки в огородах не работают, стало быть, овощей не выращивают и потому при определении их качества могут быть беспристрастными. Как в японской пословице: кто смотрит с холма, видит в восемь глаз.

— Значит, то был один из таких калек. Я слышал, какой-то бородатый слепец, поглаживая не очищенный от земли клубень ямса, говорил: «Цвет этого овоща

неописуемо красив. В нем совмещаются цвета розы и ясного неба».

— Да, наверно. Слепой — это, конечно, неплохо. Но идеальным считается полный калека — человек, который не видит, не слышит, лишен обоняния, не имеет ни рук, ни ног, ни зубов, ни языка. Если удастся найти такого, он становится *arbiter elegantiarum*¹. Нынешний фаворит вполне удовлетворяет этим требованиям, у него сохранилось только обоняние. Говорят, что недавно ему залили ноздри жидким каучуком, но он все же немного различает запахи.

— Ну, а что же происходит потом, когда калеки определяют, какие овощи хорошие и какие нет?

— Ничего. Сколько бы калеки ни ругали какой-нибудь овощ, его как покупали, так и покупают.

— Стало быть, все зависит от вкуса торговцев?

— Торговцы покупают только овощи, на которые, они предполагают, будет спрос. Но пользуются ли спросом именно хорошие овощи...

— Подождите. Если так, то тогда ведь нельзя полагаться на мнение калек?

— Так, в сущности, и поступают те, кто выращивает овощи. Но и у них нет единого мнения о качестве овощей. Одни, например, считают, что качество овощей определяется их питательностью. По мнению других, качество зависит только от вкуса. Но и это не все.

— Как, дело обстоит еще сложнее?!

— Да, разногласия заходят еще дальше. Считают, например, что овощи без витаминов не питательны или что питательны только те, что содержат масла, что вкус моркови не годится или что приемлем только вкус редьки, и так далее.

— Значит, есть два критерия, и в каждом из них имеются различные вариации. Не так ли?

— Совсем не так. Вот вам пример. По мнению некоторых, существует цветовой критерий. Это деление цветов на теплые и холодные, о чем говорится во введениях в эстетику. Сторонники этого критерия требуют признания овощей теплых цветов — красных и желтых.

¹ Знаток всего изящного (*лат.*).—Так в древнем Риме называли Петрония. Употребляется в значении «законодатель хорошего вкуса».

А на овощи холодного зеленого цвета они смотреть не хотят. Их лозунг — умрем или заменим все овощи помидорами.

— В самом деле, я слышал это от героического вида мужчины, который в одной рубашке держал речь перед грудой овощей.

— Вот-вот. Эти овощи теплых цветов называют пролетарскими.

— Но в куче перед ним были навалены одни огурцы и дыни...

— Стало быть, он дальтоник. Они только ему кажутся красными.

— А как же овощи холодных цветов?

— Некоторые жители считают, что только овощи холодных цветов и можно считать овощами. Правда, эти люди лишь насмежаются, речей они не произносят. Но в душе все они ненавидят овощи теплых цветов.

— Им мешают малодушие?

— Нет, они не столько не хотят, сколько не могут произносить речей. От пьянства или сифилиса у них прогнили языки.

— Да-да, недалеко от героя в одной рубашке я видел умника в узких брюках, который, собирая тыквы, насмешливо повторял: «Опять эти речи».

— Собирая зеленые тыквы, не так ли? Овощи таких холодных цветов называют буржуазными.

— Что же получается? По мнению тех, кто выращивает овощи...

— По мнению тех, кто выращивает овощи, все, что похоже на овощи, которые выращивает он сам, хорошо, а что не похоже — плохо. Во всяком случае, в этом они твердо уверены.

— Но есть ведь университет? Говорят, что профессора читают лекции об овощах, так что отличить хорошие овощи от плохих не так уж трудно.

— Видите ли, профессора университета, когда речь заходит о суссанрапских овощах, не могут отличить гороха от диких бобов. Впрочем, сведения о местных овощах до первого века все же проникают в лекции.

— Какие же овощи им известны?

— Английские, французские, итальянские, русские... Особой популярностью среди студентов, говорят, пользуются лекции по русской овощелогии. Непре-

менно сходите разок в университет. Когда я в прошлый раз приезжал сюда, я был на такой лекции. Профессор в пенсне, показывая заспиртованный в банке старый русский огурец, изливал поток красноречия: «Взгляните на суссанрапские огурцы. Все они зеленые. А вот огурцы великой России не имеют этого примитивного цвета. Их цвет совершенен, он подобен цвету жизни. О-о, огурцы великой России...» От избытка впечатлений я полмесяца пролежал в постели.

— Стало быть... Стало быть, как вы и говорите, вывод может быть один: есть ли спрос на тот или иной овощ — на то воля божья.

— Да, иного вывода быть не может. Но должен вам сказать, население этого острова поклоняется Бабраббаде.

— Что это такое, Баббураббу или как его там?

— Бабраббада. Пишется: Babrabbada. Разве вы не видели? Там, в храме...

— А-а, изображение ящерицы с головой свиньи?

— Это не ящерица. Это правящий вселенной Хамелеон. Сегодня тоже у его изображения многие люди отвешивали поклоны. Молящиеся просили, чтобы их овощи лучше продавались. Ведь, судя по газетам, все универмаги Нью-Йорка начинают подготовку к новому сезону только после получения пророчества Хамелеона. Можно даже сказать, что в мире больше не верят ни в Иегову, ни в Аллаха. Человечество пришло к Хамелеону.

— В храме перед алтарем были навалены овощи...

— Это все жертвоприношения. Суссанрапскому Хамелеону приносят овощи, на которые был спрос в прошлом году.

— Но в Японии...

— Извините, вас зовут.

Я прислушался. Действительно, меня звали. Это был гнусавый голос моего племянника, последнее время страдающего полипами. Я неохотно поднялся и протянул старику руку:

— Позвольте мне откланяться.

— Ну что же. Буду рад побеседовать с вами еще. Вот моя визитная карточка.

Пожав мою руку, старик спокойно протянул мне визитную карточку. Посредине карточки четкими

буквами было напечатано: Лэмуэль Гулливер. С открытым от удивления ртом я уставился на старика. Его лицо с правильными чертами, обрамленное локонами цвета конопли, улыбалось вечной иронической улыбкой. Но это длилось какое-то мгновение. На месте лица старика возникло лицо моего пятнадцатилетнего сорванца-племянника.

— Простят рукопись. Вставай. Пришли за рукописью.

Племянник будил меня. Я проспал минут тридцать, пригравшись у котачу. А на котачу лежала книга «Gulliver's Travel»¹, которую я начал было читать.

— Пришли за рукописью? За какой рукописью?

— За очерком.

— Очерком? — И я непроизвольно сказал вслух: — Похоже, что на овощном базаре Суссанрапа будет продаваться и сорная трава.

Декабрь 1923 г.

¹ «Путешествие Гулливера» (англ.).



ПРЕСТУПЛЕНИЕ САНЭМОНА

Это случилось на четвертом году Бунсэй, в декабре. Вассал князя Харунага, властителя Кага, охранник Хосёи Санэмон, получавший на княжеской службе шестьсот коку риса в год, убил юного Кадзума, младшего сына Кинугаса Тахэя, такого же охранника, как и сам Санэмон. Причем убил не в честном поединке, — однажды, когда Санэмон, возвращаясь с поэтического собрания, проходил в начале часа Пса мимо конского ристалища, Кадзума набросился на него с мечом, однако сам же и пал от его руки.

Весть о происшествии дошла до князя, и Харунага приказал Санэмону явиться пред княжеские очи. Подобное приказание никого не удивило.

Во-первых, князь Харунага известен был как человек мудрый. А следовательно, все важные решения принимал сам, не допуская к тому своих вассалов. Пока не вникнет в суть дела, пока сам как следует не рассудит, до тех пор не успокоится... Вот, к примеру, история двух его сокольников: одного князь наградил, другого покарал. Из истории этой отчасти видно, что за человек был Харунага, а потому будет излишним вкратце изложить ее здесь.

Как-то раз один из сокольников, в обязанность коему вменялось следить за перелетными птицами для

княжеской соколиной охоты, доставил известие, что на рисовые поля деревни Итикава в уезде Исикава опустилась стая красноклювых журавлей, о чем и было через старшего самурая незамедлительно доложено князю. Его светлость чрезвычайно обрадовался сему известию. Назавтра же все приготовления были закончены, и княжеская охота ни свет ни заря отбыла в деревню Итикава. Из ловчих птиц взяли лучшего сокола Фудзи-Цукаса, пожалованного князю самим сёгуном, и вдобавок еще двух больших соколов и двух малых. Сокольничим при Фудзи-Цукаса состоял самурай Аимото Кидзаэмон, однако в тот день его светлость пожелал собственноручно нести сокола. На беду, тропинка между заливыми полями была скользкой после недавнего ливня, его светлость ненароком оступился, сокол сорвался с руки князя, взмыл вверх, и красноклювые журавли в тот же миг снялись с места всей стаей и скрылись в небе. При виде сего Кидзаэмон, не помня себя от бешенства, разразился бранью:

— Что натворил, болван!..

Однако тотчас опаматовался, уразумел, что перед ним — его светлость, и упал на колени, обливаясь холодным потом, в ожидании удара княжеского меча. Его светлость, однако, изволил весело рассмеяться и молвил:

— Моя вина! Я виноват, прости!

По возвращении же в замок, тронутый верной службой и прямодушием Кидзаэмона, пожаловал ему вновь распаханной целины на сто коку риса и сверх того произвел в ловчие, поставив над всеми своими сокольничими.

С той поры ухаживать за Фудзи-Цукаса назначили самурая Янаса Сэйхати, и вот случись однажды, что на сокола напала какая-то хворь. Как-то раз его светлость вызвал Сэйхати и осведомился:

— Ну, как Фудзи-Цукаса?

К этому времени сокол стал уже поправляться, а посему Сэйхати отвечал:

— Совершенно здоров! Настолько здоров, что и человека закогтит не оплошает!

Видимо, его светлости не по душе пришлось подобное хвастовство, потому что князь соизволил молвить:

— Отлично! В таком случае, покажешь нам, как он справится с человеком!

Делать нечего, с того дня стал Сэйхати класть на голову сыну своему Сэйтаро куски рыбы или дичи и другую приманку и целыми днями обучал Фудзи-Цукаса, так что сокол постепенно привык садиться на голову человеку. Тогда Сэйхати, не долго думая, доложил через старшего ловчего, что готов показать соколиную охоту на человека, на что его светлость изволил молвить:

— Любопытно! Завтра же все вместе отправимся на Южное ристалище, и пусть сокол поймает старшего самурая, ведающего чайной церемонией, Оба Дзюгэна!

Наутро, в ранний час, его светлость прибыл на Южное ристалище, приказал поставить Оба Дзюгэна посреди поля и повелел:

— Пускай сокола, Сэйхати!

— Слушаюсь, ваша светлость! — тотчас же отозвался Сэйхати, выпустил сокола, и птица, прочертив линию, ровную, как иероглиф «единица», камнем упала прямо на голову Оба Дзюгэна.

— Есть! — торжествуя закричал Сэйхати, выхватил малый меч, коим охотники вырезают птичью печеньку, и подскочил к Оба Дзюгэну, готовый поразить его насмерть, но в это мгновение его светлость вскричал:

— Что ты делаешь, Сэйхати!..

Однако Сэйхати не образумился и все пытался поразить мечом Оба Дзюгэна, приговаривая:

— Коли сокол схватил добычу, значит, надо вырезать печень!

В этот миг его светлость, внезапно воспылав великим гневом, приказал:

— Подать сюда ружье! — и тут же наповал уложил Сэйхати выстрелом из ружья, в стрельбе из коего был весьма и весьма искусен...

Во-вторых же, Харунага давно уже внимательно приглядывался к Санэмону. Случилось как-то раз, что при усмирении бунтовщиков Санэмон и еще один самурай оказались ранены в голову. У самурая рана пришлась прямо над переносицей, а у Санэмона вздулся лиловый кровоподтек на левом виске. Харунага призвал обоих и подивился:

— Чудеса, да и только! — после чего спросил: — Что, поди, больно? — На что самурай отвечал:

— Удивительное везение! Рана, по счастью, вовсе не причиняет боли!

Санэмон же хмуро пробормотал:

— Еще бы не больно! Такая рана только у мертвого не болит.

С тех пор Харунага уверился, что Санэмон — человек честный и прямодушный. Уж он-то не станет лгать и обманывать. «На кого-кого, а на этого человека я могу положиться!» — думал князь.

Таков был Харунага. Вот и на сей раз он рассудил, что лучший способ выяснить все обстоятельства неожиданного убийства — самолично и подробно расспросить Санэмона.

Получив приказание явиться, Санэмон в трепете душевном предстал перед князем. Однако он отнюдь не выглядел виноватым или раскאיивающимся. Худощавое, нервное лицо его, словно застывшее от волнения, выражало скорее даже какую-то внутреннюю решимость.

— Санэмон, говорят, будто Кадзума неожиданно напал на тебя из-за угла, — без обиняков начал Харунага. — Очевидно, он питал к тебе вражду. За что?

— Никакой определенной причины для вражды я не знаю.

Харунага, немного помедлив, спросил еще раз, как бы стараясь, чтобы Санэмон хорошенько уразумел смысл вопроса:

— Значит, никакой вины ты за собой не помнишь?

— Пожалуй, нет... Есть, правда, одно предположение... Возможно, он гневался на меня из-за этого...

— Из-за чего же?

— Дело было четыре дня назад. В школе фехтования состоялись ежегодные турниры. Вместо господина Ямамóто Кодзаэмóна, учителя вашей светлости, на этот раз судьей был я. Правда, я судил поединки только тех самураев, которые еще не закончили обучение воинскому искусству. Поединок Кадзума тоже судил я.

— А кто был его партнером?

— Самурай по имени Тамóн, сын и наследник васала вашей светлости господина Хирáта Кидаю.

— И Кадзума потерпел поражение?

— Да, ваша светлость. Тамон дважды коснулся запястья Кадзума и один раз — головы. А Кадзума не сделал ни одного укола. Иными словами, во всех

трех турах он потерпел полное поражение. И, возможно, затаил в душе обиду на судью, то есть на меня.

— Значит, ты полагаешь, будто Кадзума вообразил, что ты судил небеспристрастно?

— Да, ваша светлость. Но со мною этого не бывает. Да и нет у меня оснований отдавать кому-либо предпочтении. И все же мне почему-то кажется, что Кадзума заподозрил меня в несправедливости.

— Ну, а раньше вы не ссорились? Не случилось ли у вас споров? Постарайся припомнить.

— Нет, мы не спорили. Разве что...— Санэмон запнулся. Но вовсе не потому, что колебался, сказать или умолчать; казалось, он подбирает в уме наиболее точные выражения, чтобы получше изложить свою мысль.— Разве что однажды... Накануне состязания Кадзума вдруг ни с того ни с сего попросил у меня прощения за какую-то недавнюю грубость. Я, однако, ничего подобного не помнил и потому спросил, что он имеет в виду. Но Кадзума лишь смущенно улыбнулся вместо ответа. Тогда я сказал, что никакой вины за ним не знаю и, следовательно, прощать его мне и подавать не за что. Очевидно, Кадзума наконец мне поверил, потому что проговорил, на сей раз уже совсем спокойно: «Значит, мне показалось... Прошу вас, выбросьте из головы этот разговор...» И помнится мне, что при этих словах он опять усмехнулся, только уже не смущенно, а скорее злорадно...

— Что же он имел в виду?

— Это мне и самому непонятно. Но похоже, что речь шла о каких-нибудь сущих пустяках... Вот и все, а других столкновений между нами никогда не было...

Снова наступило молчание.

— Ну, а каков был нрав у этого Кадзума? Не замечал ли ты, что он недоверчив, подозрителен?

— Нет, этого я за ним не замечал... Нрав у него был скорее юношески открытый... Он не стыдился откровенно проявлять все свои чувства. Вместе с тем, пожалуй, был вспыльчив...— Санэмон смолк, потом не столько проговорил, сколько тяжело выдохнул: — Но главное — этот поединок с Тамоном был для него крайне важен.

— Крайне важен?.. Почему?

— Кадзума уже выдержал предварительные испытания. Победы он на этот раз, его обучение считалось бы законченным. Правда, это относилось и к Тамону. Оба они — и Тамон и Кадзума — выделялись среди ваших молодых самураев как самые способные фехтовальщики.

Харунага погрузился в молчание, как будто что-то обдумывал. Внезапно, точно сделав новое умозаключение, он перешел к расспросам о событиях той ночи, когда совершилось убийство.

— Кадзума и впрямь подстерегал тебя у ристалища?

— Похоже, что так. В тот холодный вечер я шел один мимо ристалища; на мне не было даже плаща, пришлось открыть зонтик. Внезапно ветер усилился, снег полетел вкось, и я опустил зонтик к левому плечу. Кадзума напал на меня как раз в то мгновение, и потому его меч, не задев меня, разрубил только зонтик.

— Ударил, даже не окликнув тебя?

— Похоже, что так.

— Узнал ты его? Что ты подумал?

— Думать было некогда. Я тотчас отпрыгнул влево. В этот миг последовал второй удар: он рассек рукав моего хакори на добрых пять сун... Я снова отпрыгнул в сторону и, выхватив меч, нанес ответный удар. Очевидно, тут-то я и рассек ему грудь. Он что-то крикнул...

— Что именно?

— Не помню. Просто выкрикнул что-то в пылу схватки... И вдруг я отчетливо понял — это Кадзума!

— Ты хочешь сказать, что узнал его голос?

— Нет, не поэтому.

— Как же ты догадался, что это Кадзума? — Харунага в упор посмотрел на Санэмона.

Санэмон молчал, не отвечая на вопрос князя. Харунага повторил вопрос более настойчиво. Но Санэмон по-прежнему молчал, опустив взор и упорно разглядывая свои хакэма, словно и не собирался заговорить.

— Итак, Санэмон? — Князя будто подменили, таким стал он величавым и грозным. Подобные мгновенные превращения были частым и излюбленным приемом Харунага. Все так же потупясь, Санэмон разжал наконец плотно сомкнутые уста. Но вырвавшиеся у него слова не были прямым ответом на вопрос князя.

К удивлению Харунага, то было смиренное признание своей вины.

— Да, я повинен в тяжком проступке — я понапрасну загубил самурая, состоявшего на драгоценной службе у вашей светлости!

Харунага нахмурился, лицо его выразило некоторое недоумение. Но взгляд, обращенный на Санэмона, оставался величавым и грозным.

— Кадзума имел право ненавидеть меня, — продолжал Санэмон. — Я несправедливо судил его поединком.

Харунага нахмурился еще больше.

— Но минуту назад ты говорил о своей беспристрастности, уверял, что у тебя и в мыслях не было отдавать кому-либо предпочтение.

— Да, это верно. Я готов это повторить... — Санэмон говорил, с усилием подбирая слова, как будто стремился раскрыть всю душу. — Вот в чем моя несправедливость. Я и вправду вовсе не собирался содействовать победе Тамона или поражению Кадзума, все это точно так, как я уже говорил вашей светлости. И все-таки этого еще мало, чтобы утверждать, будто я действовал нелицеприятно. Я заведомо возлагал больше надежд на Кадзума, чем на Тамона. Искусство Тамона суетно. Это порочное искусство, когда все помыслы устремлены только к победе — лишь бы победить, любой ценой победить, не гнушаясь ничем, даже низостью. Не таков Кадзума — его искусство возвышенное, благородное. Это подлинное искусство, честное и прямое, готовое встретить противника лицом к лицу. Я даже думал, что года через два или три Тамон никак не сможет соперничать с Кадзума...

— Почему же ты присудил этому Кадзума поражение?

— В том-то и дело... По чести, я хотел, чтобы победа досталась не Тамону, а Кадзума. Но ведь я был судьей. А судья должен забыть свои личные симпатии. Когда с веером в руке становишься между противниками, вооруженными бамбуковыми мечами, надо следовать только законам неба. Таково мое убеждение, и потому во время поединка Кадзума и Тамона я помышлял только о высокой справедливости. Но все-таки, как я уже имел честь вам сказать, в душе я желал победы Кадзума. Весы в моем сердце склонялись в его пользу.

И вот вышло так, что, стремясь выровнять эти чаши, я опустил маленькую гирию в чашу Тамона... Только потом я понял, что она была лишней, — я был слишком мягок по отношению к Тамону и, напротив, чересчур суров с Кадзума.

Речь Санэмона снова прервалась. Молчал и князь, ожидая продолжения рассказа.

— И вот они встали друг против друга и изготовились, не спуская глаз с кончиков мечей, но никто не начинал первым. И тут, улучив момент, Тамон попытался коснуться головы Кадзума. Издав воинственный клич, Кадзума блестяще отразил этот удар и в то же мгновение коснулся запястья Тамона. Моя несправедливость началась с этой минуты. Я, несомненно, расценил этот удар Кадзума как победу. Но чуть только я мысленно сказал себе: «Это победа!» — как тут же подумал — а не был ли удар слишком слаб?.. Моя решимость притупилась. И я не поднял веер над головой Кадзума, хотя именно так надлежало бы поступить... Противники снова некоторое время стояли неподвижно, следя друг за другом. На этот раз Кадзума сделал выпад, стараясь коснуться мечом запястья Тамона. Тамон отразил удар и, в свою очередь, коснулся руки Кадзума. Удар Тамона был, пожалуй, слабее, чем тот, который нанес ему ранее Кадзума. И, уж во всяком случае, этот удар не мог бы считаться более удачным... Но в ту же секунду я поднял веер над головой Тамона. Иными словами, победа в первой схватке была присуждена Тамону. «Что я наделал!» — пронеслось в моей голове, но в то же время какой-то голос словно шепнул мне: «Нет, судья ошибиться не может. И если сейчас мне кажется, будто я совершил ошибку, то лишь потому, что я слишком благоволю к Кадзума...»

— Что же было дальше? — не без некоторой досады осведомился князь Харунага, потому что Санэмон снова погрузился в молчание.

— Противники опять встали в позицию. На этот раз выдержка была самой долгой. Внезапно Кадзума скрестил свой меч с мечом Тамона и вдруг молниеносным движением коснулся горла противника. Удар был сильным и точным. Но в следующую секунду меч Тамона коснулся головы Кадзума. Я поднял веер совершенно прямо, чтобы провозгласить ничью. Однако в действи-

тельности, кто знает, возможно, тут не было настоящей ничьей... Возможно, я затруднился определить, чей выпад был сделан раньше... Но нет — меч коснулся горла, пожалуй, раньше, чем другой меч — головы... Так или иначе, после провозглашения ничьей, противники в третий раз изготовились к схватке и снова встали в позицию, следя друг за другом. И опять первым начал Кадзума. Он попытался еще раз коснуться горла Тамона. Однако на этот раз он слишком высоко поднял кончик меча, и Тамон сделал попытку достать грудь противника, целясь ниже... Еще минут десять после этого продолжался яростный поединок. Но под конец Тамон достал мечом голову Кадзума...

— И этот удар?..

— Был блестящим и точным. Теперь действительно каждый мог ясно видеть преимущество Тамона. Эта неудача распалила Кадзума. Видя его волнение, я стал еще сильнее желать ему победы. Но чем больше я ее хотел, тем сильнее, говоря честно, колебался, не решаясь поднять веер над головой Кадзума. Противники снова обменялись ударами. И вдруг Кадзума, — не могу понять, что он задумал, — попытался придвинуться вплотную к Тамону. Я говорю, что не понял его намерений, потому что обычно Кадзума никогда не применял прием сближения... Я затаил дыхание. И не удивительно — Тамон приоткрыл грудь и в ту же секунду блестящим ударом коснулся головы Кадзума... Этот последний тур был поистине пустым и бесплодным... И в конце концов я в третий раз поднял веер над головой Тамона... В этом и состоит та небеспристрастность, о которой я говорил вам. Возможно, я добавил одну единственную лишнюю пушинку на чашу моих душевных весов... Но равновесие нарушилось, и Кадзума проиграл столь важный для него поединок. И сейчас мне кажется, что гневался он, в сущности, справедливо...

— Значит, по этой причине ты и догадался, что попал на тебя Кадзума?

— Не уверен, ваша светлость. Но сейчас, перебирая все в памяти, я готов думать, что сознание вины жило где-то в глубине моей души. И теперь, пожалуй, я склонен считать, что именно чувство вины и подсказало мне правильную догадку: это Кадзума!

— Значит, ты сожалешь о его смерти?

— Да, ваша светлость. А главное, как уже доложил вам, считаю непростительным, что так жестоко отнял жизнь у самурая, вассала вашей светлости...— И Санэмон, оборвав речь, снова опустил повинную голову. На лбу его, несмотря на декабрьскую стужу, выступили капельки пота. Князь Харунага, настроение которого между тем незаметно исправилось, несколько раз энергично кивнул, как бы соглашаясь с собственными мыслями.

— Так, так... Я понимаю, что у тебя на сердце. Возможно, что ты дурно поступил. Но тут уж ничего не поделаешь... Однако впредь смотри, чтобы...— Не договорив, Харунага бросил быстрый взгляд на Санэмона.— Когда ты наносил первый удар, ты уже знал, что перед тобой — Кадзума. Почему же ты все-таки убил его?

В ответ Санэмон решительно вскинул голову. В глазах его, сверкавших на смуглом лице, зажглось прежнее непреклонное выражение.

— Я был обязан убить его! Санэмон — слуга вашей светлости. И, кроме того, самурай. И как ни жаль мне Кадзума, бандита я пожалеть не мог!

Декабрь 1923 г.

||

ПОКАЗАНИЯ ДЕВИЦЫ ИТО О КОНЧИНЕ
БЛАГОРОДНОЙ ГОСПОЖИ СЮРИН, СУ-
ПРУГИ КНЯЗЯ ХОСОКАВА, ВЛАСТИТЕЛЯ
ЭТТЮ, ПОСМЕРТНО НАРЕЧЕННОЙ СЮРИН
ИНДЭН КАОКУ СОГЁКУ ДАЙСИ

«1. В год мятежа Исида Дзибусё, то бишь в пятом году эры Кэйтё, в седьмой месяц, десятого дня, родитель мой Ная Сайдзаэмон явился в усадьбу князей Хосокава, что в городе Осака, в квартале Тамадзукури, дабы преподнести госпоже Сюрин десяток птиц, именуемых *канарейки*. Госпожа издавна превыше всего ценила разные заморские диковины из южных варварских стран, а посему обрадовалась необычайно, и заодно я тоже попала в милость. И то сказать, у госпожи имелось множество подделок; но таких бесспорно чужеземных, как оные *канарейки*, доселе не было ни единой. В ту пору отец сказал мне: «Осенью, когда подует прохладный ветер, ты распростишься с госпожой Сюрин, — надобно выдавать тебя замуж». Я находилась в услужении у госпожи Сюрин полных три года, однако госпожа ни в малой степени не жаловала меня своей лаской, за главное почитая изображать из себя мудрую, ученую даму, так что, повседневно ей прислуживая, я ни разу не удостоилась услышать какое-нибудь интересное, веселое слово и находилась постоянно в чрезвычайном стеснении; а потому так обрадовалась словам отца, словно предомной открылись небеса. Вот и в тот день госпожа Сюрин опять изволила говорить, что японские женщины

скудны умом оттого, что не умеют читать заморские книги; не иначе как уготовано госпоже в будущей жизни стать супругой какого-нибудь иноземного князя...

2. Одиннадцатого дня пред очи госпожи явилась монахиня по имени Тёкон. Сия монахиня без всяких церемоний бывает нынче в Осаком замке и почитается особой весьма влиятельной, хотя в прошлом, оставшись вдовой простого ткача в Киото, слыла распутницей, сменившей, по слухам, чуть ли не шестерых мужей. Сия Тёкон была мне до того противна, что, как только завижу ее, тошнота подступает к горлу; госпожа, однако, заметной неприязни к ней не питала и нередко, толкуя о всякой всячине, проводила в беседах с оной монашкой по полдня, чем поистине изумляла всех нас, девиц ее свиты. Причина такого пристрастия крылась исключительно в том, что госпожа чрезвычайно надка была на лесть. К примеру, Тёкон скажет: «Всегда-то вы так чудесно выглядите! Ни один благородный господин, увидя вас, ручаюсь, не скажет, что вам больше двадцати лет!». Так, на все лады, с видом полнейшей искренности восхваляла она внешность госпожи Сюрин, хотя в действительности госпожа отнюдь не могла бы почитаться безупречной красоткой, поскольку нос имела несколько крупноватый и к тому же на лице заметны были веснушки. Да и лет госпоже исполнилось уже тридцать восемь, а значит, как ни смотри, в сумерки ли, с дальнего расстояния, все равно — принять ее за особу двадцатилетнюю совершенно невозможно.

3. В тот день Тёкон, по ее словам, явилась от самого господина Дзибусё якобы по тайному его поручению — присоветовать госпоже переехать на жительство из усадьбы в Осакий замок. Госпожа после некоторого раздумья изволила сказать, что даст ответ спустя определенное время, однако, судя по ее виду, пришла в немалое замешательство и никак не могла склониться к какому-либо решению. А когда Тёкон удалилась, принялась читать молитвы, называемые «оратио», перед изображением пресвятой Девы Марии и твердила сии молитвы с усердием и жаром чуть ли не каждый час. Тут, кстати, упомяну, что вышеназванные оратио читались не на языке страны нашей Японии, а на языке южных варваров, именуемом, если не ошибаюсь, «латынью», и нашим ушам слышалось все время одно

лишь непонятное слово «носу», «носу»¹, так что терпеть сию смехотворность и притом не смеяться — изрядная мука.

4. В двенадцатый день никаких особых событий не отмечалось, только с самого утра госпожа пребывала в прескверном расположении духа. Поскольку в такие минуты обходилась она крайне сурово не только с нами, но даже с супругой молодого князя Ётиро, непрерывно говоря ей разные колкости и делая замечания, все в доме старались попадаться ей на глаза как можно реже. Вот и сегодня опять выговаривала она супруге господина Ётиро, что та белится и румянится слишком густо, приводила в назидание притчу о павлине из «Сказаний Эзопа» (так, если не ошибаюсь, именуется сия книга) и долго-долго ее отчитывала, так что все мы от души жалели бедняжку. Эта госпожа доводится младшей сестрой супруге господина Укида, владельца соседней усадьбы, и хотя назвать ее умницей я, пожалуй бы, затруднилась, зато красотой может она поспорить с самой прекрасной куклой, сделанной искусным умельцем.

5. Тринадцатого дня к нам на кухню явились вдвоем самураи Огасавара Сёсай и Кавакита Ивами. В усадьбе Хосокава соблюдалось строгое правило, согласно которому вход на женскую половину возбранялся не только мужчинам, но и детям, а посему издавна повелось, что все вассалы должны были являться на кухню и, о каком бы важном деле ни шла речь, все докладывали госпоже через нас. Возникло сие правило исключительно оттого, что и у князя, и у госпожи Сюрин нрав был чрезвычайно ревнивый; посторонние же правилу сему немало дивились, а господин Морита Тахэй, вассал князя Курода, говорят, даже посмеялся: «Ну и неудобные же порядки у вас в доме!» Однако недаром говорится, что худа без добра не бывает; нам, прислужницам, это правило отнюдь не казалось неудобным.

6. Итак, Ивами и Сёсай вызвали девицу по имени Симо и подробно ей рассказали, что, по слухам, в скором времени будто бы ожидается от господина Дзибусё указание выставить заложников от всех княжеских домов, где главы семейств отбыли на Восток, и хотя пока

¹ Искаженное латинское «noster».

это всего-навсего недостоверные толки, все-таки им хотелось бы выслушать соображения госпожи Сюрин насчет того, как тут надлежит поступить. Поделившись со мною этими новостями, Симо сказала: «Поистине, как нерасторопны эти самураи, оставленные для охраны усадьбы на время отсутствия князя... Ведь о том же еще позавчера донесла нам Тёкон... Ох-ох, вот так свежая новость, спасибо им за труды!» И в самом деле, удивляться тут нечему — все новости всегда попадали к нам раньше, нежели достигали слуха вассалов, оставленных для охраны усадьбы. Да и то сказать, Сёсай был всего-навсего честный, прямодушный старик, а Ивами — грубый силач, вояка, знавший толк в одном лишь военном деле, так что, по моему разумению, оно и быть не могло иначе. Однако, поскольку сие повторялось очень уж часто, то не только у нас, ближайших прислужниц, но и у всей женской челяди вошло в обычай вместо поговорки «это всему свету известно» говорить: «Это и самураям из охраны известно...»

7. Итак, Симо доложила обо всем госпоже Сюрин, и госпожа изволила высказаться так: поскольку, мол, между супругом ее, князем Хосокава и господином Дзибусё давно существует вражда, можно не сомневаться, что, коль скоро начнут брать заложников, первым делом явятся к нам в усадьбу... «Надежды, что пойдут по другим домам, очень мало... А значит, пусть оба самурая, охраняющие усадьбу, сами порешат и рассудят, как надлежит ответить...» Сказав так, госпожа, безусловно, допустила ошибку, ибо самураи Ивами и Сёсай потому-то и приходили, что сами неспособны были принять решение; тем не менее Симо перечить госпоже не посмела и все передала, как было сказано, слово в слово. Когда же Симо направилась на кухню, дабы передать сей ответ, госпожа вновь принялась твердить перед портретом госпожи Марии свои «носу», «носу», отчего девица по имени Умэ, лишь недавно начавшая службу, невольно покатила со смеху, и госпожа жестоко ее разбранила, обозвав предерзкой девчонкой.

8. Выслушав волю госпожи, Ивами и Сёсай оба пришли в крайнее замешательство, однако вскоре обратились к Симо с такою речью: «Если бы от господина Дзибусё даже и прибыли посланцы с подобными тре-

бованиями, все равно — сейчас в усадьбе нет никого, кто мог бы пойти в заложники; ведь оба княжеских сына — и господин Ётиро, и господин Ёгоро — отбыли на Восток, а третий, младший сын, господин Тадатоси уже отдан в заложники в город Эдо. Значит, надлежит нам ответить, что выполнить сие требование сейчас никак невозможно. Если же, несмотря на отказ, будут они по-прежнему требовать заложника и настаивать на своем, надобно послать гонца в замок Табэ, что в городе Майдзуру, к отцу князя, старому князю Юсай, и просить его указаний. «А до тех пор обождите!» Так мы их и приветим!» Таким образом, хотя госпожа ясно им приказала — рассудить самим хорошенько, — в сих словах Ивами и Сёсая рассудительности не содержалось ни капли, ибо не то что старые, опытные вояки, но самые рядовые самураи, обладай они хоть в малой степени здравым смыслом, и то догадались бы прежде всего тайно переправить госпожу в замок Табэ, а сами до конца остались бы при усадьбе, как и подобает самураям, охраняющим дом в отсутствие господина и готовым встретить опасность, пусть смертельную, лицом к лицу. Вот как надлежало им поступить... Ответить же отказом, ссылаясь на то, что сейчас, дескать, некого отдать в заложники, означало бросить открытый вызов и тем самым поставить под удар в первую очередь прислужниц госпожи и прочую челядь. Так что жизни нашей поистине угрожала нешуточная опасность.

9. Симо опять отправилась к госпоже и передала вышеизложенное, но госпожа в ответ не промолвила ни единого слова, лишь забормотала свои «носу», «носу», и только постепенно овладев собою, совершенно спокойно проговорила: «В таком случае, да будет так!» Ясное дело, пока самураи сами не предложили тайно отправить ее прочь из усадьбы, госпоже никак не пришло в голову просить: «Спрячьте меня, увезите!» — а посему в душе она, надо думать, весьма гневалась на недогадливость Ивами и Сёсая. С этого дня госпожа все время находилась в отвратительном настроении, по всякому поводу изволила нас бранить и каждый раз читала при сем отрывки из книги, именуемой «Сказания Эзопа», приговаривая — эта девица, мол, и есть та лягушка, а эта, дескать, — тот самый волк, и такое

наступило тут для всех нас мучение, что в пору добровольно идти в заложницы. Мне больше всех доставалось: я будто и улитка, и ворона, и свинья, и черепаха, и собака, и змея-аспид... Сии обидные поучения и прозвища не забуду я во веки веков, до самой смерти.

10. Четырнадцатого дня в усадьбу снова явилась Тёкон и опять затеяла разговор, что, мол, надобно выслать заложника. На это госпожа изволила заметить, что в отсутствие князя, без княжеского на то разрешения, пойти в заложницы она не согласится. Тёкон в ответ сказала: «Спору нет, вот слова, достойные женщины мудрой, ибо уважать мнение супруга — первейший долг подлинной добродетели. Однако же в данном случае речь идет о делах, имеющих первостепенное значение для судеб всего княжества Хосокава, а потому не следует ли вам все же переехать если не в отдаленный Осацкий замок, то хотя бы в соседнюю усадьбу, к господину Укида? Ведь супруга господина Укида — свояченица господина Ёитиро, и, следовательно, сам князь навряд ли укорит вас за подобный поступок. Послушайтесь же моего совета!» — так, говорят, убеждала она госпожу Сюрин. И хоть я терпеть не могла старую барсучиху, должна признать, что Тёкон на сей раз была права, ибо, проследуй госпожа в соседнюю усадьбу, к господину Укида, это и в глазах всего света выглядело бы вполне пристойно, да и мы, слуги, тоже очутились бы в безопасности, так что лучшего плана и не придумать.

11. Госпожа, однако, изволила высказаться так: «Да, верно, господин Укида — наш свойственник, однако нынче он заодно с Дзибусё, я это знаю доподлинно, а потому переехать к нему в усадьбу и означало бы стать заложницей. По сей причине согласиться на такое предложение мне никак невозможно». Тёкон и тут не отступилась и продолжала твердить свое, но госпожа нисколько не внимала уговорам, так что превосходный план Тёкон исчез без следа, как пена морская... При этом госпожа Сюрин вновь ссылалась то на Конфуция, то на Эзопа, то на принцессу Татибана, то на Христа, цитировала сочинения не только японские и китайские, но даже заморские, из южных варварских стран, так что сама Тёкон и та, похоже, была посрамлена красноречием госпожи.

12. В тот же день в сумерки Симо привиделось, будто на вершину сосны, что растет в саду перед покоем госпожи, спустился с неба золотой крест; в страхе она приступила ко мне с расспросами, какое несчастье сулит сей знак. Правда, Симо подслеповата и вдобавок известная трусиха, за что ее вечно все дразнят, а посему весьма может статься, что по ошибке посчитала она Утреннюю звезду золотым крестом. Утверждать что-либо определенное на сей счет затрудняюсь.

13. Пятнадцатого дня снова явилась Тёкон и повторила свои давешние советы, но госпожа отвечала: «Сколько бы раз ты ни твердила одно и то же, решение мое останется неизменным!» Тут уж и Тёкон, как видно, разозлилась изрядно, ибо, удаляясь, сказала: «По всему видать, ох, и нелегко у вас на сердце! То-то и выглядите вы сегодня постарше сорокалетней!» Госпожа тоже, надо думать, разгневалась не на шутку, потому что изволила приказать, чтобы впредь Тёкон к ней на глаза не являлась. И снова принялась, что ни час, читать вышеназванные оратио, однако у всех на душе было тревожно, ибо мы знали, что тайные эти переговоры окончились полным разрывом, так что на сей раз даже Умэ было не до смеха.

14. В тот же день услышали мы, что Ивами и Сёсай снова пререкались с самураем Инатоми Ига. Этот Инатоми Ига известен как мастер стрельбы из пушек, у него множество учеников даже среди вассалов других княжеств, кругом заслужил он добрую славу, а потому ходят слухи, что Ивами и Сёсай будто бы завидуют Ига и оттого чуть что заводят с ним ссоры.

15. Нынче ночью Симо приснилось, будто в усадьбу ворвались воины Дзибусё, она ужасно перепугалась, закричала, вскочила спросонья и с криком побежала по галерее.

16. Шестнадцатого дня в десять часов утра вновь явились Ивами и Сёсай, вызвали Симо и наказали: «Передай госпоже, что сегодня утром был посланец от господина Дзибусё, требовал непременно выдать в заложницы госпожу и грозился, что в случае отказа нагрянут и заберут ее силой... Мы же ответили на сии дерзкие речи, что скорее сделаем себе харакири, чем выдадим госпожу... Поэтому скажи, что надлежит ей, со своей стороны, приготовиться к худшему!» По

словам Симо, в тот день у Сёсая, как на грех, разболелись зубы, и потому держать речь он поручил Ивами, однако же Ивами так пылал гневом, что Симо боялась, как бы от чрезмерной ярости он по ошибке и ее не прикончил. Об этом впоследствии говорила мне Симо.

17. Выслушав от Симо, как обстоят дела, госпожа Сюрин тотчас пригласила к себе супругу господина Ёитиро на тайный совет. Впоследствии я узнала, что она склоняла бедняжку вместе с ней покончить жизнь самоубийством. Все это весьма и весьма прискорбно! Хотя жизнь наша во власти неба — виной всему, во-первых, безрассудство самураев, оставленных для охраны усадьбы, а во-вторых, упрямый нрав самой госпожи Сюрин, из-за коего она сама ускорила свою гибель. Вдобавок, коль скоро советовала она супруге господина Ёитиро тоже лишиться себя жизни с ней вместе, кто поручился бы, что она, чего доброго, и нам не прикажет сопровождать ее в царство мертвых? Сие опасение томило нас все сильнее с каждой минутой, так что, когда госпожа наконец повелела нам явиться в ее покои, все чрезвычайно обеспокоились, тревожась, какое сейчас последует приказание.

18. Когда же мы предстали пред госпожой, она обратилась к нам с такими словами: «Вот наконец настал мой черед отправиться в рай, именуемый «парайсо», и радость моя по сей причине безмерна!» Однако лицо у нее побледнело и голос слегка дрожал, так что я тотчас же догадалась, что ее слова неискренни. И еще госпожа соизволила молвить, что единственная тяжесть, которая лежит у нее на сердце, мешая спокойно закрыть глаза, это забота о нашем будущем... «Если помыслы ваши погрязнут в скверне и не обратитесь вы в христианскую веру, то со временем все попадете в ад, именуемый «инферуно», и навеки станете добычей дьявола. А посему сегодня же очистите свои сердца и примите учение царя небесного. В противном случае вы все до единой должны сопровождать меня на тот свет и вместе со мной покинуть сию земную юдоль, исполненную греха. Тогда я самолично вознесу за вас мольбу архангелу, архангел, в свою очередь, вознесет мольбу царю небесному Дзэсусу Кирисито, дабы все мы вместе узрели сияющий чертог парайсо...» При сих словах все мы, глубоко растроганные, прослезились от уми-

ления и тут же на месте, без малейшего колебания, дружно, как один человек, провозгласили, что немедленно обращаемся в христианство, отчего госпожа пришла в прекрасное расположение духа и соизволила объявить, что теперь ничто более не тяготит ее сердца и она сможет умереть в мире, по каковой причине сопровождать ее на тот свет нам ненадобно.

19. Далее, госпожа Сюрин вручила Симо прощальные письма князю и молодому господину Ётиро, после чего написала еще одно послание заморскими письмами некоему патэрну, именуемому Грегорио, и оное письмо передала мне. Сие послание содержало всего пять или шесть строк, однако для написания его госпоже потребовалось более часа. Тут кстати присовокуплю, что, когда я в свое время вручала сие послание оному Грегорио, случившийся поблизости послушник-японец весьма сурово объявил мне, что христианская вера запрещает любое самоубийство, по каковой причине госпожа Сюрин никак не сможет вознестись в парайсо, а отправится в ад, но, впрочем, сие зло можно предотвратить, если отслужить молебствие, именуемое «месса», ибо благодать оной молитвы беспредельна. А потому, коли хочу я, чтобы была отслужена сия месса, надобно дать ему серебряную монету...

20. Ожидалось, что мятежники нагрянут в усадьбу около десяти часов вечера. Охрану главных ворот взял на себя Ивами, бокового входа — Инатоми Ига, а женскую половину решил защищать Сёсай. Едва слышав приближение врагов, госпожа послала Умэ кликнуть супругу господина Ётиро, но та, как видно, уже успела куда-то скрыться, потому что в комнате у нее было пусто, хоть шаром покати, а самой молодой госпожи и след простыл, каковое известие всех нас весьма обрадовало. Зато госпожа Сюрин разгневалась чрезвычайно и, обратившись к нам, изволила заявить, что рождена она от благородного полководца Корэто, спорившего о царстве с самим Хидэеси в битве при Ямадзаки, ныне же, в смертный час, уповает она на мать божью Марию, пребывающую в парайсо... И вот ей, столь благородной, осмелилась теперь нанести оскорбление дочь какого-то жалкого худародного дворянина! Сколь дерзостен сей поступок!.. Вид у госпожи при этом был такой, что и поныне она будто стоит у меня перед глазами.

21. Вскоре в соседний покой явился Огасавара Сёсай в синей кольчуге, с коротким мечом, дабы сослужить госпоже службу «посредника». У него все еще сильно болели зубы, левая щека вспухла, от чего несколько пострадал воинственный вид, подобающий самураю. Сёсай сказал, что не смеет переступить порог покоя госпожи, а посему окажет «последнюю услугу» через порог, после чего и сам совершит «харакири вслед». Обязанность свидетелей возложили на меня и на Симо, ибо к этому времени все куда-то исчезли и подле госпожи оставались только мы двое. Госпожа взглянула на Сёсая и молвила: «Спасибо, что пришел сослужить мне последнюю службу!» С тех самых пор, как она невестой вошла в дом Хосокава, Сёсай был первым мужчиной, которого она лицезрела; за все эти годы ни разу не видела она мужского лица, конечно, не считая супруга, сыновей и отца... — так впоследствии пояснила мне Симо. Сёсай опустился на пол в соседнем покое, уперся руками в циновки и произнес: «Последний час наступил!» Правда, поскольку щека у него распухла, говорил он очень невнятно, и госпожа, как видно, не разобрала его слов, повелела: «Говори громче!»

22. В эту минуту какой-то неизвестный молодой воин в светло-зеленых доспехах, с мечом, вбежал в соседний покой с криком: «Инатоми Ига нас предал, враги лавиной хлынули в боковые ворота! Скорей кончайте!» Госпожа Сюрин, высоко приподняв правой рукой волосы над затылком, казалось, совсем приготовилась к смерти, но при виде молодого человека, наверное, застыдилась, потому что лицо ее внезапно до самых ушей залилось краской. Никогда еще не казалась мне госпожа такой красивой, как в это мгновение.

23. Когда мы выбрались за ворота, в усадьбе уже рвались к небу языки пламени, на улице в отблеске зарева толпился народ. Правда, то оказался не враги, а люди, сбежавшиеся поглазеть на пожар. Узнали мы также, что мятежники, захватив с собой Инатоми Ига, покинули усадьбу еще прежде, чем покончила с собой госпожа, но все это выяснилось впоследствии. Пока же наскоро излагаю лишь те обстоятельства, что непосредственно сопутствовали кончине госпожи Сюрин».

Декабрь 1923 г.



КОМ ЗЕМЛИ

Когда у о-Суми умер сын, началась пора сбора чая. Скончавшийся Нитаро последние восемь лет был калек и не поднимался с постели. Смерть такого сына, о которой все кругом говорили «слава богу», для о-Суми была не таким уж горем. И когда она ставила перед гробом Нитаро ароматичную свечу, ей казалось, словно она наконец выбралась из какого-то длинного туннеля на свет.

После похорон Нитаро прежде всего встал вопрос о судьбе невестки о-Тами. У о-Тами был мальчик. Кроме того, почти все полевые работы вместо больного Нитаро лежали на ней. Если ее теперь отпустить, то не только пришлось бы возиться с ребенком, но и вообще трудно было бы даже просуществовать. О-Суми надеялась, что по истечении сорокадевятидневного траура она подыщет о-Тами мужа и тогда та по-прежнему будет исполнять всю работу, как это было при жизни сына. Ей хотелось взять зятем Ёкити, который приходился Нитаро двоюродным братом.

И поэтому, когда на следующее утро после первых семи дней траура о-Тами занялась уборкой, о-Суми испугалась чрезвычайно. О-Суми в это время играла с внуком Хиродзи на наружной галерее у задней комнаты. Игрушкой служила цветущая ветка вишни, тайком взятая в школе.

— Слушай, о-Тами, может, это плохо, что я до сих пор молчала... Но как же так?.. Ты хочешь оставить меня с ребенком и уйти?

Голос о-Суми звучал скорей жалобой, чем упреком. Однако о-Тами, даже не оглянувшись, весело произнесла:

— Что ты, матушка!

И этого было довольно, чтобы о-Суми вздохнула с облегчением.

— Вот как... Конечно, разве ты можешь так поступить...

О-Суми без конца ворчала, повторяя свои жалобы. Но ее слова звучали все более растроганно. Наконец по ее морщинистым щекам потекли слезы.

— Если ты только хочешь, я готова навсегда остаться в этом доме. Разве уйдешь по доброй воле от такого малыша!

С полными слез глазами о-Тами взяла Хиродзи к себе на колени. Почему-то застеснявшись, ребенок устремил все свое внимание на ветку вишни, упавшую в комнату на старые циновки.

О-Тами продолжала работать совершенно так же, как при жизни Нитаро. Но разговор о зяте оказался гораздо труднее, чем думала о-Суми. О-Тами, по-видимому, не питала никакого интереса к этому делу. О-Суми, конечно, при всяком удобном случае старалась понемногу ее убедить и заводила с ней откровенные разговоры. Однако о-Тами каждый раз отделялась ответом: «Ладно, до следующего года!» Это, несомненно, и беспокоило о-Суми, и радовало ее. Беспokoясь, что скажут люди, она все же полагалась на слова невестки и ждала следующего года.

Но и в следующем году о-Тами, по-видимому, не думала ни о чем, кроме полевых работ. О-Суми еще раз, и притом более настойчиво, чем в прошлом году, возобновила разговор о ее замужестве. Отчасти потому, что ее огорчали упреки родственников и общие пересуды.

— Слушай, о-Тами, ты такая молодая, тебе нельзя без мужчины.

— Нельзя, да что поделаешь? Представь себе, что у нас в доме будет чужой. И Хирó жалко, и тебе неудобно, а уж мне какво?

— Так вот и возьмем Ёкити. Он, говорят, теперь совсем бросил играть в карты.

— Тебе-то он родственник, а для меня — совсем чужой. Ничего, если я терплю...

— Да ведь терпеть-то не год и не два.

— Ладно! Это ведь ради Хиро. Пусть мне теперь трудно, зато землю не придется делить, все перейдет к нему целиком...

— Так-то так, о-Тами (дойдя до этого места, о-Суми всегда многозначительно понижала голос), только очень уж поговаривают кругом. Вот если бы ты все, что мне тут говоришь, сказала другим...

Такие беседы повторялись много раз. Но это только укрепило, а отнюдь не поколебало решения о-Тами. И в самом деле, о-Тами работала еще усерднее, чем раньше; не прибегая к мужской помощи, сажала картофель, жала ячмень. Кроме того, летом она ходила за скотом, косила даже в дождь. Этой усердной работой она как бы выражала свой протест против того, чтобы ввести в дом «чужого». В конце концов о-Суми совсем бросила разговоры о замужестве невестки. Впрочем, нельзя сказать, чтобы это было ей неприятно.

О-Тами возложила на свои женские плечи всю тяжесть забот о семье. Это, несомненно, делалось с единственной мыслью: ради Хиро. Но в то же время в этой женщине, видимо, глубоко коренилась сила традиций. О-Тами была «чужая», она переселилась в эту местность из суровых горных областей. О-Суми часто приходилось слышать от соседок: «У твоей о-Тами сила не по росту. Вот недавно она таскала по четыре связки рису сразу!»

О-Суми выказывала невестке свою благодарность одним — работой: ухаживала за внуком, играла с ним, смотрела за быком, стирала, ходила по соседству за водой — хлопот по дому было немало; но сгорбленная о-Суми делала все с веселым видом.

Однажды осенью о-Тами вернулась поздно вечером с охапкой сосновых веток. В это время о-Суми с внуком Хиродзи на спине растапливала ванну в узкой каморке с земляным полом.

— Холодно! Что так поздно?

— Сегодня работы было больше.

О-Тами бросила ветки на пол и, не снимая с ног грязных варадзи, подошла к очагу. В очаге алым пламенем полыхали корни дуба. О-Суми хотела было сейчас же встать. Но с Хиродзи на спине ей удалось подняться, лишь опершись на край бадьи.

— Иди сейчас же купаться!

— Купаться? Я проголодалась! Лучше сначала поем картошки. Пожарила? А, матушка?..

О-Суми неверной походкой направилась к чулану и принесла горшок с обычным блюдом — печеным сладким картофелем.

— Давно готова, — наверно, уж остыла.

Обе нанизали картофель на бамбуковые вертела и протянули к огню.

— Хиро уже крепко спит. Надо бы уложить его в постель.

— Ничего, сегодня ужасный холод, внизу никак нельзя спать.

С этими словами о-Тами сунула в рот дымящуюся картошку. Так едят только крестьяне, уставшие от долгого трудового дня. Картофелина с вертела целиком попадала о-Тами в рот. Ощущая тяжесть слегка посапывавшего Хиродзи, о-Суми по-прежнему держала картофель на огне.

— Проголодаешься от такой работы!

О-Суми время от времени поглядывала на невестку глазами, полными восхищения. Но о-Тами при свете головешки только молча запихивала в рот картофелины, одну за другой.

О-Тами продолжала, не щадя сил, исполнять мужскую работу. Случалось даже, что она полола овощи ночью при свете ручного фонаря. К этой невестке, превосходившей по силам мужчину, о-Суми всегда питала уважение. Нет, скорее не уважение, а страх. Все, кроме работ в поле и в горах, о-Тами переложила на свекровь. Теперь она даже редко стирала себе белье. Но о-Суми, не жалуясь, гнула и так уже сгорбленную спину и трудилась не покладая рук. Больше того, при встречах с соседками она искренне расхваливала невестку: «О-Тами у меня молодец! Хоть бы я и померла, к нам в дом нужда не войдет...»

Но «хозяйственную жажду» о-Тами не так-то легко было утолить. Еще через год она заговорила о том, что-бы взяться за тутовые сады по ту сторону реки. По ее словам, сдавать в аренду участок почти в пять тее всего за десять иен глупо во всех смыслах. Гораздо лучше посадить там тутовые деревья и в свободное время заняться разведением шелковичных червей. Тогда, если только цены на шелк-сырец не изменятся, можно будет наверняка выручать в год по полтора ста иен. Но хотя о-Суми и хотелось иметь побольше денег, мысль о новой работе была для нее невыносима. Разговор о разведении шелковичных червей окончательно вывел ее из себя, так как дело это чрезвычайно хлопотливое.

Ворчливым тоном она возразила невестке:

— Смотри, о-Тами! Я, конечно, от тебя не сбегу. Сбежать не сбегу, но подумай: мужских рук у нас нет, в доме маленький ревун. И так уж работы невпроворот. Это ты зря говоришь, где уж тут справиться с шелковичными червями! Подумай немножко и обо мне!

Когда о-Тами увидела, что довела свекровь до слез, настаивать она уже не могла. Однако, отказавшись от мысли разводить шелковичных червей, она из упрямства настояла на устройстве тутового сада.

— Да уж ладно! С садом я ведь сама справлюсь, — насмешливо проворчала она, недовольно глядя на свекровь.

С этого времени о-Суми снова стала подумывать о том, чтобы взять невестке мужа. Она и раньше не раз мечтала о зяте, так как беспокоилась за будущее, и вдобавок ее смущало, что скажут люди. Но теперь на мысль о зяте ее навело желание избавиться от тяжелой работы, которую ей приходилось выполнять все то время, пока невестки не было дома. Поэтому ее желание взять зятя было куда острее, чем раньше.

Когда мандариновые деревья в саду за домом сплошь покрылись цветами, о-Суми, сидя на скамеечке под лампой и глядя поверх очков, которые она надевала по вечерам, осторожно навела речь на этот предмет. Но о-Тами, сидевшая, скрестив ноги, у очага, и жевавшая соленый горох, только уронила:

— Опять ты о муже! Слышать об этом не хочу! — и не обнаружила никакого желания продолжать разговор.

Прежде о-Суми этим бы удовлетворилась. Но теперь — теперь о-Суми упорно принялась ее убеждать:

— Нет, ты так не говори! Вот на завтрашние похороны как раз нашей семье назначено рыть могилу. Тут без мужчины...

— Ладно! Я сама пойду рыть.

— Как? Ты, женщина?!

О-Суми хотела нарочно рассмеяться. Но, взглянув в лицо невестки, не отважилась.

— Матушка, ведь не хочешь же ты сделаться инкё?

О-Тами, обняв колени скрещенных ног, насмешливо бросила эту шпильку. Неожиданно задетая за живое, о-Суми уронила свои большие очки. Но отчего она их уронила — этого она и сама не понимала.

— Еще что выдумашь!

— Забыла, что ты сама говорила, когда умер отец Хиро? «Делить нашу землю — грех перед предками...»

— Да, да! Я это говорила. Но как подумаешь — всему свое время. Тут уж ничего не поделаешь...

О-Суми всеми силами доказывала необходимость иметь в доме работника-мужчину. Но даже для нее самой ее слова звучали неубедительно. Прежде всего потому, что она не могла открыть свои истинные побуждения — желание пожить в покое.

Заметив это, о-Тами, не перестававшая жевать соленый горох, напустилась на свекровь. Ей помогала и недоступная о-Суми бойкость языка.

— Тебе-то что! Ты все равно умрешь раньше меня. Ведь и мне невесело так сохнуть. Я не из хвастовства остаюсь вдовой. Иной раз ночью, когда не спится от боли в суставах, так и думаешь, что все это глупое упрямство. Бывает и так, да видишь... Вспомнишь, что все это ради семьи, ради Хиро... а все равно плачешь и плачешь.

О-Суми только молча смотрела на невестку. Она ясно поняла одно: сколько ни старайся, не знать ей покоя, пока она не закроет глаза. Позже, когда невестка выговорилась до конца, она снова надела свои большие очки и почти про себя заключила разговор так:

— Видишь, о-Тами, в жизни не все делается по рассудку, подумай-ка об этом! А я ничего больше не стану тебе говорить.

Минут двадцать спустя кто-то из деревенских парней медленно прошел мимо дома, вполголоса напевая песенку: «Молодая тетушка / Нынче вышла на покос. / Эй, ложись-ка, травушка, / Срежу я тебя серпом». Когда песня замерла вдали, о-Суми еще раз вверх очков кинула взгляд на невестку. Но о-Тами только зевала, вытянув ноги.

— Ну, давай спать! Завтра вставать рано.

С этими словами, захватив еще горсть гороха, она устало поднялась от очага.

После этого о-Суми молча страдала три-четыре года. Это было страдание старой, выбившейся из сил клячи, на которую надели хомут. О-Тами по-прежнему без усталости работала в поле. О-Суми по-прежнему не покладая рук исполняла мелкую домашнюю работу. Однако она все время была под страхом невидимого кнута, то и дело выслушивая упреки и выговоры от резкой о-Тами: то за то, что не согрела ванну, то за то, что забыла подсушить ячмень, то за то, что выпустила быка. Но она безропотно терпела. Отчасти по привычке к терпению и покорности, отчасти потому, что ее внук Хиродзи привязался к ней больше, чем к матери.

С виду о-Суми почти не изменилась. А если и изменилась, то лишь в том, что уже не хвалила невестку, как раньше. Но эта ничтожная перемена не привлекала особого внимания. По крайней мере, соседки всегда говорили о ней: «О-Суми? Она, слава богу...»

Однажды в летний солнечный полдень о-Суми судачила с соседками в тени виноградных лоз, закрывавших вход в амбар. Жужжали слепни в хлеву, и больше кругом не слышалось ни звука. За разговором соседка все время курила коротенькие сигареты: это были окурки сына, которые она усердно подбирала.

— А что о-Тами? Верно, косит? Такая молодая, а все делает сама!

— Что уж! Для женщины домашняя работа куда лучше.

— Нет, видно, ей больше по душе работа в поле. А моя невестка после свадьбы вот уже семь лет ни разу в поле не выходила, — ну, хоть бы пополоть. Целыми днями только и знает, что на детей стирать да одежду чинить.

— Оно и лучше! Чтобы на детей приятно было

посмотреть, да и самой принарядиться — хоть перед людьми не стыдно.

— Да, нынешняя молодежь не любит полевых работ. Ой, что это там грохнуло?

— Это? Это бык стрельнул.

— Бык? Здорово!.. Да, полоть в такую жару да под солнцем и молодой-то трудно.

Так мирно беседовали старухи соседки.

Больше восьми лет после смерти мужа о-Тами одна держала на своих женских плечах всю семью.

За это время ее имя постепенно стало известно за пределами деревни. Она не была уже больше молодой вдовой, которую день и ночь снедает «хозяйственная лихорадка». И, конечно, не была больше для деревенской молодежи «молодой тетушкой». Зато она стала примерной невесткой. Образцом женской добродетели. «Посмотри на о-Тами-сан!» — можно было услышать от всякого, как поговорку, О-Суми не жаловалась на свои страдания даже соседкам. Ей и в голову не приходило жаловаться. Но в глубине души, может быть, и не совсем сознательно, она еще таила какую-то надежду на провидение. Однако и эта надежда таяла, как пена. Теперь ей не на кого было опереться, кроме внука Хиродзи. О-Суми сосредоточила на двенадцатилетнем мальчишке всю свою любовь. Но часто ей казалось, что она может лишиться и этой последней опоры.

Однажды в ясный осенний день Хиродзи со связкой книг под мышкой стремглав прибежал из школы. В это время о-Суми, ловко орудуя большим кухонным ножом, готовила перед амбаром финиковые сливы для сушки. Хиродзи легко перепрыгнул через циновку, на которой сушился ячмень, и, сдвинув ноги, почтительно поздоровался с бабушкой. Потом ни с того ни с сего серьезно спросил:

— Слушай, бабушка, моя мама — самый замечательный человек?

О-Суми невольно придержала нож и взглянула на внука.

— Почему?

— Это сказал учитель на уроке морали. «Мать Хиродзи — самый замечательный человек во всей округе».

— Учитель?

— Да, учитель. Это правда?

О-Суми сначала смутилась. Даже внука учат в школе такой лжи! Для о-Суми большей неожиданности не могло быть. Но после минутного замешательства, охваченная приступом гнева, о-Суми принялась ругать о-Таами так, что сама на себя стала непохожа.

— Это ложь, это сплошная ложь! Твоя мать до одури работает в поле, вот отчего для других она и замечательная. Но она дурной человек. Она попусту гоняет бабушку то туда, то сюда, она грубая.

Хиродзи испуганно смотрел на изменившуюся в лице бабушку. А о-Суми, может быть, испытывая раскаяние, вдруг заплакала.

— Поэтому-то у бабушки одна надежда — ты. Ты этого не забывай! Как только тебе будет семнадцать лет, сразу женись, дай бабушке вздохнуть! Твоя мать терпелива, она готова ждать, пока ты не отбудешь воинскую повинность. Да разве можно так долго ждать? Ведь правда? Ты позаботься о бабушке и за себя и за отца. Если ты так поступишь, и бабушка тебе дурного не сделает. Все тебе отдаст.

— Когда сливы поспеют, ты мне их дашь?

Хиродзи перебирал лежавшие в корзине аппетитные плоды.

— Да, да! Как же не дать? Ты хоть годами мал, а все понимаешь. Смотри же, всегда помни, что я тебе сказала...

О-Суми засмеялась сквозь слезы, и смех ее был похож на икоту...

На другой вечер после этого маленького происшествия о-Суми из-за пустяка жестоко поссорилась с о-Таами. Все началось с того, что о-Суми съела картофель, предназначавшийся для невестки. Но, слово за слово, ссора разгорелась, и о-Таами с насмешливой улыбкой сказала: «Раз не хочешь работать, тебе только и остается, что умереть». О-Суми сильно обозлилась — еще больше, чем накануне. Хиродзи в это время как раз крепко спал, склонив голову бабушке на колени. Но о-Суми даже растолкала внука и долго бранилась.

— Хиро, вставай! Хиро, вставай! Послушай, что говорит твоя мать! Твоя мать сказала, что мне пора умирать. Слушай хорошенько: при твоей матери денег у

нас немного прибавилось, это правда, но наша земля, целое тѣ и три тан, все это было вспахано в первый раз еще дедом и бабкой. Как же так? Мать говорит, чтобы я помирала, если я хочу на покой. Хорошо, о-Тами, я умру! Я не боюсь смерти! Но тебя, о-Тами, я слушаться не стану! Да, я умру! Конечно, умру! Но после смерти не дам тебе житья...

О-Суми громко бранилась, бранилась и обнимала плачущего внука. Но о-Тами разлеглась на полу у очага с таким видом, будто ничего не слышала.

Однако о-Суми не умерла. Зато на другой год, перед праздником Доё, о-Тами, всегда хваставшаяся своим здоровьем, заразилась брюшным тифом и на восьмой день скончалась. Правда, в то время даже в этой маленькой деревушке было очень много больных тифом. К тому же перед болезнью о-Тами, поскольку настала ее очередь, ходила рыть могилу для кузнеца, тоже погибшего от тифа. В кузнице остался мальчик-ученик, которого в день похорон она отвезла в инфекционную больницу. «Там ты, наверно, и заразилась», — со скрытым упреком говорила о-Суми, когда невестка вернулась от врача с багровым лицом.

В день похорон о-Тами шел дождь. Но в деревне все до единого, во главе со старостой, собрались на похороны. Все жалели безвременно скончавшуюся о-Тами и выражали сочувствие Хиродзи и о-Суми, потерявшим дорогую кормилицу. А староста сказал, что в скором времени в уезде состоится официальное засвидетельствование заслуг о-Тами. При этих словах о-Суми оставалось только склонить голову. «Что ж, такая судьба, надо примириться. Мы еще с прошлого года стали подавать в уездное управление ходатайства о признании заслуг о-Тами-сан, мы пять раз тратились на железную дорогу, ездили к начальнику уезда, немало потрудились. Что ж делать, мы с этим примирились, примиритесь и вы», — так, по обычаю, говорил о-Суми добрый лысый староста.

В ночь после похорон невестки о-Суми с Хиродзи легли спать под одной сеткой от комаров в углу комнаты, где был домашний алтарь. Обычно они, конечно, спали в полной темноте. Но в эту ночь на алтаре горел

свет. Старухе казалось, что старые татами пропитаны непривычным запахом какого-то дезинфицирующего вещества. Может быть, поэтому о-Суми долго не могла заснуть. Смерть о-Тами, безусловно, принесла ей большое счастье. Теперь она могла не работать. Могла не бояться выговоров. Сбережений у нее было три тысячи иен, земли одно тэ три тан. Теперь они с внуком могли каждый день вволю есть рис. Могли вволю, целыми мешками, покупать любимый соленый горох. Такого чувства облегчения о-Суми не помнила за всю свою жизнь. Такого чувства облегчения... Но в памяти ясно встала одна ночь девять лет тому назад. В ту ночь она тоже с облегчением перевела дух,— все было почти так же, как в эту. То была ночь после похорон родного сына. А теперь? Теперь это ночь после похорон невестки, которая родила ей внука.

О-Суми невольно открыла глаза. Внук спал рядом с ней, лежа на спине, так что видно было его невинное личико. Глядя на него, о-Суми постепенно пришла к мысли, что она бессердечный человек. Что и сын Нитаро, так злосчастно женившийся, и невестка о-Тами,— тоже черствые люди. Эта мысль мало-помалу вытеснила накопившиеся за девять лет ненависть и гнев. Больше того, она вытеснила даже утешавшее ее предчувствие будущего счастья. И она, и ее дети, все трое были бессердечные люди. Но она, терпевшая обиды, сама была самой бессердечной из них. «О-Тами, зачем ты умерла?» — не помня себя, твердила она, обращаясь к покойнице. И из глаз ее неудержимо лились слезы...

Только около четырех часов о-Суми, усталая, наконец погрузилась в сон. А в это время над тростниковой крышей дома уже занималась холодная заря...

Декабрь 1923 г.



СРАЖЕНИЕ ОБЕЗЬЯНЫ С КРАБОМ

В конце концов крабу удалось отомстить обезьяне, отнявшей у него рисовый колобок. С помощью ступки, осы и яйца он убил ненавистного врага. Теперь можно уже не говорить об этом. Но как сложилась судьба краба и его товарищей после смерти обезьяны — об этом нужно рассказать. Ведь в сказке совсем не говорится об этом.

Да и не только не говорится, а сказка даже представляет все дело так, будто краб в норе, ступка в углу полки на кухне, оса в своем гнезде под карнизом, яйцо в ящичке с рисовой шелухой — зажили мирно и спокойно.

А это неправда. После того как они отомстили обезьяне, все они были арестованы полицией и посажены в тюрьму. И после судебного разбирательства главного преступника — краба приговорили к смертной казни, а его сообщников — ступку, осу и яйцо — к пожизненной каторге. Читатель, знакомый только со сказкой, возможно, поставит под сомнение, что именно так сложились их судьбы. Но это факт. Не подлежащий ни малейшему сомнению факт.

Краб, по его собственным словам, обменял рисовый колобок на хурму. Обезьяна же не только дала ему зеленую хурму вместо спелой, но и, желая нанести крабу увечье, с силой швырнула в него этой хурмой. Однако

краб и обезьяна не обменивались никакими расписками. И если даже не принимать этого во внимание, ведь договорились они об обмене рисового колобка на хурму и спелость хурмы особо не оговаривалась. В конце концов, хоть в краба и попала зеленая хурма, было ли это злым умыслом со стороны обезьяны,— доказательств недостаточно. И даже некая знаменитость, велеречивый адвокат, выступавший в защиту краба, не смог придумать ничего, кроме как апеллировать к состраданию судей. Рассказывали, что этот адвокат, с сочувственным видом вытирая крабу его пузырьки-слезы, говорил ему: «Смирись!» Но никто не мог определить, что означало это «смирись»,— то ли смириться с тем, что ему был вынесен смертный приговор, то ли смириться с тем, что адвокат взял с него огромные деньги.

И среди тех, кто выражал общественное мнение в прессе, тоже не нашлось почти никого, кто бы сочувствовал крабу. То, что краб убил обезьяну,— не что иное, как личная месть. Притом ведь он мстил обезьяне только потому, что ему было непереносимо, что обезьяна нажилась за его счет вследствие его собственного невежества и опрометчивости, не так ли? Тот, кто творит такую месть в нашем мире, где сильный побеждает, а слабый гибнет, если не глупец, то сумасшедший. И критических замечаний такого рода было немало. Вот, например, некий барон, глава коммерческого совета, наряду с заключениями вроде вышеизложенного пришел также к выводу, что убийство крабом обезьяны в какой-то мере пропитано духом модных нынче «опасных мыслей». И, может быть, поэтому, после того как месть краба свершилась, барон, по слухам, стал содержать, кроме наемного громилы, еще и десять бульдогов.

Кроме того, месть краба не снискала одобрения и среди так называемых интеллигентных людей. Некий университетский профессор, рассуждая с точки зрения логики, заявил, что убийство обезьяны краб совершил во имя мести, а месть добром не назовешь. Затем некий лидер социалистов сказал, что краб глубоко почитал частную собственность, будь то хурма или рисовый колобок, и поэтому и ступка, и оса, и яйцо также, видимо, были носителями реакционных идей, и если оказывали крабу поддержку, то, возможно, как члены кокусуйкай. Затем глава некоей буддистской секты сказал, что

крабу, наверно, не было свойственно чувство буддистского милосердия, а если бы это чувство было ему ведомо, то, хотя я и бросили незрелой хурмой, он не питал бы ненависти к поступку обезьяны, а, наоборот, сострадал бы ей. «Хотел бы я, чтобы краб хоть раз послушал мою проповедь», — сказал он. Затем... в общем, в каждой области были свои выдающиеся люди, высказывавшиеся по этому поводу, и все они высказались против мести краба. Лишь один, некий член парламента, пьяница и к тому же поэт, принял сторону краба. Он заявил, что месть краба соответствует духу бусидо. Однако эти старомодные аргументы уже пропускались мимо ушей. Более того, газеты сплетничали, что этот член парламента затаил злобу на обезьян с тех пор, как несколько лет назад, в зоопарке, одна из них помочилась на него.

Читатель, знакомый только со сказкой, наверно, прольет слезу сочувствия над печальной судьбой краба. Но его смерть — закономерна, скорбеть по этому поводу — значит проявлять женскую или детскую чувствительность. Все решили, что гибель краба справедлива. И действительно, рассказывают, что после исполнения приговора судья, прокурор, адвокат, тюремщик, палач и тюремный священник проспали беспробудно сорок восемь часов. Кроме того, говорят, что все они видели во сне врата рая. По их рассказам, рай — что-то вроде универсального магазина, похожего на замок феодальных времен.

Что случилось с семьей краба после его смерти, об этом я тоже хочу немного рассказать. Жена его стала проституткой. Толкнула ее на это нужда или ее природная склонность — до сих пор еще не выяснено. Старший сын после смерти отца, выражаясь газетным языком, «неожиданно переменялся к лучшему». Сейчас он, кажется, служит не то агентом, не то еще кем-то у биржевого маклера. Этот краб как-то затащил к себе в нору раненого товарища, чтобы съесть мясо своего сородича. Это тот самый краб, которого Кропоткин в книге «О взаимопомощи» привел как пример того, что даже крабы заботятся о сородичах. Второй сын стал писателем. И, естественно, поскольку он писатель, то ничем иным, кроме женщин, не увлекается. И со сдержанной иронией доказывает на примере жизни его папы-краба,

что добро есть лишь иное название зла. А младший сын, поскольку он был дураком, пожелал остаться просто крабом. Вот однажды полз он боком и видит: лежит рисовый колобок. А рисовые колобки были его любимым лакомством. Большой клешней он поднял добычу. Тут обезьяна, сидевшая на ветке большой хурмы и искавшая вшей... Вряд ли есть надобность продолжать. Как бы там ни было, но если уж краб станет сражаться с обезьяной, то единственный непреложный факт — это что он неизбежно будет убит во имя родины. Обращаюсь к вам, мои читатели! Ведь и вы в большинстве своем крабы!

Февраль 1924 г.



ЛЮБОВНЫЙ РОМАН

(ИЛИ — «ЛЮБОВЬ —
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО»)

Комната для посетителей в одном из женских журналов. Главный редактор. Толстый господин лет сорока. Хорикава Ясукити. Лет тридцати, очень худой, особенно рядом с толстым редактором; в двух словах его не опишешь. Во всяком случае, бесспорно одно: господином его назовешь с трудом.

Главный редактор. Вы бы не могли в ближайшее время написать для нашего семейного журнала роман? Видите ли, читатель сейчас становится все требовательнее, и обычные любовные романы его уже не удовлетворяют... Я прошу, конечно, чтобы вы написали серьезный любовный роман, глубоко раскрывающий человеческие характеры.

Ясукити. Напишу, разумеется. По правде говоря, у меня задуман роман для женского журнала.

Главный редактор. В самом деле? Это прекрасно. Если вы напишете, мы широко разрекламируем его в газетах. Можно дать, например, такую рекламу: «Принадлежащий перу господина Хорикава любовный роман неисчерпаемой любви и нежности».

Ясукити. «Неисчерпаемой любви и нежности»? Но в моем романе «любовь — превыше всего».

Главный редактор. Значит, он воспевает любовь и нежность. Что же, это еще лучше. Ведь с тех пор, как появилась «Современная любовь» профессора Курягава, юноши и девушки склоняются к тому, что любовь превышает всего... Вы имеете в виду, конечно, современную любовь?

Я с у к и т и. Это еще вопрос. Современный скепсис, современное воровство, современное обесцвечивание волос — все это действительно существует. Однако любовь, думаю я, не особенно изменилась с древних времен Идзанаги и Идзанами.

Главный редактор. Это только так говорится. Ведь любовный треугольник — один из примеров современной любви. Во всяком случае, в японской действительности.

Я с у к и т и. Что, любовный треугольник? В моем романе тоже есть любовный треугольник... Может быть, кратко рассказать содержание?

Главный редактор. Если бы вы это сделали, было бы прекрасно.

Я с у к и т и. Героиня — молодая жена. Муж — дипломат. Снимают квартиру, разумеется, в Токио, в районе Яманотэ. Она стройная. С прекрасными манерами, волосы всегда... Кстати, какая прическа нравится читателям?

Главный редактор. Видимо, мимикакуси.

Я с у к и т и. Ну что ж, пусть мимикакуси. Итак, прическа мимикакуси, лицо — белое, глаза лучистые, на губах привычная... В общем, в кино такая женщина могла бы играть роли, которые исполняет Курисима Сумико. Муж — дипломат, юрист новой формации и уж никак не похож на болванов, которых выводят в новой драме. Это смуглый красавец, в бытность свою студентом игравший в бейсбол, ради удовольствия пописывающий рассказы. Молодожены счастливо живут в своей квартире в Яманотэ. Иногда они посещают концерты. Иногда гуляют по Гиндза...

Главный редактор. До великого землетрясения, разумеется?

Я с у к и т и. Да, задолго до землетрясения... Иногда посещают концерты. Иногда гуляют по Гиндза. Либо сидят под лампой в комнате, обставленной по-европейски, и молча обмениваются улыбками. Героиня

называет эту комнату «наше гнездышко». На стенах репродукции Ренуара, Сезанна. Сверкает черным телом рояль. Развесила листья кокосовая пальма в горшке. Все это достаточно изящно, но, вопреки ожиданиям, платят они за квартиру мало.

Главный редактор. Ну, об этом можно и не говорить. Во всяком случае, в самом романе.

Я с у к и т и. Нет, нужно. Ведь жалованье молодого дипломата мизерно.

Главный редактор. В таком случае сделайте его сыном аристократа. Ну, а если он аристократ, то пусть будет графом или виконтом. Почему-то князья и маркизы появляются в романах не особенно часто.

Я с у к и т и. Ну, пусть будет сыном графа. Но хорошо бы оставить комнату, обставленную по-европейски. Дело в том, что и комнату, обставленную по-европейски, и Гиндза, и концерты я ввожу впервые... Однако Таэко — так зовут героиню — после знакомства с музыкантом Тацуо начинает ощущать некоторое беспокойство. Тацуо любит Таэко — героиня инстинктивно чувствует это. Мало того, беспокойство ее растет день ото дня.

Главный редактор. А что собой представляет этот Тацуо?

Я с у к и т и. Тацуо гениальный музыкант. Его талант под стать таланту Жан-Кристофа, о котором написал Роллан, таланту Ноотхафта, о котором написал Вассерман. Но из-за его бедности или еще из-за чего-то никто его не признает. В качестве прототипа я собираюсь взять моего приятеля-музыканта. Мой приятель, правда, красавец, а Тацуо совсем не красив. Лицом он на первый взгляд напоминает дикаря — уроженца северо-востока, похожего на гориллу. И только глаза светятся гениальностью. Его глаза, как пылающий уголь, излучают непреходящий жар. Такие у него глаза.

Главный редактор. Гений — это пойдет.

Я с у к и т и. Но Таэко вполне удовлетворена своим мужем-дипломатом. Нет, она любит мужа еще сильнее, чем раньше. Муж верит Таэко. Это само собой разумеется. Потому-то грусть Таэко становится все сильнее.

Главный редактор. Именно такую любовь я и называю современной.

Я с у к и т и. Ежедневно, как только зажигается свет, Тацуо непременно появляется в комнате, обставленной

по-европейски. Когда муж дома, особого беспокойства это не доставляет, но даже если мужа нет и Таэко дома одна, Тацуо все равно приходит. Тогда Таэко не остается ничего другого, как сажать его за рояль. Да и при муже Тацуо обычно сидит за роялем.

Главный редактор. В эти минуты и родилась любовь?

Ясукиги. Нет, она полюбила не так просто. Однажды февральским вечером Тацуо начинает неожиданно играть «Сильвию» Шуберта. Песню, вобравшую в себя страсть, точно льющееся пламя. Таэко, сидя под огромными листьями пальмы, задумчиво слушает. Постепенно женщина начинает осознавать, что любит Тацуо. И в то же время начинает осознавать возникшее у нее искушение. Еще пять минут... Нет, если бы прошла еще хоть минута, Таэко, может быть, бросилась бы в объятия Тацуо. Но тут... Как раз, когда должны прозвучать последние аккорды, возвращается муж.

Главный редактор. Ну, а потом?

Ясукиги. Потом не прошло и недели, как Таэко, не в силах больше страдать, решает покончить с собой. Но она беременна и поэтому не находит в себе силы осуществить задуманное. Тогда она рассказывает мужу, что ее любит Тацуо. Правда, о своей любви к Тацуо, чтобы не огорчать его, умалчивает.

Главный редактор. Потом, значит, дуэль?

Ясукиги. Нет, просто в очередной приход Тацуо муж холодно отказывает ему от дома. Тацуо, молча закусив губу, смотрит на рояль. Таэко стоит за дверью и с трудом сдерживает рыдания... Не проходит и двух месяцев, как муж неожиданно получает назначение в Кятай, в консульство в Ханькоу и отправляется туда.

Главный редактор. Таэко едет вместе с ним?

Ясукиги. Разумеется, едет с ним. Но перед отъездом пишет письмо Тацуо. «В душе я сочувствую Вам. Но сделать ничего не могу. Примиримся— такова судьба». Вот примерно смысл этого письма. С тех пор Таэко ни разу не виделась с Тацуо.

Главный редактор. Этим и заканчивается роман?

Ясукиги. Нет, но осталось совсем немного. И после приезда в Ханькоу Таэко часто вспоминает Тацуо.

Больше того, начинает в конце концов думать, что на самом деле любит его сильнее, чем мужа. Ясно? Таэко окружает тихий ханькоуский пейзаж. Пейзаж, который воспел поэт Цюй Юань: «Страна прозрачных рек и легких красных сосен, страна душистых трав, цветущих зарослей и попугаев». Наконец, Таэко, — прошел всего лишь год, — снова пишет письмо Тацуо. «Я люблю Вас. Люблю Вас и сейчас. Так пожалейте женщину, которая сама себя обманула», — таково содержание письма, которое она пишет. Тацуо, получивший это письмо...

Главный редактор. Немедленно отправляется в Китай.

Ясукийти. Этого он никак не может сделать. Дело в том, что Тацуо ради пропитания играл на рояле в одном из кинотеатров Асакуса.

Главный редактор. Фу, какая проза!

Ясукийти. Проза, но ничего не поделаешь. Тацуо вскрывает письмо от Таэко за столиком кафе на окраине города. За окном — затуманенное дождем небо. Тацуо, точно мысли его далеко, задумчиво смотрит на письмо. Ему кажется, что между строк проглядывает обставленная по-европейски комната Таэко. Кажется, что проглядывает «наше гнездышко» с отражением лампы на крышке рояля...

Главный редактор. Я испытываю некоторую неудовлетворенность, но тем не менее это шедевр. Обязательно пишите.

Ясукийти. По правде говоря, осталось еще немного.

Главный редактор. Как, разве это еще не конец?

Ясукийти. Нет. Тут Тацуо начинает смеяться. И вдруг с досадой вопит: «Скотина!»

Главный редактор. Ага, сошел с ума?

Ясукийти. Да что вы, просто вышел из себя из-за идиотской ситуации. Ему не оставалось ничего иного, как выйти из себя. Дело в том, что Тацуо нисколько не любил Таэко...

Главный редактор. Но тогда...

Ясукийти. Тацуо ходил в дом Таэко только ради того, чтобы играть на рояле. Просто он любил рояль. Бедный Тацуо не имел денег, чтобы купить его, — вот в чем дело.

Главный редактор. Ну, знаете, Хорикава-сан.

Я с у к и т и. Но то время, когда Тацуо имел возможность играть на рояле в кинотеатре, было для него еще счастливым. После недавнего землетрясения Тацуо стал полицейским. А когда вспыхнуло движение в защиту конституции, он был избит добродушными токийцами. Лишь совершая обход своего участка в Яманогэ, он в редкие минуты слышит, как из какого-нибудь дома доносятся звуки рояля, и тогда он останавливается и грезит о своем коротком счастье.

Главный редактор. В общем, этот горестный роман...

Я с у к и т и. Ну, послушайте дальше. Таэко и сейчас у себя в Ханькоу по-прежнему думает о Тацуо. Нет, не только в Ханькоу. Каждый раз, когда муж-дипломат получает новое назначение, переезжая с места на место — в Шанхай, Пекин, Тяньцзинь,— она по-прежнему думает о Тацуо. К моменту землетрясения у нее было уже много детей. Да... После погодков она родила двойню, и у нее стало сразу четверо. Ко всему еще муж пристрастился к водке. Поэтому разжиревшая, как свинья, Таэко думает, что любил ее один лишь Тацуо. Любовь действительно превыше всего. Иначе просто не удалось бы стать счастливой, как Таэко. Во всяком случае, нельзя не испытывать отвращения к грязи жизни... Ну как вам такой роман?

Главный редактор. Хорикава-сан, вы это серьезно?

Я с у к и т и. Разумеется, серьезно. Посмотрите на светские любовные романы. Героиня если не Мария, то непременно Клеопатра. Разве не так? Но героиня в жизни совсем не обязательно девственница и в то же время не обязательно распутница. Найдите хоть одного серьезного читателя, который бы серьезно воспринимал подобные романы. Конечно, если есть согласие в любви,— это вопрос особый, но в тот день, когда паче чаяния сталкиваются с безответной любовью, то идут на дурацкое самопожертвование или же бросаются в еще более дурацкую крайность — в мстительность. И все потому, что, вовлеченные в это, сами преисполняются самодовольством, будто совершают героический поступок. В моем же любовном романе нет ни малейшей тенденции популяризировать подобные дурные примеры. Вдобавок в конце превозносится счастье героини.

Главный редактор. Вы, видимо, шутите?.. Во всяком случае, наш журнал этого ни в коем случае не напечатает...

Ясукиги. В самом деле? Ничего, напечатают где-нибудь еще. Ведь должен же быть на свете хоть один женский журнал, который согласится с моими рассуждениями.

Доказательством, что Ясукиги не ошибся, может служить опубликованная здесь беседа.

Март 1924 г.



ХОЛОД

Было утро, недавно перестал идти снег. Ясукийти сидел в учительской физического отделения и смотрел на огонь в печке. Огонь словно дышал — то ярко вспыхивал желтым пламенем, то прятался в серой золе. Так он непрестанно боролся с холодом, разлитым по комнате. Ясукийти вдруг представил себе холод вземных мировых пространств и почувствовал к докрасна раскаленному углю что-то вроде симпатии.

— Хорикава-кун!

Ясукийти поднял глаза на бакалавра естественных наук Миямото, стоявшего возле печки. Миямото, в очках для близоруких, с жидкими усиками над верхней губой, стоял, засунув руки в карманы брюк, и добродушно улыбался.

— Хорикава-кун! Ты знаешь, что женщина тоже физическое тело?

— Что женщина — животное, я знаю.

— Не животное, а физическое тело. Это — истина, которую я сам недавно открыл в результате больших трудов.

— Хорикава-сан, разговоры Миямото-сан не следует принимать всерьез.

Это сказал другой преподаватель физики, бакалавр естественных наук Хасэгава. Ясукийти оглянулся на

него. Хасэгава сидел за столом позади Ясукити, проверяя контрольные работы, по всему его лицу с большим лбом разлита была смущенная улыбка.

— Это странно! Разве мое открытие не должно осчастливить Хасэгава-куна? Хорикава-кун, ты знаешь закон теплообмена?

— Теплообмена? Это что-то о тепле электричества?

— Беда с вами, литераторами.

Миямото подбросил в открытую дверцу печки, озаренную отблесками огня, совок угля.

— Когда два тела с разной температурой приходят в соприкосновение, то тепло передается от тела с более высокой температурой к телу с более низкой температурой, пока температура обоих тел не уравнивается.

— Так ведь это само собой разумеется!

— Вот это и именуется законом теплообмена. Теперь будем считать, что женщина — физическое тело. Так? Если женщина физическое тело, то и мужчина, конечно, тоже. Тогда любовь будет соответствовать теплу. Когда эти мужчина и женщина приходят в соприкосновение, любовь, как и тепло, передается от более увлеченного мужчины к менее увлеченной женщине, пока она у них обоих не уравнивается. Как раз так случилось у Хасэгава-куна.

— Ну, начинается!

Хасэгава почти обрадованно засмеялся, словно от щекотки.

— Пусть E — количество тепла, проходящее через площадь S за время T , так? Тогда H — температура, X — расстояние от источника тепла, K — коэффициент теплообмена, определяемый веществом. Теперь возьмем случай с Хасэгава-куном.

Миямото начал писать на небольшой доске нечто вроде формулы. Но вдруг он обернулся и, словно отчаявшись, отбросил мел.

— Перед таким профаном, как Хорикава-кун, даже не похващаешься своим открытием. А каких трудов мне оно стоило! Во всяком случае, нареченная Хасэгава-куна, видимо, увлеклась согласно моей формуле.

— Если бы такая формула существовала на самом деле, на свете жилось бы довольно легко...

Ясукити вытянул ноги и стал рассеянно смотреть в окно. Учительская физического отделения помещалась

в угловой комнате на втором этаже, поэтому отсюда можно было охватить одним взглядом спортивную площадку с гимнастическими снарядами, основную аллею и дальше — красные кирпичные здания. И море — в промежутке между зданиями было видно, как море вздымает пену серых волн.

— Зато литераторы сидят на мели. Ну, как она идет, ваша последняя книга?

— По-прежнему не продается. Видно, между писателями и читателями теплообмена не возникает... Кстати, как у Хасэгава-куна со свадьбой, все еще никак?

— Остался всего месяц. Столько хлопот, что невозможно заниматься, я совсем измучился.

— Так зажался, что невозможно заниматься?

— Я же не Миямото-сан. Прежде всего надо подыскать дом, но нигде ничего не сдается. Я просто из сил выбился. В прошлое воскресенье в поисках исходил весь город. Только присмотришь свободный дом, а он, оказывается, уже сдан другим.

— Ну, а там, где я живу? Конечно, если не тяжело каждый день ездить поездом в училище.

— До вас далековато. Говорят, там можно снять дом, и жена не против, но... Эй, Хорикава-сан! Ботинки сожжете!

По-видимому, ботинки Ясукити на какой-то момент коснулись печки: запахло горелой кожей, и поднялось облачко дыма.

— А ведь здесь тоже действует закон теплообмена.

Протирая стекла очков, Миямото исподлобья, как-то неуверенно поглядел на Ясукити своими близорукими глазами и широко улыбнулся.

* * *

Через несколько дней выдалось морозное пасмурное утро. Ясукити торопливо шел по окраине дачной местности, спеша попасть к поезду. Справа от дороги тянулись ячменные поля, слева — железнодорожная насыпь шириной в два кэна. Поля были совершенно безлюдны и полны смутными шорохами. Казалось, кто-то ходит среди ячменя, но это просто ломались сосульки в перепаханной земле.

Тем временем восьмичасовой поезд на Токио с умеренной скоростью прошел по насыпи, издав протяжный гудок. Поезд же из Токио, на который спешил Ясукити, должен был пройти через полчаса. Ясукити взглянул на часы. Они почему-то показывали четверть девятого. Ясукити объяснил себе это расхождение тем, что часы спешат. И, разумеется, подумал: «Сегодня не опоздаю». Поля, тянувшиеся вдоль дороги, постепенно сменились живыми изгородами. Ясукити закурил сигарету и зашагал спокойней.

Это случилось там, где усыпанная шлаком дорога, поднимаясь в гору, выводила к переезду; Ясукити подошел к нему как ни в чем не бывало. Он увидел, что по обе стороны переезда толпится народ. К счастью, владельцем велосипеда с поклажей, остановившегося у ограды, оказался знакомый мальчик из мясной. Ясукити хлопнул его по плечу рукой с зажатой в пальцах сигаретой.

— Эй, что случилось?

— Человека переехало! Вот только что, восьмичасовым,— ответил скороговоркой лопухий мальчик. Лицо его горело от возбуждения.

— Кого переехало?

— Сторожа переезда. Он хотел спасти школьницу, которая чуть не попала под поезд, и его задавило. Знаете книжную лавку Нагаи, перед Хатиман? Вот их девочку чуть не задавило.

— Значит, девочку спасли?

— Да, вон она там, плачет, говорят.

«Вон там» — это была толпа по другую сторону переезда. В самом деле, там полицейский расспрашивал о чем-то какую-то девочку. Стоявший возле них мужчина, судя по виду его помощник, время от времени заговаривал с полицейским. Сторож переезда... Ясукити заметил перед будкой сторожа труп, покрытый рогожей. Он вызывал отвращение и вместе с тем возбуждал любопытство — да, это было так. Из-под рогожи даже издали виднелись ноги,— вернее, одни ботинки.

— Труп принесли вон те люди.

Под семафором по эту сторону переезда вокруг маленького костра сидело несколько железнодорожных рабочих. Желтоватое пламя костра не давало ни света,

ни дыма, настолько было холодно. Один из рабочих в коротких штанах грел у костра зад.

Ясукиги пошел через переезд. Станция была недалеко, поэтому на переезде был целый ряд железнодорожных путей. Шагая через рельсы, Ясукиги думал о том, на каком именно пути раздавило сторожа. И вдруг это ему стало ясно. Кровь, еще остававшаяся в одном месте на рельсах, говорила о трагедии, разыгравшейся здесь несколько минут назад. Почти инстинктивно он перевел глаза на ту сторону переезда. Но это не помогло. Яркие алые пятна на холодно блестящем железе в одно мгновение, как выжженные, запечатлелись у него в душе. Мало того, от крови даже подымался легкий пар...

Через десять минут Ясукиги беспокойно расхаживал по перрону. Мысли его были полны только что виденным жутким зрелищем. С особой отчетливостью он видел пар, подымавшийся от крови. В эту минуту он вспомнил о процессе теплообмена, о котором они недавно беседовали. Жизненное тепло, содержащееся в крови, по закону, который ему объяснил Миямото, с непогрешимой правильностью неумолимо переходит в рельсы. Эта вторая жизнь, чья бы она ни была — сторожа ли, погибшего на посту, или тяжелого преступника, — с той же неумолимостью передается дальше. Что такие идеи лишены всякого смысла, он и сам понимал. И преданный сын, упав в воду, неизбежно утонет, и целомудренная женщина, попав в огонь, должна сгореть. Так он снова и снова старался мысленно убедить себя самого. Но то, что он видел своими глазами, произвело тяжелое впечатление, не оставлявшее места для логических рассуждений.

Однако, независимо от его настроения, у гулявших на перроне был вид вполне счастливых людей. Ясукиги это раздражало. Громкая болтовня морских офицеров была ему физически неприятна. Он закурил вторую сигарету и отошел к краю перрона. Отсюда на расстоянии двух-трех тё был виден тот переезд. Толпа по обе его стороны как будто уже разошлась. Только у семафора еще колебалось желтое пламя костра, вокруг которого сидели железнодорожные рабочие.

У Ясукиги этот далекий костер вызвал что-то вроде симпатии. Однако то, что рядом был виден переезд,

внушало ему беспокойство. Он повернулся спиной к переезду и опять смешался с толпой. Но не прошел он и десяти шагов, как вдруг заметил, что кто-то уронил красную кожаную перчатку. Перчатка упала, когда ее владелец, уходя, снял ее с правой руки, чтобы зажечь сигарету. Ясукити обернулся. Перчатка лежала на краю перрона ладонью вверх. Казалось, что она безмолвно зовет его остановиться.

Под морозным пасмурным небом Ясукити почувствовал душу этой одинокой оставленной перчатки. И вместе с тем ощутил, как в холодный мир тонкими лучами падает теплый солнечный свет.

Апрель 1924 г.

ОБРЫВОК ПИСЬМА

Это был обрывок письма на европейской бумаге, валявшийся под скамейкой в парке Хибия. Подбирая его, я думал, что он выпал из моего собственного кармана. Но когда взглянул, оказалось, что это письмо одной молодой женщины, посланное другой. Разумеется, такое письмо вызвало у меня любопытство. К тому же место, случайно попавшее мне на глаза, содержало строчку, которую, не знаю как другим, но мне нельзя было пропустить.

«...но когда я взялась за Акутагава Рюноскэ — вот уж дурак!»

Как выразился один критик, я «такой скептик, что готов пожертвовать своим совершенством писателя». Причем к собственной глупости отношусь более скептически, чем всякий другой. «Но когда я взялась за Акутагава Рюноскэ — вот уж дурак!» — что за болтовня верхивостки? Стараясь подавить вспыхнувший во мне гнев, я решил все же просмотреть рассуждения этой девицы. Нижеприведенное — переписано из обрывка письма слово в слово.

«Как скучно мое существование, и сказать нельзя. Что поделаешь, глухой угол Кюсю. Театра нет, выставка нет (ты была на выставке Сюньёкай? Если была,

напиши мне. С прошлого года они стали мне нравиться), концертов нет, лекций нет,— словом, некуда пойти. Вдобавок интеллигенция этого городка едва дошла до уровня Токутоми Рока. Вчера я повстречалась с приятельницей со времен женского училища,— и что же? — она только сейчас открыла для себя Арисима Такэо. Подумай, как это ужасно. Поэтому я живу дома бесцельно, как и все, шью, стряпаю, играю на фисгармонии сестренки, перечитываю книги. Ах, выражаясь твоими словами, не жизнь, а сама скука.

Это бы еще полбеды. Но время от времени являются родственники и поднимают разговор о замужестве. То сватают старшего сына члена префектурального совета, то племянника владельца рудной шахты, одних фотографий я нагляделась не меньше десяти штук. Да-да, и среди них была фотография сына Накагава, того, что уехал в Токио. Я как-то его тебе показывала — он проходил по коридору в университете то ли с официанткой из кафе, то ли еще с кем-то... А его считают талантливым. Разве это не значит дурачить людей? Вот я и сказала им: «Я не говорю, что не выйду замуж. Но в делах замужества буду полагаться не на суждения других, а на свое собственное. Зато и ответственность за будущее счастье или несчастье ляжет целиком на меня».

Однако в следующем году брат окончит коммерческий институт, сестренка перейдет в четвертый класс женского училища. Как начнешь прикидывать, вот и получается, что не выйти замуж никак нельзя. В Токио дело совсем другое. А в нашем городке никаких понятий нет, они думают, я не хочу пристроиться, чтобы помешать браку брата и сестры. Слушать такие попреки просто невыносимо.

Конечно, я знаю, что не могу учить музыке, как ты, и мне не остается ничего другого, как выйти замуж. Но разве это значит, что надо выйти за кого попало? А в нашем городке считают, что всему виною «высокие идеалы». «Высокие идеалы»! Само слово «идеал» можно пожалеть. Ведь здесь его употребляют не иначе, как применительно к кандидатам в мужья. А до чего эти кандидаты хороши! Это я тебе сейчас объясню. Хочешь пример? Сын члена префектурального собрания служит в банке или еще где-то. Он настоящий пурита-

нин. Пуританин — это бы еще куда ни шло, но подумай, он не только не пьет даже сладкого сакэ, он еще и секретарь общества трезвости. Раз уж родился непьющим, не смешно ли вступать в общество трезвости? Тем не менее он вполне серьезно произносит речи о вреде алкоголя.

Правда, не все кандидаты в мужья слабоумны. Инженер из электрической компании, который больше всех пришелся по душе моим родителям, во всяком случае, образованный молодой человек. Я видела его только мельком, но сразу заметила, что лицом он напоминает Крейсера. Этот Ямамото с увлечением изучает общественные проблемы. Но к искусству, к философии у него нет ни малейшего интереса. Вдобавок его развлечение — стрельба из лука и песенки нанивабуси. А я всегда считала, что любить нанивабуси — значит иметь плохой вкус. Раньше я и не заикалась о нанивабуси. Как-то я поставила пластинки Гялли Курчи и Карузо, так он спросил: «А нет ли Торамару?» — вот и выдал себя с головой. А случаются вещи и посмешнее: если у нас дома подняться в мезонин, то кажется, будто видна башня храма Сайсёдзи. И будто в дымке, окутывающей башню, блестят девять колец — об этом могла бы написать стихи Ёсано Акико. Когда этот Ямамото как-то пришел к нам в гости, я спросила: «Ямамото-сан, башня видна?» — а он всерьез, вытянув шею: «Да, видна. Сколько в ней метров?» Конечно, он не слабоумный, но с искусством явно не в ладах.

Немало знает мой кузен Фумио. Он читал и Нагаи Кафу и Танидзаки Дзюнъитиро. Но когда я попробовала с ним поговорить, то убедилась, что он провинциальный знаток и судит о многом неверно. Например, «Перевал Дайбосацу» он считает шедевром. Это еще куда ни шло, но дело в том, что он известный всем по весу. По словам отца, он может попасть под опеку. Поэтому-то родители и не признают кузена кандидатом в женихи. Только его отец — то есть мой дядя — желает видеть меня своей невесткой. Открыто он об этом не говорит и допытывается у меня потихоньку. Послушай только его разговоры: «Если бы ты пришла к нам, его кутежи кончились бы». Может быть, все родители таковы? Все же он ужасный эгоист. По мнению дяди, я не столько гожусь в хозяйки, сколько могу, как он гово-

рит, послужить средством против разгульной жизни кузена. Право, не могу сказать, как опротивело мне это.

Все эти матримониальные сложности навели меня на мысль о том, насколько немощны японские писатели. Я получила образование, духовно выросла, и потому мне тяжело взять в мужья недоучку — но ведь не одна я страдаю из-за этого. Таких в Японии, должно быть, полным-полно. Но разве хоть кто-нибудь из наших писателей изобразил женщину, страдающую из-за этой сложности? Разве указали они, каким путем разрешить такую проблему? Отнюдь не самое лучшее отказаться от замужества, если его не хочешь. Допустим, что девушка не выйдет замуж и ее не будут осыпать глупыми попреками, как у нас в городке, ведь это значит, что ей придется зарабатывать себе на жизнь. Но разве полученное образование дает нам хоть какую-нибудь возможность жить самостоятельно? С нашим знанием иностранных языков и в домашние учителя не возьмут, а с нашим вязаньем не заработаешь даже на плату за комнату. Значит, остается одно — выйти за человека, которого презираешь. Я думаю, это обиденная и в то же время большая трагедия. Но то, что она обиденная, разве это не делает ее еще страшнее? Называется брак, а в сущности проституция.

А ты прекрасно можешь зарабатывать себе на жизнь, не то что я. Ничему я не завидую так, как этому! Да и не только тебе. Вчера мы с мамой пошли за покупками, и я видела, как девушка моложе меня работает на японской пишущей машинке. Даже она — насколько она счастливее меня! Ах, ты ведь больше всего не любишь сентиментальности. Ну, я кончаю свои вздохи.

Все же я хочу обрушиться на немощность японских писателей. Чтобы найти выход из трудного положения, в которое я попала с моим будущим замужеством, я стала перечитывать некоторые книги. Но нашелся ли хоть один писатель, который говорил бы от нашего имени? Курата Момодзё, Кйкути Хирёси, Кумэ Масао, Мусьякёдзи Санэацу, Сатоми Тон, Сатё Харуо, Ёсида Гэндзи, Ногами Яёи — все до последнего слепы. Ну, и пусть их, но когда я взялась за Акутагава Рюноске — вот уж дурак! Ты читала рассказ «Барышня Рокуномия»? (Следуя примеру Кёдэна и Самба, я тут должен

добавить нечто вроде рекламы: «Барышня Рокуномия» напечатана в сборнике новелл «Сюмпуку» в издательстве Сюнъёдо.— Р. А.) Акутагава в этом рассказе поносит робкую девушку. Право, человек, который не способен страстно желать, презренной преступника. Но как бы страстно ни желали мы, получившие образование, которое не дает нам возможности стать на ноги, все равно средств осуществить желание у нас нет. Так было и с барышней Рокуномия. Самодовольно поносить ее — разве в этом не сказывается низменность автора? Я еще больше стала презирать Акутагава Рюноскэ, когда прочла этот рассказ...»

Женщина, написавшая это письмо,— сентиментальная невежда. Чем марать бумагу такими излияниями, лучше бы она попыталась бежать, чтобы поступить в школу машинисток. Я не принял «дурака» в свой адрес, я сам ее презирал. Но вместе с тем испытывал что-то вроде сочувствия. Сколько бы она ни выражала свое недовольство, все равно выйдет за инженера из электрической компании или кого-нибудь еще. А выйдя замуж, превратится в обыкновенную жену. Начнет слушать и нанивабуси. Забудет башню Сайсёдзи. Будет, как свинья поросят, рожать детей... Я засунул обрывок письма глубоко в ящик стола. Там вместе со старыми письмами желтеют и выцветают и мои мечты.

Апрель 1924 г.



РАННЯЯ ВЕСНА

Студент Накамура, ощущая под тонким весенним пальто температуру собственного тела, поднимался по сумрачной каменной лестнице на второй этаж музея. Там слева находится отдел пресмыкающихся. Прежде чем войти туда, Накамура взглянул на свои ручные золотые часы. К счастью, стрелки еще не показывали двух. Вопреки его опасениям, ему удалось не опоздать, но, подумав об этом, он ощутил не облегчение, а скорее нечто близкое к чувству какой-то потери.

В отделе пресмыкающихся тишина. Даже посетителей сегодня нет. Лишь чувствуется холодноватый запах инсектицидов. Накамура оглядел комнату и потянулся, глубоко вздохнув. Потом остановился перед удавом из южных стран, обвившимся вокруг толстого сухого дерева в просторном стеклянном шкафу. Еще прошлым летом они выбрали отдел пресмыкающихся местом своих встреч с Миэко. И дело здесь вовсе не в том, что у них были какие-то нездоровые наклонности. Они были вынуждены предпочесть это место, просто чтобы избежать людских глаз. Парки, кафе, вокзалы — все это лишь смущало таких застенчивых людей, как они. И особенно для Миэко, совсем недавно выросшей из детских платьев, это, наверно, было больше, чем просто смущение. Они чувствовали бесчисленные взгляды на своих спинах. Более того, эти взгляды проникали в их сердца. Но когда они приходили в этот отдел — на них некому было смотреть, кроме чучел змей и ящериц. И если

они иногда сталкивались с посетителями или служителем, на них смотрели лишь несколько мгновений.

Свидание назначено на два часа. В ту же секунду стрелки часов показали ровно два. Не может быть, чтобы и сегодня ему пришлось долго ждать. Думая об этом, Накамура прошелся по комнате, разглядывая экспонаты пресмыкающихся. К сожалению, сердце его отнюдь не прыгало от радости. Оно скорее полно было чувством, похожим на какую-то покорность долгу. Уже не наскучила ли ему Миэко — ведь у мужчин так бывает. Но чтобы наскучило, нужно все время сталкиваться с одним и тем же. Однако сегодняшняя Миэко, к счастью ли, к несчастью ли, совсем не та, что вчерашняя. Вчерашняя Миэко, обменивавшаяся с ним лишь кивком в поезде на линии Яманотэ, была благовоспитанной школьницей. Да что вчерашняя, даже та Миэко, что впервые с ним вместе отправилась на прогулку в парк Инокасира, была еще сущей тихоней...

Накамура снова взглянул на часы. Пять минут третьего. Поколебавшись, он вышел в соседнюю комнату, в отдел птиц. Канарейки, золотые фазаны, колибри, красивые чучела птиц разных размеров разглядывают его сквозь стекло. И у Миэко остался лишь остов, как у этих птиц, она лишилась красоты души. Он очень хорошо помнит: когда они встретились в прошлый раз, она все время жевала резинку. А еще до этого, во время встречи, не умолкая, напевала оперные арии. Особенно его удивила та Миэко, с которой он встретился с месяц назад. Она очень расшалилась, и в конце концов, пытаясь подбросить подушку до потолка, стала швырять ее ногами — это она называла футболом...

На часах было четверть третьего. Накамура со вздохом вернулся в отдел пресмыкающихся. Но Миэко нигде не было видно. Ощущая облегчение, он «распрощался» с ящерицей, которая оказалась у него перед глазами. Со времен Мэйдзи эта большая ящерица вечно держит во рту маленькую змейку. Вечно, — но он-то не собирается быть здесь вечно. Как только часы покажут полтретьего, он немедленно уйдет. Вишни еще не цветут. Но на ветвях деревьев перед храмом Рёдайси, сквозь которые просвечивает облачное небо, уже появились алые бутоны. А ведь нужно признаться, что пройтись по парку гораздо приятнее, чем идти куда-то с Миэко...

Двадцать минут третьего! Ладно, можно еще десять минут подождать. Подавив в себе желание уйти, он стал переходить от экспоната к экспонату. Ящерицы и змеи, оторванные от тропических лесов, несли на себе печатъ тлена. Может быть, это был символ. Символ его любви, утерявшей жар. Он был верен Миэко. Но за полгода она превратилась в совершенно неузнаваемую дрянную девчонку. В том, что он потерял свой жар — полностью виновата сама Миэко. По крайней мере, это произошло потому, что его иллюзии рухнули. А совсем не потому, что она ему наскучила.

Ровно в половине третьего Накамура собрался выйти из отдела пресмыкающихся. Но, не дойдя до двери, резко повернулся на каблучках. Может быть, вот-вот Миэко войдет и они разминутся. Тогда будет жаль ее. Жаль? Нет, не жаль. Он страдает не из сочувствия к ней, а скорее из собственного чувства долга. И чтобы это чувство долга не мучило, надо подождать еще десять минут. Да нет, она все равно не придет. Жди ее или не жди, но сегодняшний вечер он, видно, сможет провести в свое удовольствие...

В отделе пресмыкающихся и теперь по-прежнему тишина. Сюда еще не заглядывал ни один посетитель. И только веет холодноватым запахом инсектицидов. Накамура начал злиться на себя. Миэко все же дрянная девчонка. Но его любовь, наверно, еще не совсем остыла. Иначе он давно бы ушел из музея. И пусть жар его души остыл — влечение, видимо, осталось. Влечение? Но это не влечение. Судя по тому, что сейчас произошло, он и в самом деле любит Миэко. Она подбрасывала ногами подушки. Но ноги у нее очень белые, к тому же пальчики на ногах грациозно согнуты. И особенно ее смех в тот момент — он вспомнил смех склонившей голову Миэко.

Два часа сорок минут.

Два часа сорок пять минут.

Три часа пять минут.

Вот уже десять минут четвертого. Ощущая холод глубоко под весенним пальто, Накамура покинул безлюдный отдел пресмыкающихся и стал спускаться по каменной лестнице. Всегда сумрачной, как при заходе солнца, каменной лестнице.

В тот же день, когда уже зажглись фонари, Накамура в углу кафе разговаривал с приятелем. Приятель его — студент Хорикава, собирающийся стать писателем. За чашкой крепкого чая они спорили об эстетической ценности автомобилей, об экономической ценности Сезанна. Устав и от этого, Накамура, закуривая сигарету с золотым обрезом, рассказал о событиях этого дня, почти как историю о ком-то постороннем.

— Дурак я, правда? — закончив свой рассказ, как бы равнодушно прибавил Накамура.

— Ну, глупее всего считать себя дураком. — Хорикава беспечно улыбнулся. А потом вдруг, будто читая вслух, заговорил:

— Ты уходишь. В отделе пресмыкающихся тишина. И вот туда... Времени прошло еще совсем немного, на часах всего четверть четвертого, и вот туда входит бледная школьница. Там, конечно, нет посетителей, нет вообще никого. Она долго неподвижно стоит в окружении змей и ящериц. А здесь так легко расплакаться. Между тем темнеет. Скоро закроют музей. Но школьница стоит все в той же позе... Представить себе все это, и получится новелла. Однако эта новелла тебе не очень понравится. Миэко — тут все ясно, но вот как угораздило ее сделать тебя героем новеллы?

Накамура рассмеялся.

— Миэко, к сожалению, тоже толстая.

— Еще толще тебя?

— Не болтай чепуху! Я вешу восемьдесят восемь килограммов, а Миэко около шестидесяти четырех.

И вот пролетело десять лет. Накамура, кажется, служит сейчас в берлинском отделении Мицуи. Миэко в конце концов вышла замуж. Как-то писатель Хорикава Ясукиги случайно обнаружил ее на обложке нового номера одного женского журнала. На фотографии она с тремя детьми стоит у рояля и счастливо улыбается. И вес ее — то, чего Ясукиги втайне боялся, — вес ее, видимо, уже перевалил за семьдесят пять килограммов...

Январь 1925 г.



ЛОШАДИНЫЕ НОГИ

Героя этого рассказа зовут Óсино Хандзáбуру. К сожалению, человек он ничем не замечательный. Он служащий пекинского отделения компании «Мицубиси», лет ему около тридцати. Через месяц после окончания коммерческого училища Хандзабуру получил место в Пекине. Товарищи и начальство отзывались о нем не то чтобы хорошо, но и нельзя сказать, что плохо. Заурядность, бесцветность — вот что определяет внешность Хандзабуру. Добавлю, что такова же его семейная жизнь.

Два года назад Хандзабуру женился на одной барышне. Звали ее Цунэко. И это, к сожалению, не был брак по любви. Это был брак, устроенный родственниками Хандзабуру, пожилыми супругами, через свата. Цунэко нельзя было назвать красавицей. Правда, нельзя было назвать ее безобразной. На ее пухлых щеках всегда трепетала улыбка. Всегда — за исключением той ночи по пути из Мукдена в Пекин, когда в спальном вагоне ее кусали клопы. Но с тех пор ей больше не приходилось бояться клопов: в казенной квартире на улице N. у нее было припасено два флакона «Пиретрума» — средства от насекомых, изготовленного фирмой «Комори».

Я сказал, что семейная жизнь Хандзабуру совершенно заурядна, бесцветна, и действительно, так оно

и было. Он обедал с Цунэко, слушал с ней граммофон, ходил в кинематограф — и только; словом, вел такую же жизнь, как и всякий другой служащий в Пекине. Однако и при таком образе жизни им не уйти было от предначертаний судьбы. Однажды после полудня судьба оборвала одним ударом мирный ход этой заурядной, бесцветной жизни. Служащий фирмы «Мицубиси» Осино Хандзабуро скоропостижно скончался от удара.

В это утро Хандзабуро, как обычно, усердно занимался бумагами за своим служебным столом в здании Дундуань-пайлоу. Говорили, что сослуживцы, сидевшие напротив него, не заметили в нем ничего необычного. Однако в тот миг, когда он, видимо, закончив одну из бумаг, сунул в рот папироску и хотел было чиркнуть спичкой,— он вдруг упал лицом вниз и умер. Скончался он как-то слишком внезапно. Но, к счастью, не принято строго судить о том, кто как умер. Судят лишь о том, кто как живет. Благодаря этому и в случае с Хандзабуро дело обошлось без особых пересудов. Мало того что без пересудов. И начальство и сослуживцы выразили вдове Цунэко глубокое сочувствие.

По заключению профессора Ямаи, директора больницы Тунжэнь, смерть Хандзабуро последовала от удара. Но сам Хандзабуро, к несчастью, не думал, что это удар. Прежде всего он не думал даже, что умер. Он только изумился тому, что вдруг оказался в какой-то конторе, где никогда раньше не бывал.

Занавески на окнах конторы тихо колыхались от ветра в сиянии солнечного дня. Впрочем, за окном ничего не было видно... За большим столом посредине комнаты сидели друг против друга два китайца в белых халатах и перелистывали гроссбухи. Одному было всего лет двадцать, другой, с длинными пожелтевшими усами, был постарше.

Пока Хандзабуро осматривался, двадцатилетний китаец, бегая пером по страницам гроссбуха, вдруг обратился к нему, не поднимая глаз:

— Are you mister Henry Ballet, ar'nt you? ¹

Хандзабуро изумился. Однако он постарался по мере возможности спокойно ответить на чистом пекинском наречии.

¹ Вы мистер Генри Бэллет, не так ли? (англ.)

— Я служащий японской компании «Мицубиси» Осино Хандзабуро,— сказал он.

— Как! Вы японец? — почти испуганно спросил китаец, подняв наконец глаза. Второй — пожилой китаец,— начал было что-то записывать в гроссбух, остановился и тоже озадаченно посмотрел на Хандзабуро.

— Что же нам делать? Перепутали!

— Вот беда! Вот уж подлинно беда! Да этого со времени революции никогда не случалось.

Пожилый китаец казался рассерженным, перо у него в руке дрожало.

— Ну что ж, живо верни его на место.

— Послушайте... э-э... господин Осино! Подождите немного.

Молодой китаец раскрыл новый толстый гроссбух и стал что-то читать про себя, но сейчас же, захлопнув гроссбух, с еще более испуганным видом обратился к пожилому китайцу:

— Невозможно... Господин Осино Хандзабуро умер три дня назад.

— Три дня назад?

— Да... И ноги у него разложились. Обе ноги разложились, начиная с ляжек.

Хандзабуро снова изумился. Судя по их разговору, во-первых, он умер, во-вторых, со времени его смерти прошло три дня. В-третьих, его ноги разложились. Такой ерунды не может быть! В самом деле, вот его ноги... Но едва он взглянул на ноги, как невольно вскрикнул. И не удивительно: обе его ноги в безупречно отглаженных белых брюках и белых ботинках колыхались от ветра, дувшего из окна. Увидев это, он не поверил своим глазам. Потрогал — действительно, трогать его ноги от бедер и ниже было все равно, что хватать руками воздух. Хандзабуро так и сел. В ту же секунду его ноги — вернее, брюки — вяло опустились на пол, как воздушный шарик, из которого выпустили воздух.

— Ничего, ничего, что-нибудь придумаем! — сказал пожилой китаец и прежним раздраженным тоном обратился к молодому служащему:

— Это ты виноват! Слышишь? Ты виноват! Надо немедленно подать рапорт. Вот что: где сейчас Генри Баллет?

— Я только что выяснил. Он срочно выехал в Ханькоу.

— В таком случае пошли телеграмму в Ханькоу и добудь ноги Генри Бэллета.

— Нет, это невозможно. Пока из Ханькоу придут ноги, у господина Осино разложится все тело.

— Вот беда! Вот уж подлинно беда!

Пожилой китаец вздохнул. Даже усы его как будто свесились еще ниже.

— Это ты виноват! Нужно немедленно подать рапорт. К сожалению, из пассажиров вряд ли кто остался?

— Только час, как отбыли. Вот лошадь одна есть, но...

— Откуда она?

— С конного рынка за воротами Дэшэнь-мынь. Только что околела.

— Ну так приставим ему лошадиные ноги. Все лучше, чем не иметь никаких. Принеси-ка ноги сюда.

Двадцатилетний китаец встал из-за стола и плавно удалился. Хандзабуро изумился в третий раз. Судя по этому разговору, похоже, что ему собираются приставить лошадиные ноги. Оказаться человеком с лошадиными ногами — какой ужас! Все еще сидя на полу, он умоляюще обратился к пожилому китайцу:

— Прошу вас, избавьте меня от лошадиных ног! Я терпеть не могу лошадей. Пожалуйста, молю вас во имя всего святого, приставьте мне человеческие ноги. Ну, хоть ноги Генри-сана или кого-нибудь еще — все равно. Пусть даже немножко волосатые — я согласен, лишь бы это были человеческие ноги!

Пожилой китаец сочувственно посмотрел на Хандзабуро и закивал.

— Если бы только нашлись — приставили бы, но человеческих ног как раз нет, так что... Что ж делать, случилось несчастье, примиритесь с судьбой! Но с лошадиными ногами вам будет хорошо. Только время от времени меняйте подковы, и вы спокойно одолеете любую дорогу, даже в горах.

Тут опять откуда-то плавно появился молодой китаец с парой лошадиных ног в руках. Так мальчик в отеле приносит сапоги. Хандзабуро хотел убежать. Но увы — без ног подняться ему было не так-то просто.

Тем временем молодой китаец подошел к нему и снял с него белые ботинки и носки.

— Нет, нет! Только не лошадиные ноги! Да, наконец, кто имеет право чинить мне ноги без моего согласия?!

Пока Хандзабуро кричал и протестовал, молодой китаец всунул одну лошадиную ногу в отверстие правой штанины. Лошадиная нога точно зубами впиалась в правое бедро. Тогда он вставил другую ногу в отверстие левой штанины. Она тоже накрепко вцепилась в бедро.

— Ну вот и хорошо!

Двадцатилетний китаец, удовлетворенно улыбаясь, потер пальцы с длинными ногтями. Хандзабуро растерянно посмотрел на свои ноги. Из-под белых брюк виднелись две толстые гнедые ноги, два рядышком стоящих копыта.

Хандзабуро помнил лишь то, что произошло до этой минуты. По крайней мере, дальнейшее сохранилось у него в памяти уже не с той отчетливостью. Он помнил, что как будто подрался с обоими китайцами. Затем как будто скатился с крутой лестницы. Но все это представлялось ему не вполне ясно. Как бы то ни было, когда он после скитания в мире смутных видений пришел в себя, он лежал в гробу, установленном в казенной квартире на улице N. Мало того, прямо перед гробом молодой миссионер из храма Хонгандзи читал заупокойную молитву.

Само собой разумеется, воскресение Хандзабуро стало предметом всевозможных толков. Газета «Дзюнтэн ниппон» поместила большой его портрет и напечатала корреспонденцию в три столбца. Согласно этой корреспонденции Цунэко в своем траурном платье больше, чем обычно, сияла улыбкой; несколько человек из начальства и сослуживцев, отнеся расходы на теперь уже ненужные поминальные приношения за счет компании, устроили банкет в честь воскресшего. Конечно, авторитет профессора Ямаи оказался под ударом. Но профессор, спокойно пуская колечки папиросного дыма, искусно восстановил свой авторитет. Он заявил, что это тайна природы, недоступная медицине. То есть, вместо авторитета лично своего, профессора Ямаи, он поставил под удар авторитет медицины.

У одного только виновника событий, самого Хандзабуро, даже на банкете в честь его воскресения не было на лице и признака радости. И не удивительно. Его ноги с момента воскресения превратились в лошадиные. В гнемые лошадиные ноги с копытами вместо пальцев. Каждый раз при виде этих ног он испытывал невыразимое отчаяние. Если кто-нибудь случайно увидит эти его ноги, его в тот же день, несомненно, уволят из компании. Сослуживцы, безусловно, уклонятся от всяких дальнейших сношений с ним. И Цунэко — о, слабость, женщина, имя твоё! — и Цунэко последует их примеру; она не захочет иметь мужем человека с лошадиными ногами. Чем больше Хандзабуро думал об этом, тем сильнее укреплялось в нем решение во что бы то ни стало скрыть свои ноги. Он отказался от японской одежды. Стал носить высокие сапоги. Наглухо закрывал окна и дверь ванной. И тем не менее им беспрестанно владела тревога. Разумеется, не напрасно. Почему? А вот почему...

Больше всего Хандзабуро остерегался навлечь на себя подозрение сослуживцев. Может быть, поэтому он, при всех своих страданиях, держался сравнительно непринужденно. Но, судя по его дневнику, ему постоянно приходилось бороться с разного рода опасностями.

«... июля. Право же, молодой китаец приставил мне отвратительные ноги. Их можно назвать рассадником блох. Сегодня на службе ноги у меня чесались до сумасшествия. Во всяком случае, надо на время отдать все свои силы изгнанию блох...»

«... августа. Сегодня ходил по одному делу к управляющему. Во время разговора управляющий все время потягивал носом. Кажется, запах моих ног пробивается и сквозь сапоги...»

«... сентября. Свободно управлять лошадиными ногами куда труднее, чем ездить верхом. Сегодня перед обеденным перерывом меня послали по срочному делу, и я быстро побежал вниз по лестнице. Всякий в такую минуту стал бы думать только о деле. И я на миг забыл о своих лошадиных ногах. Не успел я ахнуть, как мои ноги соскользнули на семь ступенек...»

«... октября. Понемногу научился управлять своими лошадиными ногами. Если разобраться, все дело в

том, чтобы сохранять равновесие бедер. Сегодня потерпел неудачу. Правда, тут не только моя вина. В девять часов утра поехал на рикше на службу. И вот рикша вместо двенадцати сэнов стал требовать двадцать. К тому же он вцепился в меня и не давал войти в дверь. Я очень рассердился и изо всех сил отпихнул его ногой. Рикша взлетел в воздух, как футбольный мяч. Понятно, я раскаивался. И в то же время я невольно фыркнул. Во всяком случае, двигать ногами нужно гораздо осторожнее...»

«... июля. Самый злейший мой враг — Цунэко. Под предлогом необходимости жить культурно нашу единственную японскую комнату я в конце концов обставил по-европейски: таким образом, я могу в присутствии Цунэко оставаться в сапогах. Цунэко, кажется, очень недовольна тем, что убрали татами. Но даже в таби такими ногами ходить по японскому полу для меня просто немислимо».

«... сентября. Сегодня продал двуспальную кровать. Когда-то я купил ее на аукционе у одного американца. Возвращаясь с аукциона, я шел по аллее сеттльмента. Деревья были в полном цвету. Красиво блестела вода в Императорском канале. Но... теперь не время предаваться воспоминаниям. Вчера ночью опять слегка лягнул Цунэко в бок...»

«... ноября. Сегодня сам снес в стирку свое грязное белье: к трусам, кальсонам и носкам всегда прилипают конские волосы».

«... декабря. Носки рвутся отчаянно. А платить за носки без ведома Цунэко — поистине, задача не из легких...»

«... декабря. Даже на ночь не снимаю ни носков, ни кальсон. Кроме того, весьма нелегкое дело прятать от Цунэко ступни. Вчера, ложась спать, Цунэко сказала: «Какой вы зябкий! Что это? Вы даже поясницу кутаете в меха?» Кто знает — не близок ли час, когда мои лошадиные ноги будут обнаружены?...»

Помимо этих, Хандзабуро подстерегали еще и другие опасности. Перечислять их все слишком утомительно. Но больше всего меня поразила в его дневнике следующая запись:

«... декабря. Сегодня во время обеденного перерыва пошел к букинисту у храма Луньфусы. Перед входом в лавку стоял экипаж, запряженный лошадей. Впрочем, это был не европейский экипаж, а китайская пролетка с поднятым темно-синим верхом. На козлах дремал кучер. Я не обратил на все это особого внимания и хотел было войти в лавку. И в эту самую минуту кучер, щелкнув кнутом, крикнул: «Цо! Цо!» «Цо» — это слово, которое китайцы употребляют, когда хотят осадить лошадь. Не успел кучер договорить, как лошадь попятилась. И вот в этот миг — не ужасно ли? — я тоже, стоя все еще лицом к лавке, стал шаг за шагом отступать по тротуару. Что я испытывал в эту минуту — какой страх, какое изумление, — этого пером не описать! Напрасно силился я сделать хоть шаг вперед — под властью страшной, непреодолимой силы я продолжал отступать. Между тем мне еще повезло, что кучер сказал «цо». Едва экипаж остановился, я тоже перестал пятиться. Но странности на этом не кончились. Облегченно вздохнув, я невольно оглянулся на экипаж. И вот лошадь — серая кобыла, запряженная в экипаж, — как-то непонятно заржала. Непонятно? Нет, не так уж непонятно! В этом пронзительном ржанье я отчетливо различил хохот. И не только у лошади — у меня самого к горлу подступило что-то похожее на ржанье. Издать этот звук было бы ужасно. Я обеими руками зажал уши и со всех ног пустился бежать...»

Однажды днем в конце марта он вдруг заметил, что его ноги совершенно произвольно скачут и прыгают. Но судьба приготовила Хандзабуро последний удар. Отчего же его лошадиные ноги вдруг взволновались? Чтобы ответить на этот вопрос, следовало бы заглянуть в дневник Хандзабуро. Но, к сожалению, его дневник кончается как раз за день до того, как его постигла новая беда. Только на основании предшествующих и последующих обстоятельств можно высказать некоторые общие предположения. Прочитав «Записи о лошадях», «Собрание сведений о быках, лошадях и верблюдах годов Гэнкё» и другие труды, я пришел к убеждению, что его ноги так сильно взволновались по следующей причине.

Это был сезон желтой пыли. «Желтая пыль» — это мелкий песок, приносимый весенним ветром в Пекин из Монголии. Судя по статьям в газете «Дзюнтэн ниппон», в тот год желтая пыль достигла небывалой за десятки лет густоты. «В пяти шагах от ворот Дэшэнь-мынь не видно башни на воротах», — говорилось тогда, и по одному этому видно, что пыль действительно была страшная. Между тем лошадиные ноги Хандзабуро принадлежали павшей лошади с конного рынка за воротами Дэшэнь-мынь, а эта павшая лошадь, без сомнения, была кунлуньским скакуном из Монголии, привезенным через Калган и Цзиньчжоу. И разве не естественно, что, почуяв монгольский воздух, лошадиные ноги Хандзабуро вдруг запрыгали и заскакали? Кроме того, это было время случки, когда те лошади, которые не заперты в конюшне, носятся на воле, как бешеные... Учитывая все это, приходится признать одно: то обстоятельство, что его лошадиные ноги не могли оставаться в покое, заслуживает всяческого сочувствия.

Верно это объяснение или нет — только, как говорят, Хандзабуро в те дни даже на службе все время прыгал, точно пританцовывая. Говорят, что на пути домой он на протяжении трех кварталов опрокинул семерых рикш. Наконец, уже вернувшись домой, он, по словам Цунэко, вошел в комнату, пошатываясь и задыхаясь, как собака в жару, и, повалившись на стул, сразу же приказал ошеломленной жене принести веревки. По его виду Цунэко сразу сообразила, что случилось нечто ужасное. Он был чрезвычайно бледен. Кроме того, он все время взволнованно и словно не в силах сдерживать себя, переступал ногами в высоких сапогах. Цунэко, позабыв из-за этого даже о своем обыкновении улыбаться, спросила, зачем ему веревки. Но муж, страдальчески вытирая со лба пот, только повторял: — Скорей, скорей!.. Иначе — ужас!..

Цунэко волей-неволей дала мужу связку веревок, предназначенных для упаковки корзин. Он стал обвязывать этими веревками свои ноги в сапогах. Мысль, что ее муж сошел с ума, мелькнула у нее именно в эту минуту. Не сводя с него глаз, Цунэко дрожащим голосом предложила пригласить профессора Ямаи. Но Хандзабуро старательно обматывал ноги веревками и не поддавался на ее уговоры.

— Что этот шарлатан понимает? Это разбойник! Мошенник! Лучше придержи меня.

Обнявшись, они тихо сидели на диване. Желтая пыль, заволакивавшая весь Пекин, сгущалась все больше. Даже заходящее солнце за окном казалось мутным, лишенным блеска, красным шаром. И ноги Хандзабуро, разумеется, не могли оставаться в покое. Опутанные веревками, они беспрестанно двигались, точно нажимая на какие-то невидимые педали. Цунэко, жалея его и стараясь ободрить, говорила то об одном, то о другом.

— Почему... почему вы так дрожите?

— Ничего! Ничего!

— Но вы весь мокрый! Этим летом мы поедем в Японию. Мы так давно не были дома!

— Непременно поедем! Поедем и останемся там.

Пять минут, десять минут, двадцать минут... время тихими шагами проходило над ними. Цунэко говорила корреспонденту «Дзюнтэн ниппон», что в эти минуты она чувствовала себя узницей, закованной в цепи. Но полчаса спустя наступил наконец миг, когда цепи разорвались. Правда, разорвалось не то, что Цунэко назвала своими цепями. Разорвались человеческие узы, привязывавшие Хандзабуро к дому. Окно, сквозь которое струился мутный красный свет, вдруг с шумом распахнулось от порыва ветра. И в тот же миг Хандзабуро что-то громко крикнул и подскочил на три сяку вверх. Цунэко увидела, как веревка лопнула, точно разрезанная. А Хандзабуро... но это уже не рассказ Цунэко. Увидев, как муж подскочил, она тут же упала на диван и лишилась чувств. Но китаец-бой из казенной квартиры так рассказывал тому же корреспонденту: словно спасаясь от преследования, Хандзабуро выскочил из вестибюля, мгновение он стоял у входа, затем задрожал всем телом и, издав жуткий вопль, напоминавший ржание, ринулся прямо в застилавшую улицы желтую пыль...

Что стало с Хандзабуро потом? Это до сих пор остается тайной. Впрочем, корреспондент «Дзюнтэн ниппон» сообщает, что в тот день, около восьми часов вечера, при тусклом свете луны, затуманенной желтой пылью, по полотну знаменитой железнодорожной линии Падалинь, откуда смотрят на Великую стену, бе-

жал какой-то человек без шляпы. Но эта корреспонденция не вполне достоверна. В самом деле, другой корреспондент той же газеты сообщает, что в тот самый день, тоже около восьми часов вечера, под дождем, прибывшим желтую пыль, какой-то человек без шляпы бежал по дороге Шисаньлин, вдоль которой стоят каменные изображения людей и лошадей. Таким образом, куда скрылся Хандзабуро, выбежав из вестибюля дома компании на улице N., сказать с уверенностью невозможно.

Разумеется, бегство Хандзабуро, так же как и его воскресение, стало предметом всевозможных толков. Но Цунэко всем — и управляющему, и сослуживцам, и профессору Ямаи, и редактору «Дзюнтэн нишпон» — объясняла его бегство сумасшествием. В самом деле, несомненно, легче было объяснить это сумасшествием, чем лошадиными ногами. Избегать трудного и прибегать к легкому — таков обычный путь на свете. Представитель этого пути, редактор «Дзюнтэн нишпон», господин Мудагути, на другой день после бегства Хандзабуро поместил в газете нижеследующую статью, произведение своего блестящего пера:

«Господин Осино Хандзабуро, служащий компании «Мицубиси», вчера вечером, в пять часов пятнадцать минут, по-видимому, внезапно потерял рассудок и, не слушая увещаний своей супруги Цунэко, бежал неведомо куда. Согласно мнению директора больницы Туньжэнь профессора Ямаи, господин Осино прошлым летом перенес апоплексический удар, трое суток пролежал без сознания и с тех пор стал обнаруживать известные странности. Судя по дневнику господина Осино, найденному госпожой Цунэко, господин Осино страдал странной навязчивой идеей. Однако нам хотелось бы спросить, как назвать болезнь господина Осино? Где чувство ответственности мужа госпожи Цунэко, господина Осино? Мощь нашей империи, ни разу не запятнанной вторжением внешнего врага, покоится на принципе семьи. Коль скоро она покоится на принципе семьи, излишне спрашивать, как велика ответственность тех, кто является главой семьи. Вправе ли такой глава семьи самочинно сходить с ума! На такой вопрос мы решительно отвечаем: нет! Допустим, что мужья получают право сходить с ума. Тогда они, все-

цело забросив семью, обретут счастье либо ходить и распевать по большим дорогам, либо скитаться по горам и лесам, либо получать кров и пищу в лечебнице для душевнобольных. Но в таком случае двухтысячелетний принцип семьи, которым мы гордимся перед всем светом, неминуемо рассыплется в прах. Мудрец изрек: надлежит ненавидеть преступление, но не следует ненавидеть преступника. Мы не хотим быть жестокими по отношению к господину Осино. Но мы должны бить тревогу и судить преступление, состоящее в том, что человек позволяет себе сходить с ума. И не только преступление господина Осино. Мы, если этого не делает само небо, должны осудить недосмотр всех прежних кабинетов, которые не сочли нужным издать запрещение сходить с ума!

Из разговора с госпожой Цунэко нам известно, что она по меньшей мере на год останется на казенной квартире на улице N. и будет ждать возвращения господина Осино. Мы выражаем свое глубокое сочувствие верной супруге и вместе с тем надежду, что просвещенная компания «Мицубиси» не преминет позаботиться о госпоже Цунэко».

Но через полгода Цунэко вновь пережила нечто такое, что не позволило ей оставаться в прежнем заблуждении. Это произошло октябрьским вечером в сумерки, когда с пекинских ив осыпались желтые листья. Цунэко сидела на диване у себя дома, погруженная в воспоминания. На ее губах больше не трепетала привычная улыбка. Ее щеки потеряли былую округлость. Она думала то о своем сбежавшем муже, то о проданной двуспальной кровати, то о клопах. И вот у входа кто-то неуверенно позвонил. Цунэко не обратила на это внимания, предоставив открыть дверь бою. Но бой, видимо, куда-то ушел, и никто дверь не открывал. Тем временем звонок прозвучал еще раз. Цунэко наконец поднялась с дивана и медленно подошла к двери.

За дверью на пороге, усыпанном опавшей листвой, в слабом свете сумерек стоял человек без шляпы. Без шляпы... не только без шляпы! Он был совершенно оборван и весь в пыли. Цунэко почувствовала перед ним почти страх:

— Что вам нужно?

Человек не ответил. Его давно не стриженная голова была низко опущена. Вглядываясь в него, Цунэко боязливо повторила:

— Что... что вам нужно?

Наконец человек поднял голову.

— Цунэко...

Одно слово. Но слово, которое, точно свет луны, озарило его, озарило истинный облик этого человека. Затаив дыхание, словно лишившись голоса, Цунэко не сводила глаз с его лица. У него отросла борода, и он исхудал до неузнаваемости. Но глаза, смотревшие на нее, это, несомненно, были те самые долгожданные глаза.

— Вы?!

С этим криком Цунэко хотела было прильнуть к груди мужа. Но, едва сделав шаг вперед, отскочила, словно ступив на раскаленное железо. Из-под разорванных в клочья штанов мужа виднелись мохнатые лошадиные ноги — даже в сумерки ясно различимые по масти гнедые лошадиные ноги.

— Вы?!

Цунэко почувствовала к этим лошадиным ногам неопишное отвращение. Но она почувствовала и то, что этот раз — последний, что больше она не встретится с мужем никогда. Муж печально смотрел ей в лицо. Цунэко еще раз хотела прижаться к его груди. Но отвращение опять подорвало ее решимость.

— Вы?!

Когда она вскрикнула так в третий раз, муж круто повернулся и стал медленно спускаться с лестницы. Цунэко собрала все свое мужество и в отчаянии хотела побежать за ним. Но не успела она ступить и шагу, как до ее ушей донесся стук копыт. Бледная, не в силах остановить мужа, Цунэко, не двигаясь, смотрела ему вслед. И потом... упала без чувств на порог, усыпанный опавшей листвой.

Со времени этого происшествия Цунэко начала верить дневнику мужа. Но сослуживцы, профессор Ямаи, редактор Мудагути и прочие все еще не верят, что у господина Хандзабуро оказались лошадиные ноги. Больше того, даже то, что Цунэко видела эти ноги, они тоже считают галлюцинацией. Во время моего пребы-

вания в Пекине я встречался с профессором Ямаи и с редактором Мудагути и несколько раз старался рассеять их заблуждение. Но каждый раз только сам подвергался насмешкам. Впоследствии, — нет, совсем недавно, — писатель Окада Сандзабуро, видимо, услыхав от кого-то об этой истории, написал мне, что, право же, немисливо поверить, чтобы у человека могли появиться лошадиные ноги. Как писал господин Окада, если только допустить, что это правда, «ему, по всей вероятности, были приставлены передние ноги лошади. И если это был рысак, способный на высший класс езды, как, например, испанский аллюр, то он, пожалуй, мог проделывать и такие кунштуки, как лягаться передними ногами. Но могла ли лошадь научиться этому сама, без такого наездника, как лейтенант Юаса, — в этом я сильно сомневаюсь!» Понятно, и я не могу не питать на этот счет некоторых сомнений. Но разве отрицать на одном этом основании дневник Хандзабуро и рассказ Цунэко — не легкомыслие? В самом деле, как я установил, в газете «Дзюнтэн ниппон», сообщавшей о его воскресении, на той же самой странице, несколькими столбцами ниже, помещена следующая заметка:

«Председатель общества трезвости Мэй-хуа господин Генри Бэллет скоропостижно скончался в поезде на Ханькоу. Поскольку он умер со склянкой в руках, возникло подозрение о самоубийстве, но результаты анализа жидкости показали, что в склянке находился спиртной напиток».

Январь 1925 г.



У МОРЯ

1

...Дождь все еще шел. Покончив с обедом, мы, испепеляя папиросу за папиросой, перебрасывались новостями о токийских приятелях.

Мы сидели в двухкомнатном номере в самой глубине гостиницы, тростниковая штора от солнца свешивалась в голый сад. Я говорю, что сад был голый, но все же редкие кустики высокой травы, которой так много на побережье, склонили к песку свои метелочки. Когда мы приехали, этих метелочек не было еще и в помине. А если и появилось несколько, то они были ярко-зелеными. Теперь же все они в какой-то момент стали одинаково коричневыми, и на кончике каждой приютилась капля влаги.

— Ну что, поработаем, пожалуй?

М., продолжая лежать, растянувшись во весь рост, стал протирать очки рукавом сильно накрахмаленного домашнего кимоно. Работой, которую он упомянул, называлось то, что мы должны были ежемесячно писать для нашего журнала.

После того как М. ушел в соседнюю комнату, я, подложив под голову дзабутон, стал читать «Историю восьми псов». Вчера я остановился на том месте, где Сино, Гэнхати и Кобунго отправляются на выручку Со-скэ. «Тогда Амадзаки Тэрубуми вынул из-за пазухи

приготовленные пять мешочков золотого песка. Положив три мешочка на веер, он сказал: «Три пса-самурая, в каждом мешочке денег на тридцать рё. Их, конечно, очень мало, но сейчас в пути они вам пригодятся. Это не мой прощальный подарок, это вам дар от Сатоми-доно, не откажитесь принять его». Читая это, я вспомнил о присланном позавчера гонораре — сорок сэнов за страницу. Мы только что в июле окончили английское отделение университета. И нас мучил вопрос, где изыскать средства к существованию. Постепенно я забыл об «Истории восьми псов» и вспомнил, что стану преподавателем. Тут я как будто заснул на миг и увидел сон.

Это случилось, по всей вероятности, за полночь. Во всяком случае, я лежал один в гостиной с закрытыми ставнями. Вдруг кто-то постучал и позвал меня: «Послушайте». Я знал, что за прикрытым ставнями окном находится пруд. И я не мог представить, кто меня зовет.

— Послушайте, я бы хотел попросить вас...

Это произнес голос за ставней. Услышав эти слова, я подумал: «Ну да, конечно же, этот тип К.». К. был никудышным парнем с философского отделения, на курс ниже нас. Продолжая лежать, я ответил довольно громко:

— Брось нить. Ты что, опять за деньгами?

— Нет, не за деньгами. Просто есть женщина, с которой я хочу свести моего товарища...

Голос совсем не был похож на голос К. Больше того, он принадлежал, видимо, человеку, который беспокоился обо мне. В волнении я быстро вскочил, чтобы открыть ставни. Действительно, в саду, от самой веранды, раскинулся большой пруд. Но там не было никакого К., да и вообще не было ни живой души.

Некоторое время я смотрел на пруд, в котором отражалась луна. Я видел, как в воде колышутся, точно плывут, водоросли, и мне показалось, что начинается прилив. И тут я заметил, что прямо передо мной поднимается рябь. Рябь докатилась до моих ног и вдруг превратилась в карася. Карась спокойно шевелил хвостом в прозрачной воде.

«А-а, это карась разговаривал».

Подумав так, я успокоился.

Когда я проснулся, тростниковая штора у карниза пропускала лишь слабые лучи солнца. Я взял кружку, спустился в сад и пошел к колодцу за домом, чтобы помыться. Но и после того, как я помылся, воспоминания о только что увиденном сне, как ни странно, не покидали меня. «В общем, этот карась из сна — мое подсознательное «я», — так, во всяком случае, мне показалось.

2

...Прошел всего лишь час, и мы, повязав лбы полотенцами, в купальных шапочках и гэта, взятых напрокат, пошли к морю, находившемуся в полутё. Дорожка спускалась в конец сада и выходила к пляжу.

— Ну как, купаться можно?

— Сегодня, пожалуй, холодновато.

Так, разговаривая, мы шли, раздвигая густую высокую траву. (Когда мы вошли в эти заросли травы, на которой застыли капли влаги, икры начали зудеть, и мы замолчали.) Действительно, было слишком свежо, чтобы лезть в воду. Но нам так жаль было расставаться с морем в Кадзуса, вернее, с уходящим летом.

Когда мы приходили к морю, обычно даже еще накануне, семь-восемь юношей и девушек пытались «кататься» на волнах. А сегодня ни души, убраны и красные флажки, ограждающие пляж. Лишь волны обрушивались на бескрайний берег. Даже в раздевалке, отгороженной тростниковыми щитами, даже там одна лишь рыжая собака гонялась за роем мошкары. Но и она, увидев нас, тут же убежала. Я снял только гэта — купаться не было ни малейшего желания. Но М. уже успел сложить в раздевалке купальный халат и очки и, повязавшись полотенцем поверх купальной шапочки, стал осторожно входить в воду.

— Ты что, собираешься купаться?

— А чего ради мы пришли?

М. вошел в воду по пояс, несколько раз окунулся и повернул ко мне улыбающееся загорелое лицо.

— Давай и ты лезь.

— Не хочется.

— Ну да, была бы здесь «хохотушка», полез бы, наверно.

— Ну что ты глупости болтаешь.

«Хохотушкой» мы прозвали пятнадцати-шестнадцатилетнюю школьницу, с которой обменивались здесь приветствиями. Девушка не отличалась особой красотой, но была свежей, точно молодой деревце. Однажды после полудня дней десять мы вылезли из воды и лежали на горячем песке. Она быстро шла в нашу сторону, мокрая, с доской в руках. Неожиданно увидев, что мы лежим у нее под ногами, она, сверкнув зубами, рассмеялась. Когда она прошла, М. повернулся ко мне с улыбкой: «А она заразительно хохочет». С тех пор мы и прозвали ее «хохотушка».

— Значит, не полезешь?

— Ни за что не полезу.

— У, эгоист!

М., то и дело окунаясь, заходил все дальше в море. Не обращая на него внимания, я начал взбираться на небольшую дюну чуть в сторону от раздевалки. Потом, подложив под себя взятые напрокат гэта, решил закуристь. Но сильные порывы ветра никак не давали поднести зажженную спичку к папиросе.

— Эй!

Я не заметил, что М. успел вернуться и, стоя у самого берега, что-то кричит мне. Но из-за непрерывного шума волн я не разобрал, что он кричит.

— Ну, что такое?

Не успел я это сказать, как М. уже в накинутом на плечи купальном халате опустился рядом со мной.

— Подумай только, медуза обожгла.

Несколько дней назад в море неожиданно стало как будто больше медуз. В самом деле, третьего дня утром у меня по левому плечу и предплечью протянулся след, как от иглы.

— Что обожгла?

— Шею. Обожгла-таки. Обернулся, а там плавают несколько штук.

— Потому-то я и не полез в воду.

— Ври больше... Но купанье, в общем, кончилось.

Побережье, насколько хватал глаз, кроме тех мест, где на берег были выброшены водоросли, клубилось в лучах солнца. Лишь изредка по нему пробегала тень облака. С папиросами в зубах мы молча наблюдали за волнами, накатывающимися на песок.

— Ну как, решился ты занять должность преподавателя?

— Пока нет. А ты?

— Я? Я...— М. хотел что-то сказать, но в это время нас вспугнул неожиданный смех и топот ног. Это были две девушки-ровесницы в купальных костюмах и шапочках. Они бежали прямо к берегу, нарочно проскочив совсем рядом с нами. Провожая глазами их спины, их гибкие спины, одну в ярко-красном, другую в полосатом, точно тигр, черно-желтом купальнике, мы, будто сговорившись, улыбнулись.

— Смотри, эти девушки тоже еще не вернулись в город.

В шутливом тоне М. крылось некоторое волнение.

— Может, еще разочек влезешь в воду?

— Если бы она была одна, стоило бы лезть. А то с ней Зингез...

Как и «хохотушке», этой, в черно-желтом купальнике, мы тоже дали прозвище — «Зингез». «Зингез» означало чувственное (sinnlich) лицо (gesicht). Мы оба не питали к ней никакой симпатии. К другой девушке тоже... Впрочем, к другой девушке М. проявлял некоторый интерес. Больше того, он даже настаивал, чтобы ему были созданы условия: «Ты давай с Зингез. А я с той».

— Хорошо, что ты это понимаешь!

— Нет, ужасно обидно.

Девушки, взявшись за руки, уже выходили на мелкое место. Брызги волн непрерывно липли к их ногам. Точно боясь намокнуть, девушки каждый раз подпрыгивали. Их игра казалась такой веселой, что диссонировала с опустевшим, окутанным последним теплом взморьем. В своей прелести они скорее походили не на людей, а на мотыльков. Слушая их смех, доносимый ветром, мы некоторое время смотрели на удалявшиеся от берега фигурки.

— Удивительно смелые, а?

— Еще идут.

— Уже... Нет, еще идут.

Они уже давно не держались за руки и шли в море каждая в отдельности.

Одна из девушек — та, что в ярко-красном купальнике, — двигалась особенно решительно. Не успели мы

оглянуться, как она зашла в воду по грудь и стала что-то пронзительно кричать, подзывая подругу. Даже издали было видно ее смеющееся лицо, прикрытое до бровей купальной шапочкой.

— Кажется, медуза?

— Может, и медуза.

Но они заходили все дальше и дальше в море и наконец поплыли.

Вскоре стали видны лишь купальные шапочки. Только тогда наконец мы поднялись с песка. И, почти не переговариваясь (мы изрядно проголодались), не спеша пошли домой.

3

...Вечер был по-осеннему прохладный. Покончив с ужином, мы вдвоем, прихватив нашего приятеля Х., приехавшего погостить домой, в этот городок, и с N.— молодым хозяином гостиницы, снова пошли к морю. Пошли мы вчетвером не для того, чтобы погулять вместе. Каждый направлялся по своим делам: Х.— навестить дядю в деревне S., N.— заказать у плетельщика из той же деревни корзины для кур.

Дорога в деревню S., которая шла по побережью, огибала высокую дюну и сворачивала в противоположную сторону от пляжа. Море спряталось за дюной, и шум волн едва доносился. Но росшие повсюду кустики травы, выбросив черные метелочки, не умолкая шелестели на ветру, дувшем с моря.

— В этом краю, кажется, растет морской рис... N.-сан, как здесь называют эту траву?

Я сорвал травинку и протянул ее N., одетому в короткое летнее кимоно.

— Нет, вроде бы не спорыш... Как же она называется? X.-сан, наверно, знает. Он местный, не то что я.

Мы тоже слышали, что N. приехал сюда из Токио зятем. Кроме того, мы еще слышали, что его жена-наследница как будто летом прошлого года, родив мальчика, ушла из дому.

— И в рыбе X.-сан смыслит куда лучше, чем я.

— Вот как, X.-сан такой ученый? А я думал, он знает толк лишь в фехтовании.

Х., хотя Н. так говорил о нем, лишь весело улыбался, продолжая тащить палку для лука.

— М.-сан, вы тоже, наверно, чем-нибудь занимаетесь.

— Я? Я, это... я только плаваю.

Закурив, Н. стал рассказывать о биржевом маклере из Токио, которого в прошлом году во время купанья укусила маленькая рыбешка. Этот маклер, что бы ему кто ни говорил, упорно доказывал, что нет, его укусила не эта рыбешка, а совершенно точно — морская змея.

— А морские змеи в самом деле существуют?

На этот вопрос ответил лишь один человек — высокого роста, в панаме. Это был Х.

— Морские змеи? Морские змеи и правда водятся в нашем море.

— И в это время тоже попадают?

— Ну, еще бы, хотя редко.

Мы, все четверо, рассмеялись. Тут нам повстречались двое ловцов нагарами (нагарами — один из видов моллюсков), тащивших корзины для рыбы. Оба они были крепкого сложения, в красных фундоси. Тела их блестели от воды, но вид был грустный, скорее даже жалкий. Поравнявшись с ними, Н. коротко ответил на их приветствие и сказал:

— В баньку бы сейчас.

— Занятию их не позавидуешь.

Мне показалось, что я ни за что не смог бы стать ловцом нагарами.

— Да, никак не позавидуешь. Ведь им приходится далеко заплывать, а сколько раз нырять на дно...

— А если к фарватеру унесет, ни за что не спасешься.

Размахивая палкой, Х. рассказывал о разных фарватерах. Большой фарватер начинается в полутора ри от берега и тянется в открытое море... Об этом мы тоже поговорили.

— Пойдите, Х.-сан, когда же это было? Помните, прошел слух, будто появился призрак ловца нагарами.

— Осенью прошлого... нет, позапрошлого года.

— На самом деле появился?

Х. рассмеялся.

— Да нет, никакой призрак не появлялся. Просто неподалеку от моря, у горы, есть кладбище, а тут еще

всплыл скрюченный, как креветка, утопленник — ловец нагарами, вот и пошли слухи, и хотя вначале никто всерьез их не принимал, но тем не менее остался неприятный осадок — это уж я точно знаю. Вдобавок однажды вечером на кладбище выследили человека в унтер-офицерской форме и решили, что это и есть призрак. Хотели было его поймать, но не удалось. Там оказалась только девушка из веселого дома, которая была обручена с погибшим ловцом нагарами. Рассказывали, что временами слышится голос, который зовет кого-то, и мелькают огоньки, — ну и началась паника.

— И что же, эта девушка ходила туда нарочно, чтобы пугать людей?

— Да, ежедневно примерно в двенадцать часов ночи она приходила к могиле ловца нагарами и скорбно стояла там.

Х. старался рассказывать с юмором, но никто не смеялся. Больше того, все без видимой причины притихли и молча продолжали свой путь.

— Хватит, пора возвращаться.

Когда М. сказал это, мы шли по безлюдному берегу, ветер утих. Было еще достаточно светло, чтобы на бескрайнем прибрежном песке можно было увидеть следы ржанок. Но море, пенясь каждый раз, когда волны, накатываясь на берег, прочерчивали полукружья, становилось все темнее и темнее.

— Ну что ж, прощайте.

— До свидания.

Расставшись с Х. и Н., мы не торопясь возвратились с побережья, где стало прохладно. На побережье, мешаясь с шумом волн, ударявшихся о берег, до нас временами доносились чистые голоса цикад. Это были цикады, стрекотавшие в сосновом лесу по меньшей мере в трех те отсюда.

— Послушай, М.!

Я отстал и шел в пяти-шести шагах позади М.

— Что такое?

— Может, и нам податься в Токио?

— Да, неплохо бы.

И М. стал весело насвистывать «Типеррэри».

Август 1925 г.



ХУНАНЬСКИЙ ВЕЕР

Кроме Сунь Ят-сена, родившегося в Кантоне, видные китайские революционеры — Хуан Син, Цай Э, Сун Цзяо-жэнь и другие — все были родом из Хунани. Конечно, их революционность объясняется еще влиянием Цзэн Го-фаня и Чжан Чжи-дуна. Однако, чтобы хорошо уяснить себе это влияние, нужно также иметь в виду и непоколебимую силу духа самого народа Хунани. Во время поездки в Хунань мне довелось стать свидетелем одного небольшого эпизода, словно взятого из какого-нибудь романа. Этот эпизод может стать свидетельством горячего характера хунаньцев.

* * *

Шестнадцатого мая 1921 года около четырех часов дня пароход «Юаньцзян», на котором я совершал путешествие, пришвартовался к причалу порта Чанша.

За несколько минут до этого я стоял на палубе, опершись о перила, и смотрел, как с левого борта приближается столица Хунани. Чанша, который громоздил белые стены и черепичные крыши домов перед высокими горами, поднимающимися к пасмурному небу, выглядел даже более унылым, чем я предполагал. Особенно участок у пристани, где, почти касаясь друг друга, стояли новые кирпичные дома европейского типа и

зеленели ивы, он почти не отличался от Иида-гаси в Токио. Во время путешествия по Янцзы я уже успел разочароваться в городах Китая и был готов к тому, что в Чанша, конечно, тоже, кроме свиней, смотреть будет не на что. И все же убогость города повергла меня в состояние, близкое к отчаянью.

«Юаньцзян», словно влекомый судьбой, подходил все ближе к пристани. И одновременно все уже и уже становилась голубая полоса воды, отделявшая его от берега. В этот момент какой-то чумазый китаец с чем-то вроде корзин, болтавшихся на коромысле, вдруг одним махом перепрыгнул на причал. Он проделал это поистине с ловкостью кузнечика. Не успел я опомниться, как еще один китаец с коромыслом великолепным прыжком перемахнул через воду. Вслед за ним — еще двое, пятеро, восемь человек, — и вот в один миг все внизу оказалось заполнено множеством китайцев, которые один за другим быстро прыгали на причал. А пришвартовавшийся тем временем пароход уже величественно возвышался перед красными кирпичными домами и зелеными ивами.

Наконец я отошел от перил и принялся высматривать господина Б. из той же фирмы, что и я. Б., который вот уже шесть лет жил в Чанша, должен был прийти встречать «Юаньцзян». Однако его нигде не было. По трапу вверх и вниз сновали только китайцы самых различных возрастов. Они толкались, громко переговариваясь. Среди них выделялся пожилой, почтенного вида господин, который, спускаясь по трапу, время от времени оборачивался, чтобы ударить шедшего позади него носильщика. Для меня после путешествия по Янцзы в этой сцене не было уже ничего необычного. (Кстати, не могу сказать, чтобы за это я испытывал особую благодарность к Янцзы.)

Я почувствовал, как во мне поднимается раздражение. Подошел к перилам и снова стал всматриваться в море людских голов на пристани. Там не было не только Б., которого я ждал, но вообще ни одного японца. Однако за пристанью — за пристанью, в тени плотно сомкнувшихся ветвей ивы, я увидел красавицу китаянку. В летнем наряде цвета морской воды, с чем-то вроде медальона на груди она выглядела совсем ребенком. Может быть, еще и поэтому она привлекла мое внима-

ние. Улыбаясь ярко накрашенными губами, она смотрела на высокую палубу парохода. В руке у нее был полураскрытый веер, которым она прикрывала глаза от солнца, и казалось, будто она подает кому-то знаки.

— Эй, послушай!

Я удивленно обернулся. Позади меня стоял китаец в серой накидке. Он приветливо улыбался. Кто это, я сразу не мог сообразить. Но, присмотревшись к его лицу и, особенно, к жидким бровям, я вдруг узнал в нем своего старого товарища.

— Ба, ты ли это? Ну конечно, ведь ты же родом из Хунани...

— Да, я здесь обосновался.

Тань Юн-нянь в одно время со мной окончил колледж и поступил на медицинский факультет университета. Он был одним из самых способных студентов-иностранцев.

— Встречаешь кого-нибудь?

— Да, встречаю... и кого бы ты думал?

— Да уж наверное не меня...

Тань Юн-нянь растянул губы в почти шутовской улыбке.

— Кстати, как раз тебя-то я и пришел встретить! У Б. вот уже несколько дней приступы малярии.

— Так это он тебя попросил?

— Я и без его просьбы собирался.

Я вспомнил, что Тань Юн-нянь и в те давние времена был всегда приветлив. Он жил с нами вместе в общежитии и за все время ни разу никого не обидел, ни у кого не вызвал неприязни. Если бы кто-нибудь и стал на него обижаться, то, по словам жившего с ним в одной комнате Кикути Кана, едва ли мог бы толком объяснить причину своей обиды.

— Ну, извини, что доставил тебе столько хлопот. Собственно, я просил Б. только устроить меня на ночлег.

— Насчет ночлега есть договоренность с японским клубом. Там ты можешь остановиться хоть на полмесяца, хоть на месяц.

— На месяц? Ты шутишь! Мне достаточно и трех дней.

Нельзя сказать, чтобы Тань Юн-нянь удивился: просто с его лица исчезла приветливая улыбка.

— Так ты пробудешь здесь всего три дня?

— Да, знаешь ли, мне бы только взглянуть на что-нибудь такое... ну, хотя бы на то, как отрубают головы местным разбойникам...

Отвечая так, я в глубине души опасался, что Тань Юн-нянь, сам уроженец Чанша, обидится. Однако он, снова приветливо улыбнувшись, как ни в чем не бывало ответил:

— Тогда нужно было приехать неделей раньше. Видишь вон ту небольшую площадку...

Эта площадка находилась перед красными кирпичными домами, как раз возле ив с плотно сомкнутыми ветвями. Только сейчас красавицы китайки под ними уже не было.

— Там на днях отрубили голову сразу пятерым. Гляди, как раз на том месте, где сейчас бежит собака...

— Вот досада...

— Да, такого в Японии не увидишь.

* * *

Два дня спустя, 18 мая, я по настоящему совету Тань Юн-няня отправился осматривать храм Лушаньсы и павильон Айваньтин, расположенные в Юэлу за рекой Сянцзян...

Было около двух часов дня. Наша моторка быстро скользила по реке, оставляя слева Саньцюэчжоу, который японцы, живущие здесь, называют «Наканосима» («Средний остров»). Безоблачное майское небо окрашивало пейзаж обоих берегов в яркие тона. И даже раскинувшийся на правом берегу Чанша, который сверкал белизной стен и красной черепицей крыш, уже не казался таким унылым, как вчера. Ну, а Саньцюэчжоу с его зарослями цитрусовых и длинными каменными оградами, из-за которых там и сям выглядывали уютные европейские дома и пестрела развешенная на веревках одежда, выглядел поистине живописно.

Тань Юн-нянь устроился на носу лодки под тем предлогом, что ему нужно давать указания неопытному рулевому. Но он не столько командовал рулевым, сколько без умолку болтал со мной, давая разного рода пояснения:

— Вон японское консульство... Взгляни-ка в этот бинокль. А справа от него — Японо-китайская пароходная компания.

Я сидел с сигарой в зубах, опустив руку за борт. Время от времени вода касалась моих пальцев, и я с удовольствием ощущал напор ее упругих струй. Слова Тань Юн-няня казались мне не более чем набором отдельных звуков. Но любоваться видами, на которые он указывал, конечно, не было для меня неприятным.

— Саньцюэчжоу можно было бы назвать «Цзюйчжоу» — «Цитрусовая отмель», правда?

— Коршун кричит...

— Коршун?.. Да, коршунов здесь много. Когда воевали между собой Чжан Цзи-яо и Тань Янь-кай, по реке плыло множество убитых солдат Чжан Цзи-яо. И на каждом сидело по два, а то и по три коршуна...

Как раз в это время навстречу нам метрах в десяти прошла моторная лодка. В ней сидели молодой китаец в национальном костюме и несколько китаянок в роскошных нарядах. Мое внимание в этот момент привлекали не столько эти китайские красавицы, сколько то, как наша лодка разрезала волны, поднятые прошедшей моторкой. Однако Тань Юн-нянь, едва завидев их, вдруг умолк, словно встретил кровного врага, и поспешно передал мне свой театральный бинокль.

— Посмотри на ту женщину! Ту, что сидит на носу лодки!

Я был от рождения упрямым и не выносил излишней настойчивости. К тому же волна, поднятая встречной моторкой, ударила о борт нашей лодки и намочила мне руку по самый манжет.

— Зачем?

— Ну, не все ли равно зачем? Посмотри же!

— Красивая?

— Ну, красивая, красивая...

Наша лодка отошла от той уже метров на двадцать. Я повернулся всем телом и навел бинокль. В тот же миг мне показалось, будто та лодка пошла кормой на нас. Это было так неожиданно, что заставило меня вздрогнуть и отшатнуться. В поле зрения бинокля была видна «та женщина». Она сидела, слегка наклонив голову, и, видно, слушала чей-то рассказ, время от времени улыбаясь. Если не считать больших глаз, ее лицо с квадратным подбородком едва ли можно было на-

звать красивым. Просто издали она выглядела весьма эффектно, когда речной ветер разведал ее локоны надо лбом и легкий наряд желтого цвета.

— Ну как, рассмотрел?

— До кончиков ресниц. Однако не так уж она красива.

Я снова повернулся к Тань Юн-няню, лицо которого выражало что-то вроде самодовольства.

— Так что же это за женщина?

Тань Юн-нянь, обычно любивший поговорить, на этот раз не спеша закурил сигарету и лишь после этого, в свою очередь, спросил меня:

— Помнишь, что я тебе вчера рассказывал? Что на том пустыре напротив пристани отрубили голову пяти разбойникам?

— Да, помню.

— Их главаря звали Хуан Лю-и. Его тоже казнили. Он, говорят, держал в одной руке винтовку, в другой — пистолет, убивал сразу двоих. Об этом злодее шла молва по всей Хунани.

Тань Юн-нянь тут же принялся рассказывать мне о злодеяниях, которые совершил за свою жизнь Хуан Лю-и. К счастью, в его повествовании было больше романтических красок, чем запаха крови. Видно, он почерпнул все эти сведения из газет. Не преминул он сообщить и о том, что контрабандисты обычно называли Хуан Лю-и «почтенным Хуаном»; и о том, как он ограбил одного купца из Сянтаня, забрав у него три тысячи юаней; и как, взвалив на плечи своего раненого помощника по имени Цзян Э-ци, переплыл Лулиньтань; и как на одной горной дороге в Юэчжоу уложил два десятка солдат. Обо всем этом Тань Юн-нянь говорил так увлеченно, что казалось, будто он преклоняется перед Хуан Лю-и.

— Что ни говори, а на его счету как-никак сто семнадцать убийств и похищений!

Даже такое замечание вставил Тань Юн-нянь в свой рассказ. Мне тоже этот разбойник — поскольку, конечно, мне самому он не причинил никакого вреда — совершенно не внушал неприязни. Но рассказы о его доблестях мало чем отличались один от другого и в конце концов мне наскучили.

— Ну, а та женщина-то здесь при чем?

Тань Юн-нянь наконец, улыбаясь во весь рот, ответил как бы в подтверждение моих догадок:

— Так ведь та женщина была возлюбленной Хуан Лю-и!

Я не выразил ни удивления, ни восхищения, которых ждал от меня Тань Юн-нянь. Но, продолжая сидеть с невеселым лицом, пожалел о том, что держу во рту сигару: она придавала мне еще более унылый вид.

— Гм, а разбойники, однако, роскошно жили...

— Что ты! Такие, как Хуан Лю-и, едва ли. Вот, в последние годы правления Цинской династии жил разбойник по имени Цай,— так у того доход был больше десяти тысяч юаней в месяц. На краю Шанхайского сэттльмента он построил роскошный особняк. Кроме жены, он содержал и любовниц...

— Выходит, та женщина — что-то вроде гейши?

— Да это певица и танцовщица по имени Юй-лань. При жизни Хуан Лю-и она пользовалась большим влиянием.

Тань Юн-нянь замолк на некоторое время, словно охваченный какими-то воспоминаниями, лишь на лице его играла легкая улыбка... Но вот он отшвырнул сигарету и с серьезным видом стал советоваться со мной.

— В Юэлу есть школа под названием «Хунаньское торгово-промышленное училище»,— так не осмотреть ли нам в первую очередь ее?

— Что ж, можно,— нехотя ответил я.

Дело в том, что у меня остался неприятный осадок от посещения одной женской школы вчера утром: там мы неожиданно встретили резкие антияпонские настроения. Тем временем наша лодка, словно пренебрегая моими чувствами, огибала по широкой дуге мыса острова и приближалась к Юэлу...

* * *

Вечером того же дня мы с Тань Юн-нянем поднимались по лестнице одного увеселительного заведения.

Комната на втором этаже, куда мы прошли, почти не отличалась от комнат в подобных заведениях Шанхая или Ханькоу: такой же стол посредине, такие же стулья, плевательница, платяной шкаф. Только в углу под потолком, около окна, висела проволочная клетка.

В ней вверх и вниз по жердочке бесшумно сновали две белки. Все это, вместе с красными ситцевыми занавесками на окнах и дверях, представляло собой, безусловно, необычную картину. И в то же время, — по крайней мере, для меня — картину, безусловно, отталкивающую.

Встретила нас в этой комнате маленькая, кругленькая «баофу» — хозяйка заведения. Тань Юн-нянь сразу же о чем-то оживленно заговорил с ней. Она вкрадчиво отвечала ему, всем своим видом являя саму приветливость. Но из их разговора я не понял ни слова. (Конечно, это объяснялось и моим слабым знанием китайского языка. Однако даже хорошо владеющие официальным пекинским диалектом с трудом понимают речь жителей Чанша.)

Поговорив с хозяйкой, Тань Юн-нянь сел за большой стол красного дерева слева от меня. После этого на печатных бланках, которые принесла хозяйка, он начал писать имена танцовщиц. Чжан Сян-э, Ван Цяо-юнь, Хань-фан, Цзуй Юй-лоу, Ай Юань-юань — для меня, туриста, они звучали, как имена героинь из китайского романа.

— Юй-лань тоже позвать?

Я хотел было ответить, но, как нарочно, в этот момент прикуривал от спички, которую мне поднесла хозяйка. Тань Юн-нянь смотрел на меня через стол и с безразличным видом покачивал кисточкой.

Тут в комнату бесцеремонно вошла цветущего вида круглолицая девушка в очках с золотой оправой. На ее летнем белом наряде сверкало множество бриллиантов. У нее была стройная фигура спортсменки — теннисистки или пловчихи. Ее внешность не столько восхитила меня красотой или вызвала чувство симпатии, сколько поразила странно резким контрастом: она совершенно не вязалась с этой комнатой — особенно с белками в проволочной клетке.

Девушка лишь едва заметно кивнула нам в знак приветствия и легко, словно танцуя, подошла к Тань Юн-няню. Сев рядом, она положила руку ему на колено и что-то защебетала. Тань Юн-нянь, полный гордости, только поддакивал ей.

— Это одна из здешних танцовщиц. Ее зовут Линь Да-цзяо.

Когда Тань Юн-нянь сказал мне это, я невольно вспомнил, что он из богатой семьи, которых в Чанша не так уж много...

Минут через десять, по-прежнему сидя друг против друга, мы приступили к ужину, состоявшему из сычуаньских блюд, в которых было обилие грибов, куриатины и китайской капусты. В комнате, кроме Линь Да-цзяо, появилось еще несколько девушек. Позади девушек несколько мужчин в шапочках с козырьками держали наготове музыкальные инструменты, похожие на скрипки. Время от времени девушки, не вставая с места, пели высокими, резкими голосами под звуки музыки. Нельзя сказать, что это меня совсем не развлекло. Однако гораздо больше, чем арии и музыка из старинных опер «Дан-ма» и «Фэньхэвань», меня интересовала сидевшая слева девушка.

Слева от меня сидела та самая красавица китаянка, которую я лишь мельком видел позавчера с палубы «Юаньцзяна». Она была в том же наряде цвета морской воды, и на груди у нее висел тот же медальон. Несмотря на болезненную хрупкость, вблизи она, как ни странно, не казалась такой детски наивной и безыскусной. Когда я разглядывал ее профиль, мне временами представлялась маленькая луковка, незаметно выросшая в тени.

— Ты знаешь, кто сидит рядом с тобой? — обратился вдруг ко мне, перегнувшись через блюдо с креветками, раскрасневшийся от вина и добродушно улыбающийся Тань Юн-нянь. — Это же Хань-фан!

Когда я увидел лицо Тань Юн-няня, у меня почему-то пропала охота откровенничать с ним о позавчерашнем.

— Она очень красиво говорит. Звук «р» у нее — как у француженки.

— Да, она — уроженка Пекина.

Видно, и сама Хань-фан тоже догадалась о теме нашего разговора. Бросая время от времени быстрые взгляды в мою сторону, она о чем-то скороговоркой начала расспрашивать Тань Юн-няня. Мне и на этот раз, как всегда, ничего не оставалось, как довольствоваться ролью глухого и лишь следить за выражением их лиц.

— Она спросила, давно ли ты приехал в Чанша, и когда я ответил, что позавчера, она сказала, что в

тот день тоже приходила на пристань встречать кого-то,— перевел мне Тань Юн-нянь и снова заговорил с Хань-фан. В ответ она лишь улыбалась и по-детски отнекивалась.

— Ну, никак не хочет признаваться! Это я спрашиваю ее, кого она встречала...

В этот момент Линь Да-цзяо, показывая на нее сигаретой, которую держала в руке, бросила какое-то насмешливое замечание. У Хань-фан словно перехватило дыхание, и она вдруг оперлась рукой о мое колено. Однако, кое-как заставив себя улыбнуться, она что-то быстро и резко ответила Линь Да-цзяо. Этот спектакль — вернее, подобие спектакля — не мог не пробудить моего любопытства: такая глубокая вражда между ними была для меня неожиданностью.

— Послушай-ка, что она там сказала?

— Она говорит, что никого и не встречала, только «мамашу». И еще сказала, что господин, который сидит здесь, может подумать, что она встречала актера из Чанша... (К сожалению, мне не удалось записать в свой блокнот фамилию этого актера.)

— «Мамашу»?

— «Мамаша» — это не родная мать. Это хозяйка заведения, где живут такие девицы, как Хань-фан или там Юй-лань...

Ответив на мой вопрос, Тань Юн-нянь опрокинул еще стаканчик лаоцзю и вдруг затараторил без умолку. Из того, что он говорил, я не понимал ни слова, если не считать чжэгэ-чжэгэ¹. Но судя по тому, как жадно слушали его девушки и хозяйка, он рассказывал что-то очень интересное. Более того, заметив, что время от времени все оборачиваются в мою сторону, я понял, что его рассказ в какой-то степени касается меня. Со стороны могло показаться, что я спокойно курю сигарету, но в душе у меня постепенно поднималось раздражение.

— Черт возьми! Что ты там болтаешь?

— А что? Я рассказал, как мы сегодня утром по пути в Юэлу встретили Юй-лань. Потом...— Тань Юн-нянь провел языком по верхней губе и еще больше

¹ Чжэгэ-чжэгэ — это..., так сказать (китайск).

оживился.— Потом сказал, что ты хочешь посмотреть, как отрубают головы.

— Что за чепуха!

Все, что Тань Юн-нянь рассказал мне о Юй-лань, которой еще не было в комнате, и об ее подруге Хань-фан, не вызывало у меня сочувствия. Но, взглянув на Хань-фан, я сразу понял состояние ее души. Серьги в ее ушах дрожали, она то завязывала, то развязывала носовой платок, лежавший у нее на коленях.

— Ну, а это тоже чепуха?

Тань Юн-нянь взял из рук стоявшей позади него хозяйки маленький бумажный сверток и стал торжественно его разворачивать. Внутри оказалась странная сухая плитка шоколадного цвета, тоже в бумажной обертке. Примерно такой величины, как сэмбэй.

— Что это?

— Это? Это — обычное печенье, но оно... Помнишь, я рассказывал тебе о главаре разбойников Хуан Лю-и? Так это печенье пропитано кровью, которая вытекала из его отрубленной головы! Вот тебе та самая вещь, как-то в Японии не увидишь.

— Ну и что с этим печеньем делают?

— Что делают? Обыкновенно что — едят! В наших краях все еще верят, что если отведаешь такого печенья, то будешь всегда здоровым и сильным.

В это время две девушки поднялись из-за стола. Тань Юн-нянь с лучезарной улыбкой на лице попрощался с ними. Но когда он увидел, что собралась уходить Хань-фан, он что-то начал говорить ей, то и дело улыбаясь, с таким видом, словно умолял о милости. Наконец он поднял руку и показал на меня, сидевшего прямо против него. В конце концов Хань-фан после некоторого колебания, улыбнувшись, снова села за стол. Мне она очень нравилась, и я украдкой, чтобы никто не видел, тихонько взял ее руку.

— Ведь такое суеверие — позор для страны, — продолжал Тань Юн-нянь. — Я как врач всегда и везде стараюсь бороться с этим.

— Это все потому, что у вас существует такая казнь, как обезглавливание. Хотя в Японии, например, едят тушеный мозг.

— Не может быть!

— Представь себе, это так. Я сам ел. Правда, в детстве...

Во время разговора я заметил, что в комнату вошла Юй-лань. Поговорив с хозяйкой, она села рядом с Хань-фан.

Тань Юн-нянь, заметив ее, снова отвернулся от меня и стал рассыпаться перед ней в любезностях. Здесь, в комнате, она казалась красивее, чем при свете дня. Особенно хороша была ее улыбка, сверкавшая белоснежной эмалью зубов. Однако ровный ряд ее зубов невольно напомнил мне о белках. Белки по-прежнему безостановочно сновали вверх и вниз в проволочной клетке рядом с окном, занавешенным куском красного ситца.

— Ну как, попробуешь?

Тань Юн-нянь разломил печенье и протянул мне. В месте разлома печенье было такого же темно-коричневого цвета.

— Не говори глупостей!

Разумеется, я отказался. Тань Юн-нянь, громко засмеявшись, предложил тогда кусочек печенья Линь Да-цзяо. Линь Да-цзяо, соорудив гримаску, оттолкнула его руку. Он повторил эту шутку еще с несколькими девушками. И тут он вдруг положил коричневый кусочек перед Юй-лань, которая сидела, не шелохнувшись, все с тем же застывшим выражением приветливости на лице.

У меня вдруг появилось желание понюхать это печенье.

— Эй, мне тоже дай посмотреть.

— Ладно, у меня тут еще половина осталась.

И Тань Юн-нянь швырнул мне кусочек печенья. Я поднял его со стола, куда он упал между блюдцем и палочками для еды. Но когда я взял в руки этот кусочек, у меня вдруг пропало всякое желание нюхать его, и я молча бросил печенье под стол.

В это время Юй-лань, глядя прямо в глаза Тань Юн-няню, обменялась с ним несколькими фразами. Потом она взяла печенье и, обращаясь ко всем присутствующим, быстро-быстро заговорила. Взоры всех были устремлены на нее.

— Ну что, переводить тебе? — произнес Тань Юн-нянь, облокотившись о стол и положив подбородок на

руки. Он говорил медленно, и у него подозрительно заплетался язык.

— Да, переводи, пожалуйста!

— Так, переводить? Только я буду переводить буквально, слово в слово... «Я охотно... отвещаю... крови моего любимого Хуана...»

Я ощутил дрожь. Это дрожала рука Хань-фан, опиравшаяся о мое колено.

— «И вы все тоже.., как и я... своих любимых...»

Тань Юн-нянь еще продолжал переводить, а Юй-лань уже откусывала своими прелестными зубками пропитанное кровью печенье...

* * *

Как я и рассчитывал, через трое суток, 19 мая, часов в пять вечера я снова стоял, опершись о перила, на палубе того же парохода «Юаньцзян». Громоздивший белые стены и черепичные кровли Чанша вызывал у меня какое-то неприятное, жуткое чувство. Не иначе как всему виной было вечернее солнце, опускавшееся с каждой минутой все ниже и ниже. Я стоял с сигарой в зубах, и перед моим мысленным взором снова и снова возникало любезно улыбающееся лицо Тань Юн-няня. Он почему-то не пришел меня проводить.

«Юаньцзян» отчалил не то в семь, не то в половине восьмого. После ужина я в своей каюте при тусклом свете лампочки принялся подсчитывать расходы за время пребывания в Чанша. А передо мной на маленьком, едва в полметра шириной, столике лежал веер, и розовая кисть его свешивалась вниз. Этот веер забыл кто-то, кто был здесь до меня. Водя карандашом по бумаге, я то и дело снова вспоминал лицо Тань Юн-няня. Я не мог понять, зачем он заставил страдать Юй-лань. Что же касается моих расходов, то они — я это до сих пор помню — составили в пересчете на японские деньги ровно двенадцать иен пятьдесят сэнов.

Декабрь 1925 г.



ДЕНЬ В КОНЦЕ ГОДА

...Я шел по крутому берегу, унылому, поросшему смешанным лесом. Под обрывом сразу начиналось озеро. Недалеко от берега плавали две утки. Утки, по цвету похожие на камни, обросшие редким мхом. Я не испытывал к этим птицам какой-то особой неприязни. Но отталкивало их оперение, слишком уж чистое, блестящее...

Этот сон был прерван дребезжащим звуком, и я проснулся. Видимо, дребезжала стеклянная дверь гостиной, смежной с кабинетом. Когда я писал для новогодних номеров, приходилось даже спать в кабинете. Рассказы, которые я обещал трем журналам,— все три не удовлетворяли меня. Но тем не менее сегодня перед рассветом я закончил последний.

На сёдзи рядом с постелью четко отражалась тень бамбука. Сделав над собой усилие, я встал и прежде всего пошел в уборную. «Пожалуй, похолодало», — подумал я.

Тетка и жена протирали стеклянную дверь в гостиную, выходящую на веранду. Отсюда и шел дребезжащий звук. Тетка, в безрукавке поверх кимоно, с подвязанными тесемкой рукавами, выжимая в ведерке тряпки, сказала мне с легкой издевкой:

— Знаешь, а ведь уже двенадцать часов.

И правда, было уже двенадцать. В столовой, у старой высокой жаровни началось приготовление обеда. Жена уже кормила младшего, Такаси, молоком с гренками. Но я по привычке, будто еще утро, пошел умываться на кухню, где не было ни души.

Покончив с завтраком, который был одновременно и обедом, я расположился в кабинете у жаровни и стал просматривать газеты. Там не было ничего, кроме сообщений о премиях компаний и продаже ракеток. Но настроение мое не улучшилось. Каждый раз, закончив работу, я испытывал странную опустошенность. Как после близости с женщиной, — и с этим уж ничего не поделаешь...

К. пришел около двух часов. Я пригласил его к жаровне и решил сначала поговорить о делах. Одетый в полосатый пиджак К. — в прошлом собственный корреспондент газеты в Мукдене — сейчас работал в самой редакции.

— Ну как? Если есть время, может, пройдемся? — предложил я. Теперь, когда деловой разговор был закончен, мне стало невыносимо сидеть дома.

— Да, если часов до четырех... Вы уже заранее решили, куда мы пойдем? — спросил К. застенчиво.

— Нет, мне все равно куда.

— Может, пойдем на могилу?

Могила, о которой говорил К., была могилой Нацумэ.

С полгода назад я обещал К. показать могилу Нацумэ — любимого его писателя. Идти на могилу под Новый год — это, пожалуй, вполне соответствовало моему настроению.

— Ну что ж, пойдёмте.

Быстро накинув пальто, я вместе с К. вышел из дому.

День холодный, но ясный. На узенькой Додзака было оживленнее, чем обычно. Украшавшие ворота ветки сосны и бамбука почти касались небольшого домика под тесовой крышей, именовавшегося помещением молодежной организации Табата. При виде этой улицы у меня воскресло памятное с детства ощущение близости Нового года.

Подождав немного, мы сели на электричку в стору Гоккудзимаэ. В электричке было не очень много народу. Так и не опуская воротника пальто, К. рассказывал мне, как недавно ему наконец удалось достать рукопись стихов сэнсэя.

Когда мы проехали Фудзимаэ, одна из лампочек в центре вагона вдруг упала и рассыпалась на мелкие кусочки. Там стояла женщина лет двадцати пяти, она

была дурна собой. В одной руке женщина держала огромный узел, а другой ухватилась за ремень. Падая на пол, лампочка слегка задела прядь волос у нее на лбу. Женщина сделала удивленное лицо и стала оглядывать пассажиров. У нее было такое выражение, будто она ждет сочувствия или, уж во всяком случае, хочет привлечь к себе внимание. Но все, будто сговорившись, оставались совершенно равнодушными. Продолжая беседовать с К., я смотрел на обескураженную женщину, и лицо ее казалось мне исполненным отчаяния и, уж разумеется, не смешным.

На конечной остановке мы вышли из электрички и по улице, где было множество лавок, торговавших гирляндами, направились к кладбищу Дзосикая.

На кладбище, засыпанном листьями огромных гинко, как всегда, стояла тишина. На широкой центральной аллее, покрытой гравием, не было ни души. Идя впереди К., я свернул по дорожке направо. Вдоль дорожки за живой изгородью боярышника, а иногда за ржавой железной оградой выстроились в ряд большие и маленькие могилы. Но сколько мы ни шли, могилу сэнсэя не могли найти.

— Может быть, на той дорожке.

— Возможно.

Поворачивая назад, я подумал, что из-за ежегодной спешки с новогодними номерами я очень редко хожу на могилу сэнсэя даже девятого декабря. Но хоть несколько лет я и не был здесь, просто не верилось, что можно забыть, где его могила.

Но и на другой дорожке, которая была чуть пошире, мы тоже не нашли могилы. На этот раз, вместо того чтобы идти назад, мы пошли влево, вдоль живой изгороди. Но могилы все не было. Мало того, я не мог найти даже те несколько пустырей, которые, я помнил, находились неподалеку от его могилы.

— И спросить не у кого... Ну что ты будешь делать!

В словах К. мне почудилось нечто близкое к насмешке. Но я ведь обещал привести к могиле, так что злиться мне не приходилось.

Нам ничего не оставалось, как снова выйти на боковую дорожку, ориентируясь на огромные гинко. Все напрасно. Я начал, естественно, нервничать. Но на дне моего раздражения притаилось уныние. Ощущая под

пальто тепло собственного тела,— меня бросало в жар,— я вспомнил, что уже испытал однажды такое чувство. Испытал его в детстве, когда надо мной издевался один задира и я бежал домой, сдерживая слезы.

Мы ходили до тех пор, пока наконец я не спросил дорогу у кладбищенской уборщицы, сжигавшей сухие ветки иллиция, и все-таки привел К. к могиле сэнсэя.

Могила обветшала еще больше даже по сравнению с прошлым разом. Да к тому же и земля вокруг потрескалась от мороза. Не видно было, чтобы за могилой ухаживали,— на ней лежали только букетики зимних хризантем и нандин, принесенные, видимо, девятого числа. К. снял пальто и низко поклонился могиле. Но я, сам не знаю почему, теперь уже никак не мог заставить себя поклониться вместе с К.

— Сколько лет прошло?

— Ровно девять.

Так, беседуя, мы возвращались на конечную остановку Гококудзимаэ.

В электричку мы сели вместе с К., а у Фудзимаэ я сошел один. Навестив приятеля в библиотеке Тоёбунко, я возвратился к вечеру на Додзака.

Наступил самый оживленный час на Додзака. Но когда я миновал храм Косиндо, прохожих стало попадаться все меньше. Мысленно стараясь найти себе оправдание, я шел по ветреной улице, упорно глядя под ноги.

Под горкой Хатимандзака, что за кладбищем, опершись о ручки тележки, отдыхал ее владелец. На первый взгляд эта тележка чем-то напоминала тележку торговца мясом. Но, приблизившись, я увидел сбоку во весь ящик надпись: «Токийская парфюмерная компания». Подойдя сзади, я окликнул его и стал медленно толкать повозку. Я очень недолго толкал повозку, и работа эта показалась мне, конечно, грязной. Но мне почудилось, что, напрягаясь, я преодолеваю свое состояние. Временами северный ветер начинал дуть вниз по склону. И тогда голые ветви деревьев на кладбище стояли. Испытывая какое-то возбуждение, я продолжал в этих сгущающихся сумерках сосредоточенно толкать тележку, будто сражаясь с самим собой...

Декабрь 1925 г.



ПОМИНАЛЬНИК

1

Моя мать была сумасшедшей. Никогда я не знал материнской любви. В нашем родном доме в Сиба мать всегда сидела одна в прическе с гребнями и курила длинную трубку. У нее было маленькое личико, и сама она была маленькая. И лицо ее почему-то было безжизненно-серым. Как-то, читая «Сисянцизи», я встретил слова «запах земли и вкус грязи» и вдруг вспомнил лицо моей матери — ее иссохший профиль.

Естественно, что мать несколько обо мне не заботилась. Помню, однажды, когда я с моей приемной матерью, навещая ее, поднялся к ней в мезонин, она сильно ударила меня трубкой по голове. Однако чаще мать бывала очень тихой. Я и сестра приставали к ней, просили нарисовать нам картинку. И она рисовала на четвертушках листа. Не только тушью. Акварельными красками моей сестры она рисовала наряды девушек, травы и деревья. Но лица людей на этих картинках всегда походили на лисьи мордочки.

Мать умерла, когда мне было одиннадцать лет. Умерла не столько от болезни, сколько от истощения. В памяти у меня сохранились лишь обстоятельства ее смерти, и то смутно.

Я, видимо, приехал, получив телеграмму о том, что мать при смерти. Темной безветренной ночью мы с приемной матерью примчались на рикше из Хондзё в Сиба. Я и сейчас не ношу кашне. Но помню, что как раз той ночью шея у меня была повязана легким шелковым платочком с пейзажным рисунком китайской школы. Помню, что от платочка пахло духами «Ирис».

Мать лежала в просторной гостиной прямо под мезонином. Я и сестра, которая была старше меня на четыре года, сели у изголовья и стали плакать навзрыд. Когда кто-то у нас за спиной произнес: «Она умирает, она умирает», — горе с особой силой охватило нас. Но мать, до сих пор лежавшая как мертвая, с закрытыми глазами, вдруг открыла их и что-то сказала. И мы, не смотря на нашу печаль, тихонько засмеялись.

Следующей ночью я просидел возле матери почти до рассвета. Но почему-то слезы не лились, как накануне. Чуть ли не пристыженный почти непрерывным плачем сестры, я всеми силами старался сделать вид, что плачу. И в то же время верил, что, поскольку не могу плакать, мать, возможно, и не умрет.

На третий день вечером мать без всяких страданий скончалась. Перед самой смертью к ней как будто возвратился разум, она посмотрела на нас, и из глаз у нее полились слезы. Но она ни слова не проронила.

Когда мать положили в гроб, я уже не мог удержаться от слез. Дальняя родственница, «тетка из Одзи», сказала: «Ну и молодец же ты!» Но я только удивился, почему же я молодец.

В день похорон сестра с посмертной табличкой и я с благовониями для возжигания поехали на рикше. Время от времени я засыпал и пробуждался в страхе, что уронил благовония. Мы никак не могли добраться до Янака. Под осенним ясным небом довольно длинная похоронная процессия медленно следовала по улицам Токио.

День смерти моей матери — 28 ноября. Ее посмертное имя Кимёин-мёдзёниссйн-дайси. А между тем я не помню ни дня смерти, ни посмертного имени моего родного отца. Вероятно, потому, что в одиннадцать лет запомнить день смерти и посмертное имя составляло для меня предмет гордости.

У меня есть старшая сестра. Человек она больной, но, несмотря на это, у нее двое детей. Разумеется, я не хочу включать эту сестру в «Поминальник». Речь идет о другой сестре, которая совсем юной внезапно скончалась еще до моего рождения. Из нас, троих детей, как говорят, она была самой умной.

Ее звали Хацуко, потому что она родилась первой. В нашем доме на буддийской божнице до сих пор стоит фотография Хаттян в маленькой рамке. Она вовсе не была слабенькой. Ее пухленькие щечки с ямочками, как спелый абрикос...

Что ни говори, отец и мать больше всех любили Хаттян. Ее водили с улицы Синсэндза в Сиба, в детский сад мадам Саммаз в Цукйдзи. Но субботу и воскресенье она непременно проводила в доме родителей моей матери — в доме Акутагава в Хондзё. В этих случаях Хаттян всегда надевала вошедшее в моду в двадцатых годах Мэйдзи европейское платье. Помню, когда я ходил в начальную школу, мне как-то дали обрезки от платьев Хаттян, и я наряжал в них резиновых кукол. Все это были лоскуты импортного ситца с узором из цветов или изображением музыкальных инструментов.

Как-то в начале весны в воскресенье Хаттян, гуляя в саду, обратилась к тетушке, сидевшей в гостиной у раздвинутых сёдзи (я представляю себе, что в это время сестра, конечно, была в европейском платье).

— Тетушка, что это за дерево?

— Какое дерево?

— Вот это, с почками.

В саду родителей моей матери росло низенькое деревцо айвы, склонившееся над старым колодцем. Вероятно, Хаттян смотрела на его колючие ветки широко раскрытыми глазами.

— У этого дерева такое же имя, как у тебя.

Но шутка тетушки осталась непонятой.

— Значит, это дерево зовется дурочкой? ¹

Стоит заговорить о Хаттян, как тетушка всякий раз возвращается к этому диалогу. И действительно, кроме

¹ Игра слов: «айва» — бокэ, «глупый» — бака.

этого рассказа, никаких воспоминаний о Хаттян не осталось. Через несколько дней она оказалась в гробу. Я не помню посмертной таблички, на которой было бы вырезано «Хаттян». Но, как ни странно, ясно помню, что день ее смерти — 4 мая.

Почему я питаю к этой сестре — сестре, которую совсем не знал, — теплое чувство? Если б Хаттян осталась в живых, ей было бы сейчас за сорок. Может быть, лицом сорокалетняя Хаттян походила бы на мать, которая с отсутствующим взглядом курила трубку в доме в Сибя? Иногда я чувствую, что за моей жизнью пристально следит какой-то призрак — сорокалетняя женщина, то ли мать, то ли сестра. Причиной ли тому мои нервы, расшатанные кофе и табаком? Или сверхъестественная сила, которая в некоторых случаях являет свой лик реальному миру?

3

Поскольку моя мать сошла с ума, я почти сразу после рождения был отдан приемным родителям (дяде со стороны матери). К родному отцу я был равнодушен. Он был фермер, добившийся известного преуспевания. В то время с новыми фруктами и напитками меня знакомил только отец: с бананами, мороженым, ананасами, ромом, может быть, и еще с чем-нибудь. Я помню, как пил ром в тени дуба в Синдзюку. Это был совсем слабый напиток желтоватого цвета.

Предлагая мне, малышу, такие редкости, отец надеялся, что я вернусь к нему от приемных родителей. Помню, как однажды вечером, угощая меня мороженым в ресторане в Омори, он уговаривал меня бежать оттуда. В таких случаях отец говорил очень убедительно и сладкоречиво. Но, к сожалению, его уговоры никогда не имели успеха. Потому что я любил приемных родителей, а еще больше тетюшку.

Кроме того, отец был вспыльчив и часто ссорился то с тем, то с другим — он мог поссориться с кем угодно. Когда я учился в третьем классе средней школы, мы с ним как-то стали бороться, и я, применяя свой любимый прием, быстро его одолел. Не успел он подняться, как подступил ко мне со словами: «Еще разок».

Я опять без труда его повалил. Отец со словами «еще разок» набросился на меня, изменившись в лице. Смотревшая на нас тетушка — младшая сестра моей матери, вторая жена отца — несколько раз сделала мне знак глазами. Поборовшись с отцом, я нарочно упал навзничь. Но не уступил я тогда ему, отец непременно вцепился бы в меня.

Мне было двадцать восемь лет и я еще преподавал, когда пришла телеграмма, что «отец в больнице», и я поспешно отправился из Камакура в Токио. Отец попал в больницу с инфлюэнцей. Дня два или три мы с тетушкой из дома приемных родителей и с тетушкой из родного дома провели в больнице, буквально ютясь в углу. Понемножку я стал скучать. А тут знакомый корреспондент-ирландец позвонил мне, приглашая пообедать с ним в японском ресторане в Цукидзи. Под предлогом, что этот корреспондент скоро уедет в Америку, я оставил находившегося при смерти отца и отправился в Цукидзи.

Мы с несколькими гейшами весело пообедали. Обед закончился в десять. Простившись с корреспондентом, я спускался по узенькой лестнице, как вдруг меня окликнули: «А-сан!» Остановившись, я взглянул наверх. На меня пристально смотрела одна из бывших с нами гейш. Я молча спустился с лестницы и сел в такси, стоявшее у входа. Такси сразу тронулось. Я думал не столько об отце, сколько о лице этой женщины с европейской прической — особенно о ее глазах.

Когда я вернулся в больницу, оказалось, что отец меня ждет с нетерпением. Удалив за ширмы всех лишних людей, он, то сжимая мою руку, то глядя ее, стал рассказывать о давно прошедших незнакомых мне вещах, о том, как они с матерью поженились. Это были просто мелочи, вроде того, как он с матерью ходил покупать комод, как они ели суси, и тому подобное. Когда я слушал эти рассказы, мои глаза увлажнились. А у отца по впалым щекам катились слезы.

На другое утро отец тихо скончался. Перед смертью, видимо, разум у него помутился, он говорил: «Прибыл корабль с поднятым флагом. Все кричите банзай!» Как прошли похороны отца, я не помню. Помню лишь, когда тело его везли из больницы домой, катафалк освещала большая весенняя луна.

В этом году в середине марта я с женой после длительного перерыва отправился на кладбище. После длительного перерыва... но не только маленькая могила, но и сосна, простиравшая свои ветви над могилой, несколько не изменились.

Трое, включенные в «Поминальник», все лежат погребенными в уголке кладбища в Янака и под одним могильным камнем. Я вспомнил, как в эту могилу тихо опускали гроб моей матери. Вероятно, в ту же, где лежала Хаттян. Только отец... Я помню, как в пепле, где белели останки костей, сверкали золотые зубы.

Я не люблю ходить на кладбище. Если бы можно было, я хотел бы забыть и о родителях и о сестре. Но в этот день, может быть, от физической слабости, я, глядя при свете закатного весеннего солнца на почерневший могильный камень, думал о том, кто из них троих был счастлив.

Мотылек-однодневка!
За могильным холмом
Ты живешь — да и только.

Я никогда еще так остро не чувствовал настроения, которое вызывает этот стих Дзёсо.



НЕКИЙ СОЦИАЛИСТ

Он был молодой социалист. Его отец, мелкий чиновник, хотел выгнать его за это из дому. Но он не сдавался. Отчасти потому, что его увлечение было горячо, отчасти потому, что его воодушевляли товарищи.

Они организовали общество, выпускали брошюрки в десять страничек, устраивали вечера с речами. Он, конечно, постоянно бывал на их собраниях и, кроме того, иногда печатал в этих брошюрах свои статьи. Его статей, кроме членов общества, по-видимому, никто специально не читал. Но с одной из них — под названием «Вспоминаю Либкнехта» — у него было связано чувство какого-то удовлетворения. Пусть она не являлась тонким исследованием, зато была исполнена поэтического жара.

Тем временем он окончил училище и поступил в редакцию одного журнала. Однако он не переставал посещать их собрания. Они по-прежнему горячо обсуждали свои вопросы. Больше того, потихоньку, как вода точит камень, они переходили к практической работе.

Отец больше не вмешивался в его дела. Молодой человек женился и поселился в маленьком домике. Жилище и в самом деле было маленькое. Но он не испытывал недовольства — напротив, он чувствовал себя счастливым. Жена, собачка, тополь в палисаднике — все это придавало его жизни какую-то неведомую ему теплоту.

Из-за семьи, а также из-за того, что он был завален работой в редакции, где нельзя было терять ни минуты, он все реже посещал собрания Общества. Но его увлечение нисколько не остыло. По крайней мере, он был убежден, что он, теперешний, нисколько не отличается от того, каким он был несколько лет назад. Но они — его товарищи — думали иначе. Особенно молодежь, недавно вступившая в их организацию, нисколько не стеснялась осуждать его пассивность.

Это неизбежно приводило к тому, что он все больше и больше отдалялся от Общества. А тут он стал отцом и еще сильнее привязался к семье. Но предметом его увлечения по-прежнему был социализм. Он не бросал своих занятий поздней ночью при электрическом свете. В то же время в брошюрках в десять страниц, которые он написал несколько лет назад, в том числе и в брошюре «Вспоминаю Либкнехта», что-то перестало его удовлетворять.

Товарищи тоже совсем к нему охладели. Он потерял для них интерес даже как объект осуждения. Оставив его в покое, — оставив в покое так много похожих на него людей, — они шаг за шагом продвигали свою работу. Встречаясь со старыми товарищами, он каждый раз принимался жаловаться. Но на самом деле он просто нашел удовлетворение в обывательском покое.

Потом, через несколько лет, он поступил на службу в одну фирму и заслужил доверие начальства. Тогда он поселился в доме, который был гораздо больше прежнего; у него росло несколько детей. Но его увлечение — где оно теперь, известно, пожалуй, одному богу! Иногда, сидя в кресле и покуривая папиросу, он вспоминал свои молодые годы. Нельзя сказать, чтобы это как-то странно не омрачало его сердце. Но восточная «покорность судьбе» всегда спасала его.

Конечно, он отступник. Но его брошюрка «Вспоминаю Либкнехта» послужила стимулом для другого человека. Это был юноша из Осака, который, играя на бирже, лишился имущества, доставшегося ему в наследство от родителей. Этот юноша прочел его брошюру и под ее влиянием сделался социалистом. Но обо всем этом он, конечно, ничего не знал. Он и теперь, сидя в кресле и покуривая папиросу, вспоминает свои молодые годы — по-человечески, пожалуй, слишком по-человечески.

Человеческое, слишком человеческое — это всегда нечто животное («Слова пигмея»).



ИЗ «СЛОВ ПИГМЕЯ»

ПРЕДИСЛОВИЕ

«Слова пигмея» не всегда служат выражением моих мыслей. Они только дают иногда представление о том, как мои мысли меняются день ото дня. Из одного стебелька может развиться несколько побегов — кто знает, сколько побегов.

НОС

Известно изречение Паскаля, гласящее, что, если бы нос Клеопатры был кривым, история могла бы пойти иначе. Однако влюбленный редко видит истинные черты лица предмета своей любви. Когда нас охватывает любовь, мы обманываем себя искуснейшим образом.

Антоний не исключение: будь нос Клеопатры кривым, Антоний вряд ли увидел бы это. А если бы и увидел, то нашел бы другое достоинство, восполняющее этот недостаток. Во всем мире не сыщешь женщины со столькими достоинствами, как наша возлюбленная. Антоний, как и мы у своей возлюбленной, нашел бы в глазах или губах Клеопатры нечто такое, что с лихвой восполняло бы изъян. Вдобавок обычное «а ее душа!». В самом деле, наша возлюбленная во все времена обладала безгранично прекрасной душой. К тому же

одежда, состояние или общественное положение тоже входят в число ее достоинств. Наконец, бывали даже случаи, когда к достоинствам причисляли факт или слух, что некогда ее любила какая-то знаменитость. И разве Клеопатра не была последней египетской царицей, окруженной роскошью и тайной? Когда, в облаке благоуханий, она восседала, сверкая драгоценной короной с лотосом или другим цветком в руках, неужели кто-нибудь заметил бы легкую кривизну ее носа? Тем более — Антоний.

Такой самообман распространяется не только на любовь. Лишь в редких случаях мы не окрашиваем действительность в те тона, что нам хочется. Взять, например, хоть вывеску зубного врача, — мы не столько видим саму вывеску, сколько хотим ее видеть, потому что ощущаем зубную боль. Разумеется, наша зубная боль не имеет к мировой истории никакого отношения. Но подобному самообману подвержены, как правило, и политики, которые хотят знать настроения народа, и военные, которые хотят знать положение противника, и деловые люди, которые хотят знать состояние финансов. Я не отрицаю, что разум должен это корректировать. Но в то же время признаю и существование управляющего всеми людскими делами «случая». И, может быть, самообман есть вечная сила, управляющая мировой историей.

Короче говоря, двухтысячелетняя история не зависела от того, каким был нос промелькнувшей в ней Клеопатры. Она скорее зависела от вездесущей на земле нашей глупости. От заслуживающей смеха, но высокой нашей глупости.

ЭТИКА

Правящая нами мораль — это отравленная капитализмом мораль феодализма. Она приносит только вред и никаких благодеяний.

*

Мораль — другое название удобства. Нечто вроде «левостороннего движения».

•

Благодетяния морали — это экономия времени и трудов.
Вред морали — это полный паралич совести.

•

Бездумно опровергать мораль — значит мало смыслить в экономике. Бездумно подчиняться морали — значит быть трусом или лентяем.

•

Сильный попирает мораль. Слабого мораль ласкает. Тот, кого мораль преследует, всегда стоит между сильным и слабым.

•

Совесть, как всякий вид изящных искусств, имеет своих фанатичных приверженцев. Эти приверженцы на девять десятых — просвещенные аристократы или богачи.

•

Совесть не появляется с возрастом, как борода. Чтобы приобрести совесть, требуется некоторый опыт.

•

Более девяноста процентов людей от рождения лишены совести.

Наш трагизм положения в том, что либо по молодости лет, либо из-за недостатка опыта, прежде чем мы приобретем совесть, нас обзывают бессовестными негодьями.

Наш комизм положения в том, что либо по молодости лет, либо из-за недостатка опыта, после того как нас обзовут бессовестными негодьями, мы наконец приобретаем совесть.

*

Совість — строгое искусство.

*

Может быть, совесть источник морали. Но мораль никогда еще не была источником того, что по совести считают добром.

СВОБОДНАЯ ВОЛЯ И РОК

Как бы то ни было, если верить в рок, преступления не существует, а значит, теряется смысл наказания, следовательно, наше отношение к преступнику должно быть великодушным. В то же время, если верить в свободу воли, возникает представление об ответственности, и чтобы избежать паралича совести, нужно к себе самому быть строгим. Чему же верить?

Отвечу хладнокровно. Надо верить и в свободу воли, и в рок. Или сомневаться и в свободе воли, и в роке. Разве не взяли мы жену в силу довлеющего над нами рока? И разве не покупали мы по требованию жены платья и пояса благодаря свободе воли?

Не только свобода воли и рок, но бог и дьявол, красота и безобразие, смелость и трусость, разум и вера — отношение ко всему этому должно уравниваться, как чаши весов. Древние называли это золотой серединой — «тюдё». В переводе на английский это — *good sense*¹. Я уверен, что без здравого смысла нельзя достичь счастья. А если и достигнешь, такое счастье обернется злом, как если в жаркий день поддерживать огонь или в холод обмахиваться веером.

ТВОРЧЕСТВО

Может быть, художник всегда создает свое произведение сознательно. Но если взять произведение как таковое, то часть его красоты или безобразия находится в мире мистики, стоящем выше сознания худож-

¹ Здравый смысл (*англ.*).

ника. Часть? Не следует ли сказать: большая часть?

Отвечу сразу, не дожидаясь вопроса. Невозможно, чтобы наш дух не проявился в произведении. Разве старинное обыкновение «одного удара и трех поклонов» не говорит о страхе на пороге бессознательного?

Творчество всегда риск. После того как исчерпаны все человеческие силы, остается лишь положиться на волю неба.

«Когда я был молод и учился писать, то страдал от того, что не получалось гладко. Скажу одно: старания только полдела, ими одними не достигнешь совершенства. Когда состарюсь, тогда только пойму, что силой не берут: три части — дело человека, семь частей — дар неба». Эти строфы автора «Луньши» говорят о том же. В искусстве кроется бездонный ужас. Если бы мы не любили денег, если бы не стремились к славе и, наконец, не страдали почти болезненной жаждой творчества, может быть, у нас не хватило бы смелости вступить в борьбу с этим страшным искусством.

КЛАССИКИ

Счастье писателей-классиков в том, что они как-никак мертвы.

О ТОМ ЖЕ

Наше — или ваше — счастье тоже в том, что они как-никак мертвы.

ПРИЗНАНИЕ

Признаться во всем до конца никто не может. В то же время без признаний выразить себя никак нельзя.

Руссо любил признания. Но найти признание во всей наготе в «Исповеди» нельзя. Мериме не любил признаний. Но разве «Коломба» в скрытом виде не говорит о нем самом? Провести черту между литературой признания и любой другой — невозможно.

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Если бы не научившемуся плавать приказали: «Плы-ви!» — всякий счел бы это глупостью. Если бы не тренированному в беге приказали: «Беги!» — это тоже было бы неразумно. Но все мы с самого рождения получаем такие глупые приказы.

Разве во чреве матери мы учились жить? А не успели мы родиться, как должны вступить в жизнь, очень напоминающую арену борьбы. Конечно, кто не учился плавать, не может быть хорошим пловцом. Кто не тренирован в беге, будет отставать от настоящих бегунов. Так и мы не можем уйти с арены жизни без ран.

Возможно, человек бывалый скажет: «Надо следовать старшим. Они для тебя пример». Но можно видеть сотни пловцов и бегунов и не научиться сразу плавать или бегать. А вместо этого наглотаться воды или перепачкаться в пыли. Смотрите, разве мировые чемпионы за гордой улыбкой не прячут гримасу?

Человеческая жизнь похожа на олимпийские игры под началом сумасшедшего устроителя. Мы учимся бороться с жизнью, борясь с жизнью. Тем, кто не может без негодования смотреть на такую глупую игру, лучше скорее отойти от арены. Самоубийство, несомненно, тоже хороший способ. Но кто хочет оставаться на арене жизни, должен бороться, не боясь ран.

О ТОМ ЖЕ

Человеческая жизнь похожа на коробку спичек. Обращаться с ней серьезно — смешно. Обращаться не серьезно опасно.

О ТОМ ЖЕ

Человеческая жизнь похожа на книгу, в которой не хватает многих страниц. Трудно сказать, что это полный экземпляр. И все же, как бы то ни было, она составляет полный экземпляр.

ЛЮБОВЬ СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ

«Любовь сильнее смерти»¹ — название романа Мопассана. Но сильнее смерти на свете не только любовь. Например, больной брюшным тифом съедает бисквит, зная, что непременно умрет, — это доказывает, что и желание лакомиться бывает сильнее смерти. Можно назвать и многое другое — патриотизм, религиозный экстаз, человечность, корыстолюбие, честолюбие, преступные инстинкты, — несомненно, многое сильнее смерти (разумеется, жажда смерти — исключение). В какой мере любовь сильнее смерти, чем все остальное, я затрудняюсь сказать. Даже в тех случаях, когда нам кажется, что любовь сильнее смерти, на самом деле нами движет то, что французы называют боваризмом. Сентиментализм, существующий со времен Бовари, при котором мы воображаем себя любовниками из романа.

СКАНДАЛ

Публика любит скандалы. Инцидент с Белым Лотосом, инцидент с Арисима, инцидент с Мусякодзи — эти инциденты принесли публике огромное удовлетворение. Почему же публика любит скандалы, особенно если замешаны лица, пользующиеся известностью? Реми де Гурмон на это отвечает:

«Потому что их скандалы напоминают нам о наших собственных скандалах».

Ответ Гурмона правилен. И не только правилен. Те обыкновенные люди, которые сами не способны на скандал, находят в скандалах знаменитостей превосходное оправдание своей трусости. И в то же время превосходный пьедестал, на который можно возвести свое несуществующее превосходство. «Я не так красива, как Белый Лотос. Зато я целомудренней». «Я не так талантлив, как Арисима. Зато я лучше знаю жизнь». «Я не так...» Обыватели, сказав это, счастливо спят, как свиньи.

¹ Имеется в виду роман Мопассана «Сильна, как смерть».

УТОПИЯ

Причина, по которой нет совершенных утопий, состоит, в общем, в следующем. Если считать, что человек как таковой не изменится, совершенная утопия не может быть создана. Если считать, что человек как таковой изменится, то всякая утопия, как будто и совершенная, сразу же покажется несовершенной.



Назвать деспота деспотом всегда было опасно. А в наши дни настолько же опасно назвать рабов рабами.

СИЛЬНЫЙ И СЛАБЫЙ

Сильный человек не боится врагов, зато боится друзей. Повергая одним ударом врага, он не чувствует никакого огорчения, но невольно ранить друга боится, как женщина.

Слабый не боится друзей, зато боится врагов. И поэтому в каждом видит врага.

МЕЛОЧИ

Чтобы сделать жизнь счастливой, надо любить повседневные мелочи. Блеск облаков, шелест бамбука, чириканье воробьев, лица прохожих — во всех повседневных мелочах надо находить наслаждение.

Чтобы сделать жизнь счастливой? Но любить мелочи — значит и страдать из-за мелочей. Лягушка, прыгнувшая в старый пруд в саду, разбила столетнюю печаль. Но лягушка, выпрыгнувшая из старого пруда, может быть наделена столетней печалью. Жизнь Басё была жизнью наслаждений. Но на любой взгляд — и жизнью страданий. Чтобы, улыбаясь, наслаждаться, надо, улыбаясь, страдать.

Чтобы сделать жизнь счастливой, надо из-за повседневных мелочей страдать. Блеск облаков, шелест бамбука, чириканье воробьев, лица прохожих — во всех повседневных мелочах надо чувствовать муки попавшего в ад.

БОГИ

Из всего, что свойственно богам, наибольшее сожаление вызывает то, что они не могут совершить самоубийства.

О ТОМ ЖЕ

Мы находим бесчисленные причины, по которым следует поносить бога. Но, к несчастью, в бога столь всемогущего, что его стоит поносить, мы, японцы, не верим.

НАРОД

Простые люди — здоровые консерваторы. Общественный строй, идеи, искусство, религия — все это, чтобы снискать любовь народа, должно носить печать старины. И в том, что так называемых художников народ не любит, они не всегда повинны.

О ТОМ ЖЕ

Обнаружить глупость народа — этим не стоит гордиться. Но обнаружить, что мы сами тоже народ, — этим гордиться стоит.

КАИБАРА ЭККЭН

И я в школьные годы учил истории про Каибара Эккэна. Каибара Эккэн как-то на судне оказался вместе с одним студентом. Студент, видимо гордясь своими познаниями, разглагольствовал о разных науках и искусствах. Эккэн, ни словом не вмешиваясь, просто слушал. Тем временем судно подошло к берегу. Пассажирам перед выходом полагалось сообщать свое имя. Только тут студент узнал Эккэна и, смутившись перед великим конфуцианцем, попросил прощения за свою давешнюю неучтивость. Такой эпизод я учил.

В то время в этом эпизоде я разглядел красоту скромности. По крайней мере, старался разглядеть. Но,

к несчастью, теперь я не могу почерпнуть в нем ничего поучительного. Этот эпизод представляет для меня теперь некоторый интерес лишь по таким соображениям:

Как язвительно было презрение, с которым Эккэн слушал, не произнося ни слова!

Как вульгарны аплодисменты пассажиров, радовавшихся тому, что студент пристыжен!

Как живо трепетал в разлагольствованиях студента дух нового времени, незнакомый Эккэну!

ОГРАНИЧЕНИЕ

Талант тоже строго ограничен рамками. Ощущение этих рамок навеивает легкую грусть. И в то же время как-то непроизвольно вызывает умиление. Это как если поймешь, что бамбук — это бамбук, а дикий виноград — дикий виноград.

МАРС

Спрашивать, есть ли люди на Марсе, все равно, что спрашивать, есть ли люди, которых мы можем обнаружить с помощью пяти чувств. Но жизнь не ограничивается рамками, которые можно различить с помощью пяти чувств. Если допустить, что форма существования людей на Марсе находится вне сферы восприятия наших пяти чувств, то не исключено, что и сегодня вечером они толпой, вместе с осенним ветерком, под которым желтеют кантонские платаны, проходят по Гиндза.

ЗАУРЯДНОСТЬ

Заурядное произведение, даже крупное по объему, всегда похоже на комнату без окон. Оно не открывает широкого вида на человеческую жизнь.

НАХОДЧИВОСТЬ

Отвращение к находчивости коренится в усталости людей.

ПОЛИТИКИ

Политическая осведомленность, которой политики гордятся больше нас, профанов,— это знание всевозможных фактов. В конечном счете эта осведомленность зачастую не идет дальше знания того, какую шляпу носит такой-то лидер такой-то партии.

О ТОМ ЖЕ

Так называемые «трактирные политики» не имеют подобных знаний. Что же касается их взглядов, то тут они не уступают настоящим политикам. А за их бескорыстный пыл они всегда заслуживают больше уважения, чем настоящие политики.

ДОСТОЕВСКИЙ

Романы Достоевского изобилуют карикатурами. Правда, большинство из них могло бы повергнуть в уныние самого дьявола.

ФЛОБЕР

Чему Флобер меня научил — это красивой скуке.

МОПАССАН

Мопассан похож на лед. А временами на леденец.

ПО

Прежде чем создать сфинкса, По изучал анатомию. Тайна, которая привела в содрогание следующие поколения, таится в этом изучении.

ТЕОРИЯ КАПИТАЛИСТОВ

«Продает ли художник произведение искусства или я продаю консервированных крабов, особой разницы тут нет. Но художники думают, что искусство — величайшее сокровище мира. Подражая им, я бы тоже должен гордиться своими консервами стоимостью шестьдесят сэнов за банку. Но за шестьдесят календарных лет я еще ни разу не страдал таким глупым самомнением, как художники».

РОДИТЕЛИ И ДЕТИ

Соответствуют ли родители своей роли воспитателей детей, это вопрос. Конечно, быков и лошадей воспитывают их родители. Но защищать этот обычай ссылкой на природу — произвол родителей. Если бы ссылкой на природу можно было защитить любой обычай, нам следовало бы защищать свойственный дикарям брак умыканием.

О ТОМ ЖЕ

Родительская любовь — любовь самая бескорыстная. Но бескорыстная любовь не так уж годится для воспитания детей. Под влиянием такой любви — по крайней мере, главным образом под влиянием такой любви — ребенок становится либо деспотом, либо слабовольным.

О ТОМ ЖЕ

Издавна большинство родителей повторяет такие слова: «Я, в конце концов, неудачник. Но мой ребенок должен добиться успеха».

КРУПНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ

Считать крупное произведение шедевром — значит оценивать его с материальной точки зрения. Когда говорят, что произведение крупное, то имеют в виду только

оплату. Гораздо больше, чем фреску «Страшный суд» Микеланджело, я люблю «Автопортрет» старика Рембрандта.

МОИ ЛЮБИМЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Мои любимые произведения, я имею в виду литературные, — это те, в которых чувствуется, что автор — человек. Человек — с мозгом, сердцем и настоящими чувствами. Однако, к несчастью, писатели в большинстве своем калеки с каким-нибудь изъяном. (Правда, иногда нельзя не склониться перед великим калеккой.)

ОПЫТ

Полагаться только на опыт — значит полагаться только на пищу, не думая о пищеварении. В то же время, пренебрегая опытом, полагаться только на способности — все равно что, не думая о пище, полагаться только на пищеварение.

АХИЛЛЕС

Говорят, что у греческого героя Ахиллеса уязвимой была только пятка. Значит, для того чтобы знать Ахиллеса, надо было знать и его пятку.

ЛЕНИН

Больше всего я был поражен тем, что Ленин — великий и в то же время такой простой человек.

СЧАСТЬЕ ХУДОЖНИКА

Самый счастливый художник тот, который приобрел славу в пожилых годах. Куникида Доппо, если об этом подумать, отнюдь не несчастный художник.

ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК

Женщина не всегда хочет иметь мужем хорошего человека. Но мужчина всегда хочет иметь другом хорошего человека.

О ТОМ ЖЕ

Хороший человек все равно, что бог на небесах. Во-первых, хорошо рассказать ему о своей радости. Во-вторых, хорошо пожаловаться ему на свое недовольство. В третьих... есть ли он, нет ли, все хорошо.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ

«Ненавидеть преступление, но не ненавидеть преступника» — это не так уж трудно. Этот афоризм применим к большинству детей, если иметь в виду их отношение к родителям.

ВЕЛИЧИЕ

Народ любит слушать рассуждения о величии личностей и дел. Но чтобы жаждать встречи лицом к лицу с величием — такого в истории еще не бывало.

ИСКУССТВО

Воздействие картины длится триста лет, воздействие письма — пятьсот лет, воздействие литературного произведения нескончаемо — так сказал Ван Шан-чжэн. Но, судя по раскопкам в Дуньхуане, воздействие письма и картины длится дольше, чем пятьсот лет. Более того, вечно ли воздействие литературного произведения — это вопрос. Идеи не в силах выйти из-под власти времени. Нашим предкам при слове «бог» представлялся человек в икэн и сокутэй. А нам при том же слове представлялся европеец с длинной бородой. И надо полагать, что так же может обстоять со многим другим, а не только с идеей бога.

О ТОМ ЖЕ

Я как-то вспомнил виденный мною портрет Тóсю Сяраку. Человек, изображенный на портрете, держал у груди раскрытый веер с зеленым рисунком волн в стиле Кóрина. Это усиливало прелесть колорита всей картины. Но, посмотрев в лупу, я увидел, что то, что мне казалось зеленым, было золото, покрытое паутиной. В этой картине Сяраку я почувствовал красоту — это факт. Но не ту красоту, которая была схвачена Сяраку, — это тоже факт. Такая перемена может возникнуть и в литературном тексте.

О ТОМ ЖЕ

Искусство подобно женщине. Чтобы выглядеть как можно красивее, оно должно быть окутано духовной атмосферой своего времени или облачено в одежду по моде своего времени.

О ТОМ ЖЕ

К тому же искусство испытывает и давление пространства. Чтобы любить искусство народа, надо знать жизнь этого народа. Полномочный посланник Англии сэр Рутерфорд Элькок, подвергшийся в храме Тодзэндзи нападению ронинов, нашу японскую музыку воспринимал просто как шум. В его книге «Три года в Японии» содержатся такие строки: «Подымаясь по склону, мы услышали пенье камышевки, похожее на пенье соловья. Говорят, что японцы научили камышевку песням. Если это правда, то поистине удивительно. Ведь искони японцы сами не могли научиться музыке» (том 2, глава 29).

ТАЛАНТ

От таланта нас отделяет едва один шаг. Но чтобы понять, что это за шаг, надо постигнуть высшую математику, в которой половину ста ри составляют девяносто девять ри.

О ТОМ ЖЕ

От таланта нас отделяет всего один шаг. Современники никогда не понимают, что это шаг длиной в тысячу ри. Потомки слепы и тоже этого не понимают. Современники из-за этого убивают талант. Потомки из-за этого курят перед талантом фимиам.

О ТОМ ЖЕ

Трагедия таланта в том, что его наделяют «миленькой уютной славой».

АЗАРТНАЯ ИГРА

Борьба со случайностью, то есть с богом всегда полна мистического величия. Азартные игроки — не исключение из правил.

О ТОМ ЖЕ

Истари среди увлекающихся азартной игрой нет пессимистов, это показывает, насколько похожа азартная игра на человеческую жизнь.

О ТОМ ЖЕ

Закон запрещает азартные игры не из-за того, что осуждает такой способ распределения богатства. А из-за того, что осуждает экономический дилетантизм этого способа.

ТЕРПЕНИЕ

Терпение — романтическая трусость.

ЗАМЫСЕЛ

Делать — не всегда трудно. Трудно желать. По крайней мере, желать то, что стоит делать.

ЯПОНЦЫ

Полагать, что мы, японцы, вот уже две тысячи лет верны монарху и почтительны к родителям, все равно что думать, будто Сáрутахико-но микóто употреблял косметику. Не пересмотреть ли потихоньку подряд все исторические факты, как они есть?

ЯПОНСКИЕ ПИРАТЫ

Японские пираты показали, что мы, японцы, имеем достаточно сил, чтобы стоять в ряду с великими державами. В грабежах, резне, развороте мы отнюдь не уступаем испанцам, португальцам, голландцам и англичанам, пришедшим искать «Остров золота».

СИМПТОМ

Один из симптомов любви — это мысль, что «она» в прошлом кого-то любила, желание узнать, кто он, тот, кого «она» любила, или что он был за человек, и чувство смутной ревности к этому воображаемому человеку.

О ТОМ ЖЕ

Еще один симптом любви — это болезненное стремление находить лица, похожие на «нее».

ЛЮБОВЬ И СМЕРТЬ

То, что любовь наводит на мысль о смерти, возможно, подтверждает эволюционную теорию. У пауков и пчел самки сразу же после оплодотворения жальют и убивают самца. Когда гастролирующая итальянская труппа ставила оперу «Кармен», в каждом действии и движении Кармен я остро чувствовал пчелу.

БРАК

Брак полезен для успокоения чувственности. Для успокоения любви он бесполезен.

ЗАНЯТОСТЬ

Нас спасает от любви не столько рассудок, сколько занятость. Любовь... Для идеальной любви прежде всего нужно время. Вспомните любовников прошлого — Вертера, Ромео, Тристана: все они были люди праздные.

МУЖЧИНА

Мужчина искони больше любви ценит работу. Если кто-либо усомнится в этом факте, пусть почитает письма Бальзака. Бальзак писал графине Ганской: «Если б это письмо обратить в рукопись, сколько франков оно стоило бы!»

СВОБОДА

Либерализм, свободная любовь, свобода торговли — к сожалению, в чашу каждой «свободы» подлито много воды. Причем большей частью воды из лужи.

О ТОМ ЖЕ

Свободы всякий хочет. Но так кажется со стороны. На самом же деле в глубине души свободы никто нисколько не хочет. Вот доказательство: негодяй, который без колебаний готов лишить жизни любого, даже он говорит, будто убил такого-то ради безопасности и процветания государства. Однако свобода означает, что наши действия не связаны ничем, то есть ниже нашего достоинства нести общую ответственность за что-либо, идет ли речь о боге, морали или общественных обычаях.

О ТОМ ЖЕ

Свобода — как воздух горных вершин — для слабых людей непереносима.

О ТОМ ЖЕ

Поистине, видеть свободу — значит смотреть в лицо богам.

ИСКУССТВО ВЫШЕ ВСЕГО

Исстари особенно рьяно провозглашали «искусство выше всего» большей частью кастраты от искусства. Ведь и особо рьяные националисты — это большей частью люди погибшей страны. Никто из нас не желает того, чем мы уже обладаем.

ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ

Слова литературного произведения должны обладать красотой, которой они лишены в словаре.

О ТОМ ЖЕ

Все они, как Тёгю, провозглашают: «Литература — это человек». Но в глубине души всякий думает: «Человек — это литература».

ЛИЦО ЖЕНЩИНЫ

Когда женщина охвачена страстью, лицом она почему-то делается похожа на девочку. Правда, эта страсть может быть обращена и на зонтик.

ЖИТЕЙСКАЯ МУДРОСТЬ

Тушить не так легко, как поджигать. Сторонником такой житейской мудрости является герой «*Bel ami*»¹. Каждый раз, заводя любовницу, он уже загодя обдумывал разрыв.

МЛАДЕНЕЦ

Почему мы любим маленьких детей? Да хотя бы потому, что ребенок никогда не обманет, этого можно не опасаться.

¹ «Милый друг» (франц.).

О ТОМ ЖЕ

Мы не стыдимся нашей холодности и глупости, когда имеем дело с ребенком, с собакой или с кошкой.

ПИСАТЕЛЬ

Чтобы писать, необходим творческий жар. А для поддержания творческого жара больше всего необходимо здоровье. Пренебрегать шведской гимнастикой, вегетарианством, диастазой и т. п. — значит не иметь истинного желания писать.

О ТОМ ЖЕ

Тому, кто хочет писать, стыдиться себя — преступно. В душе, где гнездится такой стыд, никогда не пробьется росток творчества.

О ТОМ ЖЕ

**Мног о н о ж к а. Попробуй походить на ногах.
Б а б о ч к а. Ха, попробуй полетать на крыльях.**

О ТОМ ЖЕ

Возвышенность духа писателя помещается у него в затылке. Сам он видеть ее не может. Если же попытается увидеть во что бы то ни стало, то лишь сломает шею.

О ТОМ ЖЕ

Все таланты с давних пор вешали шляпу на гвоздь в стене так высоко, что нам, простым смертным, не достать. Конечно, не потому, что нет подставки.

О ТОМ ЖЕ

Ведь такие подставки валяются в лавке любого старьевщика.

О ТОМ ЖЕ

Каждому писателю свойственно чувство чести столяра. Ничего позорного в этом нет. Каждому столяру свойственно чувство чести писателя.

О ТОМ ЖЕ

Мало того, каждый писатель в известном смысле держит лавку. Я не продаю своих произведений? Это когда нет покупателей. Или когда можно не продавать.

О ТОМ ЖЕ

Не без оснований можно считать, что счастье актеров и певцов в том, что произведения их искусства не сохраняются.

ЗАЩИТА

Защищать себя труднее, чем защищать других. Кто сомневается, пусть посмотрит на адвокатов.

ЖЕНЩИНА

Здравый ум приказывает: «Не приближайся к женщинам».

Но здоровый инстинкт приказывает совсем обратное: «Не избегай женщин».

ПРИРОДА

Причина нашей любви к природе — по крайней мере, одна из причин, — это то, что природа не ревнует и не обманывает, как мы, люди.

СУДЬБА

Судьба неизбежнее, чем случайность. «Судьба заключена в характере», — эти слова родились отнюдь не зря.

ИСКУССТВО

Самое трудное искусство — это всю жизнь оставаться свободным. Только словом «свободный» не надо бездумно щеголять.

СВОБОДНЫЙ МЫСЛИТЕЛЬ

Слабость свободного мыслителя состоит в том, что он свободно мыслит. Он не может сражаться яростно, как фанатик.

ТОЛСТОЙ

Когда прочтешь «Биографию Толстого» Бирюкова, то ясно, что «Моя исповедь» и «В чем моя вера» — ложь. Но никто не страдал так, как страдал Толстой, рассказавший эту ложь. Его ложь сочится алой кровью больше, чем правда иных.

СТРИНДБЕРГ

Он знал все. Но он не открывал беззастенчиво все, что знал. Беззастенчиво все... Нет, он, как и мы, был немного расчетлив.

О ТОМ ЖЕ

Стриндберг в «Легендах» рассказывает, что он пробовал, мучительна ли смерть. Но такую пробу нельзя сделать, играя. Он один из тех, кто «хотел умереть, но не мог».

НЕКИЙ ИДЕАЛИСТ

Он сам несколько не сомневался в том, что он реалист. Однако, думая так, он в конечном счете был идеалистом.

ЛЮБОВЬ

Любовь — это половое чувство, выраженное поэтически. По крайней мере, не выраженное поэтически половое чувство не заслуживает названия любви.

САМОУБИЙСТВО

Единственное общее для всех людей чувство — страх смерти. Не случайно нравственно самоубийство не одобряется.

СМЕРТЬ

Майнлендер очень правильно описывает очарование смерти. В самом деле, если по какому-нибудь случаю мы почувствуем очарование смерти, не легко уйти из ее круга. Больше того, думая о смерти, мы как будто описываем вокруг нее круги.

СУДЬБА

Наследственность, окружение, случайность — вот три вещи, управляющие нашей судьбой. Кто радуется, пусть радуется. Но судить других — самонадеянно.

НАСМЕШНИКИ

Кто насмеяется над другими, сам боится насмешек других.

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ, СЛИШКОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ

Человеческое, слишком человеческое — большей частью нечто животное.

НЕКИЙ ТАЛАНТ

Он был уверен, что может стать негодяем, но не идиотом. Но прошли годы, он не стал негодяем, а стал идиотом.

ГРЕКИ

О греки, поставившие над Юпитером бога мести! Вы знали всё и вся.

О ТОМ ЖЕ

Но это в то же время показывает, как медленен наш прогресс, прогресс людей.

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ

Мудрость одного лучше мудрости народа. Если бы только она была проще...

НЕКИЙ САТАНИСТ

Он был поэт-сатанист. Но, разумеется, в реальной жизни он только раз на горьком опыте убедился, что значит выйти из зоны безопасности.

ГОРДОСТЬ

Больше всего мы гордимся тем, чего у нас нет. Например, Т. владел немецким, но на столе у него всегда лежали только английские книги.

ИДОЛ

Никто не возражает против низвержения идолов. Вместе с тем никто не возражает и против того, чтобы его самого сделали идиолом.

О ТОМ ЖЕ

Но превратить кого бы то ни было в настоящего идола никто не может. Разве что судьба.

ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ

Особенность людей состоит в том, что мы совершаем ошибки, которых боги не делают.

НАКАЗАНИЕ

Нет более мучительного наказания, чем не быть наказанным. Но поручатся ли боги, что ты останешься ненаказанным, это другой вопрос.

Я

У меня нет совести. У меня есть только нервы.

О ТОМ ЖЕ

Я был равнодушен к деньгам. Конечно, потому, что на еду их хватало.

НАРОД

И Шекспир, и Гете, и Ли Тай-бо, и Тикама́цу Мондзаэмóн погибли. Но искусство оставит семена в народе. В 1923 году я написал: «Пусть драгоценность разобьется, черепица уцелеет». В этом своем убеждении я и поныне ничуть не поколебался.

О ТОМ ЖЕ

Слушайте удары молота. Доколе существует этот ритм, искусство не погибнет. (Первый день первого года Сёва.)

О ТОМ ЖЕ

Конечно, я потерпел неудачу. Но то, что создало меня, создаст кого-нибудь другого. Гибель одного дерева частное явление. Пока существует великая земля, хранящая бесчисленные семена в своем лоне.

1923—1926



ИЗ ЗАМЕТОК «ТЕКОДО»

ГЕНЕРАЛ

В моем рассказе «Генерал» власти вычеркнули ряд строк. Однако, по сообщениям газет, живущие в нужде инвалиды войны ходят по улицам Токио с плакатами вроде таких: «Мы обмануты командирами, мы только трамплин для их превосходительств», «Нам жестоко лгут, призывая не вспоминать старое» и т. п. Вычеркнуть самих инвалидов как таковых властям не под силу.

Кроме того, власти, не думая о будущем, запретили произведения, призывающие не хранить [верность императорской армии]. [Верность], как и любовь, не может зиждиться на лжи. Ложь — это вчерашняя правда, нечто вроде клановых кредиток, ныне не имеющих хождения. Власти, навязывая ложь, призывают хранить верность. Это все равно что, всучивая клановую кредитку, требовать взамен нее монету.

Как наивны власти.

ИСКУССТВО ВЫШЕ ВСЕГО

Вершина принципа «искусство выше всего» — творчество Флобера. По его собственным словам, «бог является во всем им созданном, но человеку он свой образ не являет. Отношение художника к своему творчеству

должно быть таким же». Вот почему в «Мадам Бовари» хоть и разворачивается микрокосм, но наших чувств он не затрагивает.

Принцип «искусство выше всего», — по крайней мере, в литературном творчестве — этот принцип, несомненно, вызывает лишь зевоту.

НИЧЕГО НЕ ОТБРАСЫВАТЬ

Некто скверно одетый носил хорошую шляпу. Многие считали, что ему лучше обойтись без такой шляпы... Но дело в том, что, за исключением шляпы, он не носил ничего хорошего. И вид у него был обшарпанный.

У одного рассказы сентиментальны, у другого драмы интеллектуальны, это то же самое, что случай со шляпой. Если хороша только шляпа, то вместо того, чтобы обходиться без нее, лучше постараться надеть хорошие брюки, пиджак и пальто. Сентиментальным писателям следует не подавлять чувства, а стремиться вдохнуть жизнь в интеллект.

Это не только вопрос искусства, это вопрос самой жизни. Я не слыхал, чтобы монах, который только и делает, что подавляет в себе пять чувств, стал великим монахом. Великим монахом становится тот, кто, подавляя пять чувств, загорается другой страстью. Ведь даже Унсё, услышав об оскотлении монахов, вразумляет учеников: «Мужское начало должно полностью выявляться».

Все, что в нас имеется, надо развивать до предела. Это единственный данный нам путь к тому, чтоб достигнуть совершенства и стать буддою.

ИСТОРИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ

Поскольку рассказ исторический, то и обычаи и чувства людей изображаемой эпохи обычно более или менее правдивы. Но хорошо иметь произведения, где главной темой была бы какая-нибудь одна особенность эпохи, — например, моральная особенность. Так в период Хэйан представления об отношениях мужчины и женщины сильно отличались от теперешних. Пусть бы писатель

описал это объективно, так, будто сам был другом Идзуми Сикибү. Подобный исторический рассказ по контрасту с современностью, естественно, вызывал бы у нас множество мыслей. Такова Изабелла у Мериме. Таков пират у Франса.

Однако среди японских исторических рассказов ничего подобного пока нет. Японские рассказы — это, в общем, наброски, где в душе древнего человека светится нечто общечеловеческое, общее с людьми нынешнего времени. Но пойдет ли кто-нибудь из молодых талантов по новому пути?

ФАНАТИКИ, СТУПАЮЩИЕ ПО ОГНЮ

Правота социализма не подлежит дискуссиям. Социализм — просто неизбежность. Тот, кто не чувствует, что эта неизбежность неизбежна, как, например, фанатики, ступающие по огню, — вызывает во мне чувство изумления. «Проект закона о контроле над экстремистскими мыслями» как раз хороший тому пример.

ПРИЗНАНИЕ

Вы часто поощряете меня: «Пиши больше о своей жизни, не бойся откровенничать!» Но ведь нельзя сказать, чтобы я не был откровенным. Мои рассказы — это до некоторой степени признание в том, что я пережил. Но вам этого мало. Вы толкаете меня на другое: «Делай самого себя героем рассказа, пиши без стеснения о том, что приключилось с тобой самим». Вдобавок вы говорите: «И в конце рассказа приведи в таблице рядом с вымышленными и подлинными именами всех действующих лиц рассказа». Нет уж, увольте!

Во-первых, мне неприятно показывать вам, любопытствующим, всю обстановку моей жизни. Во-вторых, мне неприятно ценой таких признаний приобретать лишние деньги и имя. Например, если бы я, как Исса, написал «Кого-кироку» и это было бы помещено в новогоднем номере «Тюо-корон» или другого журнала — все читатели заинтересовались бы. Критики хвалили бы, заявляя, что наступил поворот, а приятели — за то, что я

оголился... при одной мысли я покрываюсь холодным потом.

Даже Стриндберг, будь у него деньги, не издал бы «Исповеди глупца». А когда ему пришлось это сделать, он не захотел, чтобы она вышла на родном языке. И мне, если нечего будет есть, может быть, придется как-нибудь добывать себе на жизнь. Однако пока я хоть и беден, но свожу концы с концами. И пусть телом болен, но душевно здоров. Симптомов мазохизма у меня нет. Кто же станет превращать в повесть-исповедь то, чего стыдился бы, даже получив благодарность?

ЧАПЛИН

Всех социалистов, не говоря уже о большевиках, некоторые считают опасными. Утверждают, в особенности утверждали во время великого землетрясения, будто из-за них произошли всякие беды. Но если говорить о социалистах, то Чарли Чаплин тоже социалист. И если преследовать социалистов, то надо преследовать и Чаплина. Вообразите, что Чаплин убит жандармом. Вообразите, как он идет вразвалочку и его закалывают. Ни один человек, видевший Чаплина в кино, не сможет удержать справедливого негодования. Но попробуйте перенести это негодование в действительность, и вы сами, наверное, попадете в черный список.

СУЕТА СУЕТ

И я, как большинство литературных работников, завален работой. И занятия не идут, как хочется. Книжки, которые я решил прочесть еще два-три года назад, лежат непрочитанными. Я думал, что такие неприятные обстоятельства бывают только у нас, в Японии. Но недавно я прочел о Реми де Гурмоне. Он даже в преклонные годы ежедневно писал статью для газеты «Ля Франс» и раз в две недели интервью для журнала «Меркюр де Франс». Значит, и писатель, родившийся во Франции, где ценят искусство, почти лишен спокойного досуга. То, что я, уроженец Японии, выражаю недовольство, может быть, и несправедливо.

КАПИТАН

По дороге в Шанхай я разговорился с капитаном «Тикугó-мáру». Разговор шел о произволе партии Сэйюкай, о «справедливости» Ллойд Джорджа и т. п. Во время беседы капитан, взглянув на мою визитную карточку, в восхищении склонил голову набок.

— Вы господин Акутагава — удивительно! Вы из газеты «Осака майнити»? Ваша специальность — политическая экономия?

Я ответил неопределенно.

Немного спустя мы говорили о большевизме, и я процитировал статью, помещенную в только что вышедшем номере «Тюó-кóрон». К сожалению, капитан не принадлежал к читателям этого журнала.

— Право, «Тюо-корон» не так уж плох, — недовольным тоном добавил капитан, — но слишком много помещает беллетристики, мне и расхотелось его покупать. Нельзя ли с этим покончить?

Я принял по возможности безразличный вид.

— Конечно. К чему она — беллетристика? Я и то думаю — лучше б ее не было...

С тех пор я проникся к капитанам особым доверием.

КОШКА

Вот толкование слова «кошка» в словаре «Гэнкай».

Кошка... небольшое домашнее животное. Хорошо известна. Ласкова, легко приручается; держат ее, потому что хорошо ловит мышей. Однако обладает склонностью к воровству. С виду похожа на тигра, но длиной менее двух саяку.

В самом деле, кошка может украсть рыбу, оставленную на столе. Но если назвать это «склонностью к воровству», ничто не мешает сказать, что у собак склонность к разврату, у ласточек — к вторжению в жилища, у змей — к угрозам, у бабочек — к бродяжничеству, у акул — к убийству. По-моему, автор словаря «Гэнкай» Оцуки Фумихикó — старый ученый, имеющий склонность к клевете, по крайней мере, на птиц, рыб и зверей.

Я не жду, что получу признание в будущие времена. Суждение публики постоянно бьет мимо цели.

О публике нашего времени и говорить нечего. История показала нам, насколько афиняне времен Перикла и флорентинцы времен Возрождения были далеки от идеала публики. Если такова сегодняшняя и вчерашняя публика, то легко предположить, каким будет суждение публики завтрашнего дня. Как ни жаль, но я не могу не сомневаться в том, сумеет ли она и через сотни лет отделить золото от песка.

Допустим, что существование идеальной публики возможно, но возможно ли в мире искусства существование абсолютной красоты? Мои сегодняшние глаза — это всего лишь сегодняшние глаза, отнюдь не мои завтрашние. И мои глаза — это глаза японца, а никак не глаза европейца. Почему же я должен верить в существование красоты, стоящей вне времени и места? Правда, пламя дантовского ада и теперь еще приводит в содрогание детей Востока. Но ведь между этим пламенем и нами, как туман, стелется Италия четырнадцатого века — разве не так?

Тем более я, простой литератор. Пусть и существует всеобщая красота, но прятать свои произведения на горе я не стану. Ясно, что я не жду признания в будущие времена. Иногда я представляю себе, как через пятнадцать, двадцать, а тем более через сто лет даже о моем существовании уже никто не будет знать. В это время собрание моих сочинений, погребенное в пыли, в углу на полке у букиниста на Канда, будет тщетно ждать читателя. А может быть, где-нибудь в библиотеке какой-нибудь отдельный томик станет пищей безжалостных книжных червей и будет лежать растрепанным и обгрызенным так, что и букв не разобрать. И, однако...

Я думаю — и, однако.

Однако, может быть, кто-нибудь случайно заметит мои сочинения и прочтет какой-нибудь короткий рассказ или несколько строчек из него? И, может быть, если уж говорить о сладкой надежде, может быть, этот рассказ или эти строчки навеют, пусть хоть ненадолго, неведомому мне будущему читателю прекрасный сон?

Я не жду признания в будущие времена. Поэтому понимаю, насколько такие мечты противоречат моему убеждению.

И все-таки я представляю себе — представляю себе читателя, который в далекое время, через сотни лет, возьмет в руки собрание моих сочинений. И как в душе этого читателя туманно, словно мираж, предстанет мой образ...

Я понимаю, что умные люди будут смеяться над моей глупостью. Но смеяться я и сам умею, в этом я не уступлю никому. Однако, смеясь над собственной глупостью, я не могу не жалеть себя за собственную душевную слабость, цепляющуюся за эту глупость. Не могу не жалеть вместе с собой и всех других душевно слабых людей...



ДИАЛОГ ВО ТЬМЕ

1

Г о л о с. Ты оказался совсем другим человеком, чем я думал.

Я. Я за это не в ответе.

Г о л о с. Однако ты сам ввел меня в заблуждение.

Я. Я никогда этого не делал.

Г о л о с. Однако ты любил прекрасное — или делал вид, что любишь.

Я. Я люблю прекрасное.

Г о л о с. Что же ты любишь? Прекрасное? Или одну женщину?

Я. И то и другое.

Г о л о с (*с холодной усмешкой*). Похоже, что ты не считаешь это противоречием.

Я. А кто же считает? Тот, кто любит женщину, может не любить старинного фарфора. Но это просто потому, что он не понимает прелести старинного фарфора.

Г о л о с. Эстет должен выбрать что-нибудь одно.

Я. К сожалению, я не столько эстет, сколько человек, от природы жадный. Но в будущем я, может быть, выберу старинный фарфор, а не женщину.

Г о л о с. Значит, ты непоследователен.

Я. Если это непоследовательность, то в таком случае большой инфлюэнцей, который делает холодные обтирания, вероятно, самый последовательный человек.

Г о л о с. Перестань притворяться, будто ты силен. Внутренне ты слаб. Но, естественно, ты говоришь такие вещи только для того, чтобы отвести от себя нападки, которым ты подвергаешься со стороны общества.

Я. Разумеется, я и это имею в виду. Подумай прежде всего вот о чем: если я не отведу нападки, то в конце концов буду раздавлен.

Г о л о с. Какой же ты бесстыжий малый!

Я. Я ничуть не бесстыден. Мое сердце даже от ничтожной мелочи холодеет, словно прикоснулось ко льду.

Г о л о с. Ты считаешь себя человеком, полным сил?

Я. Разумеется, я один из тех, кто полон сил. Но не самый сильный. Будь я самым сильным, вероятно, спокойно превратился бы в истукана, как человек по имени Гете.

Г о л о с. Любовь Гете была чиста.

Я. Это — ложь. Ложь историков литературы. Гете в возрасте тридцати пяти лет внезапно бежал в Италию. Да. Это было не что иное, как бегство. Эту тайну, за исключением самого Гете, знала только мадам Штейн.

Г о л о с. То, что ты говоришь,— самозащита. Нет ничего легче самозащиты.

Я. Самозащита — не легкая вещь. Если б она была легкой, не появилась бы профессия адвоката.

Г о л о с. Лукавый болтун! Больше никто не захочет иметь с тобой дело.

Я. У меня есть деревья и вода, волнующие мое сердце. И есть более трехсот книг, японских и китайских, восточных и западных.

Г о л о с. Но ты навеки потеряешь своих читателей.

Я. У меня появятся читатели в будущем.

Г о л о с. А будущие читатели дадут тебе хлеба?

Я. И нынешние не дают его вдоволь. Мой высший гонорар — десять иен за страницу.

Г о л о с. Но ты, кажется, имел состояние?..

Я. Все мое состояние — участок в Хондзэ размером в лоб кошки. Мой месячный доход в лучшие времена не превышал трехсот иен.

Г о л о с. Но у тебя есть дом. И хрестоматия новой литературы...

Я. Крыша этого дома меня давит. Доход от продажи хрестоматии я могу отдать тебе: потому что получил четыреста — пятьсот иен.

Г о л о с. Но ты составитель этой хрестоматии. Этого одного ты должен стыдиться.

Я. Чего же мне стыдиться?

Г о л о с. Ты вступил в ряды деятелей просвещения.

Я. Ложь. Это деятели просвещения вступили в наши ряды. Я принялся за их работу.

Г о л о с. Ты все же ученик Нацумэ-сэнсэя!

Я. Конечно, я ученик Нацумэ-сэнсэя. Ты, можешь быть, знаешь того Сосэки-сэнсэя, который занимался литературой. Но ты, вероятно, не знаешь другого Нацумэ-сэнсэя, гениального, похожего на безумца.

Г о л о с. У тебя нет идей. А если изредка они и бывают, то всегда противоречивы.

Я. Это доказательство того, что я иду вперед. Только идиот до конца уверен, что солнце меньше кадушки.

Г о л о с. Твое высокомерие убьет тебя.

Я. Иногда я думаю так: может быть, я не из тех, кто умирает в своей постели.

Г о л о с. Похоже, что ты не боишься смерти? А?

Я. Я боюсь смерти. Но умирать не трудно. Я уже не раз набрасывал петлю на шею. И после двадцати секунд страданий начинал испытывать даже какое-то приятное чувство. Я всегда готов без колебаний умереть, когда встречаюсь не столько со смертью, сколько с чем-либо неприятным.

Г о л о с. Почему же ты не умираешь? Разве в глазах любого ты не преступник с точки зрения закона?

Я. С этим я согласен. Как Верлен, как Вагнер или как великий Стриндберг.

Г о л о с. Но ты ничего не делаешь во искупление.

Я. Делаю. Нет большего искупления, чем страдание.

Г о л о с. Ты неисправимый негодяй.

Я. Я скорее добродетельный человек. Будь я негодяем, я бы так не страдал. Больше того, пользуясь любовью женщин, я вымогал бы у них деньги.

Г о л о с. Тогда ты, пожалуй, идиот.

Я. Да. Пожалуй, я идиот. «Исповедь глупца» написал идиот, по духу мне близкий.

Г о л о с. Вдобавок ты не знаешь жизни.

Я. Если бы знание жизни было самым главным, деловые люди стояли бы выше всех.

Г о л о с. Ты презирал любовь. Однако теперь я вижу, что с начала и до конца ты ставил любовь выше всего.

Я. Нет, я и теперь отнюдь не ставлю любовь выше всего. Я поэт. Художник.

Г о л о с. Но разве ты не бросил отца и мать, жену и детей ради любви?

Я. Лжешь. Я бросил отца и мать, жену и детей только ради самого себя.

Г о л о с. Значит, ты эгоист.

Я. К сожалению, я не эгоист. Но хотел бы стать эгоистом.

Г о л о с. К несчастью, ты заражен современным культом «эго».

Я. В этом-то я и есть современный человек.

Г о л о с. Современного человека не сравнить с древним.

Я. Древние люди тоже в свое время были современными.

Г о л о с. Ты не жалеешь своей жены и своих детей?

Я. Разве найдется кто-нибудь, кто бы их не жалел? Почитай письма Гогена.

Г о л о с. Ты готов оправдывать все, что ты делал.

Я. Если бы я все оправдывал, я не стал бы с тобой разговаривать.

Г о л о с. Значит, ты не будешь себя оправдывать?

Я. Я просто примиряюсь с судьбой.

Г о л о с. А как же с твоей ответственностью?

Я. Одна четверть — наследственность, другая четверть — окружение, третья четверть — случайности, на моей ответственности только одна четверть.

Г о л о с. Какой же ты мелкий человек!

Я. Все такие же мелкие, как я.

Г о л о с. Значит, ты сатанист.

Я. К сожалению, я не сатанист. Особенно к сатанистам зоны безопасности я всегда чувствовал презрение.

Г о л о с (*некоторое время безмолвен*). Во всяком случае, ты страдаешь. Признай хоть это.

Я. Не переоценивай! Может быть, я горжусь тем, что страдаю. Мало того, «бояться утратить полученное» — такое с сильными не случается.

Г о л о с. Может быть, ты честен. Но, может быть, ты просто шут.

Я. Я тоже думаю — кто я?

Г о л о с. Ты всегда был уверен, что ты реалист.

Я. Настолько я был идеалистом.

Г о л о с. Ты, пожалуй, погибнешь.

Я. Но то, что меня создало, — создаст второго меня.

Г о л о с. Ну и страдай сколько хочешь. Я с тобой расстанусь.

Я. Подожди. Сначала скажи мне: ты, непрестанно меня вопрошавший, ты, невидимый для меня, — кто ты?

Г о л о с. Я? Я ангел, который на заре мира боролся с Иаковом.

2

Г о л о с. У тебя замечательное мужество.

Я. Нет, я лишен мужества. Если бы у меня было мужество, я не прыгнул бы сам в пасть ко льву, а ждал бы, пока он меня сожрет.

Г о л о с. Но в том, что ты сделал, есть нечто человеческое.

Я. Нечто человеческое — это в то же время нечто животное.

Г о л о с. Ты не сделал ничего дурного. Ты страдаешь только из-за нынешнего общественного строя.

Я. Даже если бы общественный строй изменился, все равно мои действия непременно сделали бы кого-либо несчастным.

Г о л о с. Но ты не покончил с собой. Как-никак у тебя есть силы.

Я. Я не раз хотел покончить с собой. Например, желая, чтобы моя смерть выглядела естественной, я съедал по десятку мух в день. Проглотить муху, предварительно ее искрошив, — пустяк. Но жевать ее — противно.

Г о л о с. Зато ты станешь великим.

Я. Я не гонюсь за величию. Чего я хочу — это только мира. Почитай письма Вагнера. Он пишет, что, если бы у него было достаточно денег на жизнь с любимой женщиной и двумя-тремя детьми, он был бы вполне доволен, и не создавая великое искусство. Таков даже Вагнер. Даже такой ярый индивидуалист, как Вагнер.

Г о л о с. Во всяком случае, ты страдаешь. Ты — человек, не лишенный совести.

Я. У меня нет совести. У меня есть только нервы.

Г о л о с. Твоя семейная жизнь была несчастлива.

Я. Но моя жена всегда была мне верна.

Г о л о с. В твоей трагедии больше разума, чем у иных людей.

Я. Лжешь. В моей комедии меньше знания жизни, чем у иных людей.

Г о л о с. Но ты честен. Прежде чем что-то открылось, ты во всем признался мужу женщины, которую ты любишь.

Я. И это ложь. Я не признавался до тех пор, пока у меня хватало на это сил.

Г о л о с. Ты поэт. Художник. Тебе все позволено.

Я. Я поэт. Художник. Но я и член общества. Не удивительно, что я несую свой крест. И все же он еще слишком легок.

Г о л о с. Ты забываешь свое «я». Цени свою индивидуальность и презирай низкий народ.

Я. Я и без твоих слов ценю свою индивидуальность. Но народа я не презираю. Когда-то я сказал: «Пусть драгоценность разобьется, черепица уцелеет». Шекспир, Гете, Тикамацу Мондзаэмон когда-нибудь погибнут. Но породившее их лоно — великий народ — не погибнет. Всякое искусство, как бы ни менялась его форма, родится из его недр.

Г о л о с. То, что ты написал, оригинально.

Я. Нет, отнюдь не оригинально. Да и кто оригинален? То, что написали таланты всех времен, имеет свои прототипы всюду. Я тоже нередко крал.

Г о л о с. Однако ты и учишь.

Я. Я учил только невозможному. Будь это возможно, я сам сделал бы это раньше, чем стал учить других.

Г о л о с. Не сомневайся в том, что ты сверхчеловек.

Я. Нет, я не сверхчеловек. Мы все не сверхчеловеки. Сверхчеловек только Заратустра. Но какой смертью погиб Заратустра, этого сам Ницше не знает.

Г о л о с. Даже ты боишься общества?

Я. А кто не боялся общества?

Г о л о с. Посмотри на Уайльда, который провел три года в тюрьме. Уайльд говорил: «Покончить с собой — значит быть побежденным обществом».

Я. Уайльд, находясь в тюрьме, не раз замыслил самоубийство. И не покончил он с собой только потому, что у него не было способа это сделать.

Г о л о с. Растопчи добро и зло.

Я. А я теперь больше всего хочу стать добродетельным.

Г о л о с. Ты слишком прост.

Я. Нет, я слишком сложен.

Г о л о с. Но можешь быть спокоен. У тебя всегда будут читатели.

Я. Только после того, как перестанет действовать авторское право.

Г о л о с. Ты страдаешь из-за любви.

Я. Из-за любви? Поменьше любезностей, годных для литературных юнцов. Я просто споткнулся о любовь.

Г о л о с. О любовь всякий может споткнуться.

Я. Это только значит, что всякий легко может соблазниться деньгами.

Г о л о с. Ты распят на кресте жизни.

Я. Этим не приходится гордиться. Убийца своей любовницы и похититель чужих денег тоже распяты на кресте жизни.

Г о л о с. Жизнь не настолько мрачна.

Я. Известно, что жизнь темна для всех, кроме «избранного меньшинства». А «избранное меньшинство» — это другое название для идиотов и негодяев.

Г о л о с. Так страдай сколько хочешь. Ты знаешь меня? Меня, который пришел нарочно, чтобы утешить тебя?

Я. Ты пес. Ты дьявол, который некогда забрался к Фаусту под видом пса.

3

Г о л о с. Что ты делаешь?

Я. Я только пишу.

Г о л о с. Почему ты пишешь?

Я. Только потому, что не могу не писать.

Г о л о с. Так пиши. Пиши до самой смерти.

Я. Разумеется, — да мне ничего иного и не остается,

Г о л о с. Ты, сверх ожидания, спокоен.

Я. Нет, я ничуть не спокоен. Если б ты был из тех, кто меня знает, то знал бы и мои страдания.

Г о л о с. Куда пропала твоя улыбка?

Я. Вернулась на небеса к богам. Для того, чтобы дарить жизни улыбку, нужен, во-первых, уравновешенный характер, во-вторых — деньги, в-третьих, более крепкие нервы, чем у меня.

Г о л о с. Но у тебя, кажется, стало легко на сердце.

Я. Да, у меня стало легко на сердце. Но зато мне пришлось возложить на голые плечи бремя целой жизни.

Г о л о с. Тебе не остается ничего иного, как на свой лад жить. Или же на свой лад...

Я. Да. Не остается ничего, как на мой лад умереть.

Г о л о с. Ты станешь новым человеком, отличным от того, каким был.

Я. Я всегда остаюсь самим собой. Только кожу меняю. Как змея...

Г о л о с. Ты все знаешь.

Я. Нет, я не все знаю. То, что я сознаю, — это только часть моего духа. Та часть, которую я не сознаю, Африка моего духа, простирается беспредельно. Я ее боюсь. На свету чудовища не живут. Но в бескрайней тьме еще что-то спит.

Г о л о с. И ты тоже мое дитя.

Я. Кто ты — ты, который меня поцеловал? Да, я тебя знаю.

Г о л о с. Кто же я, по-твоему?

Я. Ты тот, кто лишил меня мира. Тот, кто разрушил мое эпикурейство. Мое? Нет, не только мое. Тот, из-за кого мы утратили дух середины, то, чему учил нас мудрец древнего Китая. Твои жертвы — повсюду. И в истории литературы, и в газетных статьях.

Г о л о с. Как же ты меня назовешь?

Я. Я... как тебя назвать, не знаю. Но если воспользоваться словами других, то ты — сила, превосходящая нас. Ты — владеющий нами демон.

Г о л о с. Поздравь себя самого. Я ни к кому не прихожу для разговоров.

Я. Нет, я больше, чем кто-либо другой, буду остерегаться твоего прихода. Там, где ты появляешься, мира нет. Но ты, как лучи рентгена, проникаешь через все.

Г о л о с. Так будь впредь настоюще.

Я. Разумеется, впредь я буду настороже. Но вот когда у меня в руке перо...

Голос. Когда у тебя в руке будет перо, ты скажешь: приходи!

Я. Кто скажет — приходи! Я один из мелких писателей. И хочу быть одним из мелких писателей. Иначе мира не обрести. Но когда в руке у меня будет перо, я, может быть, попаду к тебе в плен.

Голос. Так будь всегда внимателен. Может быть, я воплощу в жизнь, одно за другим, все твои слова. Ну, до свидания. Я ведь приду еще когда-нибудь опять.

Голос (*один*). Акутагава Рюноскэ! Акутагава Рюноскэ! Вцепись крепче корнями в землю! Ты — тростник, колеблемый ветром. Может быть, облака над тобой когда-нибудь рассеются. Только стой крепко на ногах. Ради себя самого. Ради твоих детей. Не обольщайся собой. Но и не принижай себя. И ты воспрянешь.

Декабрь 1926 г. (Опубликовано посмертно.)



ГОРНАЯ КЕЛЬЯ ГЭНКАКУ

1

Это был дом с приятными на вид, изящными воротами. Правда, в здешних местах такой дом не был чем-то удивительным. Но и табличка с названием дома «Горная келья Гэнкаку», и деревья, свешивавшиеся над оградой сада, все имело особо изысканный вид.

Хозяин дома, Хорикóси Гэнкаку, пользовался некоторой известностью как художник. Однако состояние он нажил благодаря лицензии на изготовление резиновых печатей. А может быть, просто приобрел участок уже после того, как получил лицензию. Тогда на земле, которую он владел, даже имбирь и тот не рос как следует. Теперь же она превратилась в район «культурной деревни», там стояли рядами красные и синие кирпичные домики...

Да, поистине, «Горная келья Гэнкаку» — это был дом с приятными на вид, изящными воротами. В последнее время, когда на соснах, виднеющихся из-за ограды, висели сетки, предохраняющие от снега, а перед входом на подстеленной сухой хвое алели плоды ардизии, все выглядело особенно утонченно. Вдобавок в переулке, куда выходил дом, почти не было никакого движения и редко появлялся прохожий. Даже прода-

вещь тофу проходил здесь лишь для того, чтобы донести товар до главной улицы, и только иногда по дороге дудел в свою трубу.

— «Горная келья Гэнкаку» — что значит Гэнкаку? — так, проходя мимо дома, спросил длинноволосый ученик художественного училища другого ученика в такой же форме с золотыми пуговицами и узким длинным ящиком с красками под мышкой.

Вряд ли это игра слов — гэнкаку.

Смеясь, они с легким сердцем прошли мимо ворот. И после них на замерзшей дороге осталась только недокурная папироса — «Горудэн батто», — от которой еще поднималась тонкая струйка бледно-голубого дыма.

2

Еще до того, как войти зятем в семью Гэнкаку, Дзюкити служил в банке... Поэтому он всегда возвращался домой, когда уже зажигали свет. И вот уже много дней, едва войдя в ворота, он сразу же ощущал какой-то неприятный запах. Это пахло дыханием старика Гэнкаку, лежавшего с редким для его возраста туберкулезом легких. Однако вне дома этот запах, конечно, не слышался. И Дзюкити в зимнем пальто, с портфелем под мышкой, проходя по плитам, ведущим к входу, невольно удивлялся: что у него за нервы.

Гэнкаку лежал во флигеле, а если не лежал, то сидел, прислонившись к груде одеял. Дзюкити имел обыкновение, сняв шляпу и пальто, непременно заглянуть во флигель и сказать: «Здравствуйте», — или: «Ну как вы сегодня себя чувствуете?» Но порог он переступал редко: как потому, что боялся заразиться туберкулезом, так отчасти и потому, что ему неприятен был запах больного. Гэнкаку, увидев его, отвечал только «а» или «здравствуй». Голос у него был совсем бесильный, не голос, а скорее вздох. И Дзюкити невольно корил себя за бесчувственность. Но все же войти во флигель ему было жутковато.

После этого Дзюкити навещал тещу о-Тори, которая тоже лежала больная в комнате рядом с чайной комнатой. У о-Тори еще до болезни Гэнкаку — на семь-восемь лет раньше — отнялись ноги, и она не выходила

даже в уборную. Гэнкаку взял ее в жены еще тогда, когда она, дочь главного управляющего большого клана, обещала быть красавицей. И даже когда о-Тори состарилась, глаза у нее по-прежнему были красивы. Но когда, сидя на постели, она прилежно штопала белые таби, ее легко было принять за мумию. Дзюкити, тоже коротко бросив: «Ну, мама, как дела сегодня?» — вошел в просторную чайную комнату.

Его жена о-Судзу, если ее не было в чайной комнате, работала в тесной кухне со служанкой о-Мацу, родом из провинции Синано. Не только уютно убранная чайная комната, но даже кухня с модным очагом были Дзюкити гораздо приятней, чем комнаты тестя и тещи. Второй сын политического деятеля, который одно время занимал пост губернатора, он по своим склонностям был ближе к матери-поэтессе, чем к по-мужски грубоватому отцу. Это нетрудно было определить по его дружелюбному взгляду и узкому подбородку. Переменив европейский костюм на японский, Дзюкити, войдя в чайную комнату, удобно усаживался у продолговатого хибати, курил дешевые папиросы и болтал с сыном Такэо, который в этом году поступил в начальную школу.

Дзюкити всегда обедал с о-Судзу и Такэо за маленьким столом. За обедом бывало оживленно, хотя последнее время к оживленности примешивалась натянутость. Причиной тому была сиделка Коно, поселившаяся в доме для ухода за Гэнкаку. Правда, Такэо шалил и при «Коно-сан» так же, как и без нее. Нет, при ней он шалил даже больше. О-Судзу иногда хмурила брови и сердито поглядывала на расшалившегося сына. Но Такэо с невинным видом усиленно помешивал рис в своей чашке. Дзюкити же, поскольку он был начитан в романах, видел в шалостях Такэо проявление чисто мужских наклонностей, и это ему было несколько неприятно. Но чаще всего он, только улыбнувшись, продолжал молча есть.

Такэо, которому приходилось вставать очень рано, да и Дзюкити с женой почти всегда ложились спать в десять часов. Бодрствовала одна только сиделка Коно, приступавшая к ночному дежурству еще с девяти часов. Она сидела не смыкая глаз у ярко разгоревшегося хибати возле изголовья Гэнкаку. Гэнкаку... Гэн-

каку тоже время от времени просыпался. Но обычно говорил, что остыла грелка или высох компресс, и ничего больше. Из флигеля доносилось только что-то вроде шуршания бамбука. В прохладной тишине Коно, внимательно наблюдая за Гэнкаку, думала свои думы. О настроениях обитателей этого дома, о своем будущем...

3

Как-то раз после полудня, когда перестал идти снег и небо прояснилось, в кухне дома Хорикоси, из окна которой виднелось голубое небо, появилась женщина лет двадцати четырех — двадцати пяти, державшая за руку худенького мальчика в белом свитере. Дзюкити, конечно, дома не было. О-Судзу, которая как раз шила на машине, хотя и предвидела это, все-таки пришла в легкое замешательство. Но, как бы то ни было, она поднялась со своего места у хибати и пошла навстречу госте. Войдя в кухню, гостя переставила с места на место свою обувь и ботинки мальчика. По одному этому было заметно, что она робеет. И не без причины. Это была о-Йоси, прежняя их служанка, которая пять-шесть лет назад, переселившись в пригород Токио, открыто стала содержанкой Гэнкаку.

О-Судзу удивилась тому, как сильно о-Йоси постарела. И не только лицом. Раньше у нее были мягкие, пухлые руки, но годы иссушили их так, что сквозь кожу просвечивали вены. И ее одежда... Дешевенькое колечко на пальце свидетельствовало о стесненных обстоятельствах.

— Вот это брат велел мне принести барину.

И о-Йоси, прежде чем войти в чайную комнату, робко положила в углу кухни газетный сверток. Служанка о-Мацу, которая еще раньше принялась за стирку, проворно двигая руками, то и дело искоса с неодобрением поглядывала на о-Йоси, чьи волосы на ушах были кокетливо уложены в узлы. При виде свертка ее лицо выразило еще большее неудовольствие: от него исходил неприятный запах, так не вязавшийся с плитой новейшего образца, изящными блюдами и чашками. О-Йоси не смотрела на служанку, но, заметив, как изменилась в лице о-Судзу, объяснила:

— Там чеснок.— Затем обратилась к мальчику: — Ну, малыш, поклонись же.

Мальчик, разумеется, был Бунтаро, сын о-Йоси от Гэнкаку. О-Судзи было неприятно, что о-Йоси назвала этого мальчика «малыш». Но здравый смысл сразу подсказал ей, что с этой женщиной как-никак приходится мириться. И она как ни в чем не бывало угощала мать с сыном, сидевших в углу, чаем и оказавшимся под рукой печеньем, рассказывала о здоровье Гэнкаку, спрашивала о Бунтаро...

Когда Гэнкаку содержал о-Йоси, он, не тяготясь пересадкой с электрички на электричку, непременно два в неделю ездил к ней. О-Судзу первое время питала из-за этого к отцу отвращение. «Следовало бы ему хоть немного считаться с матерью»,— думала она не раз. Правда, о-Тори, видимо, со всем примирилась. Но о-Судзу поэтому-то еще больше жалела мать, и когда отец уезжал к содержанке, беззастенчиво врал матери: «Сегодня он пошел на встречу стихотворцев»,— и тому подобное. Она и сама знала, что эта ложь бесполезна. Но иногда, видя на лице матери что-то близкое к холодной усмешке, раскаивалась в том, что соврала... и не то чтобы раскаивалась, просто она видела в парализованной матери какую-то жесткость, которая не вызывала в ней сочувствия.

Проводив отца, о-Судзу, в думах о семье, не раз оставляла швейную машину. Гэнкаку никогда не был для нее «хорошим отцом», даже до того, как завел содержанку. Но будучи мягкой по характеру, она не роптала. Ее беспокоило лишь, что отец стал уносить в дом к содержанке книги, картины и другие художественные ценности. Пока о-Йоси была служанкой, о-Судзу не считала ее дурной женщиной. Она даже находила ее более застенчивой, чем другие. Но она не знала, что замышляет ее брат, хозяин рыбной лавки на окраине Токио. В глазах о-Судзу он был хитрым человеком. Свои тревоги о-Судзу иногда изливала Дзюкити. Но тот не обращал на ее слова никакого внимания. «Не годится мне говорить с отцом»,— отвечал он, и о-Судзу оставалось только промолчать.

— Вряд ли отец полагает, что о-Йоси хоть что-нибудь смыслит в картинах Ло Лян-фэна,— как будто мимоходом говорил иногда Дзюкити теще. Но

о-Тори, подняв на него глаза, с горькой улыбкой отвечала:

— Такой уж отец человек. Он и меня, бывало, спрашивал: «Ну, как эта тушечница?» — или что-нибудь в этом роде.

Однако сейчас все эти беспокойства казались просто пустяком. Гэнкаку, чье здоровье с зимы ухудшилось, не мог больше посещать содержанку, и когда Дзюкити завел с ним разговор о том, чтобы порвать с ней (впрочем, надо сказать, что условия разрыва были разработаны о-Тори и о-Судзу), он неожиданно сразу же ответил согласием. Согласился и брат о-Йоси, которого о-Судзу так боялась. О-Йоси должна была получить в виде компенсации тысячу иен и вернуться в родительский дом где-то на побережье в провинции Кадзуса, а затем ежемесячно получать определенную сумму на воспитание Бунтаро, — против таких условий ее брат нисколько не возражал. Мало того, он без всяких уговоров сам принес бывшие в доме содержанки и очень дорогие для Гэнкаку чайные принадлежности. О-Судзу почувствовала к нему особое доброжелательство — особое именно потому, что раньше она относилась к нему с недоверием.

— Кстати, сестра сказала, что если у вас в доме не хватает рабочих рук, она хотела бы приехать ухаживать за больным...

Прежде чем согласиться на эту просьбу, о-Судзу посоветовалась с матерью. Это, несомненно, было ошибкой с ее стороны. Услышав, что она просит совета, о-Тори заявила, что пусть о-Йоси с Бунтаро приходят хоть завтра. О-Судзу, опасаясь, что атмосфера в доме станет тягостной, не говоря уже о настроении самой о-Тори, несколько раз пыталась переубедить мать. (Тем не менее, находясь между отцом, Гэнкаку, и братом о-Йоси, сама она склонялась к тому, чтобы не отказывать брату о-Йоси наотрез.) Но о-Тори никак не поддавалась на ее уговоры.

— Если б до того, как мне стало известно, — дело другое... А так мне неловко перед о-Йоси.

О-Судзу волей-неволей пришлось согласиться на приезд о-Йоси. Может быть, и это тоже было ее ошибкой, ошибкой женщины, не сведущей в житейских делах. В самом деле, когда Дзюкити, вернувшись из

банка, услышал от нее обо всем, на его нежном, чисто женском лбу появились морщины неудовольствия.

— Конечно, хорошо, что рабочих рук в доме прибавится, но... следовало бы поговорить с отцом... Если бы отказ исходил от отца, ты не была бы за это в ответе, — так он сказал.

О-Судзу, упав духом, отвечала только: «Да-да... так», но советоваться с Гэнкаку... говорить с умирающим отцом, который, конечно, еще тоскует по о-Йоси, для нее и сейчас было невозможным.

...Беседуя с о-Йоси и ее сынишкой, о-Судзу вспоминала все эти перипетии. О-Йоси же, не решаясь даже погреть руки у хибати, запинаясь рассказывала о брате и о Бунтаро. В ее речи некоторые слова звучали по деревенски, как и пять лет назад. И о-Судзу заключила, что на душе у о-Йоси стало легче. В то же время она чувствовала, что мать, о-Тори, которая ни разу даже не кашлянула за фусума, охвачена смутной тревогой.

— Значит, вы пробудете у нас с неделю?

— Да, если вы не против...

— Тогда не надо ли вам переодеться?

— Брат обещал привезти вещи к вечеру. — Сказав так, о-Йоси достала из-за пазухи карамельку и дала скучающему Бунтаро.

— Так я пойду, скажу отцу. Отец очень ослабел. Он простудил то ухо, которое обращено к сёдзи.

Перед тем как отойти от хибати, о-Судзу переставила чайник.

— Мама!

О-Тори что-то ответила. Похоже было по ее хриловатому голосу, что она только что проснулась.

— Мама, у нас о-Йоси-сан.

О-Судзу с облегченным сердцем, не глядя на о-Йоси, быстро поднялась. Потом, направившись в соседнюю комнату, еще раз произнесла:

— Вот о-Йоси-сан.

О-Тори по-прежнему лежала, уткнувшись в воротник ночного кимоно. Но, подняв на дочь глаза, в которых мелькнуло что-то вроде улыбки, ответила:

— О, так скоро.

Почти физически ощущая о-Йоси за своей спиной, о-Судзу поспешила по коридору, выходявшему окнами в заснеженный сад, во флигель.

Во флигеле ей, вдруг вошедшей из светлого коридора, показалось темнее, чем было на самом деле. Гэнкаку сидел на постели, и сиделка Коно читала ему газету. Увидев о-Судзу, он сразу спросил:

— О-Йоси? — В его хриплом голосе было странное напряжение и настойчивость.

О-Судзу, стоя у фусума, машинально ответила:

— Да! — Потом... наступило молчание.— Сейчас я ее сюда пришлю.

— О-Йоси одна?

— Нет.

Гэнкаку молча кивнул.

— Коно-сан, пожалуйста, сюда.

И о-Судзу, торопливо опередив сиделку, почти побежала по коридору. На ветках вееролистной пальмы, где еще лежали хлопья снега, трясла хвостом белая трясогузка, но о-Судзу на нее и не взглянула; она со всей остротой чувствовала, как из пахнущего болезнью флигеля надвигается на них что-то неприятное...

4

С тех пор как о-Йоси водворилась в доме, атмосфера в семье становилась все более напряженной. Началось с того, что Такэо стал задираТЬ Бунтаро. Бунтаро больше, чем на своего отца, Гэнкаку, был похож на мать. Даже робостью он походил на мать, о-Йоси. О-Судзу, конечно, относилась к ребенку не без сочувствия. Только считала его слишком уж боязливым.

Сиделка Коно, что объяснялось ее профессией, смотрела на эту тривиальную домашнюю драму равнодушно — скорей даже наслаждалась ею. Прошлое ее было невеселым. Она входила в связь то с хозяином дома, куда ее нанимали сиделкой, то в больнице с врачом, и из-за этого не раз готова была отравиться. Поэтому-то ей стало свойственно болезненное наслаждение чужими горестями. Поселившись в доме Хорикоси, она ни разу не видела, чтобы парализованная о-Тори, сходя по нужде, мыла руки. «Вероятно, дочь в этом доме сообразительна: приносит воду так, чтоб я не заметила». Ее подозрительную душу это омрачило. Но через несколько дней она поняла, что это просто не-

досмотр белоручки о-Судзу. Такое открытие принесло ей удовлетворение, и она стала сама носить о-Тори воду.

— Коно-сан, благодаря вам я теперь могу по-человечески вымыть руки.

О-Тори даже заплакала. Но сиделку радость о-Тори нисколько не тронула. Зато теперь ей было приятно видеть, как о-Судзу непременно один раз из трех приносит воду сама. При таком настроении Коно ссоры детей не были ей неприятны. Гэнкаку она старалась показать, будто сочувствует о-Йоси с сыном. В то же время перед о-Тори вела себя так, словно питает к ним неприязнь. Такое поведение хоть и нескоро, но наверняка должно было принести свои плоды.

Примерно через неделю после приезда о-Йоси Такэо опять подрался с Бунтаро. Они заспорили о том, у кого толще хвост — у быка или у свиньи. Такэо затолкал Бунтаро в угол классной — маленькой комнатки рядом с бывшей комнатой Гэнкаку — и стал нещадно колотить его и пинать. Случайно проходившая мимо о-Йоси вызволила Бунтаро, который был не в силах даже заплакать, и сделала замечание Такэо:

— Нехорошо обижать слабого.

В устах застенчивой о-Йоси такие слова были неслыханной дерзостью. Такэо испугался ее сердитого вида и, на этот раз заплакав, побежал в чайную комнату к матери. О-Судзу вспыхнула и, бросив шитье, потащила Такэо в комнату, где была о-Йоси с сыном.

— Ты ведешь себя безобразно. Проси прощения у о-Йоси, проси как следует прощения.

При таких словах о-Судзу о-Йоси ничего не оставалось, как вместе с сыном самой в слезах просить прощения. Роль примирителя сыграла сиделка Коно. Выталкивая из комнаты покрасневшую о-Судзу, она представляла себе, что испытывает еще один человек — тихонько слушающий эту сцену Гэнкаку, и про себя холодно усмехалась. Но, разумеется, на лице чувства ее никак не отражались.

Напряженность в доме создавали не только ссоры детей. О-Йоси вдруг вызвала ревность у о-Тори, как будто уже совсем примирившейся с нею. Правда, о-Тори ни разу ее не попрекнула. (Так было и несколько лет назад, когда о-Йоси еще жила у них в доме служан-

кой.) Но к Дзюкити, не имевшему ко всему этому никакого отношения, о-Тори обращалась не раз. Дзюкити, конечно, отмахивался. Когда же о-Судзу, жалея мать, пыталась ее оправдывать, он с горькой усмешкой говорил: «Не хватает, чтобы и ты впала в истерику», — и переводил разговор на другое.

Коно с любопытством наблюдала за тем, как ревнует о-Тори. И саму ревность о-Тори, и что именно ее заставляло обращаться к Дзюкити, она прекрасно понимала. Мало того, она стала испытывать к Дзюкити и его жене что-то вроде ревности. О-Судзу в ее глазах была «барышня». Дзюкити... Дзюкити, во всяком случае, настоящий мужчина. В то же время она презирала его, как самца. И такое их счастье казалось ей несправедливым. Чтобы восстановить справедливость (!), она держала себя с Дзюкити по-дружески. Возможно, Дзюкити это было безразлично. Зато это был наилучший способ раздражать о-Тори. О-Тори, которая лежала с голыми коленками, язвительно спрашивала:

— Дзюкити, может быть, тебе разонравилась моя дочь — дочь парализованной?

Однако о-Судзу нисколько не сомневалась в Дзюкити. Нет, она даже как будто жалела сиделку. У Коно же это вызывало одно лишь недовольство. Она не могла не презирать добродушную о-Судзу. Но ей было приятно, что Дзюкити стал ее избегать. И, избегая ее, как ни странно, выказывает к ней чисто мужское любопытство. Раньше он ничуть не стеснялся Коно, проходил голым в ванну рядом с кухней. Но последнее время в таком виде он ни разу не показывался. Несомненно, он стыдился, потому что голый был похож на оципанного петуха. Глядя на него (кстати, лицо у него было в веснушках), Коно втайне насмешливо думала, уж не хочет ли он, чтобы в него влюбился еще кто-нибудь, кроме о-Судзу.

Как-то морозным пасмурным утром Коно в маленькой комнатушке Гэнкаку, где она теперь жила, как обычно, укладывала перед зеркалом волосы в прическу ору-бэку¹. Это было как раз накануне того дня, когда о-Йоси сказала, что возвращается в деревню. Отъезд

¹ Искаженное all back (англ.) — волосы, уложенные узлом на затылке.

о-Йоси, видимо, обрадовал Дзюкити и его жену. У о-Тори же, наоборот, вызвал еще большее раздражение. Коно, причесываясь, услышала пронзительный голос о-Тори, и вспомнила женщину, о которой ей как-то рассказала ее подруга. Эта женщина, живя в Париже, почувствовала сильную тоску по родине и, воспользовавшись тем, что друг ее мужа возвращался в Японию, села с ним на теплоход. Долгое путешествие, против ожидания, не показалось ей тягостным. Но когда они приблизились к берегам провинции Кии, она вдруг пришла в возбуждение и бросилась в море, потому что чем ближе они подходили к Японии, тем сильнее становилась ее тоска по родине. Спокойно вытирая напояженные руки, Коно думала о том, что ревностью о-Тори, да и ее собственной, движет та же непонятная сила.

— О мама, что случилось? Вы так неосторожно повернулись... Коно, пожалуйста, сюда на минутку! — послышался оклик о-Судзу с энгава возле флигеля. Услышав оклик о-Судзу, Коно, сидя перед зеркалом, впервые открыто усмехнулась. Затем, как будто испугавшись, ответила: «Сейчас!»

5

Гэнкаку постепенно слабел. Страдания, причиняемые многолетней болезнью, и боли от пролежней на спине до пояницы были ужасны. Когда становилось невмоготу, он стонал. Но его изматывали не только физические муки. Присутствие о-Йоси приносило некоторое утешение, зато он непрестанно мучился из-за ревности о-Тори и ссор детей. Однако это бы еще ничего. А вот с тех пор, как о-Йоси уехала, Гэнкаку чувствовал ужасное одиночество и невольно обращался мыслью к своей долгой, уже прожитой жизни.

И вся его жизнь теперь казалась ему неприглядной. Только время, когда, получив лицензию на изготовление резиновых печатей, он сидел дома за картами и сакэ, — в его жизни был сравнительно светлым периодом. Но и тогда его непрестанно мучила зависть приятелей и его собственные старания не упустить прибыль. Тем более, когда он сделал о-Йоси своею содержанкой...

Помимо семейных осложнений, на нем лежала незнакомая всем домашним тяжкая необходимость изыскивать деньги. Но самым неприятным было то, что, как ни привлекала его молодая о-Йоси, он, по крайней мере, последние год-два, кто знает, сколько раз, желал смерти о-Йоси и ее сыну.

«Неприглядно? Но если подумаешь, то ведь не я один».

По ночам с этой мыслью он принимался перебирать в памяти все то, что касалось его родственников и знакомых. Отец его зятя Дзюкити «для охраны конституционного правления» довел до падения множество своих врагов, менее ловких, чем он сам. Наиболее близкий Гэнкаку, одних лет с ним, антиквар был в связи с дочерью своей первой жены. Один знакомый адвокат растратил доверенную ему сумму. Один гравировальщик печатей... но мысль о совершенных ими преступлениях, как ни странно, не облегчала его мучений. Мало того, они бросали на жизнь как таковую мрачную тень. Если б только перейти в мир иной и положить всему конец...

Для Гэнкаку это было единственной надеждой. Чтобы отвлечься от разъедающих его душу и тело мучений, он старался вызывать приятные воспоминания. Но вся его жизнь, как уже говорилось, была неприглядна. Если и было в ней хоть что-то светлое, так это только воспоминания раннего детства, когда он еще был несмышленишкой. Часто он не то во сне, не то наяву вспоминал деревню в горном ущелье в провинции Синано, где жили его родители... особенно дощатую крышу с лежащими на ней камнями, тутовые ветки с ободранными листьями, которые пахли коконами шелковичных червей. Но недолго длились эти воспоминания. Иногда он пытался возглашать сутру «Каннон-кё», петь когда-то модную песенку. Но, возгласив: «Мёон Кандзёон, бонъо кайтёон, сёхисэкэнъон», — тут же петь «каппорэ, каппорэ» казалось ему кощунственным.

«Спать — величайшее наслаждение, спать — величайшее наслаждение».

Часто, чтобы забыться, Гэнкаку старался крепко заснуть. Коно давала ему снотворное и даже впрыскивала героин. Но и спал он часто беспокойно. Иногда ему снилось, что он встречается с о-Йоси или Бунтаро. Это

создавало ему — только во сне — светлое настроение. Как-то раз ему приснилось, будто он разговаривает с еще новенькой цветочной картой «вишня 20». Во сне ему казалось, будто у этой карты лицо о-Йоси, какой она была шесть лет назад. Но, проснувшись, он чувствовал себя еще несчастней. Теперь, засыпая, Гэнкаку испытывал тревогу, почти боялся заснуть.

Как-то после полудня, в один из последних дней года, Гэнкаку, лежа навзничь, сказал сидевшей у его изголовья Коно:

— Коно-сан, я давно не носил набедренной повязки, велите купить мне шесть сяку полотна.

Чтобы достать полотно, незачем даже было посылать служанку в ближайшую мануфактурную лавку.

— Я надену ее сам. Положите ее сюда и уходите.

В надежде на эту повязку — в надежде повеситься на этой повязке — Гэнкаку провел полдня. Но ему, который даже приподняться на постели мог только с чьей-либо помощью, нелегко было осуществить свой план. Вдобавок, когда пришла роковая минута, он испугался смерти. Глядя на строку Обаку при тусклом электрическом свете, он с насмешкой думал о себе, еще так жаждущем жизни.

— Коно-сан, помогите мне встать.

Было уже десять вечера.

— Я проведу ночь один. Не стесняйтесь и идите спать к себе.

Коно с удивлением посмотрела на Гэнкаку и коротко ответила:

— Нет, я не буду ложиться: ведь это моя служба.

Гэнкаку почувствовал, что из-за Коно его план провалился. Но, ни слова не возразив, притворился спящим. Коно, раскрыв у его изголовья новогодний номер женского журнала, погрузилась в чтение. Думая о повязке, все еще лежавшей возле одеяла, Гэнкаку смотрел на Коно. И вдруг ему стало смешно.

— Коно-сан.

Коно, взглянув на Гэнкаку, обомлела. Откинувшись на подушки, Гэнкаку безудержно смеялся.

— В чем дело?

— Нет, ничего. Ничего смешного нет. — И, все еще смеясь, Гэнкаку потряс перед ней худой рукой. — Почему-то сейчас... мне стало смешно... Уложите меня.

Примерно через час Гэнкаку незаметно уснул. Этой ночью он видел страшный сон. Стоя в густой чаще, он через щель в сёдзи заглядывал в чью-то — видимо, чайную — комнату. Там, повернувшись лицом к нему, лежал совершенно голый ребенок. Хотя это был ребенок, личико его было покрыто морщинами. Гэнкаку хотел крикнуть и проснулся весь в поту.

Во флигеле никого не было. Было еще полутемно. Еще? Он посмотрел на часы возле постели, — оказалось близко к полудню. На мгновение в душе у него посветлело. Но сейчас же, как обычно, он помрачнел. Все еще лежа навзничь, он стал считать вдохи и выдохи. Ему показалось, будто что-то его торопит. «Ну, вот теперь!» Гэнкаку тихонько подтянул к себе повязку, обернул ее вокруг головы и с силой дернул за концы обеими руками.

И в эту минуту к нему заглянул пухленький, толстый Таэкэо.

— Ой, что дедушка делает...

И Токэо шумно со всех ног пустился в чайную комнату.

6

Через неделю Гэнкаку, окруженный домочадцами, скончался от туберкулеза легких. Поминальная служба была торжественной (только парализованная о-Тори не могла присутствовать). Собравшиеся в доме люди, выразив сочувствие Дзюкити и его жене, возжигали куренья перед его гробом, покрытым белым узорчатым атласом. Но большинство, выйдя за ворота, тут же забывали о нем. Правда, его старые приятели представляли собой исключение.

— Старик своей жизнью, наверно, был доволен. И содержанку молодую имел, и денежек накопил, — говорили все в один голос.

Конный катафалк, за которым следовал один экипаж, потянулся по пасмурной улице к месту кремации. В грязноватом экипаже сидели Дзюкити и его двоюродный брат — студент. Не обращая внимания на тряску экипажа и почти не разговаривая с Дзюкити, он погрузился в чтение тоненькой книжки. Это был английский перевод воспоминаний Либкнехта. Дзюкити, устав-

ший после ночи бдения у гроба, то дремал, то, глядя на вновь проложенные улицы, вяло замечал про себя: «Этот район совсем изменился».

Наконец катафалк и экипаж по подтаявшим улицам добрались до места кремации. Несмотря на предварительный уговор по телефону, оказалось, что все печи первого разряда заняты, оставались только печи второго разряда. И Дзюкити, и всем остальным это было безразлично. Однако, думая не столько о тесте, сколько о том, чего ждет от него о-Судзу, Дзюкити через полукруглое окошко вступил в горячие переговоры со служащим.

— Не сумели спасти больного, хотелось бы хоть кремацию сделать по первому разряду,— пробовал он соврать.

Но эта ложь сверх ожидания возымела действие.

— Тогда сделаем так. Первый разряд уже заполнен, но за особую плату мы совершим кремацию по особому разряду.

Чувствуя неловкость момента, Дзюкити стал благодарить служащего, человека в латунных очках, с виду очень приятного.

— Не стоит благодарности.

Наложив печать на печь, они в том же грязноватом экипаже выехали за ворота. У кирпичного забора неожиданно оказалась о-Йоси, молча поклонившаяся им. Дзюкити, несколько смутившись, хотел приподнять шляпу, но их экипаж, накренившись набок, уже ехал по дороге, окаймленной засохшими тополями.

— Это она?

— Да... Видимо, пришла туда еще до нас.

— Мне кажется, там стояли одни нищие... Что же она теперь будет делать?

Зажигая папиросу, Дзюкити, как мог равнодушно, ответил:

— Ну... кто ее знает...

Его кузен молчал. Но воображение рисовало ему рыбацкий городок на морском берегу в провинции Кадзуса. И о-Йоси с сыном, которые должны будут жить в этом городе... И он опять с угрюмым видом принялся при свете солнца за воспоминания Либкнехта.



МИРАЖИ, ИЛИ «У МОРЯ»

1

В один из осенних дней около полудня я вместе со студентом К., приехавшим сюда из Токио отдохнуть, отправился смотреть мираж. О том, что на берегу моря у Кугэнума можно наблюдать мираж, знали, наверное, уже все. Например, горничная из нашего дома, которая собственными глазами видела перевернутое отражение лодок, восхищалась: «Ну, совсем как фотография, что была на днях в газете!»

Мы обогнули беседку и решили по пути зайти за О. Одетый, как всегда, в красную рубаху, О. качал воду из колодца, видневшегося сквозь ограду,— видно, там готовились к обеду. Я помахал ему ясеновой тросточкой.

— Заходите с той стороны... Ба, и ты тоже здесь?

О. решил, наверное, что мы с К. пришли к нему в гости.

— Мы идем смотреть мираж. Пойдешь с нами?

— Мираж? — О. вдруг рассмеялся.— И что это пошла мода на миражи?

Минут через пять мы вместе с О. шли по дороге, увязая в глубоком песке. Слева простиралась песчаная равнина. Колея от повозок пересекла ее наискось двумя черными линиями. Эта глубокая колея вызывала у

меня чувство подавленности. Порой казалось, что это следы работы могучего таланта.

— Все-таки я еще не совсем здоров. От одного только вида такой колеи жутко становится.

О. шел, нахмутив брови, и ничего не отвечал на мои слова. Но, видно, он понимал мое настроение.

Тем временем мы миновали сосны — низкие, росшие там и сям сосны — и уже двигались по берегу реки Хикидзи-гава. Над морем, которое начиналось за широким песчаным пляжем, небо было ярко-синим. А над Эносимой висели облака, бросавшие унылую тень на дома и деревья.

— Глядите-ка, новое поколение.

Слова К. прозвучали неожиданно. И в них чувствовалась насмешка. Новое поколение? Я сразу обнаружил это «новое поколение», о котором говорил К. «Новым поколением» оказались мужчина и женщина около живой изгороди из бамбука, предназначенной для задержания песка. Они стояли спиной к изгороди и смотрели на море. Правда, мужчину в тонком пальто с пелериной и мягкой шляпе едва ли можно было отнести к новому поколению. Однако короткая прическа, европейского фасона зонтик от солнца у женщины и низкие каблуки были, несомненно, признаками нового поколения.

— Счастливы, наверное...

— А ты, я вижу, завистлив.

О. все время подтрунивал над К.

Место, откуда был виден мираж, находилось от этой пары метрах в ста. Мы легли ничком на песок и стали смотреть через реку на песчаный пляж, над которым стояло дрожащее марево нагретого воздуха. Над верхним краем песка колыхалась узкая, словно лента, синяя полоса. Это, несомненно, отражалось море в струях горячего воздуха. Но больше ничего — никакого отражения лодок у берега — ничего не было видно.

— Так это и есть мираж? — разочарованно протянул К. Его подбородок был весь в песке. Но тут метрах в двухстах от нас над пляжем пролетела ворона. Она как бы коснулась дрожащей синей ленты и опустилась ниже. И тотчас перевернутое отражение птицы мелькнуло в верхней части марева.

— Большого мы, пожалуй, сегодня не увидим,— произнес О., и мы разом поднялись с песка. И тут впереди мы увидели представителей «нового поколения», мимо которых только что прошли и которые должны были находиться позади нас. Они направлялись в нашу сторону.

Я удивленно обернулся. Но те двое по-прежнему стояли спиной к бамбуковой изгороди метрах в ста от нас и о чем-то разговаривали. Мы все, особенно О., с облегчением рассмеялись.

— Может быть, это тоже мираж?

Конечно же, впереди нас была другая пара представителей «нового поколения». Однако и прическа женщины, и фигура мужчины в мягкой шляпе казались почти такими же, как у тех, что стояли у изгороди.

— Мне даже как-то не по себе стало.

— А я думаю, как это они вдруг там очутились.

Переговариваясь, мы на этот раз пошли не вдоль берега Хикидзи-гава, а через невысокую песчаную дюну. У подножья ее тянулась все та же живая бамбуковая изгородь и виднелись все те же низкорослые, чахлые сосны. Проходя мимо них, О. вдруг нагнулся и что-то с трудом вытащил из песка. Это была деревянная дощечка, с выведенными на ней смолой горизонтальными строчками букв в черной рамке.

— Что это за штука? «Sr. H. Tsuji... Unua... Aprilo... Iaro¹ 1906...»

— Что бы это могло быть? «Dua... Majesta². И здесь еще стоит «1926».

— Ого! Уж не бирка ли это, какую привязывают покойнику, когда хоронят в море? — предположил О.

— Но ведь когда хоронят в море, покойника завертывают в парусину.

— Вот к ней и прикрепляют бирку. Смотрите-ка, тут были вбиты гвозди. Они, видимо, изображали крест.

Тем временем мы уже шли между низкой бамбуковой изгородью какой-то дачи и сосновой рощей. То, что говорил О. относительно деревянной бирки, казалось вполне правдоподобным. И меня снова охватило

¹ «Г-н Х. Цудзи... первое... апреля... года...» (эсперанто).

² «Второе... мая...» (эсперанто).

жуткое чувство, которое совсем не вязалось с ярким сияньем солнца.

— Несчастливую вещь ты нашел.

— Что ты! Она будет моим талисманом. Между прочим, если смотреть по числам «1906» и «1926», то бедняге было двадцать. И в двадцать лет...

— Кто бы это мог быть? Мужчина или женщина?

— Да-а... Во всяком случае, можно предположить, что это был человек смешанной крови.

Отвечая К., я представлял себе юношу-метиса, умершего на корабле. Почему-то мне казалось, что у него была мать-японка.

— Мираж?..

О., глядя прямо перед собой, произнес одно это слово. Он произнес его, может быть, машинально, без всякого умысла. Но это слово почему-то немного задело меня.

— Пойдем, что ли, выпьем чаю.

Мы на минуту остановились на углу главной улицы. Здесь уже было много домов. Много домов — но улица, засыпанная сухим песком, оказалась безлюдной.

— А как ты, К.?

— Право, мне все равно...

Навстречу нам лениво бежала одинокая белая собака с опущенным хвостом.

2

Уже после того, как К. уехал в Токио, я вместе с женой и О. шел по мосту через реку Хикидзи-гава. На этот раз было около семи часов вечера: мы только что отужинали.

В этот вечер на небе не было ни звездочки. Мы, почти не разговаривая, шли по безлюдному песчаному пляжу. В той стороне, где было устье реки, по берегу двигался одинокий огонек. Видимо, он служил сигналом для рыбацких лодок, ушедших в море.

Не умолкал, конечно, и шум волн. И по мере того, как мы приближались к полосе прибоя, все сильнее чувствовался запах моря. Это был скорее запах не самого моря, а выброшенных прибоем водорослей и обломков дерева. Мне даже почему-то казалось,

что я ощущаю этот запах не только носом, но и кожей.

Мы немного постояли у полосы прибоя, глядя на тускло мерцавшие верхушки волн. В море, куда ни глянь, было темным-темно. Я вспомнил, как лет десять назад отдыхал на взморье около Кадзуса. Вспомнился мне и приятель, с которым мы были вместе. Помимо собственных занятий, он прочитал по моей просьбе гранки моего рассказа «Бататовая каша»...

Тем временем О., сидевший на корточках у полосы прибоя, чиркнул спичкой.

— Ты что делаешь?

— Да ничего особенного. Просто, когда зажжешь огонек, столько всего видно...

О. произнес это, повернувшись к нам вполоборота, и его слова были обращены скорее к моей жене.

И в самом деле, спичка осветила множество разнообразных раковин среди разбросанных водорослей и морской травы. Едва спичка погасла, О. зажег еще одну и, осторожно ступая, медленно двинулся вдоль полосы прибоя.

— Бр-р-р, жуть какая! Показалось, что нога утопленника...

Это была полузасыпанная песком купальная туфля. Тут же среди водорослей перекатывались большие куски морской губки. Но вот спичка погасла, и стало еще темнее, чем прежде.

— Да-а, сейчас не та добыча, что днем.

— Добыча? А, это ты о той бирке. Ну, знаешь ли, такие вещи на каждом шагу не валяются!

Мы решили уйти от немолчного шума волн и двинулись обратно через широкий песчаный пляж. Мы то и дело наступали на водоросли.

— И здесь, видно, тоже немало разных вещей.

— Зажжем еще спичку?

— Давай!.. Что это, слышишь? Колокольчик звенит...

Я прислушался. Я подумал, не галлюцинация ли это,— в то время меня нередко посещали галлюцинации. Однако сомнений не было: где-то и в самом деле позвякивал колокольчик. И тут раздался веселый голос жены:

— Это же звенят бубенчики на моих поккури!

Однако, даже не оборачиваясь, я совершенно точно знал, что у жены на ногах надеты зори.

— Я решила вспомнить детство и надела покурри.

— А что это звенит в рукаве вашего кимоно? — спросил О.— Ба, да это же игрушка маленького И.! Целлулоидовая погремушка с бубенчиками!

И О. рассмеялся. Тем временем жена догнала нас, и мы все трое пошли рядом. После обмена шутками наш разговор оживился.

Я рассказал О., какой сон видел вчера. Мне снилось, что перед каким-то ультрасовременным жилым домом я разговаривал с шофером грузовика. Во сне мне казалось, что определенно где-то уже видел лицо шофера. Но когда проснулся, никак не мог вспомнить, где его встречал.

— И тут мне вдруг вспомнилась репортерша, которая приходила как-то года три или четыре тому назад брать у меня интервью.

— Так что же, этот шофер был женщиной?

— Да нет! Конечно же, мужчиной. Только лицо было точь-в-точь как у той женщины. И ведь всего раз видел ее, а лицо почему-то запомнилось.

— Да, это бывает. Если лицо произведет сильное впечатление...

— В том-то и дело, что лицо той женщины меня ничуть не заинтересовало. И от этого как-то не по себе становится. Чувствуешь, как много вещей находится за порогом твоего сознания...

— Иными словами, такое ощущение, будто зажег в темноте спичку и стали видны окружающие предметы.

Во время этого разговора я вдруг заметил, что наши лица стали видны совершенно отчетливо. В то же время кругом ничто не изменилось: на небе по-прежнему не было ни звездочки. Мне снова стало жутко, и я то и дело поглядывал вверх. Жена, видно, тоже обратила на это внимание: я еще ничего не успел сказать, как она уже ответила на мой безмолвный вопрос:

— Это из-за песка так, правда?

И она, прижав руки к груди, повернулась к широкому пляжу.

— Песок, он любит шутки шутить. Ведь и в миражах тоже он виноват. Вы еще не ходили смотреть мираж?

— Как-то на днях ходила. Правда, видно было только что-то синее.

— Вот, вот. И мы тоже только это видели.

Мы миновали мост через Хикидзи-гава и пошли по краю дамбы у Адзумае. Поднявшийся вдруг ветер шумел меж вершинами сосен. В это время впереди показалась одинокая фигура. Это был мужчина невысокого роста. Он быстро шагал в нашу сторону. Я вдруг вспомнил галлюцинацию, которая была у меня этим летом. Тогда в такой же вечер лист бумаги, повисший на ветке тополя, мне показался стальным шлемом. Но этот мужчина не был галлюцинацией: по мере того как расстояние между нами сокращалось, становилась все отчетливее видна его рубашка.

— Что это за булавка у него в галстук? — спросил я вполголоса и тут вдруг обнаружил, что принял за булавку огонек сигареты. Жена первая не удержалась и прыснула в рукав кимоно. А мужчина тем временем невозмутимо прошел мимо нас.

— Ну, пока! Спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

В хорошем настроении мы попрощались с О. и пошли дальше под шум сосен, раскачиваемых ветром. К шуму сосен примешивалось чуть слышное стрекотанье кузнечиков.

— Когда у дедушки годовщина свадьбы?

Дедушкой она называла отца.

— В самом деле, когда же?.. Сливочное масло из Токио уже привезли?

— Нет еще. Только колбасу...

Мы подошли к воротам — к полураспахнутым воротам...

4 февраля 1927 г.



В СТРАНЕ ВОДЯНЫХ

Это история, которую рассказывает всем пациент номер двадцать третий одной психиатрической больницы. Ему, вероятно, уже за тридцать, но на первый взгляд он кажется совсем молодым. То, что ему пришлось испытать... впрочем, совершенно не важно, что ему пришлось испытать. Вот он неподвижно сидит, обхватив колени, передо мной и доктором С., директором больницы, и утомительно длинно рассказывает свою историю, время от времени обращая взгляд на окно, где за решеткой одинокий дуб протянул к хмурым снеговым тучам голые, без единого листа, ветви. Иногда он даже жестикулирует и делает всевозможные движения телом. Например, произнося слова «я был поражен», он резким движением откидывает назад голову.

По-моему, я записал его рассказ довольно точно. Если моя запись не удовлетворит вас, поезжайте в деревню Н., недалеко от Токио, и посетите психиатрическую больницу доктора С. Моложавый двадцать третий номер сначала, вероятно, вам вежливо поклонится и укажет на жесткий стул. Затем с унылой улыбкой тихим голосом повторит этот рассказ. А когда он закончит... Я хорошо помню, какое у него бывает при этом

лицо. Закончив рассказ, он поднимется на ноги и закричит, потрясая сжатыми кулаками:

— Вон отсюда! Мерзавец! Грязная тварь! Тупая, завистливая, бесстыжая, наглая, самодовольная, жестокая, гнусная тварь! Прочь! Мерзавец!

1

Это случилось летом три года назад. Как и многие другие, я взвалил на спину рюкзак, добрался до горячих источников Камикоти и начал оттуда восхождение на Хотакаяма. Известно, что путь на Хотакаяма один — вверх по течению Адзусагава. Мне уже приходилось раньше подниматься на Хотакаяма и даже на Яригатакэ, поэтому проводник мне был не нужен, и я отправился в путь один по долине Адзусагава, утопавшей в утреннем тумане. Да... утопавшей в утреннем тумане. Причем этот туман и не думал рассеиваться. Наоборот, он становился все плотнее и плотнее. После часа ходьбы я начал подумывать о том, чтобы отложить восхождение и вернуться обратно, в Камикоти. Но если бы я решил вернуться, мне все равно пришлось бы ждать, пока рассеется туман, а он, как назло, с каждой минутой становился плотнее. «Эх, подниматься, так подниматься», — подумал я и полез напролом через заросли бамбука, стараясь, впрочем, не слишком удаляться от берега.

Единственное, что я видел перед собой, был плотный туман. Правда, время от времени из тумана выступал толстый ствол бука или зеленая ветка пихты или внезапно перед самым лицом возникали морды лошадей и коров, которые здесь паслись, но все это, едва появившись, вновь мгновенно исчезало в густом тумане. Между тем ноги мои начали уставать, а в желудке появилось ощущение пустоты. К тому же мой альпинистский костюм и плед, насквозь пропитанные туманом, сделались необыкновенно тяжелыми. В конце концов я сдался и, угадывая направление по плеску воды на камнях, стал спускаться к берегу Адзусагава.

Я уселся на камень возле самой воды и прежде всего занялся приготовлением пищи. Открыл банку солины, разжег костер из сухих веток... На это у меня

ушло, наверное, около десяти минут, и тут я заметил, что гнусный туман начал потихоньку таять. Дожевывая хлеб, я рассеянно взглянул на часы. Вот так штука! Было уже двадцать минут второго. Но больше всего меня поразило другое. Отражение какой-то страшной рожи мелькнуло на поверхности круглого стекла моих часов. Я испуганно обернулся. И... Вот когда я впервые в жизни увидел своими глазами настоящего живого каппу. Он стоял на скале позади меня, совершенно такой, как на старинных рисунках, обхватив одной рукой белый ствол березы, а другую приставив козырьком к глазам, и с любопытством глядел на меня.

От удивления я некоторое время не мог пошевелиться. Видимо, каппа был поражен. Он так и застыл с поднятой рукой. Я вскочил и кинулся к нему. Он тоже побежал. Во всяком случае, так мне показалось. Он метнулся в сторону и тотчас же исчез, словно сквозь землю провалился. Все больше изумляясь, я оглядел бамбуковые заросли. И что же? Каппа оказался всего в двух-трех метрах от меня. Он стоял пригнувшись, готовый бежать, и смотрел на меня через плечо. В этом еще не было ничего странного. Что меня озадачило и сбilo с толку, так это цвет его кожи. Когда каппа смотрел на меня со скалы, он был весь серый. А теперь он с головы до ног сделался изумрудно-зеленым. «Ах ты дрянь этакая!» — заорал я и снова кинулся к нему. Разумеется, он побежал. Минут тридцать я мчался за ним, продираясь сквозь бамбук и прыгая через камни.

В быстроте ног и проворстве каппа не уступит никакой обезьяне. Я бежал за ним сломя голову, то и дело теряя его из виду, скользя, спотыкаясь и падая. Каппа добежал до огромного развесистого конского каштана, и тут, на мое счастье, дорогу ему преградил бык. Могучий толсторогий бык с налитыми кровью глазами. Увидев его, каппа жалобно взвизгнул, вильнул в сторону и стремглав нырнул в заросли — туда, где бамбук был повыше. А я... Что ж, я медленно последовал за ним, потому что решил, что теперь ему от меня не уйти. Видимо, там была яма, о которой я и не подозревал. Едва мои пальцы коснулись наконец скользкой спины каппы, как я кувырком покотился куда-то в непроглядный мрак. Находясь на волосок от гибели, мы,

люди, думаем подчас об удивительно нелепых вещах. Вот и в тот момент, когда у меня дух захватило от ужаса, я вдруг вспомнил, что неподалеку от горячих источников Камикоти есть мост, который называют «Мостом Капп» — «Каппабаси». Потом... Что было потом, я не помню. Перед глазами у меня блеснули молнии, и я потерял сознание.

2

Когда я наконец очнулся, меня большой толпой окружали каппы. Я лежал на спине. Возле меня стоял на коленях каппа в пенсне на толстом клюве и прижимал к моей груди стетоскоп. Заметив, что я открыл глаза, он жестом попросил меня лежать спокойно и, обернувшись к кому-то в толпе, произнес: «Quax, quax». Тотчас же откуда-то появились двое капп с носилками. Меня переложили на носилки, и мы в сопровождении огромной толпы медленно двинулись по какой-то улице. Улица эта ничем не отличалась от Гиндза. Вдоль буковых аллей тянулись ряды всевозможных магазинов с тентами над витринами, по мостовой неслись автомобили.

Но вот мы свернули в узкий переулок, и меня внесли в здание. Как я потом узнал, это был дом того самого каппы в пенсне, доктора Чакка. Чакк уложил меня в чистую постель и дал мне выпить полный стакан какого-то прозрачного лекарства. Я лежал, отдавшись на милость Чакка. Да и что мне оставалось делать? Каждый сустав у меня болел так, что я не мог шелохнуться.

Чакк ежедневно по несколько раз приходил осматривать меня. Раз в два-три дня навещал меня и тот каппа, которого я увидел впервые в жизни, — рыбак Багг. Каппы знают о нас, людях, намного больше, чем мы, люди, знаем о каппах. Вероятно, это потому, что люди попадают в руки капп гораздо чаще, чем каппы попадают в наши руки. Может быть, «попадать в руки» — не совсем удачное выражение, но, как бы то ни было, люди не раз появлялись в стране капп и до меня. Причем многие так и оставались там до конца дней своих. Почему? — спросите вы. А вот почему. Живя в стране

капп, мы можем есть, не работая, благодаря тому только, что мы люди, а не каппы. Такова привилегия людей в этой стране. Так, по словам Багга, в свое время к каппам совершенно случайно попал молодой дорожный рабочий. Он женился на самке каппа и прожил с нею до самой смерти. Правда, она считалась первой красавицей в стране водяных и потому, говорят, весьма искусно наставляла рога дорожному рабочему.

Прошла неделя, и меня, в соответствии с законами этой страны, возвели в ранг «гражданина, пользующегося особыми привилегиями». Я поселился по соседству с Чакком. Дом мой был невелик, но обставлен со вкусом. Надо сказать, что культура страны капп почти не отличается от культуры других стран, по крайней мере, Японии. В углу гостиной, выходящей окнами на улицу, стоит маленькое пианино, на стенах висят гравюры в рамах. Только вот размеры всех окружающих предметов, начиная с самого домика и кончая мебелью, были рассчитаны на рост аборигенов, и я всегда испытывал некоторое неудобство.

Каждый вечер я принимал в своей гостиной Чакка и Багга и упражнялся в языке этой страны. Впрочем, посещали меня не только они. Как гражданин, пользующийся особыми привилегиями, я интересовал всех и каждого. Так, в гостиную ко мне заглядывали и такие каппы, как директор стекольной фирмы Гэр, ежедневно вызывавший к себе доктора Чакка специально для того, чтобы тот измерял ему кровяное давление. Но ближе всех в течение первых двух недель я сошелся с рыбаком Баггом.

Однажды душным вечером мы с Баггом сидели в моей гостиной за столом друг против друга. Вдруг ни с того ни с сего Багг замолчал, выпучил свои и без того громадные глаза и неподвижно уставился на меня. Мне, конечно, это показалось странным, и я спросил:

— Quax Bag, quo quel quan?

В переводе на японский это означает: «Послушай, Багг, что с тобой?» Но Багг ничего не ответил. Вместо этого он вдруг вылез из-за стола, высунул длинный язык и раскорячился на полу, словно огромная лягушка. А вдруг он сейчас прыгнет на меня! Мне стало жутко, и я тихонько поднялся с кресла, намереваясь

выскочить за дверь. К счастью, как раз в эту минуту в гостиную вошел доктор Чакк.

— Чем это ты здесь занимаешься, Багг? — спросил он, строго взирая на рыбака через пенсне.

Багг застыдился и, поглаживая голову ладонью, принялся извиняться:

— Прошу прощения, господин доктор. Я не мог удержаться. Уж очень потешно этот господин пугается... И вы тоже, господин, простите великодушно, — добавил он, обращаясь ко мне.

3

Прежде чем продолжать, я считаю своим долгом сообщить вам некоторые общие сведения о каппах. Существование животных, именуемых каппами, до сих пор ставится под сомнение. Но лично для меня ни о каких сомнениях в этом вопросе не может быть и речи, поскольку я сам жил среди капп. Что же это за животные? Описания их внешнего вида, приведенные в таких источниках, как «Суйко-коряку», почти полностью соответствуют истине. Действительно, голова капп покрыта короткой шерстью, пальцы на руках и на ногах соединены плавательными перепонками. Рост каппы в среднем один метр. Вес, по данным доктора Чакка, колеблется между двадцатью и тридцатью фунтами. Говорят, впрочем, что встречаются изредка и каппы весом до пятидесяти фунтов. Далее, на макушке у каппы имеется углубление в форме овального блюдца. С возрастом дно этого блюдца становится все более твердым. Например, блюдце на голове стареющего Багга и блюдце у молодого Чакка совершенно различны на ощупь. Но самым поразительным свойством каппы является, пожалуй, цвет его кожи. Дело в том, что у каппы нет определенного цвета кожи. Он меняется в зависимости от окружения, — например, когда животное находится в траве, кожа его становится под цвет травы изумрудно-зеленой, а когда оно на скале, кожа приобретает серый цвет камня. Как известно, таким же свойством обладает и кожа хамелеонов. Не исключено, что структура кожного покрова у капп сходна с таковою у хамелеонов. Когда я узнал обо всем этом, мне

вспомнилось, что наш фольклор приписывает каппам западных провинций изумрудно-зеленый цвет кожи, а каппам северо-востока — красный. Вспомнил я также и о том, как ловко исчезал Багг, словно проваливался сквозь землю, когда я гнался за ним. Между прочим, у капп имеется, по-видимому, изрядный слой подкожного жира: несмотря на сравнительно низкую среднюю температуру в их подземной стране (около пятидесяти градусов по Фаренгейту), они не знают одежды. Да, любой каппа может носить очки, таскать с собой портсигар, иметь кошелек. Но отсутствие карманов не причиняет каппам особых неудобств, ибо каппа, как самка кенгуру, имеет на животе своем сумку, куда он может складывать всевозможные предметы. Станным мне показалось только, что они ничем не прикрывают чресла. Как-то я спросил Багга, чем это объясняется. Багг долго ржал, откидываясь назад, а затем сказал:

— А мне вот смешно, что вы это прячете!

4

Мало-помалу я овладел запасом слов, который каппы употребляли в повседневной жизни. Таким образом, я получил возможность ознакомиться с их нравами и обычаями. Больше всего меня поразило у них необычное и, я бы сказал, даже перевернутое представление о смешном и серьезном. То, что мы, люди, считаем важным и серьезным, вызывает у них смех, а то, что у нас, людей, считается смешным, они склонны рассматривать как нечто важное и серьезное. Так, например, мы очень серьезно относимся к понятиям гуманности и справедливости, а каппы, когда слышат эти слова, хватаются за животы от хохота. Короче говоря, понятия о юморе у нас и у капп совершенно разные. Однажды я рассказал доктору Чакку об ограничении деторождения. Выслушав меня, он разинул пасть и захохотал так, что у него свалилось пенсне. Я, разумеется, вспылил и потребовал объяснений. Возможно, я не уловил некоторых оттенков в его выражениях, ведь тогда я еще не очень хорошо понимал язык капп, но, насколько я помню, ответ Чакка был примерно таков:

— Разве не смешно считаться только с интересами родителей? Разве не проявляется в этом эгоизм и себялюбие?

Зато нет для нас, людей, ничего более нелепого, нежели роды у каппы. Через несколько дней после моего разговора с Чакком у жены Багга начались роды, и я отправился в хибарку Багга посмотреть, как это происходит. Роды у капп происходят так же, как у нас. Роженице помогают врач и акушерка. Но перед началом родов каппа-отец, прижавшись ртом к чреву роженицы, во весь голос, словно по телефону, задает вопрос: «Хочешь ли ты появиться на свет? Хорошенько подумай и отвечай!» Такой вопрос несколько раз повторил и Багг, стоя на коленях возле жены. Затем он встал и прополоскал рот дезинфицирующим раствором из чашки на столе. Тогда младенец, видимо, стесняясь, едва слышно отозвался из чрева матери:

— Я не хочу рождаться. Во-первых, меня пугает отцовская наследственность — хотя бы его психопатия. И, кроме того, я уверен, что каппам не следует размножаться.

Выслушав такой ответ, Багг смущенно почесал затылок. Между тем присутствовавшая при этом акушерка мигом засунула в утробу его жены толстую стеклянную трубку и впрыснула какую-то жидкость. Жена с облегчением вздохнула. В ту же минуту ее огромный живот опал, словно воздушный шар, из которого выпустили водород.

Само собой разумеется, что детеныши капп, коль скоро они способны давать такие ответы из материнского чрева, самостоятельно ходят и разговаривают, едва появившись на свет. По словам Чакка, был даже младенец, который двадцати шести дней от роду прочел лекцию на тему «Есть ли бог?». Правда, добавил Чакк, этот младенец в двухмесячном возрасте умер.

Раз уж речь зашла о родах, не могу не упомянуть о громадном плакате, который я увидел на углу одной улицы в конце третьего месяца моего пребывания в этой стране. В нижней части плаката были изображены каппы, трубящие в трубы, и каппы, размахивающие саблями. Верхняя же часть была испещрена значками, принятыми у капп в письменности,— спиралевидными

иероглифами, похожими на часовые пружинки. В переводе текст плаката означал приблизительно следующее (здесь я опять не могу поручиться, что избежал каких-то несущественных ошибок, но я заносил в записную книжку слово за словом так, как читал мне один каппа, студент Рапп, с которым мы вместе прогуливались):

«Вступайте в ряды добровольцев по борьбе против дурной наследственности!!

Здоровые самцы и самки!!

Чтобы покончить с дурной наследственностью, берите в супруги больных самцов и самок!!»

Разумеется, я тут же заявил Раппу, что такие вещи недопустимы. В ответ Рапп расхохотался. Загоготали и все другие каппы, стоявшие возле плаката.

— Недопустимы? Да ведь у вас делается то же самое, что и у нас, это явствует из ваших же рассказов. Как вы думаете, почему ваши барчуки влюбляются в горничных, а ваши барышни флиртуют с шоферами? Конечно, из инстинктивного стремления избавиться от дурной наследственности. А вот возьмем ваших добровольцев, о которых вы на днях мне рассказывали, — тех, что истребляют друг друга из-за какой-то там железной дороги, — на мой взгляд, наши добровольцы по сравнению с ними гораздо благороднее.

Рапп произнес это совершенно серьезно, только его толстое брюхо все еще тряслось, словно от сдерживаемого смеха. Но мне было не до веселья. Я заметил, что какой-то каппа, воспользовавшись моей небрежностью, украл у меня автоматическую ручку. Вне себя от возмущения, я попытался схватить его, но кожа у каппы скользкая, и удержать его не так-то просто. Он выскользнул у меня из рук и во всю прыть кинулся наутек. Он мчался, сильно наклоняя вперед свое тощее, словно у комара, тело, и казалось, что он вот-вот во всю длину растянется на тротуаре.

5

Рапп оказал мне много услуг, не меньше, чем Багг. Но главным образом я обязан ему тем, что он познакомил меня с Токком. Токк — поэт. Каппы-поэты носят длинные волосы и в этом не отличаются от наших

поэтов. Время от времени, когда мне становилось скучно, я отправлялся развлечься к Токку. Токка всегда можно было застать в его узкой каморке, заставленной горшками с высококорными растениями, среди которых он писал стихи, курил и вообще жил в свое удовольствие. В углу каморки с шитьем в руках сидела его самка. (Токк был сторонником свободной любви и не женился из принципа.) Когда я входил, Токк неизменно встречал меня улыбкой. (Правда, смотреть, как каппа улыбается, не очень приятно. Я, по крайней мере, первое время пугался.)

— Рад, что ты пришел, — говорил он. — Садись вот на этот стул.

Токк много и часто рассказывал мне о жизни капп и об их искусстве. По его мнению, нет на свете ничего более нелепого, нежели жизнь обыкновенного каппы. Родители и дети, мужья и жены, братья и сестры — все они видят единственную радость жизни в том, чтобы свирепо мучить друг друга. И уж совершенно нелепа, по словам Токка, система отношений в семье. Как-то раз Токк, выглянув в окно, с отвращением сказал:

— Вот полюбуйся!.. Какое идиотство!

По улице под окном тащился, с трудом переставляя ноги, совсем еще молодой каппа. На шее у него висели несколько самцов и самок, в том числе двое пожилых: видимо, его родители. Вопреки ожиданиям Токка, самоотверженность этого молодого каппы восхитила меня, и я стал его расхваливать.

— Ага, — сказал Токк, — я вижу, ты стал достойным гражданином и в этой стране... Кстати, ты ведь социалист?

Я, разумеется, ответил qua.

(Это на языке капп означает «да».)

— И ты без колебаний пожертвовал бы гением ради сотни посредственностей?

— А каковы твои убеждения, Токк? Кто-то говорил мне, что ты анархист.

— Я? Я — сверхчеловек! — гордо заявил Токк. (В дословном переводе — «сверхкаппа».)

Об искусстве у Токка тоже свое оригинальное мнение. Он убежден, что искусство не подвержено никаким влияниям, что оно должно быть искусством для искусства, что художник, следовательно, обязан быть

прежде всего сверхчеловеком, преступившим добро и зло. Впрочем, это точка зрения не одного только Токка. Таких же взглядов придерживаются почти все его коллеги-поэты. Мы с Токком не раз хаживали в клуб сверхчеловеков. В этом клубе собираются поэты, прозаики, драматурги, критики, художники, композиторы, скульпторы, дилетанты от искусства и прочие. И все они — сверхчеловеки. Когда бы мы ни пришли, они всегда сидели в холле, ярко освещенном электричеством, и оживленно беседовали. Время от времени они с гордостью демонстрировали друг перед другом свои сверхчеловеческие способности. Так, например, один скульптор, поймав молодого каппу между огромными горшками с чертовым папоротником, у всех на глазах усердно предавался содомскому греху. А самка-писательница, забравшись на стол, выпила подряд шестьдесят бутылок абсента. Допив шестидесятую, она свалилась со стола и тут же испустила дух.

Однажды прекрасным лунным вечером мы с Токком под руку возвращались из клуба сверхчеловеков. Токк, против обыкновения, был молчалив и подавлен. Когда мы проходили мимо маленького освещенного окна, Токк вдруг остановился. За окном сидели вокруг стола и ужинали взрослые самец и самка, видимо супруги, и трое детенышей. Токк глубоко вздохнул и сказал:

— Ты знаешь, я сторонник сверхчеловеческих взглядов на любовь. Но когда мне приходится видеть такую вот картину, я завидую.

— Не кажется ли тебе, что в этом есть какое-то противоречие?

Некоторое время Токк стоял молча в лунном сиянии, скрестив на груди руки, и смотрел на мирную трапезу пятерых капп. Затем он ответил:

— Пожалуй. Ведь что ни говори, а вон та яичница на столе гораздо полезнее всякой любви.

6

Дело в том, что любовь у капп очень сильно отличается от любви у людей. Самка, заметив подходящего самца, стремится немедленно овладеть им. При этом она не брезгует никакими средствами. Наиболее честные и

прямодушные самки просто без лишних слов кидаются на самца. Я своими глазами видел, как одна самка словно помешанная гналась за удиравшим возлюбленным. Мало того, вместе с молодой самкой за беглецом нередко гоняются и ее родители и братья... Бедные самцы! Даже если счастье им улыбнется и они сумеют улизнуть от погони, им наверняка приходится недели две-три отлеживаться после такой гонки.

Как-то я сидел дома и читал сборник стихов Токка. Неожиданно в комнату влетел студент Рапп. Упал на пол и, задыхаясь, проговорил:

— Какой кошмар!.. Меня все-таки изловили!

Я отбросил книжку и запер дверь на ключ. Затем поглядел в замочную скважину. Перед дверью слонялась низкорослая самочка с физиономией, густо напудренной серой. Рапп несколько недель пролежал в моей постели. В довершение всего у него сгнил и начисто отвалился клюв.

Впрочем, иногда бывает и так, что самец очертя голову гоняется за самкой. Но и в этих случаях все подстраивается самкой. Она делает так, что самец просто не может не гнаться за нею. Однажды мне пришлось видеть самца, который как сумасшедший преследовал самку. Самка старательно убегала, но то и дело останавливалась и оглядывалась, дразнила преследователя, становясь на четвереньки, а когда заметила, что дальше тянуть нельзя, сделала вид, что выбилась из сил, и с удовольствием дала себя поймать. Самец схватил ее и повалился с нею на землю. Когда некоторое время спустя он поднялся, вид у него был совершенно жалкий, лицо изображало не то раскаяние, не то разочарование. Но он еще дешево отделался. Мне пришлось наблюдать и другую сцену. Маленький самец гнался за самкой. Самка, как ей и полагается, на бегу его соблазняла. Тут им навстречу, громко сопя, из переулка вышел самец огромного роста. Самка мельком взглянула на него и вдруг, бросившись к нему, завопила пронзительным голосом: «На помощь! Помогите! Этот негодяй гонится за мной и хочет меня убить!» Огромный самец, не долго думая, схватил маленького и повалил на мостовую. И малыш, судорожно хватая воздух своими перепончатыми лапками, тут же испустил дух. А что же самка? Она уже висела на шее огромного самца,

крепко-накрепко вцепившись в него, и завлекательно ухмылялась.

Все каппы-самцы, которых я знал, подвергались преследованиям со стороны самок. Самки гонялись даже за Баггом, имевшим жену и детей. Его даже неоднократно догоняли. И только один философ по имени Магг (он жил по соседству с поэтом Токком) не попался ни разу. Отчасти это, пожалуй, объясняется тем, что трудно было найти самца более безобразной наружности. С другой стороны, Магг, в отличие от других самцов, очень редко появлялся на улице. Иногда я заходил к нему, и мы беседовали. Магг всегда сидел в своей сумрачной комнате, освещенной фонариком с разноцветными стеклами, за высоким столом и читал какие-то толстые книги. Однажды я заговорил с ним о проблемах любви.

— Почему ваше правительство не применит к самкам, преследующим самцов, строгие санкции? — спросил я.

— Прежде всего потому, — ответил Магг, — что в правительственном аппарате очень мало самок. Известно ведь, что самки гораздо ревнивее самцов. И если число самок в правительственных органах увеличить, самцы, вероятно, вздохнули бы свободнее. А впрочем, я уверен, что подобные меры не дали бы никаких результатов. Почему? Да хотя бы потому, что самки-чиновники принялись бы гоняться и за самцами-коллегами.

— Что ж, тогда, пожалуй, лучше всего вести такой образ жизни, какой ведете вы, Магг.

Магг встал со стула и, сжимая обе мои руки в своих, сказал со вздохом:

— Вы не каппа, и вам не понять этого. Мне иногда очень хочется, чтобы эти ужасные самки меня преследовали.

7

Нередко мы с поэтом Токком ходили на концерты. Особенно запомнился мне третий концерт. Концертный зал в стране капп почти ничем не отличается от концертного зала в Японии. Такие же ряды кресел, возвышающиеся один над другим, и в креслах, обратившись в

слух, сидят три-четыре сотни самцов и самок с непременными программами в руках. На третий концерт, о котором я хочу рассказать, меня, кроме Токка и его самки, сопровождал еще и философ Магг. Мы занимали места в первом ряду. Было исполнено соло на виолончели, а затем на сцену поднялся, небрежно помахивая нотами, каппа с необычайно узкими глазами. Как указывалось в программе, это был знаменитый композитор Крабак. В программе... Впрочем, мне не было нужды заглядывать в программу. Крабак состоял в клубе сверхчеловеков, к которому принадлежал Токк, и я знал его в лицо. «Lied-craback»¹ (в этой стране даже программы печатались главным образом на немецком языке).

Слегка поклонившись в ответ на бурные аплодисменты, Крабак спокойно направился к роялю и с тем же небрежным видом принялся играть песню собственного сочинения. По словам Токка, таких гениальных музыкантов, как Крабак, никогда не было и никогда больше не будет в этой стране. Крабак меня очень интересовал — я имею в виду и его музыку, и его лирические стихи, — и я внимательно вслушивался в звуки рояля. Токк и Магг, вероятно, были захвачены музыкой еще сильнее, чем я. Лишь одна прекрасная (так, во всяком случае, считали каппы) самка нетерпеливо сжимала в руках программу и время от времени презрительно высывала длинный язык. Как мне рассказывал Магг, лет десять назад она гонялась за Крабаком, не сумела его изловить и с тех пор ненавидела этого гениального музыканта.

Крабак продолжал играть, распаяясь все больше, словно борясь с роялем, как вдруг по залу громом прокатился возглас:

— Концерт запрещаю!

Я вздрогнул и испуганно обернулся. Сомнений не могло быть. Голос принадлежал великолепному полицейскому огромного роста, сидевшему в последнем ряду. Как раз когда я обернулся, он спокойно, не вставая с места, прокричал еще громче:

— Концерт запрещаю!

А затем...

¹ «Песня-Крабак» (нем.).

Затем поднялся ужасный шум. Публика взревела: «Полицейский произвол!», «Играй, Крабак!», «Играй!», «Идиоты!», «Сволочи!», «Убирайся!», «Не сдавайся!». Падали кресла, летели программы, кто-то принялся швыряться пустыми бутылками из-под сидра, камнями и даже огрызками огурцов... Совершенно ошеломленный, я попытался было выяснить у Токка, что происходит, но Токк был уже вне себя от возбуждения. Вскочив на сиденье кресла, он беспрерывно вопил: «Играй, Крабак! Играй!» И даже красавица, забыв о своей ненависти к Крабаку, визжала, заглушая Токка: «Полицейский произвол!» Тогда я обратился к Маггу.

— Что случилось?

— А, это у нас в стране бывает довольно часто. Видите ли, мысль, которую выражает картина или литературное произведение...— Магг говорил, как всегда, тихо и спокойно, только слегка втягивая голову в плечи, чтобы уклониться от пролетающих мимо предметов.— Мысль, которую выражает, скажем, картина или литературное произведение, обычно понятна всем с первого взгляда, поэтому запрета на опубликование книг и на выставки у нас в стране нет. Зато у нас практикуются запреты на исполнение музыкальных произведений. Ведь музыкальное произведение, каким бы вредным для нравов оно ни было, все равно непонятно для капп, не имеющих музыкального слуха.

— Значит, этот полицейский обладает музыкальным слухом?

— Ну... Это, знаете ли, сомнительно. Скорее всего эта музыка напомнила ему, как у него бьется сердце, когда он ложится в постель со своей женой.

Между тем скандал разгорался все сильнее. Крабак по-прежнему сидел за роялем и надменно взирал на нас. И хотя надменности его сильно мешала необходимость то и дело уклоняться от летящих в него метательных снарядов, в общем ему удавалось сохранять достоинство великого музыканта, и он только яростно сверкал на нас узкими глазами. Я... Я тоже, конечно, всячески старался избежать опасности и прятался за Токка. Но любопытство меня одолевало, и я продолжал расспрашивать Магга:

— А не кажется ли вам, что такая цензура — варварство?

— Ничего подобного. Напротив, наша цензура гораздо прогрессивнее цензуры в какой-либо другой стране. Возьмите хотя бы Японию. Всего месяц назад там...

Но как раз в этот момент Маггу в самую макушку угодила пустая бутылка. Он вскрикнул «quack!» (это просто междометие) и повалился без памяти.

8

Как это ни странно, но директор стекольной фирмы Гэр вызывал у меня симпатию. Гэр — это капиталист из капиталистов. Пожалуй, не приходится сомневаться, что ни у одного каппы в этой стране нет такого огромного брюха, как у Гэра, и тем не менее, когда он восседает в глубоком удобном кресле в окружении своей жены, похожей на устрицу, и детей, похожих на огурцы, он представляется олицетворением самого счастья. Время от времени я в сопровождении судьи Бэппа и доктора Чакка бывал в доме Гэра на банкетах. Посещал я с рекомендательным письмом Гэра и различные предприятия, принадлежавшие как самому Гэру, так и лицам, связанным с его друзьями. Среди этих различных предприятий меня особенно заинтересовала фабрика одной книгоиздательской компании. Когда я с молодым инженером-каппой оказался в цехах и увидел гигантские машины, работающие на гидроэлектроэнергии, меня вновь поразил и восхитил высокий уровень техники в этой стране. Как выяснилось, фабрика производила до семи миллионов экземпляров книг ежегодно. Но поразило меня не количество экземпляров. Удивительным было то, что для производства книг здесь не требовалось ни малейших затрат труда. Оказывается, чтобы создать книгу, в этой стране нужно только заложить в машину через специальный воронкообразный приемник бумагу, чернила и какое-то серое порошкообразное вещество. Не проходит и пяти минут, как из недр машины начинают бесконечным потоком выходить готовые книги самых разнообразных форматов — в одну восьмую, одну двенадцатую, одну четвертую печатного листа. Глядя на водопад книг, извергаемый машиной, я спросил у инженера, что представляет собой серый порошок, который подается в приемник.

Инженер, неподвижно стоявший перед блестящими черными механизмами, рассеянно ответил:

— Серый порошок? Это ослиные мозги. Их предварительно просушивают, а затем измельчают в порошок, только и всего. Сейчас они идут по два-три эна за тонну.

Подобные технические чудеса, конечно, имеют место не только в книгоиздательских компаниях. Примерно теми же методами пользуются и компании по производству картин, и компании по производству музыки. По словам Гэра, в этой стране ежемесячно изобретается от семисот до восьмисот новых механизмов, а массовое производство уже отлично обходится без рабочих рук. В результате по всем предприятиям ежемесячно увольняются не менее сорока — пятидесяти тысяч рабочих. Между тем в газетах, которые я в этой стране аккуратно просматривал каждое утро, мне ни разу не попало слово «безработица». Такое обстоятельство показалось мне странным, и однажды, когда мы вместе с Бэппом и Чакком были приглашены на очередной банкет к Гэру, я попросил разъяснений.

— Уволенных у нас съедают,— небрежно ответил Гэр, попыхивая послеобеденной сигарой.

Я не понял, что он имеет в виду, и тогда Чакк в своем неизменном пенсне на клюве взял на себя труд разрешить мое недоумение.

— Всех этих уволенных рабочих умерщвляют, и их мясо идет в пищу. Вот, поглядите газету. Видите? В этом месяце было уволено шестьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят девять рабочих, и точно в соответствии с этим понизились цены на мясо.

— И они покорно позволяют себя убивать?

— А что им остается делать? На то и существует закон об убое рабочих.

Последние слова принадлежали Бэппу, с кислой физиономией сидевшему позади горшка с горным персиком. Я был совершенно обескуражен. Однако же ни господин Гэр, ни Бэпп, ни Чакк не видели во всем этом ничего противоестественного. После паузы Чакк с усмешкой, показавшейся мне издевательской, заговорил опять:

— Таким образом государство сокращает число случаев смерти от голода и число самоубийств. И, право,

это не причиняет им никаких мучений — им только дают понюхать немного ядовитого газа.

— Но все же есть их мясо...

— Ах, оставьте, пожалуйста. Если бы вас сейчас услышал наш философ Магг, он лопнул бы от смеха. А не в вашей ли это стране, простите, плебеи продают своих дочерей в проститутки? Странная сентиментальность — возмущаться тем, что мясо рабочих идет в пищу!

Гэр, слушавший наш разговор, спокойно сказал, пододвигая ко мне блюдо с бутербродами, стоявшее на столике рядом:

— Так как же? Может быть, попробуете? Ведь это тоже мясо рабочих...

Я совсем растерялся. Мне стало худо. Провожаемый хохотом Бэппа и Чакка, я выскочил из гостиной Гэра. Ночь была бурная, в небе не сверкала ни одна звезда. Я возвращался домой в полной темноте и блевал без передышки. И моя рвота белела пятнами даже в крошечном ночном мраке.

9

И все же директор стекольной фирмы Гэр был, вне всякого сомнения, весьма симпатичным каппой. Мы с Гэром часто посещали клуб, членом которого он состоял, и приятно проводили там время. Дело в том, что клуб этот был гораздо уютнее клуба сверхчеловеков, в котором состоял Токк. И, кроме того, наши беседы с Гэром — пусть они не были так глубоки, как беседы с философом Маггом, — открывали передо мною совершенно новый, беспредельно широкий мир. Гэр с охотой и удовольствием разглагольствовал на самые различные темы, помешивая кофе ложечкой из чистого золота.

Как-то туманным вечером я сидел среди ваз с зимними розами и слушал Гэра. Помнится, разговор этот происходил в комнате, отделанной и обставленной в новейшем стиле, — тонкие золотые линии прорезали белизну стен, потолка и мебели. Гэр с усмешкой еще более самодовольной, чем обычно, рассказывал о кабинете министров партии «Куоракс», вставшей недавно

у кормила государства. Слово «куоракс» является междометием, не имеющим никакого особенного смысла, и иначе, чем «ого», его не переведешь. Впрочем, как бы то ни было, партия действует под лозунгом «В интересах всех капп».

— Партией «Куоракс» заправляет известный политический деятель Роппэ. Бисмарк когда-то сказал: «Честность — лучшая дипломатия». А Роппэ возвел честность и в принцип внутренней политики...

— Да ведь речи Роппэ...

— Не прерывайте, выслушайте меня сначала. Да, все его речи — сплошная ложь. Но поскольку всем хорошо известно, что его речи — ложь, то в конечном счете это все равно, как если бы он говорил сущую правду. И только такие предубежденные существа, как вы, люди, могут называть его лжецом. Мы, каппы, во все не так... Впрочем, это не суть важно. Мы говорили о Роппэ. Итак, Роппэ заправляет партией «Куоракс». Но и у Роппэ есть хозяин. Это Куикуи, владелец газеты «Пу-Фу» («пу-фу» тоже междометие, которое можно перевести примерно как «ох»). Однако Куикуи тоже имеет своего хозяина. И этот хозяин — некий господин Гэр, сидящий сейчас перед вами.

— Однако... Простите, возможно, я не совсем понял... Но ведь газета «Пу-Фу», насколько мне известно, защищает интересы рабочих. И если, как вы утверждаете, владелец этой газеты подчиняется вам...

— Что касается сотрудников газеты «Пу-Фу», то они действительно являются защитниками интересов рабочих. Но распоряжается ими не кто иной, как Куикуи. А Куикуи шагу ступить не может без поддержки вашего покорного слуги Гэра.

Гэр, по-прежнему ухмыляясь, играл своей золотой ложечкой. Я глядел на него и испытывал не столько ненависть к нему, сколько сочувствие к несчастным сотрудникам «Пу-Фу». Видимо, Гэр разгадал мои мысли и, выпячивая огромное брюхо, сказал:

— Да нет же, далеко не все сотрудники «Пу-Фу» защищают интересы рабочих. Ведь каждый каппа прежде всего защищает свои собственные интересы, так уж мы устроены... И, кроме того, положение осложняется еще одним обстоятельством. Дело в том, что и я, Гэр, не свободен в своих действиях. Как по-вашему, кто

руководит мною? Моя супруга. Прекрасная госпожа Гэр.

Гэр загоготал.

— Выполнять повеления госпожи Гэр — большое счастье, — любезно сказал я.

— Во всяком случае, я доволен. Но говорить обо всем этом так откровенно я могу, конечно, только с вами — поскольку вы не каппа.

— Итак, в конечном счете кабинетом «Куоракса» управляет госпожа Гэр?

— Гм... Право, не знаю, можно ли так сказать... Впрочем, война, которую мы вели семь лет назад, началась действительно из-за самки.

— Война? Значит, у вас тоже были войны?

— Конечно, были. И сколько их еще будет! Знаете, пока существуют соседние государства...

Так я впервые узнал, что страна водяных не является единственным в своем роде государством в этом мире. Гэр рассказал мне, что испокон веков потенциальными противниками капп были выдры. Вооружение и оснащение выдр ни в чем не уступает вооружению и оснащению, которыми располагают каппы. Этот разговор о войнах между каппами и выдрами очень заинтересовал меня. Действительно, тот факт, что каппы имеют в лице выдр сильного противника, не был известен ни автору «Суйко-коряку», ни тем более господину Кунио Янагида, автору «Сборника народных легенд Ямасима».

— Само собой разумеется, — продолжал Гэр, — что до начала войны обе стороны непрерывно шпионили друг за другом. Ведь мы испытывали панический страх перед выдрами, а выдры точно так же боялись нас. И вот в такое время некий выдра, проживавший в нашей стране, нанес визит одной супружеской чете. Между тем самка в этой чете как раз замышляла убийство мужа. Он был изрядным распутником, и, кроме того, жизнь его была застрахована, что тоже, вероятно, не в малой степени искушало самку.

— Вы были знакомы с ними?

— Да... Впрочем, нет. Я знал только самца, мужа. Моя супруга считает его извергом, но, на мой взгляд, он не столько изверг, сколько несчастный сумасшедший с извращенным половым воображением, ему вечно

мерещились преследования со стороны самок... Так вот, жена подсыпала ему в какао цианистого калия. Не знаю, как уж это получилось, но только чашка с ядом оказалась перед гостем-выдрой. Выдра выпил и, конечно, издох. И тогда...

— Началась война?

— Да. К несчастью, этот выдра имел ордена.

— И кто же победил?

— Разумеется, мы. Ради этой победы мужественно сложили головы триста шестьдесят девять тысяч пятьсот капп! Но эти потери ничтожны по сравнению с потерями противника. Кроме выдры, у нас не увидишь никакого другого меха. Я же во время войны, помимо производства стекла, занимался доставкой на фронт каменноугольного шлака.

— А зачем на фронте каменноугольный шлак?

— Это же продовольствие. Мы, каппы, если у нас подведет животы, можем питаться чем угодно.

— Ну, знаете... Не обижайтесь, пожалуйста, но для капп, находившихся на полях сражений... У нас в Японии такую вашу деятельность заклеямили бы позором.

— И у нас тоже заклеямили бы, можете не сомневаться. Только раз я сам говорю об этом, никто больше позорить меня не станет. Знаете, как говорит философ Магг? «О содеянном тобою зло скажи сам, и зло исчезнет само собой...» Заметьте кстати, что двигало мною не одно лишь стремление к наживе, но и благородное чувство патриотизма!

В эту минуту к нам приблизился клубный лакей. Он поклонился Гэру и произнес, словно декламируя на сцене:

— В доме по соседству с вашим — пожар.

— По... Пожар!

Гэр испуганно вскочил на ноги. Я, разумеется, тоже встал. Лакей бесстрастно добавил:

— Но пожар уже потушен.

Физиономия Гэра, провожавшего взглядом лакея, выражала нечто вроде смеха сквозь слезы. И именно тогда я обнаружил, что давно ненавижу этого директора стекольной фирмы. Но предо мною был уже не крупнейший капиталист, а самый обыкновенный каппа. Я извлек из вазы букет зимних роз и, протянув его Гэру, сказал:

— Пожар потушен, но ваша супруга, вероятно, переволновалась. Возьмите эти цветы и отправляйтесь домой.

— Спасибо...

Гэр пожал мне руку. Затем он вдруг самодовольно ухмыльнулся и произнес шепотом:

— Ведь этот соседний дом принадлежит мне. И теперь я получу страховую премию.

Эта ухмылка... Я и сейчас еще помню эту ухмылку Гэра, которого я тогда не мог ни презирать, ни ненавидеть.

10

— Что с тобой сегодня? — спросил я студента Раппа. — Что тебя так угнетает?

Это было на другой день после пожара. Мы сидели у меня в гостиной. Я курил сигарету, а Рапп с расстроенным видом, закинув ногу на ногу и опустив голову так, что не видно было его сгнившего клюва, глядел в пол.

— Так что же с тобой, Рапп?

Рапп наконец поднял голову.

— Да нет, пустяки, ничего особенного, — печально отозвался он гнусавым голосом. — Стою я это сегодня у окна и так, между прочим, говорю тихонько: «Ого, вот уж и росянки-мухоловки расцвели...» И что вы думаете, сестра моя вдруг взъярилась и на меня набросилась: «Это что же, мол, ты меня мухоловкой считаешь?» И пошла меня пилить. Тут же к ней присоединилась и мать, которая ее всегда поддерживает.

— Позволь, но какое отношение цветущие мухоловки имеют к твоей сестре?

— Она, наверное, решила, будто я намекаю на то, что она все время гоняется за самцами. Ну, в ссору вмешалась тетка — она вечно не в ладах с матерью. Скандал разгорелся ужасный. Услыхал нас вечно пьяный отец и принялся лупить всех без разбора. В довершение всего мой младший братишка, воспользовавшись суматохой, стащил у матери кошелек с деньгами и удрал... не то в кино, не то еще куда-то. А я... Я уже...

Рапп закрыл лицо руками и беззвучно заплакал.

Само собой разумеется, что мне стало жаль его. Само собой разумеется и то, что я тут же вспомнил, как презирает систему семейных отношений поэт Токк. Я похлопал Раппа по плечу и стал по мере своих сил и возможностей утешать его.

— Это случается в каждой семье, — сказал я. — Не стоит так расстраиваться.

— Если бы... Если бы хоть клюв был цел...

— Ну, тут уж ничего не поделаешь. Послушай, а не пойти ли нам к Токку, а?

— Господин Токк меня презирает. Я ведь не способен, как он, раз навсегда порвать с семьей.

— Тогда пойдем к Крабаку.

После концерта, о котором я упоминал, мы с Крабаком подружились, поэтому я мог отважиться повести Раппа в дом этого великого музыканта. Крабак жил гораздо роскошнее, чем, скажем, Токк, хотя, конечно, не так роскошно, как капиталист Гэр. В его комнате, битком набитой всевозможными безделушками — терракотовыми статуэтками и персидской керамикой, — помещался турецкий диван, и сам Крабак обычно восседал на этом диване под собственным портретом, играя со своими детишками. Но на этот раз он был почему-то один. Он сидел с мрачным видом, скрестив на груди руки. Пол у его ног был усыпан клочьями бумаги. Рапп вместе с поэтом Токком неоднократно, должно быть, встречался с Крабаком, но сейчас, увидев, что Крабак не в духе, перетрусил и, отвесив ему робкий поклон, молча присел в углу.

— Что с тобой, Крабак? — осведомился я, едва успев поздороваться.

— Ты еще спрашиваешь! — отозвался великий музыкант. — Как тебе нравится этот кретин критик? Объявил, будто моя лирика никуда не годится по сравнению с лирикой Токка!

— Но ведь ты же музыкант...

— погоди. Это бы еще можно вытерпеть. Но ведь этот негодяй, кроме того, утверждает, что в сравнении с Рокком я ничто, меня нельзя даже назвать музыкантом!

Рокк — это музыкант, которого постоянно сравнивают с Крабаком. К сожалению, он не состоял членом клуба сверхчеловеков, и я не имел случая с ним

побеседовать. Но его характерную физиономию со вздернутым клювом я хорошо знал по фотографиям в газетах.

— Рокк, конечно, тоже гений, — сказал я. — Но его произведениям не хватает современной страстности, которая льется через край в твоей музыке.

— Ты действительно так думаешь?

— Да, именно так.

Крабак вдруг вскочил на ноги и, схватив одну из танагрских статуэток, с размаху швырнул ее на пол. Перепуганный Рапп взвизгнул и бросился было наутек, но Крабак жестом предложил нам успокоиться, а затем холодно сказал:

— Ты думаешь так потому, что, как и всякая посредственность, не обладаешь слухом. А я — я боюсь Рокка.

— Ты? Не скромничай, пожалуйста!

— Да кто же скромничает? С какой стати мне скромничать? Я корчу из себя скромника перед вами не больше, чем перед критиками! Я — Крабак, гений! В этом смысле Рокк мне не страшен.

— Чего же ты тогда боишься?

— Чего-то неизвестного... Может быть, звезды, под которой родился Рокк.

— Что-то я тебя не понимаю.

— Попробую выразиться иначе, чтобы было понятнее. Рокк не воспринимает моего влияния. А я всегда, незаметно для себя, оказываюсь под влиянием Рокка.

— Твоя восприимчивость...

— Ах, оставь, пожалуйста! При чем здесь восприимчивость? Рокк работает спокойно и уверенно. Он всегда занимается вещами, с которыми может справиться он один. А я вот не таков. Я неизменно пребываю в состоянии раздражения и растерянности. Возможно, с точки зрения Рокка, расстояние между нами не составляет и шага. Я же считаю, что нас разделяют десятки миль.

— Но ваша «Героическая симфония», маэстро!.. — робко проговорил Рапп.

— Замолчи! — Узкие глаза Крабака сузились еще больше, и он с отвращением поглядел на студента. — Что ты понимаешь? Ты и тебе подобные! Я знаю Рокка лучше, чем все эти собаки, которые лизут ему ноги!

— Ну, хорошо, хорошо. Успокойся.

— Если бы я мог успокоиться... Я только и мечтаю об этом... Кто-то неведомый поставил на моем пути этого Рокка, чтобы глумиться надо мною, Крабаком. Философ Магг хорошо понимает все это. Да-да, понимает, хотя только и делает, что листает растрепанные фолианты под своим семицветным фонарем...

— Как так?

— Прочитай его последнюю книгу — «Слово идиота».

Крабак подал, вернее, швырнул мне книгу. Затем он вновь скрестил на груди руки и грубо сказал:

— До свидания.

И снова мы с окончательно приунывшим Раппом оказались на улице. Как всегда, улица была полна народу, в тени буковых аллей тянулись ряды всевозможных лавок и магазинов. Некоторое время мы шли молча. Неожиданно нам повстречался длинноволосый поэт Токк. Завидев нас, он остановился, вытащил из сумки на животе носовой платок и принялся вытирать пот со лба.

— Давно мы с вами не виделись, — сказал он. — А я вот иду к Крабаку. У него я тоже давно не бывал...

Мне не хотелось, чтобы между этими двумя деятелями искусства возникла ссора, и я кое-как, намеками, объяснил Токку, что Крабак сейчас немного не в себе.

— Вот как? — сказал Токк. — Ну, что же, визит придется отложить. Да ведь Крабак — неврастеник... Между прочим, я тоже в последнее время мучаюсь от бессонницы.

— Может быть, прогуляешься с нами?

— Нет, лучше не надо... Ай!

Токк вдруг судорожно вцепился в мою руку. Он весь, с ног до головы, покрылся холодным потом.

— Что с тобой?

— Что с вами?

— Мне показалось, что из окна вон той машины высунулась зеленая обезьяна...

Обеспокоенный, я посоветовал Токку на всякий случай показаться доктору Чакку. Но как я ни настаивал, он и слушать не хотел об этом. Ни с того ни с сего он стал подозрительно к нам приглядываться и в конце концов заявил:

— Я никогда не был анархистом. Запомните это и никогда не забывайте... А теперь прощайте. И простите, пожалуйста, не нужен мне ваш доктор Чакк.

Мы стояли в растерянности и смотрели в спину удаляющемуся Токку. Мы... Впрочем, нет, не мы, а я один. Студент Рапп вдруг очутился на середине улицы. Он стоял нагнувшись и через широко расставленные ноги разглядывал непрерывный поток автомобилей и прохожих. Решив, что и этот каппа свихнулся, я поспешил выпрямить его:

— Что еще за шутки? Что ты делаешь?

Рапп, протирая глаза, ответил неожиданно спокойно:

— Ничего особенного. Просто так гадко стало на душе, что я решил посмотреть, как выглядит мир вверх ногами. Оказывается, все то же самое.

11

Вот некоторые выдержки из книги философа Магга «Слово идиота».

*

Идиот убежден, что все, кроме него,— идиоты.

*

Наша любовь к природе объясняется, между прочим, и тем, что природа не испытывает к нам ни ненависти, ни зависти.

*

Самый мудрый образ жизни заключается в том, чтобы, презирая нравы и обычаи своего времени, тем не менее ни в коем случае их не нарушать.

*

Больше всего нам хочется гордиться тем, чего у нас нет.

*

Никто не возражает против того, чтобы разрушить идолов. В то же время никто не возражает против того, чтобы самому стать идолом. Однако спокойно пребывать на пьедестале могут только удостоенные особой милости богов — идиоты, преступники, герои. (Это место Крабак отчеркнул ногтем.)

*

Вероятно, все идеи, необходимые для нашей жизни, были высказаны еще три тысячи лет назад. Нам остается, пожалуй, только добавить нового огня.

*

Наша особенность состоит в постоянном преодолении собственного сознания.

*

Если счастье невысказимо без боли, а мир невысказим без разочарования, то?..

*

Защищать себя труднее, нежели защищать постороннего. Сомневающийся да обратит взгляд на адвоката.

*

Гордыня, сластолюбие, сомнение — вот три причины всех пороков, известные по опыту последних трех тысяч лет. Вероятно, и всех добродетелей тоже.

*

Обуздание физических потребностей вовсе не обязательно приводит к миру. Чтобы обрести мир, мы должны обуздать и свои духовные потребности. (Здесь Крабак тоже оставил след своего ногтя.)

*

Мы, каппы, менее счастливы, чем люди. Люди не так развиты, как каппы. (Читая эти строки, я не мог сдерживать улыбку.)

*

Свершить — значит мочь, а мочь — значит свершить. В конечном итоге наша жизнь не в состоянии вырваться из этого порочного круга. Другими словами, в ней нет никакой логики.

*

Став слабоумным, Бодлер выразил свое мировоззрение одним только словом, и слово это было — «женщина». Но для самовыражения ему не следовало так говорить. Он слишком полагался на свой гений, гений поэта, который обеспечивал ему существование. И потому он забыл другое слово. Слово это — «желудок». (Здесь тоже остался след ногтя Крабака.)

*

Полагаясь во всем на разум, мы неизбежно придем к отрицанию собственного существования. То обстоятельство, что Вольтер, обожествивший разум, был счастлив в своей жизни, лишней раз доказывает отсталость людей по сравнению с каппами.

12

Однажды, в довольно прохладный день, когда мне наскучило читать «Слово идиота», я отправился к философу Маггу. На углу какого-то пустынного переулка я неожиданно увидел тощего, как комар, каппу, стоявшего, лениво прислонившись к стене. Ошибки быть не могло, это был тот самый каппа, который когда-то украл у меня автоматическую ручку. «Попался!» — подумал я и немедленно подозвал проходившего мимо громадного полицейского.

323

— Задержите, пожалуйста, вон того каппу,— сказал я.— Около месяца назад он украл мою автоматическую ручку.

Полицейский поднял дубинку (в этой стране полицейские вместо сабель имеют при себе дубинки из тиса) и окликнул вора: «Эй ты, поди-ка сюда!» Я ожидал, что вор кинется бежать. Ничего подобного. Он очень спокойно направился к полицейскому. Мало того, скрестив на груди руки, он как-то надменно глядел нам прямо в лицо. Это, впрочем, нисколько не рассердило полицейского, который извлек из сумки на животе записную книжку и тут же приступил к допросу:

— Имя?

— Грук.

— Чем занимаешься?

— До недавнего времени был почтальоном.

— Отлично. Вот этот человек утверждает, что ты украл у него автоматическую ручку.

— Да. Это было около месяца назад.

— Для чего?

— Дал ее поиграть моему ребенку.

Полицейский вперил в Грука острый взгляд.

— И что же этот ребенок?

— Неделю назад умер.

— Свидетельство о смерти при тебе?

Тощий каппа вытащил из сумки на животе лист бумаги и протянул полицейскому. Тот пробежал его глазами, улыбнулся, и, похлопав Грука по плечу, сказал:

— Все в порядке. Прости за беспокойство.

Совершенно ошеломленный, я уставился на полицейского. Тощий каппа, что-то бурча себе под нос, удалился. Придя наконец в себя, я спросил:

— Почему вы его отпустили?

— Он невиновен,— ответил полицейский.

— Но ведь он украл мою ручку...

— Украл, чтобы дать поиграть своему ребенку, а ребенок умер. Если вы в чем-либо сомневаетесь, прочтите статью номер одна тысяча двести восемьдесят пять уголовного кодекса.

Полицейский повернулся ко мне спиной и быстро зашагал прочь. Что мне оставалось делать? Я торопливо направился к Маггу, твердя про себя: «Статья тысяча двести восемьдесят пять уголовного кодекса».

Философ Магг любил гостей. В тот день в его полутемной комнате собрались судья Бэпп, доктор Чакк и директор стекольной фирмы Гэр. Все они курили, и дым от их сигар поднимался к семицветному фонарю. Самой большой удачей для меня было то, что явился судья Бэпп. Едва успев сесть, я обратился к нему, но вместо вопроса о статье тысяча двести восемьдесят пять задал другой вопрос:

— Тысяча извинений, господин Бэпп. Скажите, наказывают ли преступников в вашей стране?

Бэпп не спеша выпустил дым от сигары с золотым ободком и со скучающим видом ответил:

— Разумеется, наказывают. Практикуется даже смертная казнь.

— Дело в том, что месяц назад...

Изложив подробно всю историю с авторучкой, я осведомился о содержании статьи одна тысяча двести восемьдесят пять уголовного кодекса.

— Угу,— сказал Бэпп.— Статья эта гласит: «Каково бы ни было преступление, лицо, совершившее это преступление, наказанию не подлежит, после того как причина или обстоятельство, побудившие к совершению этого преступления, исчезли». Возьмем ваш случай. Совершена кража, этот каппа был отцом, но теперь он больше не отец, и потому преступление его само собой перестало существовать.

— Какая нелепость!

— Ничего подобного. Нелепостью было бы приравнять каппу, который *был* отцом, к каппе, который *является* отцом. Впрочем, простите, ведь японские законы не видят в этом никакого различия. Но нам это, простите, кажется смешным. Хо-хо-хо-хо-хо...

И, бросив сигару, Бэпп разразился пронзительным смехом. Тогда в разговор вмешался доктор Чакк, лицо весьма далекое от юриспруденции. Поправив пенсне, он задал мне вопрос:

— В Японии тоже существует смертная казнь?

— Конечно, существует. Смертная казнь через повешение.

Меня разозлило равнодушие Бэппа, и я поспешил добавить язвительно:

— Но в вашей стране, несомненно, казнят более просвещенным способом, не так ли?

— Да, у нас казнят более просвещенным способом,— по-прежнему спокойно подтвердил Бэпп.— В нашей стране казнь через повешение не практикуется. Иногда для этого используется электричество. А вообще и электричество нам не приходится применять. Как правило, у нас просто провозглашают перед преступником название преступления.

— И преступник умирает от этого?

— Совершенно верно, умирает. Не забудьте, что у нас, у капп, нервная организация гораздо тоньше, чем у вас, людей.

— Такой вот метод применяется не только для смертных казней, но и для убийства,— сказал директор стекольной фирмы Гэр. Он был весь сиреневый от падающих на него разноцветных бликов и благодушно мне улыбался.— Совсем недавно один социалист обозвал меня вором, и я чуть не умер от разрыва сердца.

— Это случается гораздо чаще, чем мы полагаем. Недавно вот так умер один мой знакомый адвокат.

Это заговорил философ Магг, и я повернулся к нему. Магг продолжал, ни на кого не глядя, с обычной своей иронической усмешкой:

— Кто-то обозвал его лягушкой... Вы, конечно, знаете, что в нашей стране обозвать лягушкой — это все равно что назвать подлецом из подлецов... И вот он задумался, и думал дни и ночи напролет, лягушка он или не лягушка, и в конце концов умер.

— Это, пожалуй, самоубийство,— сказал я.

— И все же его назвали лягушкой с намерением убить. С вашей, человеческой, точки зрения, это, может быть, можно рассматривать как самоубийство...

В этот самый момент за стеной, там, где находилась квартира поэта Токка, треснул сухой, разорвавший воздух пистолетный выстрел.

Мы немедленно бросились туда. Токк лежал на полу среди горшков с высокогорными растениями. В правой его руке был зажат пистолет, из блюда на голове текла кровь. Рядом с ним, прижимаясь лицом к его груди, навзрыд плакала самка. Я взял ее за плечи и

поднял. (Обыкновенно я избегаю прикасаться к скользкой коже каппы.) Я спросил ее:

— Как это случилось?

— Не знаю. Ничего не знаю. Он сидел, что-то писал и вдруг выстрелил себе в голову... Что теперь будет со мной?.. Qug-r-r-g... Qug-r-r-g... (Так каппы плачут.)

Директор стекольной фирмы Гэр, грустно качая головой, сказал судье Бэппу:

— Вот к чему приводят все эти капризы.

Бэпп ничего не ответил и закурил сигару с золотым ободком. Доктор Чакк, который осматривал рану, присев на корточки, поднялся и произнес профессиональным тоном, обращаясь ко всем нам:

— Все кончено. Токк страдал заболеванием желудка, и одного этого было достаточно, чтобы он совершенно расклеился.

— Смотрите, однако,— проговорил, словно пытаюсь оправдать самоубийцу, философ Магг,— здесь лежит какая-то записка.

Он взял со стола лист бумаги. Все (за исключением, впрочем, меня) сгрудились позади него, вытягивая шеи, и через его широкие плечи уставились на записку.

Вставай и иди. В долину, что ограждает наш мир.
Там священные холмы и ясные воды,
Благоухание трав и цветов.

Магг повернулся к нам и сказал с горькой усмешкой:

— Это плагиат. «Миньона» Гете. Видимо, Токк пошел на самоубийство еще и потому, что выдохся как поэт.

Случилось так, что именно в это время у дома Токка остановился автомобиль. Это приехал Крабак. Некоторое время он молча стоял в дверях, глядя на труп Токка. Затем он подошел к нам и заорал в лицо Маггу:

— Это его завещание?

— Нет. Это его последние стихи.

— Стихи?

Волосы на голове Крабака встали дыбом. Магг, невозмутимый, как всегда, протянул ему листок. Ни на кого не глядя, Крабак впился глазами в строчки

стихов. Он читал и перечитывал их, почти не обращая внимания на вопросы Магга.

— Что вы думаете по поводу смерти Токка?

— Вставай... Я тоже когда-нибудь умру... В долину, что ограждает наш мир...

— Ведь вы были, кажется, одним из самых близких друзей Токка?

— Друзей? У Токка никогда не было друзей. В долину, что ограждает наш мир... К сожалению, Токк... Там священные холмы...

— К сожалению?..

— Ясные воды... Вы-то счастливы... Там священные холмы...

Самка Токка все еще продолжала плакать. Мне стало жаль ее, и я, обняв ее за плечи, отвел к дивану в углу комнаты. Там смеялся ничего не подозревавший детеныш двух или трех лет. Я усадил самку, взял на руки детеныша и немного покачал его. Я почувствовал, как на глаза мои навернулись слезы. Это был первый и единственный случай, когда я плакал в стране водяных.

— Жаль семью этого бездельника,— заметил Гэр.

— Да, таким нет дела до того, что будет после них,— отозвался судья Бэпп, раскуривая свою обычную сигару.

Громкий возглас Крабака заставил нас вздрогнуть. Размахивая листком со стихами, Крабак кричал, ни к кому не обращаясь:

— Превосходно! Это будет великолепный похоронный марш!

Блестя узкими глазами, он наспех пожал руку Маггу и бросился к выходу. В дверях тем временем уже собралась, конечно, изрядная толпа соседей Токка, которые с любопытством заглядывали в комнату. Крабак грубо и бесцеремонно растолкал их и вскочил в свою машину. В ту же минуту автомобиль затарахтел, сорвался с места и скрылся за углом.

— А ну, а ну, разойдитесь, нечего глазеть,— прикрикнул на любопытных судья Бэпп.

Взяв на себя обязанности полицейского, он разогнал толпу и запер дверь на ключ. Вероятно, поэтому в комнате воцарилась внезапная тишина. В этой тишине — и в душной смеси запахов цветов высокогорных расте-

ний и крови Токка — мы стали обсуждать вопрос о похоронах. Только философ Магг молчал, рассеянно глядя на труп и о чем-то задумавшись. Я похлопал его по плечу и спросил:

— О чем вы думаете?

— О жизни каппы.

— И что же?

— Для того, чтобы наша жизнь удовлетворяла нас, мы, каппы, что бы там ни было... — Магг как-то стыдливо понизил голос, — как бы там ни было, должны поверить в могущество того, кто не является каппой.

14

Слова Магга напомнили мне о религии. Будучи материалистом, я никогда, разумеется, не относился к религии серьезно. Но теперь, потрясенный смертью Токка, я вдруг задумался: а что представляет собой религия в стране водяных? С этим вопросом я немедленно обратился к студенту Раппу.

— У нас есть и христиане, и буддисты, и мусульмане, и огнепоклонники, — ответил он. — Наибольшим влиянием, однако, пользуется все же так называемая «современная религия». Ее называют еще «религией жизни».

(Возможно, «религия жизни» — не совсем точный перевод. На языке капп это слово звучит как «Куэму-ча». Окончание «ча» соответствует английскому «изм». Корень же «куэмал» слова «куэму» означает не просто «жить», «существовать», но «насыщаться едой», «пить вино» и «совокупляться».)

— Следовательно, в этой стране тоже есть общины и храмы?

— В этом нет ничего смешного. Великий храм современной религии является крупнейшей постройкой в стране. Хотите пойти поглядеть?

И вот в один душный туманный день Рапп гордо повел меня осматривать Великий храм. Действительно, это колоссальное здание, раз в десять грандиознее Николаевского собора в Токио. Мало того, в этом здании смешались самые разнообразные архитектурные стили. Стоя перед этим храмом и глядя на его высокие башни

и круглые купола, я ощутил даже нечто вроде ужаса. Они, словно бесчисленные пальцы, тянулись к небу. Мы стояли перед парадными воротами (и как ничтожно малы мы были по сравнению с ними!), мы долго смотрели, задрвав головы, на это странное сооружение, похожее скорее на нелепое чудище.

Залы храма тоже были громадны. Между коринфскими колоннами во множестве бродили молящиеся. Все они, как и мы с Раппом, казались здесь совсем крошечными. Вскоре мы повстречались с согбенным пожилым каппой. Рапп, склонив голову, почтительно заговорил с ним:

— Весьма рад видеть вас в добром здравии, почтенный настоятель.

Старец тоже отвесил нам поклон и так же учтиво отозвался:

— Если не ошибаюсь, господин Рапп? Надеюсь, вы тоже...— Тут он, видимо, обнаружил, что у Раппа сгнил клюв, и запнулся.— Э-э... Да. Во всяком случае, я надеюсь, что вы не очень страдаете. Чему обязан?..

— Я привел в храм вот этого господина,— сказал Рапп.— Как вам, вероятно, уже известно, этот господин...

И Рапп принялся пространно рассказывать обо мне. Кажется, этими своими объяснениями он старался, помимо всего прочего, дать понять старцу, что от посещения храма в последнее время его отвлекали сугубо важные обстоятельства.

— ...И вот, кстати, я хотел бы вас попросить показать этому господину храм.

Милостиво улыбаясь, настоятель поздоровался со мною, а затем молча повел нас к алтарю в передней части зала.

— Я с удовольствием покажу вам все,— заговорил он,— но боюсь, что не смогу быть вам особенно полезен. Мы, верующие, поклоняемся «древу жизни», которое находится здесь, в алтаре. Как изволите видеть, на «древе жизни» зреют золотые и зеленые плоды. Золотые плоды именуются «плодами добра», а зеленые — «плодами зла»...

Я слушал его, и мне становилось невыносимо скучно. Любезные объяснения настоятеля звучали как старая, заезженная притча. Разумеется, я делал вид, что

стараюсь не пропустить ни единого слова, но при этом не забывал время от времени украдкой озираться, чтобы разглядеть внутреннее устройство храма.

Коринфские колонны, готические своды, мозаичный мавританский пол, молитвенные столики в модернистском стиле — все это вместе создавало впечатление какой-то странной варварской красоты. Больше всего внимание мое привлекали каменные бюсты, установленные в нишах по сторонам алтаря. Мне почему-то казалось, что мне знакомы эти изображения. И я не ошибся. Закончив объяснения относительно «древа жизни», согбенный настоятель подвел меня и Раппа к первой справа нише и сказал, указывая на бюст:

— Вот один из наших святых — Стриндберг, выступавший против всех. Считается, что этот святой много и долго страдал, а затем нашел спасение в философии Сведенборга. Но в действительности он не спасся. Как и мы, он исповедовал «религию жизни». Вернее, ему пришлось исповедовать эту религию. Возьмите хотя бы «Легенды», которые оставил нам этот святой. В них он сам признается, что покусался на свою жизнь.

Мне стало тоскливо, и я обратил взгляд на следующую нишу. В следующей нише был установлен бюст густоусого немца.

— А это Ницше, бард Заратустры. Этому святому пришлось спастись от сверхчеловека, которого он сам же и создал. Впрочем, спастись он не смог и сошел с ума. Если бы он не сошел с ума, попасть в святые ему, возможно, и не удалось бы...

Настоятель немного помолчал и подвел нас к третьей нише.

— Третьим святым является у нас Толстой. Этот святой изводил себя больше всех. Дело в том, что по происхождению он был аристократом и терпеть не мог выставлять свои страдания перед любопытствующей толпой. Этот святой все силился поверить в Христа, в которого поверить, конечно, невозможно. А ведь ему случалось даже публично объявлять, что он верит. И вот на склоне лет ему стало невмочь быть трагическим лжецом. Известно ведь, что и этот святой испытывал иногда ужас перед перекладной на потолке своего кабинета. Но самоубийцей он так и не стал — это видно хотя бы из того, что его сделали святым.

В четвертой нише красовался бюст японца. Разглядев лицо этого японца и узнав его, я, как и следовало ожидать, ощутил грусть.

— Это Куникида Доппо,— сказал настоятель.— Поэт, до конца понявший душу рабочего, погибшего под колесами поезда. Думаю, говорить вам о нем что либо еще не имеет смысла. Поглядите на пятую нишу...

— Это, кажется, Вагнер?

— Да. Революционер, являвшийся другом короля. Святой Вагнер на склоне лет читал даже застольные молитвы. И все же он был скорее последователем «религии жизни», чем христианином. Из писем, оставшихся после Вагнера, явствует, что мирские страдания не раз подводили этого святого к мысли о смерти.

Настоятель все еще говорил о Вагнере, когда мы остановились перед шестой нишей.

— А это друг святого Стриндберга, француз-художник. Он бросил свою многодетную жену и взял себе четырнадцатилетнюю тайтянку. В широких жилах этого святого текла кровь моряка. Но взгляните на его губы. Они изъедены мышьяком или чем-то вроде этого. Что же касается седьмой ниши... Но вы, кажется, уже утомились. Извольте пройти сюда.

Я действительно устал. Вслед за настоятелем я и Рапп прошли по коридору, пронизанному ароматом благовоний, и очутились в какой-то комнате. Комната была мала, в углу возвышалась черная статуя Венеры, у ног статуи лежала кисть винограда. Я ожидал увидеть строгую монашескую келью безо всяких украшений и был несколько смущен. Видимо, настоятель почувствовал мое недоумение. Прежде чем предложить нам сесть, он сказал с состраданием:

— Не забывайте, пожалуйста, что наша религия — это «религия жизни». Ведь наш бог... наше «древо жизни» учит: «Живите всюю». Да, господин Рапп, вы уже показывали этому господину наше Священное писание?

— Нет,— ответил Рапп и честно признался, почесывая блюдце на голове: — По правде говоря, я и сам толком его не читал.

Настоятель, по-прежнему спокойно улыбаясь, продолжал:

— Тогда, разумеется, вам еще не все понятно. Наш бог создал вселенную за один день. («Древо жизни» хоть и дерево, но для него нет ничего невозможного.) Мало того, он создал еще и самку. Самка же, соскучившись, принялась искать самца. Наш бог внял ее печали, взял у нее мозг и из этого мозга изготовил самца. И сказал наш бог этой первой паре капп: «Жрите, совокупляйтесь, живите всюю...»

Слушая настоятеля, я вспоминал поэта Токка. К своему несчастью, поэт Токк, так же, как и я, был атеистом. Я не каппа и потому понятия не имел о «религии жизни». Но Токк, родившийся и проживший всю жизнь в стране водяных, не мог не знать, что такое «дерево жизни». Мне стало жаль Токка, не принявшего такого учения, и я, перебив настоятеля, спросил, что он думает об этом поэте.

— А-а, этот поэт достоин всяческого сожаления,— сказал настоятель, тяжело вздохнув.— Что определяет нашу судьбу? Вера, обстоятельства, случай. Вы, вероятно, присовокупите сюда еще и наследственность. К несчастью, господин Токк не был верующим.

— Наверное, Токк завидовал вам. Вот и я тоже завидую. Да и молодежь, как, например, Рапп...

— Если бы клюв у меня был цел, я, быть может, и стал бы оптимистом.

Выслушав нас, настоятель снова глубоко вздохнул. Глаза его были полны слез, он неподвижно глядел на черную Венеру.

— Сказать по правде...— вымолвил он.— Только не говорите об этом никому, это мой секрет... Сказать по правде, я тоже не в состоянии верить в нашего бога. Когда-нибудь мои моления...

Настоятель не успел закончить. Как раз в этот момент дверь распахнулась, в комнату ворвалась огромная самка и набросилась на него. Мы попытались было остановить ее, но она в одно мгновение повергла настоятеля на пол.

— Ах ты дрянной старикашка!— вопила она.— Опять сегодня стащил у меня из кошелька деньги на выпивку!

Минут через десять, оставив позади настоятеля и его супругу, мы почти бегом спускались по ступеням

храма. Некоторое время мы молчали, затем Рапп сказал:

— Теперь понятно, почему настоятель тоже не верит в «древо жизни».

Я не ответил. Я невольно оглянулся на храм. Храм по-прежнему, словно бесчисленными пальцами, тянулся в туманное небо высокими башнями и круглыми куполами. И от него веяло жутью, какую испытываешь при виде миражей в пустыне...

15

Примерно через неделю я неожиданно услышал от доктора Чакка необычайную новость. Оказывается, в доме покойного Токка завелось привидение. К тому времени сожительница нашего несчастного друга куда-то уехала, и в доме открылась фотостудия. По словам Чакка, на всех снимках, сделанных в этой студии, позади изображения клиента непременно запечатлевается неясный силуэт Токка. Впрочем, Чакк, будучи убежденным материалистом, не верил в загробную жизнь. Рассказав обо всем этом, он с ядовитой усмешкой прокомментировал: «Надо полагать, сие привидение так же материально, как и мы с вами». Я тоже не верил в привидения и в этом отношении не слишком отличался от Чакка. Но я очень любил Токка, а потому немедленно бросился в книжную лавку и скупил все газеты и журналы со статьями о призраке Токка и с фотографиями привидения. И в самом деле, на фотографиях, за спинами старых и молодых капп, туманным силуэтом выделялось нечто напоминающее фигуру каппы. Еще больше, нежели фотографии привидения, меня поразили статьи о призраке Токка — особенно один отчет спиритического общества. Я перевел для себя эту статью почти дословно и привожу ее здесь по памяти.

«Отчет о беседе с призраком поэта Токка («Журнал спиритического общества», № 8274).

Специальное заседание комиссии нашего общества имело место в бывшей резиденции покончившего самоубийством поэта Токка, ныне фотостудии господина имярек — в доме 251 по улице НН. На заседании присутствовали члены общества (имена опуская).

Мы, семнадцать членов общества, во главе с председателем общества господином Пэкком, 27 сентября в десять часов тридцать минут утра собрались в одной из комнат названной фотостудии. В качестве медиума нас сопровождала госпожа Хопп, пользующаяся нашим безграничным доверием. Едва оказавшись в названной студии, госпожа Хопп немедленно ощутила приближение духа. У нее начались конвульсии, и ее несколько раз вырвало. По ее словам, это было вызвано тем, что покойный господин Токк при жизни отличался сильной приверженностью к табаку, и теперь дух его оказался пропитанным никотином.

Члены комиссии и госпожа Хопп в молчании заняли места за круглым столом. Спустя три минуты двадцать пять секунд госпожа Хопп внезапно впала в состояние глубокого транса, и дух поэта Токка вошел в нее. Мы, члены комиссии, в порядке старшинства по возрасту задали духу господина Токка, овладевшему госпожой Хопп, следующие вопросы и получили следующие ответы.

В о п р о с. Для чего ты вновь посетил этот мир?

О т в е т. Чтобы познать посмертную славу.

В о п р о с. Ты и остальные господа духи — разве вы жаждете славы и после смерти?

О т в е т. Я, во всяком случае, не могу не жаждать. Но один поэт, японец, которого я как-то случайно встретил, — он презирает посмертную славу.

В о п р о с. Ты знаешь имя этого поэта?

О т в е т. К сожалению, я его забыл. Помню только одно его любимое стихотворение.

В о п р о с. Что же это за стихотворение?

О т в е т.

Старый пруд.

Прыгнула в воду лягушка.

Всплеск в тишине¹.

В о п р о с. И ты считаешь, что это выдающееся произведение?

О т в е т. Разумеется, я не считаю его плохим. Только я заменил бы слово «лягушка» на «каппа», а

¹ Перевод В. Марковой.

вместо слова «прыгнула» употребил бы выражение «блистательно взлетела».

Вопрос. Почему?

Ответ. Нам, каппам, свойственно в любом произведении искусства настойчиво искать каппу.

Здесь председатель общества господин Пэкс прерывает беседу и напоминает членам комиссии, что они находятся на спиритическом сеансе, а не на литературной дискуссии.

Вопрос. Каков образ жизни господ духов?

Ответ. Ничем не отличается от вашего.

Вопрос. Сожалеешь ли ты в таком случае о своем самоубийстве?

Ответ. Разумеется, нет. Если мне наскучит жизнь призрака, я снова возьму пистолет и покончу самовоскрешением.

Вопрос. Легко ли кончать самовоскрешением?

Этот вопрос призрак Токка парирует вопросом. Такая манера Токка известна всем, кто знал его при жизни.

Ответ. А легко ли кончать самоубийством?

Вопрос. Духи живут вечно?

Ответ. Относительно продолжительности нашей жизни существует масса теорий, и ни одна из них не внушает доверия. Не следует забывать, что и среди нас есть приверженцы различных религий — христиане, буддисты, мусульмане, огнепоклонники.

Вопрос. А какую религию исповедуешь ты?

Ответ. Я всегда скептик.

Вопрос. Но в существовании духов ты, по-видимому, все же не сомневаешься?

Ответ. В существовании духов я убежден меньше, чем вы.

Вопрос. Много ли у тебя друзей в этом твоём мире?

Ответ. У меня не меньше трехсот друзей во всех временах и народах.

Вопрос. Все твои друзья — самоубийцы?

Ответ. Отнюдь нет. Правда, например, Монтень, оправдывавший самоубийства, является одним из моих наиболее почитаемых друзей. А с этим типом Шопенгауэром — этим пессимистом, так и не убившим себя, — я знаться не желаю.

В о п р о с. Здоров ли Шопенгауэр?

О т в е т. В настоящее время он носится со своим новым учением о пессимизме духов и выясняет, хорошо или плохо кончать самовоскрешением. Впрочем, узнав, что холера тоже инфекционное заболевание, он, кажется, немного успокоился.

Затем мы, члены комиссии, задали вопросы о духах Наполеона, Конфуция, Достоевского, Дарвина, Клеопатры, Сакья Муни, Демосфена, Данте и других выдающихся личностей. Однако ничего интересного о них Токк, к сожалению, не сообщил и, в свою очередь, принялся задавать нам вопросы о самом себе.

В о п р о с. Что говорят обо мне после моей смерти?

О т в е т. Какой-то критик назвал тебя «одним из заурядных поэтов».

В о п р о с. Это один из обиженных, которому я не подарил сборника своих стихов. Издано ли полное собрание моих сочинений?

О т в е т. Издано, но, говорят, почти не раскупается.

В о п р о с. Через триста лет, когда исчезнет понятие об авторском праве, мои сочинения будут покупать миллионы людей. Что стало с моей самкой и подружкой?

О т в е т. Она вышла замуж за господина Ракка, хозяина книжной лавки.

В о п р о с. Бедняга, она, должно быть, еще не знает, что у Ракка вставной глаз. А мои дети?

О т в е т. Кажется, они в государственном приюте для сирот.

Некоторое время Токк молчит, затем задает следующий вопрос.

В о п р о с. Что с моим домом?

О т в е т. Сейчас в нем студия фотографа такого-то.

В о п р о с. А что с моим письменным столом?

О т в е т. Мы не знаем.

В о п р о с. В ящике стола я тайно хранил некоторые письма... Но вас, господа, как занятых людей, это, к счастью, не касается. А теперь в нашем мире наступают сумерки, и я вынужден проститься с вами. Прощайте, господа, прощайте. Прощайте, мои добрые господа.

При этих последних словах госпожа Хопп внезапно вышла из состояния транса. Мы все, семнадцать членов комиссии, перед лицом бога небесного клятвенно подтверждаем истинность изложенной беседы. Примечание: наша достойная всяческого доверия госпожа Хопп получила в качестве вознаграждения сумму, которую она выручала за день в бытность свою актрисой».

16

После того как я прочитал эту статью, мною постепенно овладело уныние, я больше не хотел оставаться в этой стране и стал думать о том, как вернуться в наш мир, в мир людей. Я ходил и искал, но так и не смог найти яму, через которую когда-то провалился сюда. Между тем рыбак Багг однажды рассказал мне о том, что где-то на краю страны водяных живет в тишине и покое один старый каппа, который проводит свои дни в чтении книг и игре на флейте. «Что, если попробовать обратиться к тому каппе? — подумал я. — Может быть, он укажет мне путь из этой страны?» И я тут же отправился на окраину города. Но там, в маленькой хижине, я увидел не старика, а каппу-юношу, двенадцати или тринадцати лет, с еще мягким блюдцем на голове. Он тихонько наигрывал на флейте. Разумеется, я решил, что ошибся домом. Чтобы проверить себя, я обратился к нему по имени, которое мне назвал Багг. Нет, это оказался тот самый старый каппа.

— Но вы выглядите совсем ребенком... — пробормотал я.

— А ты разве не знал? Волею судеб я покинул чрево матери седым старцем. А затем я становился все моложе и моложе и вот теперь превратился в мальчика. Но на самом деле, когда я родился, мне было, по крайней мере, лет шестьдесят, так что в настоящее время мне что-то около ста пятидесяти или ста шестидесяти лет.

Я оглядел комнату. Может быть, у меня было такое настроение, но мне показалось, что здесь, среди простых стульев и столиков, разлито какое-то ясное счастье.

— Видимо, вы живете более счастливо, чем все остальные каппы?

— Вполне возможно. В юности я был старцем, а к старости стал молодым. Я не высох от неутоленных желаний, как это свойственно старикам, и не предаюсь плотским страстям, как это делают молодые. Во всяком случае, жизнь моя если и не была счастливой, то уж наверняка была спокойной.

— Да, при таких обстоятельствах жизнь ваша должна быть спокойной.

— Ну, одного этого для спокойствия еще недостаточно. У меня всю жизнь было отличное здоровье и состояние достаточное, чтобы прокормиться. Но конечно, самое счастливое обстоятельство в моей жизни — это то, что я родился стариком.

Некоторое время мы беседовали. Говорили о самоубийце Токке, о Гэре, который ежедневно вызывает к себе врача. Но почему-то лицо старого каппы не выражало никакого интереса к этим разговорам. Я наконец спросил:

— Вы, наверное, не испытываете такой привязанности к жизни, как другие каппы?

Глядя мне в лицо, старый каппа тихо ответил:

— Как и другие каппы, я покинул чрево матери не раньше, чем мой отец спросил меня, хочу ли я появиться в этом мире.

— А вот я оказался в этом вашем мире совершенно случайным образом, — сказал я. — Так будьте добры, расскажите, как отсюда выбраться.

— Отсюда есть только одна дорога.

— Какая же?

— Дорога, которой ты попал сюда.

Когда я услышал это, волосы мои встали дыбом.

— Мне не найти эту дорогу, — пробормотал я.

Старый каппа пристально поглядел на меня своими чистыми, как ключевая вода, глазами. Затем он поднялся, отошел в угол комнаты и потянул свисавшую с потолка веревку. Сейчас же в потолке открылся круглый люк, которого я раньше не замечал. И за этим люком, над ветвями сосен и кипарисов, я увидел огромное ясное синее небо. А в небо, подобно гигантскому наколочнику стрелы, поднимался пик Яригатакэ. Я даже

подпрыгнул от радости, словно ребенок при виде аэроплана.

— Ну вот,— сказал старый каппа.— Можешь уходить.

С этими словами он указал мне на веревку. Но это была не веревка, как мне показалось вначале. Это была веревочная лестница.

— Что ж,— сказал я.— С вашего разрешения, я пойду.

— Только подумай прежде. Как бы тебе не пожалеть потом.

— Ничего,— сказал я.— Жалеть не буду.

Я уже поднимался по лестнице, цепляясь за перекладины. Поглядывая вниз, я видел далеко под собою блюдце на голове старого каппы.

17

Вернувшись из страны водяных, я долго не мог привыкнуть к запаху человеческой кожи. Ведь каппы необычайно чистоплотны по сравнению с нами. Мало того, я так привык видеть вокруг себя одних только капп, что лица людей представлялись мне просто безобразными. Вам, вероятно, этого не понять. Ну, глаза и рты еще туда-сюда, но вот носы вызывали у меня чувство какого-то странного ужаса. Естественно, что в первое время я старался ни с кем не встречаться. Затем я понемногу стал, видимо, привыкать к людям и уже через полгода смог бывать где угодно. Неприятности доставляло лишь то обстоятельство, что в разговоре у меня то и дело вырывались слова из языка страны водяных. Получалось примерно так:

— Ты завтра будешь дома?

— Qua.

— Что ты сказал?

— Да-да, буду.

Через год после возвращения я разорился на одной спекуляции и поэтому...

(Тут доктор С. заметил: «Об этом рассказывать не стоит». Он сообщил мне, что, как только больной начинает говорить об этом, он впадает в такое буйство, что с ним не могут справиться несколько сторожей.)

Хорошо, об этом не буду. Словом, разорившись на одной спекуляции, я захотел снова вернуться в страну водяных. Да, именно вернуться. Не отправиться, не поехать, а вернуться. Потому что к тому времени я уже ощущал страну водяных как свою родину.

Я потихоньку ушел из дому и попытался сесть на поезд Центральной линии. К сожалению, я был схвачен полицией, и меня водворили в эту больницу. Но и здесь я некоторое время продолжал тосковать по стране водяных. Чем сейчас занят доктор Чакк? А философ Магг? Наверное, он по-прежнему размышляет о чем-нибудь под своим семицветным фонарем. А мой добрый друг студент Рапп со сгнившим клювом? Однажды в такой же туманный, как сегодня, день я, по обыкновению, погрузился в воспоминания о своих друзьях и вдруг чуть не закричал от изумления, увидев рыбака Багга. Не знаю, когда он проник ко мне, но он сидел передо мной на корточках и кланялся, приветствуя меня. Когда я немного успокоился... не помню, плакал я или смеялся. Помню только, с какой радостью я впервые после долгого перерыва заговорил на языке страны водяных.

— Послушай, Багг, зачем ты пришел сюда?

— Проведать вас. Вы, говорят, заболели.

— Откуда же ты узнал?

Багг засмеялся. Он был доволен.

— Услыхал по радио.

— А как ты сюда добрался?

— Ну, это дело нетрудное. Реки и рвы в Токио для нас, капп, все равно что улицы.

И я вспомнил, словно только что узнал об этом, что каппы относятся к классу земноводных, как и лягушки.

— Но ведь здесь поблизости нигде реки нет.

— Нет. Сюда я пробрался по водопроводным трубам. А здесь приоткрыл пожарный кран...

— Открыл пожарный кран?

— Вы что, забыли, господин? Ведь и среди капп есть механики.

Каппы стали навещать меня раз в два-три дня. Доктор С. считает, что я болен *dementia praecox*¹. Но вот

¹ Раннее слабоумие (лат.).

доктор Чакк (простите за откровенность) утверждает, что никакого dementia praecox у меня нет, что это вы сами все, начиная с доктора С., страдаете dementia praecox. Само собой разумеется, что раз уж доктор Чакк приходит ко мне, то навещают меня и студент Рапп, и философ Магг. Впрочем, если не считать рыбака Багга, никто из них не является в дневное время. Они приходят по двое, по трое, и всегда ночью... в лунные ночи. Вот и вчера ночью при свете луны я беседовал с директором стекольной фирмы Гэром и философом Маггом. А композитор Крабак играл мне на скрипке. Видите на столе этот букет черных лилий? Это мне принес в подарок вчера ночью Крабак...

(Я обернулся. Конечно, никаких лилий на столе не было. Стол был пуст.)

Вот эту книгу мне принес философ Магг. Прочтите первые стихи. Впрочем, нет. Вы же не знаете их языка. Давайте я сам прочту. Это один из томов полного собрания сочинений Токка, которое недавно вышло из печати.

(Он раскрыл старую телефонную книгу и громким голосом прочел такие стихи:)

В кокосовых цветах, среди стволов бамбука
Давно почует Будда.

И под иссохшею смоковницею старой
Почил Христос усталый.

Так не пора ль и нам вкусить отдохновенье,
Хотя бы только здесь, на театральной сцене?

(Но если заглянуть за декорации, — ведь там мы увидим лишь заплатаанные холсты?)

Но я не такой пессимист, как этот поэт. И пока ко мне будут приходить каппы... Да, совсем забыл. Вы, вероятно, помните моего приятеля судью Бэппа. Так вот, этот каппа потерял место и в самом деле сошел с ума. Говорят, что сейчас он находится в психиатрической лечебнице в стране водяных. Если бы мне только разрешил доктор С., я охотно навестил бы его...

Февраль 1927 г.



СОН

Я безумно устал. Затекли плечи, ныл затылок, да еще и бессонница разыгралась. А в тех редких случаях, когда мне удавалось заснуть, я часто видел сны. Кто-то когда-то сказал, что «цветные сны — свидетельство нездоровья». Сны же, которые я видел, может быть, этому способствовала профессия художника, как правило, были цветными. Я вместе с товарищем вошел в стеклянную дверь какого-то кафе на окраине. Сразу за пыльным стеклом — железнодорожный переезд с ивой, пустившей молодые побеги. Мы сели за столик в углу и начали есть что-то из деревянной чашки.

Мы съели уже почти все, но то, что осталось на дне чашки, оказалось змеиной головой величиной с дюйм...

Этот сон тоже был явно цветным.

Мой дом находился в одном из предместий Токио, в нем было очень холодно. Когда мне становилось тоскливо, я поднимался на дамбу позади дома и смотрел на рельсы, по которым ходила электричка. Рельсы, их было много, сверкали на щебне, покрытом мазутом и ржавчиной. А на противоположной дамбе стоял, опустив ветви, кажется, дуб. Это был пейзаж, который с полным правом можно назвать унылым. Но он соответствовал моему настроению больше, чем Гиндза или Асакуса. «Клин клином вышибают», — так думал я иногда, сидя на корточках на дамбе и дымя сигаретой.

Нельзя сказать, что я не имел приятеля. Это был молодой художник, писавший в европейской манере, сын богача. Видя, что я совсем утратил бодрость, он много раз предлагал мне отправиться путешествовать. «Денежный вопрос пусть тебя не беспокоит», — любезно говорил он. Но я сам знал лучше, чем кто бы то ни было, что, даже путешествуя, все равно от тоски не избавлюсь. В самом деле, года три-четыре назад на меня напала тоска, и я, чтобы хоть на время отвлечься, решил отправиться в далекий Нагасаки. Приехал я в Нагасаки, но ни одна гостиница мне не понравилась. Мало того, даже в спокойной гостинице, которую я кое-как нашел, всю ночь летала тьма ночных бабочек. Я совсем извелся, не прожил там и недели и собрался обратно в Токио...

Однажды днем, когда на земле еще лежала изморозь, я пошел получить денежный перевод, и, возвращаясь, почувствовал желание работать. Причина была, несомненно, в том, что, получив деньги, я мог нанять натурщицу. Но было и еще что-то, отчего вспыхнуло желание работать. Я решил тут же, не заходя домой, пойти к М. и нанять натурщицу, чтобы завершить картину. Такое решение всегда приободряло меня, даже когда одолевала тоска. «Только бы закончить эту картину, а там можно и умирать», — подобная мысль у меня действительно была.

Лицо натурщицы, присланной из дома М., красотой не отличалось, зато тело, а главное грудь — были, несомненно, прекрасны. И волосы, уложенные в пучок, — несомненно, пушисты. Я остался доволен и, посадив натурщицу на плетеный стул, решил сразу же приступить к работе. Обнаженная женщина вместо букета цветов взяла в руки измятую английскую газету, сжала колени и, слегка повернув голову, приняла позу. Но стоило мне подойти к мольберту, как я снова почувствовал усталость. В моей комнате, обращенной на север, стояла лишь одна жаровня. Я раздул огонь до того, что обгорели даже края жаровни. Но комната еще не нагрелась достаточно. Женщина сидела на плетеном стуле, и время от времени бедра ее рефлекторно вздрагивали. Работая кистью, я каждый раз испытывал раздражение. Не столько против женщины, сколько против самого себя, — ведь я даже не смог купить настоящую печку.

И в то же время испытывал недовольство собственной мелочной раздражительностью.

— Где твой дом?

— Мой дом? Мой дом на Сансаки-мати в Янака.

— Ты живешь одна?

— Нет, мы снимаем жилье вдвоем с подругой.

Продолжая разговаривать, я медленно наносил краску на старый холст с натюрмортом. Женщина продолжала сидеть, отвернувшись, лицо ее ничего не выражало. Не только голос, но и сами слова женщины казались монотонными. Это навело меня даже на мысль, что такова эта женщина от рождения. Я почувствовал облегчение и с тех пор оставлял ее позировать сверх установленного времени. Но в какой-то момент фигура женщины, у которой глаза и те были неподвижными, начала действовать на меня угнетающе.

Картина моя подвигалась плохо. Закончив работу, намеченную на день, я обычно валился на розовый ковер, массировал шею и голову и рассеянно оглядывал комнату. Кроме мольберта, в ней стоял лишь плетеный, из тростника, стул. Иногда стул, возможно, из-за перемены влажности воздуха, слегка поскрипывал, даже если на нем никто не сидел. В такие минуты мне делалось жутко, и я тут же отправлялся куда-нибудь погулять. Хотя я и говорю, «отправлялся погулять», это означало лишь, что я выходил на деревенскую улицу, параллельную дамбе позади моего дома, где было множество храмов.

И все же ежедневно, не зная отдыха, я обращался к мольберту. Натурщица тоже приходила ежедневно. Через некоторое время тело женщины стало действовать на меня еще более угнетающе, чем прежде. Я просто завидовал ее здоровью. Глядя без всякого выражения в угол комнаты, она неизменно лежала на розовом ковре.

«Эта женщина похожа скорее на животное, чем на человека», — думал я иногда, водя кистью по холсту.

Однажды теплым ветреным днем я, сидя у мольберта, старательно работал кистью. Натурщица была, кажется, мрачнее обычного. Мне вдруг почудилась в теле этой женщины дикая сила. Больше того, почудился какой-то особый запах, исходящий у нее из-под мышек. Он напоминал запах кожи негра.

— Ты где родилась?

— В префектуре Гумма, в городе**.

— В городе**? Там ведь у вас много ткацких фабрик.

— Да.

— А ты ткачихой не была?

— Была в детстве.

Во время этого разговора я вдруг заметил, что у женщины набухли груди. Они напоминали теперь два кочана капусты. Я, разумеется, как обычно, продолжал работать кистью. Но меня странно тянуло к грудям женщины, к их отталкивающей прелести.

В ту ночь ветер не прекращался. Я внезапно проснулся и пошел в уборную. Но окончательно пробудился, только когда отодвинул сёдзи. Невольно я остановился и стал осматривать комнату, особенно розовый ковер под ногами. Потом погладил его босой ногой. Неожиданное ощущение, будто трогаешь мех. «Какого, интересно, цвета ковер с изнанки?» Это тоже почему-то меня беспокоило. Но посмотреть я как-то не решался. Возвратившись из уборной, я быстро нырнул в постель.

На следующий день, закончив работу, я почувствовал, что устал больше, чем обычно. И пребывание в комнате меня ничуть не успокаивало. Поэтому я решил пойти на дамбу за домом. Уже темнело. Но, как ни странно, деревья и электрические столбы все еще ясно вырисовывались на фоне неба. Идя по дамбе, я все время испытывал искушение громко крикнуть. Но, естественно, надо было подавить это искушение. Мне почудилось, что я двигаюсь лишь мысленно, и я спустился на одну из деревенских улиц, идущих параллельно дамбе.

На этой улице по-прежнему почти не было прохожих. Только к одному из электрических столбов была привязана корейская корова. Вытянув шею, корова поженски смотрела на меня затуманившимися глазами. У нее был такой вид, будто она ждала, что я подойду к ней. Я почувствовал, как внутри у меня медленно поднимается протест против этой стоявшей с таким видом корейской коровы. «Когда ее поведут на бойню, у нее будет точно такой же взгляд». Это чувство вселило в меня тревогу. Постепенно мной овладевала тоска, и я, чтобы не пройти мимо коровы, свернул в переулок.

Дня через два или три я стоял у мольберта и работал. Натурщица, лежавшая на розовом ковре, даже бровью

не шевелила. Прошло полмесяца, а работа ничуть не подвигалась. Ни я, ни натурщица не открывали друг другу того, что было у нас на сердце. Скорее наоборот, я все острее ощущал страх перед этой женщиной. Даже во время перерывов она ни разу не надела сорочки. К тому же на все мои вопросы отвечала бесконечно печально. Но сегодня, продолжая лежать на ковре, повернувшись ко мне спиной (я заметил, что на правом плече у нее родинка), она вытянула ноги и почему-то заговорила со мной:

— Сэнсэй, у дорожки, которая ведет к вашему дому, горкой насыпаны небольшие камни, правда?

— Угу...

— Это могила последа?

— Могила последа?

— Ну да, камни, чтобы знать, где похоронен послед.

— Почему ты так решила?

— Потому что на некоторых камнях было даже что-то написано. — Женщина через плечо посмотрела на меня, выражение лица у нее было почти насмешливое. — Все рождаются с последом. Верно ведь?

— Гадости какие-то говоришь.

— А если рождаются с последом...

— ?..

— То это все равно что щенок, а?

Чтобы женщина не продолжала, я снова стал работать. Не продолжала? Но ведь нельзя сказать, что я остался совершенно равнодушным к ее словам. Я все время чувствовал, что мне нужны суровые выразительные средства, чтобы передать нечто, присущее этой женщине. Но выразить это нечто у меня не хватало таланта. Больше того, тут было еще и нежелание выразить это нечто. Или, может быть, это было стремление избежать такого выражения, используя холст, кисти, — в общем, все, что употребляется в живописи. Если же говорить о том, что использовать — тут, работая кистью, я вспоминал выставляемые иногда в музеях каменные палки и каменные мечи.

Когда женщина ушла, я под тусклой лампой раскрыл большой альбом Гогена и стал лист за листом просматривать репродукции картин, написанных им на Таити. Скоро я неожиданно заметил, что все время по-

вторяю про себя фразу: «Это просто невысказано». Я, разумеется, не знал, почему повторяю эти слова. Но мне стало не по себе, и, приказав служанке приготовить постель, я лег спать, приняв снотворное.

Проснулся я уже около десяти часов. Может быть, из-за жары ночью я сполз на ковер. Но гораздо больше меня встревожил сон, который я видел перед пробуждением. Я стоял в центре комнаты и пытался задушить женщину (причем сам прекрасно понимал, что это сон). Женщина, чуть отвернувшись от меня, как обычно, без всякого выражения закрывала постепенно глаза. И одновременно грудь ее набухала, становясь все прекраснее. Это была сверкающая грудь, с едва заметными прожилками. Я не чувствовал угрызений совести от того, что душил женщину. Наоборот, скорее испытывал нечто близкое к удовлетворению, будто занимался обыденным делом. Женщина наконец совсем закрыла глаза и, казалось, тихо умерла... Пробудившись от сна, я сполоснул лицо и выпил две чашки крепкого чая. Но мне стало еще тоскливее. У меня даже и в мыслях не было убивать эту женщину. Но помимо своей воли... Стараясь унять волнение, я курил сигарету за сигаретой и ждал прихода натурщицы. Однако прошел уже час, а женщина все не появлялась, ожидание было для меня мучительным. Я даже подумал, не пойти ли мне погулять. Но и прогулка пугала меня. Выйти за стены своей комнаты — даже такой пустяк был невыносим для моих нервов.

Сумерки сгущались. Я ходил по комнате и ждал натурщицу, которая уже не придет. И тут я вспомнил о случае, происшедшем двенадцать — тринадцать лет назад. Я, в то время еще ребенок, так же, как сейчас, в сумерки жег бенгальские огни. Это происходило, конечно, не в Токио, а на террасе деревенского дома, где жили мать с отцом. Вдруг кто-то громко закричал: «Эй, давай, давай!» Мало того, еще и похлопал меня по плечу. Мне пришлось, конечно, сесть на край террасы. Но когда я растерянно огляделся, то вдруг увидел, что сижу на корточках около луковой грядки за домом и старательно поджигаю лук. Да к тому же коробка спичек уже почти пуста... Дымя сигаретой, я не мог не думать о том, что в моей жизни были моменты, о которых я сам абсолютно ничего не знаю. Подобные мысли не столько

беспокоили меня, сколько были неприятны. Ночью во сне я задушил женщину. Ну, а если не во сне?..

Натурщица не пришла и на следующий день. И я решил наконец пойти в дом М. узнать, что с ней случилось. Но хозяйка М. тоже ничего не знала о женщине. Тогда я забеспокоился и спросил, где она живет. Женщина, судя по ее собственным словам, должна была жить на улице Сансаки в Янака. Но, судя по словам хозяйки М., — на улице Хигасиката в Хонго. Я добрался до дома женщины в Хонго, на Хигасиката, когда уже зажигались фонари. Это была выкрашенная в розовый цвет прачечная, находившаяся в переулке. Внутри прачечной, за стеклянной дверью, двое работников в одних рубахах старательно орудовали утюгами. Я неторопливо стал открывать стеклянную дверь и неожиданно стукнулся о нее головой. Этот звук напугал работников и меня тоже. Я робко вошел в прачечную и спросил у одного из них:

— **-сан дома?

— **-сан с позавчерашнего дня не возвращалась.

Эти слова обеспокоили меня. Но я собирался спросить у него еще кое-что. И в то же время должен был проявлять осторожность, чтобы не вызвать их подозрений, если что-то случилось.

— Да что там, она иногда уйдет из дому и целую неделю не возвращается.

Это сказал, продолжая гладить, один из работников с землистым лицом. В его словах я отчетливо почувствовал нечто близкое презрению и, сам начиная злиться, поспешно покинул прачечную. Но мало этого. Когда я шел по улице Хигасиката, где было сравнительно мало магазинов, то вдруг вспомнил, что все это уже видел во сне. И прачечную, выкрашенную в розовый цвет, и работника с землистым лицом, и утюг, сверкающий огнем, — нет, и то, что я шел навещать эту женщину, я тоже совершенно точно видел во сне сколько-то месяцев (а может быть, лет) назад. Больше того, в том сне, покинув прачечную, я так же шел один по той же тихой улице. Потом... потом воспоминания о прежнем сне начисто стерлись. Но если теперь случается что-нибудь, то мне кажется, что это случилось в том самом сне...



ЗИМА

В теплом пальто и каракулевой шапке я направлялся к тюрьме Итигая. В эту тюрьму несколько дней тому назад посадили моего кузена — мужа двоюродной сестры. А я шел туда как представитель родственников, чтобы утешить его.

Хотя на предфевральских улицах все еще висели флаги, обозначавшие места дешевых распродаж, во всем городе чувствовался зимний «мертвый сезон». Взбираясь вверх по склону, я тоже всем своим существом физически ощутил смертельную усталость. В ноябре прошлого года скончался от рака горла мой дядя. Кроме того, под новый год сбежал из дому сынишка моих дальних родственников. Вдобавок... Однако то, что мой кузен угодил в тюрьму, было для меня самым чувствительным ударом. Мне вместе с его младшим братом приходилось вести совершенно непривычные для меня бесконечные переговоры со множеством людей. К тому же возникали всякого рода сложности, связанные с чувствами родственников, задетых случившимся, — сложности, суть которых трудно понять тому, кто не родился в Токио. Меня не покидала надежда, что после свидания с кузеном я все-таки смогу поехать куда-нибудь на недельку отдохнуть и подкрепить свои силы.

Тюрьма Итигая была окружена высокой насыпью с поросшими сухой травой склонами. Сквозь решетчатые из толстых деревянных брусьев ворота в средневековом стиле виднелся усыпанный галькой двор с заиндевевшими кипарисами. Я остановился у ворот и подал визитную карточку добродушному на вид надзирателю с седеющими бакенбардами. После этого меня проводили в комнату ожидания — отдельное помещение с навесом, покрытым толстым слоем высохшего мха. Здесь на скамейках с тонкой обивкой сидело уже немало людей. Среди них особое внимание привлекала женщина лет тридцати пяти в дорогом черном хаори. Она читала какой-то журнал.

Время от времени заходил удивительно нелюбезный надзиратель. Монотонным, без малейшего выражения, голосом выкликал он номера тех, кому подошла очередь идти на свидание. Я ждал и ждал, но мой номер все не выкликали. Я ждал... Когда я проходил через ворота тюрьмы, было около десяти утра. А теперь часы на моей руке показывали уже без десяти час.

Я, естественно, успел проголодаться. Но еще нестерпимее казался холод: здесь и в помине не было какого-либо отопления. Я непрерывно пританцовывал и старался подавить раздражение. Но, как ни странно, все ожидающие казались спокойными. Так, одетый в два кимоно мужчина, с виду профессиональный игрок, все время не спеша ел мандарины и даже не читал газету.

С каждым приходом надзирателя число ожидающих уменьшалось. Я вышел наружу и стал ходить по усыпанному галькой двору перед дверью. Сюда хоть доходили лучи зимнего солнца. Но вдруг поднялся ветер и швырнул мне в лицо мелкую пыль. Однако я решил пойти стихии наперекор, — по крайней мере, часов до четырех не заходить в помещение. Но вот наступило четыре часа, а мой номер, как ни странно, все не выкликали. В то же время я заметил, что большая часть тех, кто пришел после меня, уже оказались вызванными и ушли. Наконец я не выдержал, вошел в комнату ожидания и, поклонившись, обратился к мужчине с внешностью игрока за советом. В ответ он, не шевельнув ни одним мускулом лица, произнес вдруг неожиданно низким и сиплым, как у исполнителя нанивабуси, голосом:

— Они здесь только по одному в день пускают. Небось до вас уже кто-нибудь приходил.

Естественно, эти слова не могли не озаботить меня. Я решил спросить у надзирателя, пришедшего объявить очередные номера, смогу ли я в конце концов получить свидание с кузеном. Однако надзиратель ничего не ответил и ушел, даже не взглянув в мою сторону. Вместе с ним ушел человек с внешностью игрока и еще два-три посетителя. Стоя посередине прихожей, я курил сигарету за сигаретой. И по мере того, как шло время, чувствовал, как растет во мне ненависть к мрачному надзирателю. (До сих пор удивляюсь, как мог я так спокойно, не возмущившись сразу, перенести нанесенное мне оскорбление.)

Когда надзиратель снова явился, было уже около пяти часов вечера. Я снял свою каракулевую шапку и попытался было опять обратиться с прежним вопросом. Но в этот момент надзиратель, который стоял ко мне боком, быстро вышел, не обратив на меня никакого внимания. Мое состояние тогда можно было определить словами «чаша переполнилась». Я отшвырнул окурки и, выйдя во двор, направился к тюремной конторе, находившейся напротив. За стеклянным окошком слева от входа, к которому вели каменные ступеньки, корпели над бумагами несколько человек в штатском. Я открыл окошко и насколько мог спокойно обратился к мужчине в черном чесучовом кимоно с гербами:

— Я пришел на свидание с Т. Скажите, могу я с ним повидаться?

— Ждите, когда придут и объявят ваш номер.

— Но я жду уже с десяти утра!

— Сейчас придут и вас вызовут.

— А если не вызовут, все равно ждать? Ждать, даже когда ночь наступит?

— Ну, как бы там ни было, ждите... Во всяком случае, подождите еще.

Видно, мой резкий тон обескуражил служащего. И я, хоть и был рассержен, посочувствовал этому человеку. В то же время я невольно ощущал и некоторую курьезность положения: это были переговоры представителя родственников с представителем тюрьмы.

— Но ведь уже шестой час! Сделайте хоть что-нибудь, чтобы я мог получить свидание.

С этими словами я вышел из тюремной конторы и вернулся в комнату ожидания. Уже спустились сумерки, и женщина с прической марумагэ перестала читать. Она сидела, опустив журнал на колени и высоко подняв голову. Ее лицо анфас напоминало готическую скульптуру. Я сел впереди этой женщины, все еще чувствуя собственную беспомощность и враждебность ко всему, с чем пришлось мне здесь столкнуться.

Когда меня в конце концов вызвали, стрелки часов приближались к шести. В сопровождении другого надзирателя, круглоголового и шустрого, я вошел в комнату для свиданий. Хотя помещения для свиданий именовались «комнатами», на самом деле это были крохотные каморки размером едва метр на метр. К тому же длинный ряд окрашенных масляной краской дверей вместе с той, через которую я вошел, удивительно напоминал общественную уборную. Внутри каморки, впереди, отделенное узким коридором, виделось полукруглое окошко, через которое и происходило свидание.

Вот с другой стороны этого окошка — темного, застекленного — показалось полное, круглое лицо кузена. То, что он совсем не переменялся, несколько ободрило меня. Отбросив сентиментальность, мы заговорили сразу о деле. А из каморки справа до нас доносились безудержные рыдания девушки лет шестнадцати, пришедшей, видимо, к старшему брату. Ее плач невольно отвлекал мое внимание, когда я говорил с кузеном.

— Это обвинение от начала до конца ложное. Прошу вас, расскажите всем об этом, — напыщенно произнес кузен.

На это я ничего не ответил и только пристально посмотрел на него. Я молчал, потому что от его слов у меня будто перехватило дыхание. Тем временем слева от нас старик с плешинами на голове говорил через полукруглое окошечко мужчине — очевидно, сыну:

— Когда сидишь здесь один и никто тебя не навещает, много всяких вещей вспоминаешь, а как встретишься, так все из головы вон.

Когда я вышел из комнаты для свиданий, у меня было такое ощущение, будто я в чем-то виноват перед кузеном. И мне казалось, что все мы несем ответственность. Снова в сопровождении надзирателя я быстро прошел по холодному тюремному коридору к выходу...

В одном из домов на Яманотэ — в доме кузена — меня ждала двоюродная сестра. По пыльным, замусоренным улицам я вышел наконец к остановке у Ёцуя и сел в переполненный трамвай. В ушах все еще звучали странно беспомощные слова старика: «Когда сидишь один и никто не навещает...» Они казались мне даже более человеческими, чем рыдания той девушки. Держась за ремень, я смотрел на загоравшиеся в вечерних сумерках огни домов Кодзимати, и мне невольно приходили на ум слова: «О люди, люди, какие вы разные!» Через полчаса я стоял перед домом кузена и нажимал кнопку в бетонной стене. Донесшийся до моего слуха слабый звук звонка зажег лампочку за стеклянной дверью подъезда. Затем дверь приоткрыла пожилая горничная. Увидев меня, она удивленно вскрикнула «Ой!..» — и быстро проводила на второй этаж в комнату с окнами на улицу. Сбросив пальто и шапку на стоявший там стол, я вдруг снова ощутил усталость, о которой на какое-то время забыл. Горничная зажгла газовый камин и вышла, оставив меня одного. Кузен, у которого была страсть к коллекционированию, и здесь развесил несколько картин и акварелей. Я разглядывал их от нечего делать и вспоминал старые изречения о превратностях судьбы.

Тут в комнату вошла моя двоюродная сестра с младшим братом своего мужа. Я как можно точнее передал им все, что говорил кузен, и мы приступили к обсуждению мер, которые нужно было на этот раз принимать. Сестра не проявляла особой активности в поисках выхода из положения. Больше того, во время разговора она взяла мою каракулевую шапку и сказала, обращаясь ко мне:

— Странная шапка. В Японии, наверное, таких не делают.

— Эта? Она из России, такие шапки носят русские.

Однако брат кузена, еще более оборотистый человек, чем сам кузен, уже предвидел разнообразные препятствия:

— Представляете себе, на днях какой-то приятель брата прислал мне со своей визитной карточкой корреспондента из отдела светской хроники газеты. На карточке было написано, чтобы я передал этому корреспонденту остаток суммы за то, чтобы тот молчал, поскольку

половину денег этот приятель будто бы уже заплатил ему из своего кармана. Когда я, со своей стороны, проверил, то оказалось, что с корреспондентом говорил приятель брата по собственной инициативе. И никакой половины суммы он ему не передавал. Просто прислал ко мне за деньгами. Да и этот корреспондент тоже... Одним словом, газетчик есть газетчик!

— Но я как-никак тоже газетчик! Поощрите мои уши, умоляю.

Я не мог удержаться от шутки, чтобы как-то подбодрить хотя бы самого себя. Но брат кузена с налитыми кровью, затуманенными глазами продолжал говорить так, словно произносил речь. У него и в самом деле был грозный вид, и здесь уж было не до шуток.

— Больше того, находятся еще такие деятели, которые, словно нарочно, чтобы разозлить следователя, буквально ловят его и защищают перед ним брата.

— А вы бы поговорили с ними...

— Разумеется, я так и делаю. Я им и говорю, что, мол, весьма обязан вам за вашу любезность, но если вы задеваете чувства следователя, то ваши добрые намерения оборачиваются своей противоположностью, и потому покорнейше прошу не делать этого.

Двоюродная сестра, сидя перед газовым камином, вертела в руках мою каракулеву шапку. Признаюсь откровенно, что все время, пока я разговаривал с братом кузена, мое внимание было приковано к этой шапке. Я очень боялся, как бы сестра не уронила ее в огонь. Вот об этом-то я и думал время от времени. Эту шапку мне с трудом удалось достать в Москве, где я случайно оказался. Когда-то я безуспешно пытался найти такую в еврейском квартале Берлина, где жил один мой товарищ.

— И ваши просьбы не помогают?

— Какое там помогают! В ответ только и слышишь, что вот, мол, для вас стараешься, голову ломаешь, а от вас — одни оскорбления...

— Да, тут уж, действительно, ничего не поделаешь. Да, ничего не поделаешь. Ведь тут ни к чему не придерешься ни с юридической, ни с этической точки зрения. Во всяком случае, внешне все выглядит так, словно они не жалеют ни сил, ни времени ради товарища. На деле же помогают рыть для него яму. Я тоже

из тех, чей принцип — бороться до конца, но против таких я бессилён.

Вдруг в наш разговор ворвались голоса, заставившие нас вздрогнуть: «Ура Т.!» Я приподнял рукой штору на окне. Узкая улица была запружена народом. Многие несли фонарики с надписью: «Молодежная группа квартала ***». Я переглянулся с двоюродной сестрой и тут вдруг вспомнил, что кузен был еще и старшиной молодежной группы.

— Надо бы, пожалуй, выйти поблагодарить за приветствие.

Двоюродная сестра со страдальческим выражением лица, всем своим видом показывая, что ей это уже нелегко, посмотрела на нас испытующим взглядом.

— В чем дело? Я выйду!

Брат кузена, не раздумывая, быстро вышел из комнаты. Немного завидуя его боевому духу, я, чтобы не встречаться взглядом с сестрой, рассматривал картины на стенах. Мне было тяжело сидеть вот так, не произнося ни слова. И все же было бы еще тяжелее, если бы, заговорив, мы оба расчувствовались. Я молча закурил сигарету и, глядя на одну из висящих на стене картин — портрет самого кузена, — стал отыскивать в ней нарушения законов перспективы.

— Нам совсем не до приветствий. Но сколько ни говори им об этом, все бесполезно, — странно притворным тоном заговорила наконец сестра.

— А что, разве в квартале еще не знают?..

— Нет... А как, собственно, обстоят дела?

— Какие дела?

— Да у Т., у мужа.

— Если встать на место Т.-сана, можно найти много объяснений случившемуся...

— В самом деле?

Я вдруг почувствовал раздражение и, отвернувшись от сестры, подошел к окну. Внизу опять раздались крики. Это собравшиеся прокричали троекратное «ура». Брат кузена вышел к подъезду и кланялся толпе, размахивавшей поднятыми вверх фонариками. Мало того, брат кузена вышел не один: с ним были две маленькие девочки — дочери Т. Он держал их за руки, и они время от времени наклоняли головки в церемонном поклоне.

* * *

С тех пор прошло уже несколько лет. В один из пронзительно холодных вечеров я сидел в доме кузена в гостиной и, потягивая недавно начатую трубку с мятой, беседовал с глазу на глаз с двоюродной сестрой. В доме, где только что проводили седьмой день траура, стояла гнетущая тишина. Перед табличкой с именем кузена, сделанной из некрашеного дерева, теплился огонек свечи. А перед столиком с табличкой стояли две девочки в ночных рубашонках. Разглядывая заметно постаревшее лицо сестры, я вдруг вспомнил события того неприятного для меня дня. Но вслух я произнес лишь такие банальные слова:

— Знаешь, когда куришь трубку с мятой, кажется, будто всего тебя пронизывает холод.

— Вот как? У меня тоже руки и ноги замерзли.

И она, словно нехотя, поправила угли в жаровне...

Июнь 1927 г.



ТРИ ОКНА

1. КРЫСЫ

Было самое начало июня, когда броненосец первого класса ** вошел в военный порт Йокосука. Горы, окружавшие порт, были окутаны пеленой дождя. Не бывает такого случая, чтобы военный корабль стал на якорь, а количество крыс не увеличилось, ** не являлся исключением. И под палубой броненосца водоизмещением в двадцать тысяч тонн, полоскавшего флаг в бесконечном дожде, крысы начали лезть в сундучки, в мешки с одеждой.

Не прошло и трех дней, как корабль стал на якорь, и, чтобы выловить крыс, был издан приказ помощника капитана, гласивший, что каждому пойманному крысу будет разрешено на день сойти на берег. Как только был издан приказ, матросы и кочегары стали, конечно, с усердием охотиться на крыс. И благодаря их усилиям количество крыс таяло буквально на глазах. Поэтому матросам приходилось бороться за каждую крысу.

— Крыса, которую теперь приносят, вся растерзана. Это потому, что ее тянут в разные стороны.

Так со смехом говорили между собой офицеры, собираясь в кают-компаниях. Одним из них был лейтенант А., с виду совсем еще юноша. Он вырос, не зная забот, и мало что смыслил в жизни. Но даже он отчетливо понимал состояние матросов и кочегаров, жаждав-

ших сойти на берег. Дымя сигаретой, он обычно говорил:

— Да, это верно. Я бы сам на их месте не остановился перед тем, чтобы хоть кусок урвать от крысы.

Такие слова мог произнести только холостяк. Его товарищ лейтенант У., у которого были короткие рыжие усы, женился с год назад и поэтому обычно подсмеивался над матросами и кочегарами. Здесь сказывалось также, разумеется, его постоянное стремление ни в чем не проявлять собственной слабости. Но даже он, захмелев от бутылки пива, опускал голову на руки, покоившиеся на столе, и говорил иногда лейтенанту А.:

— Ну как, может, и нам поохотиться на крыс?

Однажды утром после дождя лейтенант А., бывший вахтенным офицером, разрешил матросу S. сойти на берег. Это за то, что он поймал крысу, притом целую крысу. Могучего телосложения, крупнее остальных матросов, S., залитый лучами солнца, спускался вниз по узкому трапу. А в это время его приятель-матрос, легко взбежавший вверх, поравнявшись с ним, шутливо бросил:

— Эй, импорт?

— Угу, импорт.

Этот диалог не мог пройти мимо ушей лейтенанта А. Он позвал S., заставил его вернуться на палубу и спросил, что означает их диалог.

— Что такое импорт?

S. вытянулся, глядя прямо в лицо лейтенанта А., — он явно приуныл.

— Импорт — это то, что приносят из города.

— А зачем приносят?

Лейтенант А. понимал, конечно, зачем приносят. Но, поскольку S. не отвечал, он сразу же разозлился на него и наотмашь ударил по щеке. S. пошатнулся, но тут же снова вытянулся.

— Кто принес это из города?

S. опять ничего не ответил. Лейтенант А., пристально глядя на него, представлял себе, как он снова влепит ему пощечину.

— Кто?

— Моя жена.

— Принесла, когда приходила повидаться с тобой?

— Так точно.

Лейтенант А. не мог не усмехнуться про себя.

- В чем она его принесла?
- В коробке с печеньем принесла.
- Где твой дом?
- На Хирасакасита.
- Родители твои живы?
- Никак нет. Мы живем вдвоем с женой.
- А детей нет?
- Никак нет.

Во время этого разговора вид у S. оставался растерянным. Лейтенант А., не скомандовав «вольно», перевел взгляд на Йокосука. Город высился среди гор грязными пятнами крыш. В лучах солнца он являл собой удивительно жалкое зрелище.

- Не пойдешь на берег.
- Слушаюсь.

S. заметил, что лейтенант А. молча стоит, в замешательстве не зная, что делать.

А лейтенант в это время подбирал в уме слова, чтобы отдать следующий приказ. И некоторое время молча ходил по палубе. «Он боится наказания», — сознавать это, как и всякому старшему по чину, лейтенанту было приятно.

- Ну ладно. Иди, — сказал наконец лейтенант А.

Отдав честь, S. повернулся кругом и пошел было к люку. Но когда он отошел на несколько шагов, лейтенант А., стараясь подавить улыбку, неожиданно окликнул его:

- Эй, постой!
- Слушаюсь.

S. резко повернулся. Волнение снова разлилось по всему его телу.

— Мне нужно тебе кое-что сказать. На Хирасакасита есть магазин, где продается крекер?

- Так точно.
- Купи мне пачку этого крекера.
- Сейчас?
- Да. Прямо сейчас.

От лейтенанта А. не укрылось, что по вспыхнувшей огнем щеке S. бежит слеза...

Через два-три дня, сидя за столом в кают-компании, лейтенант А. пробегал глазами письмо, подписанное женским именем. Оно было написано неуверенной рукой на желтоватой почтовой бумаге. Прочитав письмо,

лейтенант закурил и протянул его находившемуся рядом лейтенанту У.

— Что это? «...Во вчерашнем виновен не муж — все случилось из-за моего легкомыслия. Простите, пожалуйста, у меня и в мыслях не было обидеть вас... Вашу доброту я никогда, никогда не забуду...»

На лице лейтенанта У., продолжавшего держать письмо, постепенно всплывала презрительная гримаса. Он с неприязнью посмотрел на лейтенанта А. и холодно спросил:

— Тебе что, нравится делать добрые дела?

— Почему же, иногда можно,— парировал лейтенант А., глядя в иллюминатор. За иллюминатором было лишь бесконечное море в дымке дождя. Но через некоторое время, будто устыдившись чего-то, он вдруг сказал лейтенанту У.:

— Знаешь, он ужасно тихий. Но, дав ему оплеуху, я ни жалости, ничего подобного не испытывал...

Лейтенант У. всем своим видом показал, что ему чужды сомнения и колебания. Ничего не ответив, он принялся читать газету, лежавшую на столе. В каюткомпании, кроме них, не было никого. На столе стояло несколько вазочек с цветами. Глядя на их прозрачные лепестки, лейтенант А. по-прежнему дымил сигаретой. Как ни странно, продолжая испытывать к этому резко лейтенанту У. дружеские чувства...

2. ТРОЕ

После одного из боев броненосец первого класса ** в сопровождении пяти кораблей медленно шел к бухте Чанхэ. На море уже опустилась ночь. С левого борта над горизонтом висел большой красный серп луны. На броненосце водоизмещением в двадцать тысяч тонн покой еще, конечно, не наступил. Но это было возбуждение после победы. И только малодушный лейтенант К. даже среди этого возбуждения нарочно слонялся по кораблю, с усталым лицом, будто был чем-то очень озабочен.

В ночь перед боем, проходя по палубе, он заметил тусклый свет фонаря и сразу же пошел на него. Он увидел молодого музыканта из военного оркестра, который

лежал ничком и при свете фонаря, поставленного так, чтобы его не мог видеть противник, читал Священное писание. Лейтенант К. был тронут и сказал музыканту несколько теплых слов. Музыкант вначале вроде испугался. Но, поняв, что старший командир не ругает его, сразу же заулыбался, точно девушка, и стал робко отвечать ему... Однако сейчас этот молодой музыкант лежал, убитый снарядом, попавшим в основание грот-мачты. Глядя на его тело, лейтенант К. вдруг вспомнил фразу: «Смерть успокаивает человека». Если бы жизнь самого молодого лейтенанта К. была оборвана снарядом... Из всех смертей такая представлялась ему самой приятной.

И все же сердце впечатлительного лейтенанта К. до сих пор хранило все, что случилось перед этим боем. Броненосец первого класса **, закончив подготовку к бою, в сопровождении тех же пяти кораблей шел по морю, катившему огромные волны. Но у одного из орудий правого борта с жерла почему-то не была снята заглушка. А в это время на горизонте показались далекие дымки вражеской эскадры. Один из матросов, заметивший эту оплошность, быстро уселся верхом на ствол орудия, проворно дополз до жерла и попытался обеими ногами открыть заглушку. Неожиданно это оказалось совсем не просто. Матрос, повиснув над морем, раз за разом, точно лягаясь, бил обеими ногами. И время от времени поднимал голову и еще улыбался, показывая белые зубы. Вдруг броненосец начал резко менять курс, поворачивая вправо. И тогда весь правый борт оказался накрытым огромной волной. Вмиг матрос, оседлавший орудие, был смыт. Упав в море, он отчаянно махал рукой и что-то громко кричал. В море вместе с проклятиями матросов полетел спасательный круг. Но, конечно же, поскольку перед броненосцем была вражеская эскадра, о спуске шлюпки не могло быть и речи. И матрос в мгновение ока остался далеко позади. Его судьба была решена — рано или поздно он утонет. Да и кто бы мог поручиться, что в этом море мало акул...

Смерть молодого музыканта не могла не воскресить в памяти лейтенанта К. это происшествие, случившееся перед боем. Он поступил в морскую офицерскую школу, но когда-то мечтал стать писателем-натуралистом. И, даже окончив школу, все еще увлекался Мопасса-

ном. Жизнь часто представлялась ему сплошным мраком. Придя на броненосец, он вспомнил слова, высеченные на египетском саркофаге: «Жизнь — борьба», и подумал, что, не говоря уже об офицерах и унтер-офицерах, даже сам броненосец как бы воплотил в стали этот египетский афоризм. И перед мертвым музыкантом он не мог не почувствовать тишины всех окончившихся для него боев. И не мог не ощутить печали об этом матросе, собиравшемся еще так долго жить.

Отирая пот со лба, лейтенант К., чтобы хоть остыть на ветру, поднялся через люк на шканцы. Перед башней двенадцатидюймового орудия в одиночестве вышагивал, заложив руки за спину, гладко выбритый палубный офицер. А немного впереди унтер-офицер, опустив скуластое лицо, стоял навывтяжку перед орудийной башней. Лейтенанту К. стало немного не по себе, и он суетливо подошел к палубному офицеру.

— Ты что?

— Да вот хочу перед поверкой в уборную сходить.

На военном корабле наказание унтер-офицера не было каким-то диковинным событием. Лейтенант К. сел и стал смотреть на море, на красный серп луны с левого борта, с которого сняли пиллерсы. Кругом не было слышно ни звука, лишь постукивали по палубе каблуки офицера. Лейтенант К. почувствовал некоторое облегчение и стал наконец вспоминать свое состояние во время сегодняшнего боя.

— Я еще раз прошу вас. Даже если меня лишат награды за отличную службу — все равно, — подняв вдруг голову, обратился унтер-офицер к палубному офицеру.

Лейтенант К. невольно взглянул на него и увидел, что его смуглое лицо стало серьезным. Но бодрый палубный офицер, по-прежнему заложив руки за спину, продолжал спокойно прохаживаться по палубе.

— Не говори глупостей.

— Но стоять здесь — да ведь я своим подчиненным в глаза смотреть не могу. Уж лучше бы мне задержали повышение в чине.

— Задержка повышения в чине — дело очень серьезное. Лучше стой здесь.

Палубный офицер, сказав это, с легким сердцем стал снова ходить по палубе. Лейтенант К. разумом был согласен с палубным офицером. Больше того, он не мог не

считать, что унтер-офицер слишком честолюбив, слишком чувствителен. Но унтер-офицер, стоявший с опущенной головой, чем-то растревожил лейтенанта К.

— Стоять здесь — позор, — продолжал причитать тихим голосом унтер-офицер.

— Ты сам в этом виноват.

— Наказание я понесу охотно. Только, пожалуйста, сделайте так, чтобы мне здесь не стоять.

— Если считать позором, то ведь, в конце концов, любое наказание — позор. Разве не так?

— Но потерять авторитет у подчиненных — это для меня очень тяжело.

Палубный офицер ничего не ответил. Унтер-офицер... унтер-офицер, казалось, тоже махнул рукой. Вложив всю силу в «это», он замолчал и стоял неподвижно, не произнося ни слова. Лейтенант К. начал испытывать беспокойство (в то же время ему казалось, что он может остаться в дураках из-за чувствительности унтер-офицера) и ощутил желание замолвить за него слово. Но это «слово», сорвавшись с губ, превратилось в обычное.

— Тихо как, верно?

— Угу.

Так ответил палубный офицер и продолжал ходить, поглаживая подбородок. В ночь перед боем он говорил лейтенанту К.: «Еще давным-давно Кимура Сигэнари...» — и поглаживал тщательно выбритый подбородок...

Однажды, уже отбыв наказание, унтер-офицер исчез. Поскольку на корабле было установлено дежурство, утопиться он никак не мог. Не прошло и полдня, как стало ясно, что его нет и в угольной яме, где легко совершить самоубийство. Но причиной исчезновения унтер-офицера была, несомненно, смерть. Он оставил прощальные письма матери и брату. Палубный офицер, наложивший на него взыскание, старался никому не попадаться на глаза. Лейтенант К. из-за своего малодушия ужасно ему сочувствовал, чуть ли не силой заставлял его бутылку за бутылкой пить пиво, которое сам не брал в рот. И в то же время беспокоился, что тот опьянеет.

— Все из-за своего упрямства. Но ведь можно и не умирать, верно?.. — без конца причитал палубный офи-

цер, с трудом удерживаясь на стуле.— Я и сказал-то ему только — стой. И из-за этого умирать?..

Когда броненосец бросил якорь в бухте Чэнхэ, кочегары, занявшиеся чисткой труб, неожиданно обнаружили останки унтер-офицера. Он повесился на цепочке, болтавшейся в трубе. Но висел лишь скелет — форменная одежда, даже кожа и мясо — все сгорело дотла. Об этом, конечно же, узнал в кают-компании и лейтенант К. И он вспомнил фигуру унтер-офицера, замершего перед орудийной башней, и ему почудилось, что где-то еще висит красный серп месяца.

Смерть этих трех человек навсегда оставила в душе лейтенанта К. мрачную тень. Он начал понимать даже, что такое жизнь. Но время превратило этого пессимиста в контр-адмирала, пользующегося прекрасной репутацией у начальства. Хотя ему и советовали стать каллиграфом, он редко брал в руки кисть. И лишь когда его вынуждали к этому, писал в альбомах:

*В твоих глазах, смотрящих на меня
Без слов, я вижу — нет печали.*

3. БРОНЕНОСЕЦ ПЕРВОГО КЛАССА **

Броненосец первого класса ** ввели в док военного порта Йокосука. Ремонтные работы продвигались с большим трудом. Броненосец водоизмещением в двадцать тысяч тонн, на высоких бортах которого, снаружи и внутри, копошились бесчисленные рабочие, все время испытывал необычайное нетерпение. Ему хотелось выйти в море, но, вспоминая о прилипших ко дну ракушках, он ощущал противный зуд.

В порту Йокосука стоял на якоре приятель броненосца, военный корабль ***. Этот корабль водоизмещением в двенадцать тысяч тонн был моложе броненосца. Иногда они беззвучно переговаривались через морской простор.

*** сочувствовал, естественно, возрасту броненосца, сочувствовал тому, что по оплошности, допущенной кораблестроителями, руль его легко выходит из строя. Но, сочувствуя, он ни разу не заговаривал с ним об этом. Больше того, из уважения к броненосцу, много

раз участвовавшему в боях, всегда употреблял в разговоре с ним самые вежливые выражения.

Однажды в пасмурный день из-за огня, попавшего в пороховой склад на ***, раздался вдруг ужасающий взрыв, и корабль наполовину ушел под воду. Броненосец был, конечно, потрясен (многочисленные рабочие объяснили, разумеется, вибрацию броненосца законами физики). Не участвовавший в боях *** мгновенно превратился в калеку — броненосец просто не мог в это поверить. Он с трудом скрыл свое потрясение и попытался подбодрить ***. Но ***, накренившись, окутанный пламенем и дымом, лишь жалобно ревел.

Через три-четыре дня у броненосца водоизмещением в двадцать тысяч тонн, из-за того, что на его борта перестала давить вода, начала трескаться палуба. Увидев это, рабочие ускорили ремонтные работы. Но в какой-то момент броненосец сам махнул на себя рукой. *** еще совсем был молод, но утонул на его глазах. Если подумать о судьбе ***, в жизни его, броненосца, уж во всяком случае, были не только горести, но и радости. Он вспомнил один бой, теперь уже давний. Это был бой, в котором и флаг был разодран в клочья, и даже мачты сломаны...

В доке, высохшем до белизны, броненосец водоизмещением в двадцать тысяч тонн гордо поднял свой нос. Перед ним сновали крейсера и миноносцы. А иногда показывались подводные лодки и даже гидропланы. Они лишь заставляли броненосца чувствовать эфемерность всего сущего. Осматривая военный порт Йокосука, над которым то светило солнце, то собирались тучи, броненосец терпеливо ждал своей судьбы. В то же время испытывая некоторое беспокойство оттого, что палуба все больше коробится...



ЗУБЧАТЫЕ КОЛЕСА

1. МАКИНТОШ

С чемоданом в руке я ехал в автомобиле из дачной местности на станцию Токайдоской железной дороги, чтобы принять участие в свадебном банкете одного моего приятеля. По обеим сторонам шоссе росли только сосны. Что мы успеем на поезд в Токио, было довольно сомнительно. В автомобиле вместе со мной ехал мой знакомый, владелец парикмахерской, кругленький толстяк с маленькой бородкой. Я время от времени с ним разговаривал и очень беспокоился, что опаздываю.

— Странная вещь, знаете ли! Говорят, в доме у господина N. даже днем появляется привидение!

— Даже днем? — из вежливости переспросил я, глядя вдаль на поросшие соснами горы, освещенные закатным зимним солнцем.

— И будто в хорошую погоду оно не показывается. Чаще всего в дождливые дни.

— А промокнуть оно не боится?

— Вы шутите... Впрочем, говорят, что это привидение носит макинтош.

Автомобиль засигналил и остановился. Я простился с владельцем парикмахерской и пошел на станцию. Как я и ожидал, поезд на Токио две-три минуты назад ушел. В зале ожидания сидел на скамье и рассеянно смотрел в окно какой-то человек в макинтоше. Я вспо-

мнил только что услышанный рассказ о привидении. Однако лишь усмехнулся и пошел в кафе у станции — так или иначе, надо было ждать следующего поезда.

Это кафе, пожалуй, не заслуживало названия кафе. Я сел за столик в углу и заказал чашку какао. Клеенка на столе была белая, с простым решетчатым узором из тонких голубых лилий по белому фону. Но углы облупились, и видна была грязноватая парусина. Я пил какао, пахнувшее клеем, и оглядывал пустое кафе. На пыльных стенах висели надписи: «Ояко-домбури», «Котлеты», «Яйца», «Омлет» и тому подобное.

В этих надписях чувствовалась близость деревни, подходящей вплотную к Токайдоской железной дороге. Деревни, где среди ячменных и капустных полей проходит электричка.

Я сел на следующий поезд, который пришел уже почти в сумерки. Я всегда езжу вторым классом. Но на этот раз по каким-то соображениям взял третий.

В вагоне было довольно тесно. Вокруг меня сидели ученицы начальной школы, по-видимому, ехавшие на экскурсию в Осио или еще куда-то. Закуривая папиросу, я смотрел на эту группу школьниц. Все они были оживленны и болтали без умолку.

— Господин фотограф, «рау-сийн»¹ — это что такое?

Господин фотограф, сидевший напротив меня, тоже, по-видимому, участник экскурсии, ответил что-то невразумительное. Но школьница лет четырнадцати продолжала его расспрашивать. Я вдруг заметил, что у нее зловонный насморк, и не мог удержаться от улыбки. Потом другая девочка, лет двенадцати, села к молодой учительнице на колени и, одной рукой обняв ее за шею, другой стала гладить ее щеки. При этом она разговаривала с подругами, а в паузах время от времени говорила учительнице:

— Какая вы красивая! Какие у вас красивые глаза!

Они производили на меня впечатление не школьниц, а скорее взрослых женщин. Если не считать того, что они ели яблоки вместе с кожурой, а конфеты держали прямо в пальцах, сняв с них обертку. Одна из девочек, постарше, проходя мимо меня и, видимо, наступив кому-то на ногу, произнесла «извините!». Она была

¹ Искаженное love scene (англ.) — любовная сцена.

взрослее других, но мне, напротив, показалась больше похожей на школьницу. Держа папиросу в зубах, я невольно усмехнулся противоречивости своего восприятия.

Тем временем в вагоне зажгли свет, и поезд подошел к пригородной станции. Я вышел на холодную ветреную платформу, перешел мост и стал ожидать трамвая. Тут я случайно столкнулся с неким господином Т., служащим одной фирмы. В ожидании трамвая мы говорили о кризисе и других подобных вещах. Господин Т., конечно, был осведомлен лучше меня. Однако на его среднем пальце красовалось кольцо с бирюзой, что не очень вязалось с кризисом.

— Прекрасная у вас вещь!

— Это? Это кольцо мне буквально всучил товарищ, уехавший в Харбин. Ему тоже пришлось туго: нельзя иметь дело с кооперативами.

В трамвае, к счастью, было не так тесно, как в поезде. Мы сели рядом и продолжали беседовать о том, о сем. Господин Т. этой весной вернулся в Токио из Парижа, где он служил. Поэтому разговор зашел о Париже, о госпоже Кайо, о блюдах из крабов, о некоем принце, совершающем заграничное путешествие.

— Во Франции дела не так плохи, как думают. Только эти французы искони не любят платить налоги, вот почему у них летит один кабинет за другим.

— Но ведь франк падает?

— Это по газетам. Нужно там пожить. Что пишут в газетах о Японии? Только про землетрясения или наводнения.

Тут вошел человек в макинтоше и сел напротив нас. Мне стало как-то не по себе и отчего-то захотелось передать господину Т. слышанный днем рассказ о привидении. Но господин Т., резко повернув влево ручку трости и подавшись вперед, прошептал мне:

— Видите ту женщину? В серой меховой накидке?

— С европейской прической?

— Да, со свертком в фурóсики. Этим летом она была в Каруидзава. Элегантно одевалась.

Однако теперь, на чей угодно взгляд, она была одета бедно. Разговаривая с господином Т., я украдкой поглядывал на эту женщину. В ее лице, особенно в складке между бровями, было что-то ненормальное.

К тому же из свертка высовывалась губка, похожая на леопарда.

— В Каруидзава она танцевала с молодым американцем. Настоящая «модан»... или как их там.

Когда я простился с господином Т., человека в макинтоше уже не было. Я сошел на нужной мне остановке и с чемоданом в руке направился в отель. По обеим сторонам улицы высились здания. Шагая по тротуару, я вдруг вспомнил сосновый лес. Мало того, в поле моего зрения я заметил нечто странное. Странное? Собственно, вот что: непрерывно вертящиеся полупрозрачные зубчатые колеса. Это случалось со мной и раньше. Зубчатых колес обычно становилось все больше, они наполовину заполняли мое поле зрения, но длилось это недолго, вскоре они пропадали, а следом начиналась головная боль — всегда было одно и то же. Из-за этой галлюцинации (галлюцинация ли?) глазной врач неоднократно предписывал мне меньше курить. Но мне случалось видеть эти зубчатые колеса и до двадцати лет, когда я еще не привык к табаку. «Опять начинается!» — подумал я и, чтобы проверить зрительную способность левого глаза, закрыл рукой правый. В левом глазу, действительно, ничего не было. Но под веком правого глаза вертелись бесчисленные зубчатые колеса. Наблюдая, как постепенно исчезают здания справа от меня, я торопливо шел по улице.

Когда я вошел в вестибюль отеля, зубчатые колеса пропали. Но голова еще болела. Я сдал в гардероб пальто и шляпу и попросил отвести мне номер. Потом позвонил в редакцию журнала и переговорил насчет денег.

Свадебный банкет, по-видимому, начался уже давно. Я сел на углу стола и взял в руки нож и вилку. Пятьдесят с лишним человек, сидевших за белыми, поставленными «покоем», столами, все, начиная с новобрачных, разумеется, были веселы. Но у меня на душе от яркого электрического света становилось все тоскливей. Чтобы не поддаться тоске, я заговорил со своим соседом. Это был старик с белой львиной бородой; знаменитый синолог, имя которого я не раз слышал. Поэтому наш разговор сам собой перешел на сочинения китайских классиков.

— Цилинь — это единорог. А птица фынхуан — феникс...

Знаменитый синолог, по-видимому, слушал меня с интересом. Машинально продолжая свою речь, я начал постепенно чувствовать болезненную жажду разрушения и не только превратил Яо и Шуня в вымышленных персонажей, но и высказал мысль, что даже автор «Чунь-цю» жил гораздо позже—в Ханьскую эпоху. Тогда синолог обнаружил явное недовольство и, не глядя на меня, прервал мою речь, зарывчав, почти как тигр:

— Если Яо и Шунь не существовали, значит, Конфуций лжет. А мудрец лгать не может.

Понятно, я замолчал. И опять потянулся ножом и вилкой к мясу на тарелке. Тут по краешку куска мяса медленно пополз червячок. Червяк вызвал в моей памяти английское слово worm¹. Это слово, несомненно, тоже означало легендарное животное, вроде единорога или феникса. Я положил нож и вилку и стал смотреть, как мне в бокал наливают шампанское.

После банкета я пошел по пустынному коридору, спеша забраться в свой номер. Коридор напоминал не столько отель, сколько тюрьму. К счастью, головная боль стала легче.

Ко мне, в номер разумеется, уже принесли чемодан и даже пальто и шляпу. Мне показалось, что пальто, висящее на стене,— это я сам, и я поспешно швырнул его в шкаф, стоявший в углу. Потом подошел к трюмо и внимательно посмотрел в зеркало. У меня на лице под кожей обозначились впадины черепа. Червяк вдруг отчетливо всплыл у меня в памяти.

Я открыл дверь, вышел в коридор и побрел, сам не зная куда. В углу, в стеклянной двери холла ярко отражался торшер с зеленым абажуром. Это вселило мне в душу некоторый покой. Я сел на стул и задумался. Но я не просидел и пяти минут. Опять макинтош, кем-то небрежно сброшенный, висел на спинке дивана сбоку от меня.

«А ведь теперь самые холода...»

С этой мыслью я встал и пошел по коридору обратно. В дежурной комнате, в углу коридора, не видно было ни одного боя, но голоса их до меня долетали. Я услышал, как в ответ на чьи-то слова было сказано по-английски «all right»². Я старался уловить истинный

¹ Червяк (англ.).

² Все в порядке, хорошо (англ.).

смысл разговора. «Олл райт»? «Олл райт»? Собственно, что именно «олл райт»?

В комнате у меня, разумеется, была полная тишина. Но открыть дверь и войти было почему-то жутковато. Немного поколебавшись, я решительно вошел в комнату. Потом, стараясь не смотреть в зеркало, сел за стол. Кресло было обито синей кожей, похожей на кожу ящерицы. Я раскрыл чемодан, достал бумагу и хотел продолжать работу над рассказом. Но перо, набрав чернил, все не двигалось с места. Больше того, когда оно наконец сдвинулось, то выводило все одни и те же слова: all right... all right... all right...

Вдруг раздался звонок — зазвонил телефон у постели. Я испуганно встал и поднес трубку к уху:

— Кто?

— Это я! Я...

Говорила дочь моей сестры.

— Что такое? Что случилось?

— Случилось несчастье. Поэтому... Случилось несчастье. Я сейчас звонила тете.

— Несчастье?

— Да, приезжайте сейчас же! Сейчас же!

На этом разговор оборвался. Я положил трубку и машинально нажал кнопку звонка. Но что рука у меня дрожит, я все же отчетливо сознавал. Бой все не являлся. Это меня не так раздражало, как мучило, и я вновь и вновь нажимал кнопку звонка. Нажимал, начиная понимать слова «олл райт», которым научила меня судьба...

В тот день муж сестры где-то в деревне недалеко от Токио бросился под колеса. Он был одет не по сезону — в макинтош. Я все еще в номере того же отеля пишу тот самый рассказ. Поздней ночью по коридору не проходит никто. Но иногда за дверью слышится хлопанье крыльев. Вероятно, кто-нибудь держит птиц.

23 марта 1927 г.

2. МЩЕНИЕ

Я проснулся в номере отеля в восемь часов утра. Но когда хотел встать с постели, обнаружил почему-то только одну туфлю. Такие явления в последние год-два

всегда внушали мне тревогу, страх. Вдобавок это заставило меня вспомнить царя из греческой мифологии, обутого в одну сандалию. Я позвонил, позвал боя и попросил найти вторую туфлю. Бой с недоумевающим видом принялся обшаривать тесную комнату.

— Вот она, в ванной!

— Как она туда попала?

— Са-а¹. Может быть — крысы?

Когда бой ушел, я выпил чашку черного кофе и принялся за свой рассказ. Четырехугольное окно в стене из туфа выходило в занесенный снегом сад. Когда перо останавливалось, я каждый раз рассеянно смотрел на снег. Он лежал под кустами, на которых уже появились почки, грязный от городской копоти. Это отдавалось в моем сердце какой-то болью. Непрерывно курая, я, сам того не заметив, перестал водить пером и задумался о жене, о детях. И о муже сестры...

До самоубийства мужа сестры подозревали в поджоге. И этому никак нельзя было помочь. Незадолго до пожара он застраховал дом на сумму, вдвое превышающую настоящую стоимость. Притом над ним еще висел условный приговор за лжесвидетельство. Но сейчас меня мучило не столько его самоубийство, сколько то, что каждый раз, когда я ехал в Токио, я непременно видел пожар. То из окна поезда я наблюдал, как горит лес в горах, то из автомобиля (в тот раз я был с женой и детьми) глазам моим предстал пылающий район Токивабаси. Это случалось еще до того, как сгорел его дом, и не могло не вызвать у меня предчувствия пожара.

— Может быть, у нас в этом году произойдет пожар.

— Что за мрачные предсказания!.. Если случится пожар — это будет ужасно. И страховка ничтожная...

Мы не раз говорили об этом. Но мой дом не сгорел... Я постарался прогнать видения и хотел было опять взяться за перо. Но перо не могло вывести как следует ни одной строки. В конце концов я встал из-за стола, бросился на постель и стал читать «Поликушку» Толстого. У героя этой повести сложный характер, в котором переплетены тщеславие, болезненные наклонности и честолюбие. И трагикомедия его жизни, если ее толь-

¹ Са-а — междометие, выражающее раздумье при ответе (японск).

ко слегка подправить,— это карикатура на мою жизнь. И оттого, что я чувствовал в его трагикомедии холодную усмешку судьбы, мне становилось жутко. Не прошло и часа, как я вскочил с постели и швырнул книгу в угол полутемной комнаты.

— Будь ты проклята!

Тут большая крыса выскочила из-под опущенной оконной занавески и побежала наискось по полу к ванной. Я бросился за ней, в один скачок очутился у ванной, распахнул дверь и осмотрел всю комнату. Но даже за самой ванной никакой крысы не оказалось. Мне сразу стало не по себе, я торопливо скинул туфли, надел ботинки и вышел в безлюдный коридор.

Здесь и сегодня все выглядело мрачно, как в тюрьме. Понурился, я ходил вверх и вниз по лестницам и как-то незаметно попал на кухню. Против ожиданий в кухне было светло. В плитах, расположенных в ряд по одной стороне, полыхало пламя. Проходя по кухне, я чувствовал, как повара в белых колпаках насмешливо смотрят мне вслед. И в то же время всем своим существом ощущал ад, в который давно попал. И с губ моих рвалась молитва: «О боже! Покарай меня, но не гневайся! Я погибаю».

Выйдя из отеля, я отправился к сестре, переступая через лужи растаявшего снега, в которых отражалась синева неба. На деревьях в парке, вдоль которого шла улица, ветви и листья были черными. Мало того, у всех у них были перед и зад, как у нас, у людей. Это тоже показалось мне неприятным, более того, страшным. Я вспомнил души, превращенные в деревья в дантовом аду, и свернул на улицу, где проходила трамвайная линия и по обеим сторонам сплошь стояли здания. Но и здесь пройти спокойно хоть один квартал мне так и не удалось.

— Простите, что задерживаю вас...

Это был юноша лет двадцати двух в форменной куртке с металлическими пуговицами. Я молча на него взглянул и заметил, что на носу у него слева родинка. Сняв фуражку, он робко обратился ко мне:

— Простите, вы господин А[кутагава]?..

— Да.

— Я так и подумал, поэтому...

— Вам что-нибудь угодно?

— Нет, я только хотел с вами познакомиться. Я один из читателей и поклонников сэнсэя...

Тут я приподнял шляпу и пошел дальше. Сэнсэй, А[кутагава]-сэнсэй — в последнее время это были самые неприятные для меня слова. Я был убежден, что совершил массу всяких преступлений. А они по-прежнему называли меня: «сэнсэй!». Я невольно усматривал тут чье-то издевательство над собой. Чье-то? Но мой материализм неизбежно отвергал любую мистику. Несколько месяцев назад в журнальчике, издаваемом моими друзьями, я напечатал такие слова: «У меня нет никакой совести, даже совести художника: у меня есть только нервы...»

Сестра с тремя детьми нашла приют в бараке в глубине опустевшего участка. В этом бараке, оклеенном коричневой бумагой, было холодней, чем на улице. Мы разговаривали, грея руки над хибати. Отличаясь крепким сложением, муж сестры инстинктивно презирал меня, исхудавшего донельзя. Мало того, он открыто заявлял, что мои произведения безнравственны. Я всегда смотрел на него с насмешкой и ни разу откровенно с ним не поговорил. Но, беседуя с сестрой, я понемногу понял, что он, как и я, был низвергнут в ад. В самом деле, с ним однажды случилось, что в спальном вагоне он увидел привидение. Я закурил папиросу и старался говорить только о денежных вопросах.

— Что ж, раз так сложилось, придется все продавать!

— Да, пожалуй. Пишущая машинка сколько теперь стоит?

— И еще есть картины.

— Портрет N. (муж сестры) тоже продашь? Ведь он...

Но, взглянув на портрет, висевший без рамы на стене барака, я почувствовал, что больше не могу легкомысленно шутить. Говорили, что его раздавило колесами, лицо превратилось в кусок мяса и уцелели только усы. Этот рассказ сам по себе, конечно, жутковат. Однако на портрете, хотя в целом он был написан превосходно, усы почему-то едва виднелись. Я подумал, что это обман зрения, и стал всматриваться в портрет, отходя то в одну, то в другую сторону.

— Что ты так смотришь?

— Ничего... В этом портрете вокруг рта...

Сестра, полуобернувшись, ответила, словно ничего не замечая:

— Усы какие-то жидкие.

То, что я увидел, не было галлюцинацией. Но если это не галлюцинация, то... Я решил уйти, пока не доставил сестре хлопот с обедом.

— Не уходи!

— До завтра... Мне еще нужно в Аояма.

— А, туда! Опять плохо себя чувствуешь?

— Все глотаю лекарства, даже наркотики, просто ужас. Веронал, нейронал, торинал...

Через полчаса я вошел в одно здание и поднялся лифтом на третий этаж. Потом толкнул стеклянную дверь ресторана. Но дверь не подавалась. Мало того, на ней висела табличка с надписью: «Выходной день». Я все больше расстраивался и, поглядев на груды яблок и бананов за стеклянной дверью, решил уйти и спустился вниз, к выходу. Навстречу мне с улицы, весело болтая, вошли двое, по-видимому, служащие. Один из них, задев меня плечом, кажется, произнес: «Нервничает, а?»

Я остановился и стал ждать такси. Такси долго не показывалось, а те, которые наконец стали подъезжать, все были желтые. (Эти желтые такси постоянно вызывают у меня представление о несчастном случае.) Наконец я заметил такси благоприятного для меня зеленого цвета и отправился в психиатрическую лечебницу недалеко от кладбища Аояма.

«Нервничает». ...Tantalising¹ ...Tantalus² ...Inferno.

Тантал — это был я сам, глядевший на фрукты сквозь стеклянную дверь. Проклиная дантов ад, опять всплывший у меня перед глазами, я пристально смотрел на спину шофера. Опять стал чувствовать, что все ложь. Политика, промышленность, искусство, наука — все для меня в эти минуты было не чем иным, как цветной эмалью, прикрывающей ужас человеческой жизни. Я начинал задыхаться и опустил окно такси. Но боль в сердце не проходила.

Зеленое такси подъехало к храму. Там должен был находиться переулочек, ведущий к психиатрической ле-

¹ Мучительно (англ.).

² Тантал (лат.).

чебнице. Но сегодня я почему-то никак не мог его найти. Я заставил шофера несколько раз проехать туда и обратно вдоль трамвайной линии, а потом, махнув рукой, отпустил его.

Наконец я нашел переулок и пошел по грязной дороге. Тут я вдруг сбился с пути и вышел к похоронному залу Аояма. Со времени погребения Нацумэ десять лет назад я не был даже у ворот этого здания. Десять лет назад у меня тоже не было счастья. Но, по крайней мере, был мир. Я заглянул через ворота во двор, усыпанный гравием, и, вспомнив платан в «Горной келье» Нацумэ, невольно почувствовал, что и в моей жизни чему-то пришел конец. Больше того, я невольно почувствовал, что именно после десяти лет привело меня к этой могиле.

Выйдя из психиатрической лечебницы, я опять сел в автомобиль и поехал обратно в отель. Но когда я вылезал из такси, у входа в отель какой-то человек в макинтоше ссорился с боем. С боем? Нет, это был не бой, а агент по найму такси в зеленом костюме. Все это показалось мне дурной приметой, я не решился войти в отель и поспешно пошел прочь.

Когда я вышел на Гиндза, уже надвигались сумерки. Магазины по обе стороны улицы, головокружительный поток людей — все это нагнало на меня еще большую тоску. В особенности неприятно было шагать как ни в чем не бывало, с таким видом, будто не знаешь о преступлениях этих людей. При сумеречном свете, мешавшемся со светом электричества, я шел все дальше и дальше к северу. В это время мой взгляд привлек книжный магазин с грудой журналов на прилавке. Я вошел и рассеянно посмотрел на многоэтажные полки. Потом взял в руки «Греческую мифологию». Эта книга в желтой обложке, по-видимому, была написана для детей. Но строка, которую я случайно прочел, сразу сокрушила меня.

«Даже Зевс, самый великий из богов, не может справиться с духами мщения...»

Я вышел из лавки и зашагал в толпе. Зашагал, сутулясь, чувствуя за своей спиной непрестанно преследующих меня духов мщения...

27 марта 1927 г.

На втором этаже книжного магазина «Марудзэн» я увидел на полке «Легенды» Стриндберга и просмотрел две-три страницы. Там говорилось примерно о том же, что пережил я сам. К тому же книга была в желтой обложке. Я поставил «Легенды» обратно на полку и вытащил первую попавшуюся под руку толстую книгу. Но и в этой книге на иллюстрациях были все те же ничем не отличающиеся от нас, людей, зубчатые колеса с носом и глазами. (Это были рисунки душевнобольных, собранные одним немцем.) Я ощутил, как при всей моей тоске во мне подымается дух протеста, и, словно отчаявшийся игрок, стал открывать книгу за книгой. Но почему-то в каждой книге, в тексте или в иллюстрациях, были скрыты иглы. В каждой книге? Даже взяв в руки много раз читанную «Мадам Бовари», я почувствовал, что в конце концов я сам просто мосье Бовари среднего класса...

На втором этаже магазина в это время, под вечер, кроме меня, кажется, никого не было. При электрическом свете я бродил между полками. Потом остановился перед полкой с надписью «Религия» и просмотрел книгу в зеленой обложке. В оглавлении, в названии какой-то главы, стояли слова: «Четыре страшных врага — сомнения, страх, высокомерие, чувственность». Едва я увидел эти слова, как во мне усилился дух протеста. То, что здесь именовалось врагами, было, по крайней мере для меня, просто другим названием восприимчивости и разума. Но что и дух традиций, и дух современности делают меня несчастным — этого я вынести не мог. Держа в руках книгу, я вдруг вспомнил слова: «Юноша из Шоулина», когда-то взятые мною в качестве литературного псевдонима. Этот юноша из рассказа Хань Фэй-цзы, не выучившись ходить, как ходят в Ганьдане, забыл, как ходят в Шоулине, и ползком вернулся домой. Такой, какой я теперь, я в глазах всех, несомненно, «Юноша из Шоулина». Но что я взял себе этот псевдоним, еще когда не был низринут в ад... Я отошел от высокой полки и, стараясь отогнать мучившие меня мысли, перешел в комнату напротив, где была выставка плакатов. Но и там на одном плакате всадник, видимо, святой Георгий, пронзал копьём крылатого дра-

кона. Вдобавок у этого всадника из-под шлема виднелось искаженное лицо, напоминающее лицо одного моего врага. Я опять вспомнил Хань Фэй-цзы — его рассказ об искусстве сдирать кожу с дракона и, не осмотрев выставки, спустился по широкой лестнице вниз, на улицу.

Уже совсем за вечерело. Проходя по Нихонбасидори, я продолжал думать о словах «убиение дракона». Такая надпись была и на моей тушечнице. Эту тушечницу прислал мне один молодой коммерсант. Он потерпел неудачу в целом ряде предприятий и в конце концов в прошлом году разорился. Я посмотрел на высокое небо и хотел подумать о том, как ничтожно мала земля среди сияния бесчисленных звезд, — следовательно, как ничтожно мал я сам. Но небо, днем ясное, теперь было покрыто облаками. Я вдруг почувствовал, что кто-то застал против меня враждебные замыслы, и нашел себе убежище в кафе неподалеку от линии трамвая.

Это действительно было «убежище». Розовые стены кафе навеяли на меня мир, и я наконец спокойно сел за столик в самой глубине зала. К счастью, посетителей, кроме меня, было всего два-три. Прихлебывая маленькими глотками какао, я, как обычно, закурил. Дым от папиросы поднялся голубой струйкой к розовой стене. Эта нежная гармония цветов была мне приятна. Но немного погодя я заметил портрет Наполеона, висевший на стене слева, и мало-помалу опять почувствовал тревогу. Когда Наполеон был еще школьником, он записал в конце своей тетради по географии: «Святая Елена — маленький остров». Может быть, это была, как мы говорим, случайность. Но нет сомнения, что в нем самом она вызвала страх...

Глядя на портрет, я вспомнил свои произведения. Прежде всего всплыли в моей памяти афоризмы из «Слов пигмея» (в особенности — слова: «Человеческая жизнь — больше ад, чем сам ад»). Потом судьба героя «Мук ада» — художника Ёсихидэ. Потом... продолжая курить, я, чтобы избавиться от этих воспоминаний, обвел взглядом кафе. С того момента, как я нашел здесь убежище, не прошло и пяти минут. Но за этот короткий промежуток времени вид зала совершенно изменился. Особенно расстроило меня, что столы и стулья под красное дерево совсем не гармонировали с розовыми сте-

нами. Я боялся, что опять погружусь в невидимые человеческому глазу страдания, и, бросив серебряную монетку, хотел быстро уйти из кафе.

— С вас двадцать сэнов...

Оказывается, я бросил не серебряную монету, а медную.

Я шел по улице, посрамленный, и вдруг вспомнил свой дом в далекой сосновой роще. Не дом моих приемных родителей в пригороде, а просто дом, снятый для моей семьи, главой которой был я. Десять лет назад я жил в таком доме. А потом, в силу сложившихся обстоятельств, бездумно поселился вместе с приемными родителями. И тотчас же превратился в раба, в деспота, в бессильного эгоиста...

В свой отель я вернулся уже в десять. Усталый от долгого хождения, я не нашел в себе сил пойти в номер и тут же опустился в кресло перед камином, в котором пылали толстые круглые поленья. Потом я вспомнил о задуманном романе. Героем этого романа должен быть народ во все периоды своей истории от Суйко до Мэйдзи, а состоять роман должен был из тридцати с лишним новелл, расположенных в хронологическом порядке. Глядя на разлетающиеся искры, я вдруг вспомнил медную статую перед дворцом. На всаднике были шлем и латы, он твердо сидел верхом на коне, словно олицетворение духа верноподданности. А враги этого человека...

Ложь!

Я опять перенесся из далекого прошлого в близкое настоящее. Тут, к счастью, подошел один скульптор из числа моих старших друзей. Он был в своей неизменной бархатной куртке, с торчащей козлиной бородкой. Я встал с кресла и пожал его протянутую руку. (Это не в моих привычках. Но это привычно для него, проводившего полжизни в Париже и Берлине.) Рука у него почему-то была влажная, как кожа пресмыкающегося.

— Ты здесь остановился?

— Да...

— Для работы?

— Да, работаю.

Он внимательно поглядел на меня. В его глазах мне почудилось такое выражение, словно он что-то высматривает.

— Не зайдешь ли поболтать ко мне в номер? — заговорил я развязно. (Вести себя развязно, несмотря на робость, — одна из моих дурных привычек.) Тогда он, улыбаясь, спросил:

— А где он, твой номер?

Как добрые друзья, плечо к плечу, мы прошли ко мне в номер мимо тихо беседовавших иностранцев. Войдя в комнату, он сел спиной к зеркалу. Потом заговорил о разных вещах. О разных? Главным образом о женщинах. Конечно, я был одним из тех, кто за совершенные преступления попал в ад. Поэтому фривольные разговоры все более наводили на меня тоску. На минуту я стал пуританином и принялся высмеивать женщин.

— Посмотри на губы С. Она ради поцелуев с кем попало...

Вдруг я замолчал и уставился на отражение собеседника в зеркале. Как раз под ухом у него был желтый пластырь.

— Ради поцелуев с кем попало?

— Да, мне кажется, она такая.

Он улынулся и кивнул. Я чувствовал, что он все время следит за мной, чтобы выведать мою тайну. Однако разговор все еще вертелся вокруг женщин. Мне не столько был противен этот собеседник, сколько стыдно было своей собственной слабости, и оттого становилось все тоскливее.

Когда он ушел, я бросился на постель и стал читать «Путь в темную ночь». Душевная борьба героя причиняла мне муки. Я почувствовал, каким был идиотом по сравнению с ним, и у меня вдруг полились слезы. И в то же время слезы незаметно успокоили меня. Впрочем, ненадолго. Мой правый глаз опять увидел прозрачные зубчатые колеса. Они вертелись, их становилось все больше. Боясь, как бы у меня снова не разболелась голова, я отложил книгу, принял таблетку в 0,8 веронала и постарался уснуть.

Мне приснился пруд. В нем плавали и ныряли мальчики и девочки. Я повернулся и пошел в сосновый лес. Тогда сзади кто-то окликнул меня: «Отец!» Оглянувшись, я заметил на берегу пруда жену. И меня охватило острое раскаяние.

— Отец, а полотенце?

— Полотенца не нужно. Смотри за детьми!

Я пошел дальше. Но дорога вдруг превратилась в перрон. Это, по-видимому, была провинциальная станция, вдоль перрона тянулась длинная живая изгородь. У изгороди стояли студент и пожилая женщина. Увидев меня, они подошли ко мне и заговорили:

— Большой пожар был!

— Я еле спасся.

Мне показалось, что эту пожилую женщину я уже где-то видел. Мало того, разговаривая с ней, я чувствовал приятное возбуждение. Тут поезд, выбрасывая дым, медленно подошел к перрону. Я один сел в поезд и зашагал по спальному вагону мимо свисавших по обеим сторонам белых занавесок. На одной полке лежала лицом к проходу обнаженная, похожая на мушкетершу женщина. Это тоже был мой дух мщения — дочь одного сумасшедшего...

Проснувшись, я сразу же невольно вскочил с постели. В комнате по-прежнему ярко горело электричество. Но откуда-то слышалось хлопанье крыльев и писк мышей. Открыв дверь, я вышел в коридор и торопливо направился к камину. Я опустил в кресло и стал смотреть на колеблющееся неверное пламя. Тут подошел бой в белом костюме, чтобы подложить дров.

— Который час?

— Половина четвертого.

Однако в отдаленном углу холла какая-то американка все еще читала книгу. Даже издали видно было, что на ней зеленое платье. Я почувствовал себя спасенным и стал терпеливо ждать рассвета. Как старик, который много лет страдал и тихо ждет смерти...

28 марта 1927 г.

4. ЕЩЕ НЕ?..

Я наконец закончил в номере отеля начатый рассказ и решил послать его в журнал. Впрочем, моего гонорара не хватило бы даже на недельное пребывание здесь. Но я был доволен, что закончил работу, и пошел в одну книжную лавку на Гиндза достать себе какое-нибудь успокаивающее душу лекарство.

На асфальте, залитом зимним солнцем, валялись обрывки бумаги. Эти обрывки, может быть, из-за осве-

щения, казались точь-в-точь лепестками роз. Я почувствовал в этом чье-то доброжелательство и вошел в лавку. Там тоже было как-то необычайно уютно. Только какая-то девочка в очках разговаривала с приказчиком, что не могло не беспокоить меня. Но я вспомнил рассыпанные на улице бумажные лепестки роз и купил «Разговоры Анатоля Франса» и «Письма Мериме».

С двумя книгами под мышкой я вошел в кафе. И, усевшись за столик в самой глубине, стал ждать, пока мне принесут кофе. Против меня сидели, по-видимому, мать с сыном. Сын был удивительно похож на меня, только моложе. Они разговаривали, наклонившись друг к другу, как влюбленные. Рассматривая их, я заметил, что, по крайней мере, сын сознает, что он сексуально приятен матери. Для меня это, безусловно, был пример столь памятной мне силы влечения. И в то же время — пример тех стремлений, которые превращают реальный мир в ад. Однако... Я испугался, что опять погружусь в страдания, и, обрадовавшись, что как раз принесли кофе, раскрыл «Письма Мериме». В своих письмах, как и в рассказах, он блещет афоризмами. Его афоризмы мало-помалу внушили мне железную твердость духа. (Быстро поддаваться влиянию — одна из моих слабостей.) Выпив чашку кофе, с настроением «будь что будет!» я поспешно вышел из кафе.

Идя по улице, я рассматривал витрины. В витрине магазина, где торговали рамами, был выставлен портрет Бетховена. Это был портрет настоящего гения, с откинутыми назад волосами. Глядя на этого Бетховена, я не мог отделаться от мысли, что в нем есть что-то смешное...

В это время со мной вдруг поравнялся старый товарищ, которого я не видел со школьных времен, преподаватель прикладной химии в университете. Он нес большой портфель; один глаз у него был воспаленный, налитый кровью.

— Что у тебя с глазом?

— Ничего особенного, конъюнктивит.

Я вдруг вспомнил, что лет пятнадцать назад каждый раз, когда я испытывал влечение, глаза у меня воспалялись, как у него. Но я ничего не сказал. Он хлопнул меня по плечу и заговорил о наших товарищах. Потом, продолжая говорить, повел меня в кафе.

— Давно не виделись: с тех пор как открывали памятник Сю Сюнсюю! — закурив, заговорил он через разделявший нас мраморный столик.

— Да. Этот Сю Сюн...

Я почему-то не мог как следует выговорить имя Сю Сюнсуй, хотя произносилось оно по-японски; это меня встревожило. Но он не обратил на эту заминку никакого внимания и продолжал болтать о писателе К., о бульдоге, которого купил, об отравляющем газе люизите...

— Ты что-то совсем перестал писать. «Поминальник» я читал... Это автобиографично?

— Да, это автобиографично.

— В этой вещи есть что-то болезненное. Ты здоров?

— Все так же приходится глотать лекарства.

— У меня тоже последнее время бессонница.

— Тоже? Почему ты сказал «тоже»?

— А разве ты не говорил, что у тебя бессонница? Бессонница — опасная штука!

В его левом, налитом кровью глазу мелькнуло что-то похожее на улыбку. Еще не ответив, я почувствовал, что не могу правильно выговорить последний слог слова «бессонница».

«Для сына сумасшедшей это вполне естественно!»

Не прошло и десяти минут, как я опять шагал один по улице. Теперь клочки бумаги, валявшиеся на асфальте, минутами напоминали человеческие лица. Мимо прошла стриженная женщина. Издали она казалась красивой. Но когда она поравнялась со мной, оказалось, что лицо у нее морщинистое и безобразное. Вдобавок она была, по-видимому, беременна. Я невольно отвел глаза и свернул на широкую боковую улицу. Немного погодя я почувствовал геморроидальные боли. Избавиться от них можно было только одним средством — поясной ванной.

«Поясная ванна»... Бетховен тоже делал себе поясные ванны.

Запах серы, употребляющейся при поясных ваннах, вдруг ударил мне в нос. Но, разумеется, никакой серы нигде на улице не было. Я старался идти твердо, опять вспоминая бумажные лепестки роз.

Час спустя я заперся в своем номере, сел за стол перед окном и приступил к новому рассказу. Перо ле-

тало по бумаге так быстро, что я сам удивлялся. Но через два-три часа оно остановилось, точно придавленное кем-то невидимым. Волей-неволей я встал из-за стола и принялся шагать по комнате. В эти минуты я был буквально одержим манией величия. В дикой радости мне казалось, что у меня нет ни родителей, ни жены, ни детей, а есть только жизнь, льющаяся из-под моего пера.

Однако несколько минут спустя мне пришлось подойти к телефону. В трубке, сколько я ни отвечал, слышалось только одно и то же непонятное слово. Во всяком случае, оно, несомненно, звучало как «моул». Наконец я положил трубку и опять зашагал по комнате. Только слово «моул» как-то странно беспокоило меня.

— Моул...

Mole по-английски значит «крот». Эта ассоциация не доставила мне никакого удовольствия. Через две-три секунды я превратил mole в la mort. «Ля мор» — французское слово «смерть» — сразу вселило в меня тревогу. Смерть гналась и за мной, как за мужем сестры. Но в самой своей тревоге я чувствовал что-то смешное. И даже стал улыбаться. Это чувство смешного — откуда оно бралось? Я сам не понимал. Я подошел к зеркалу, чего давно не делал, и посмотрел в упор на свое отражение. Оно, понятно, тоже улыбалось. Рассматривая свое отражение, я вспомнил о двойнике. Двойник — немецкий Doppelgänger — к счастью, мне являлся. Но жена господина К., ныне американского киноактера, видела моего двойника в театре. (Я помню, как я смутился, когда она сказала мне: «Последний раз вы мне даже не поклонились...») Затем некий одноногий переводчик, теперь покойный, видел моего двойника в табачной лавке на Гиндза. Может быть, смерть придет к моему двойнику раньше, чем ко мне? Если даже она уже стоит за мной... Я повернулся к зеркалу спиной и вернулся к столу.

Четырехугольное окно в стене из туфа выходило на высохший газон и пруд. Глядя в сад, я вспомнил о записных книжках и незаконченных пьесах, сгоревших в далеком сосновом лесу. Потом опять взялся за перо и начал новый рассказ.

29 марта 1927 г.

Свет солнца стал меня мучить. В самом деле, я работал, как крот, даже днем при электрическом свете, опустив занавески на окнах. Я усердно писал рассказ, а устав от работы, раскрывал историю английской литературы Тэна и просматривал биографии поэтов. Все они были несчастны. Даже гиганты елисаветинского двора, даже выдающийся ученый Бен Джонсон дошел до такого нервного истощения, что видел, как на большом пальце его ноги начинается сражение римлян с карфагенянами. Я не мог удержаться от жестокого злорадства.

Однажды вечером, когда дул сильный восточный ветер (для меня это хорошая примета), я вышел на улицу, решив навестить одного старика. Он служил посыльным в каком-то библейском обществе и там на чердаке в одиночестве предавался молитвам и чтению. Мы беседовали под висевшим на стене распятием, грея руки над хибати. Отчего моя мать сошла с ума? Отчего дела моего отца окончились крахом? И отчего я наказан? Он, знавший все эти тайны, долго беседовал со мной с удивительно торжественной улыбкой на губах. Больше того — иногда он в кратких словах рисовал карикатуры на человеческую жизнь. Этого отшельника на чердаке я не мог не уважать. Но в разговоре с ним я открыл, что и им движет сила влечения.

— Дочь этого садовника и хорошенькая и добрая — она всегда ко мне ласкова.

— Сколько ей лет?

— В этом году исполнилось восемнадцать.

Может быть, он считал это отцовской любовью. Но я не мог не заметить в его глазах выражения страсти. На желтоватой коже яблока, которым он меня угостил, обозначилась фигура единорога. (Я не раз обнаруживал мифологических животных в рисунке разреза дерева или в трещинах на кофейной чашке.) Единорог — это было чудище. Я вспомнил, как один враждебный мне критик назвал меня «чудищем девятьсот десятых годов», и почувствовал, что и этот чердак не является для меня островком безопасности.

— Ну, как вы в последнее время?

— Все еще нервы не в порядке.

— Тут лекарства не помогут. Нет у вас охоты стать верующим?

— Если б я мог...

— Ничего трудного нет. Если только поверить в бога, поверить в сына божьего — Христа, поверить в чудеса, сотворенные Христом...

— В дьявола я поверить могу...

— Почему же вы не верите в бога? Если верите в тень, почему не можете поверить в свет?

— Но бывает тьма без света.

— Тьма без света — что это такое?

Мне оставалось только молчать. Он, как и я, блуждал во тьме. Но он верил, что над тьмой есть свет. Наши теории расходились только в этом одном пункте. Однако это, по крайней мере, для меня было непроходимой пропастью.

— Свет, безусловно, существует. И доказательством тому служат чудеса. Чудеса — они иногда случаются и теперь.

— Эти чудеса творит дьявол.

— Почему вы опять говорите о дьяволе?

Я почувствовал искушение рассказать ему, что мне пришлось пережить за последние год-два. Но я не мог подавить в себе опасений, что через него это станет известно жене и я, как и моя мать, попаду в сумасшедший дом.

— Что это у вас там?

Крепкий не по годам старик обернулся к книжной полке, и на лице его появилось какое-то пастырское выражение.

— Собрание сочинений Достоевского. «Преступление и наказание» вы читали?

Разумеется, я любил Достоевского еще десять лет назад. И под впечатлением случайно (?) оброненных хозяином слов «Преступление и наказание» я взял у него эту книгу и пошел к себе в отель. Залитые электрическим светом многолюдные улицы по-прежнему были мне неприятны. Встречаться со знакомыми было совершенно невыносимо. Я шел, выбирая, словно вор, улицы потемнее.

Но немного спустя у меня начались боли в желудке. Помочь мог только стакан виски. Я заметил бар, толкнул дверь и хотел было войти. Но там в тесноте в

облаках дыма толпились какие-то люди, не то литераторы, не то художники, и пили водку. Вдобавок в самом центре какая-то женщина с зачесанными за уши волосами с увлечением играла на мандолине. Я сразу смутился и, не входя, повернул обратно. Тут я заметил, что моя тень движется из стороны в сторону. А освещал меня — и это было как-то жутко — красный свет. Я остановился. Но моя тень все еще шевелилась. Я боязливо обернулся и наконец заметил цветной фонарь, висевший над дверью бара. Фонарь тихо покачивался от сильного ветра.

После этого я зашел в погребок. Подошел к стойке и заказал виски.

— Виски? Есть только «Black and white»¹. — Я влил виски в содовую и молча стал прихлебывать. Рядом со мной тихо разговаривали двое мужчин лет около тридцати, похожие на журналистов. Они беседовали по-французски. Стоя к ним спиной, я всем существом чувствовал на себе их взгляды. Они действовали на меня, как электрические волны. Эти люди, наверно, знали мое имя, они, кажется, говорили обо мне.

— Bien... très mauvais... pourquoi?

— Pourquoi? Le diable est mort!

— Oui, oui... d'enfer...²

Я бросил серебряную монету (мою последнюю) и бежал из подвала. Улицы, по которым носился ночной ветер, успокоили мои нервы, боль в желудке поутихла. Я вспомнил Раскольникову и почувствовал желание исповедаться. Но это, несомненно, окончилось бы трагедией не только для меня и даже не только для моей семьи. Кроме того, я сомневался в искренности самого этого желания. Если бы только мои нервы стали здоровыми, как у всякого нормального человека!.. Но для этого я должен был куда-нибудь уехать. В Мадрид, в Рио-де-Жанейро, в Самарканд..

В это время небольшая белая вывеска над дверью одной лавки вдруг встревожила меня. На ней была изображена торговая марка в виде шины с крыльями. Я сейчас же вспомнил древнего грека, доверившегося

¹ «Черное и белое» — марка виски (англ.).

² — Хорошо... очень плохо... почему?

— Почему? Дьявол умер!

— Да, да... из ада... (франц.)

искусственным крыльям. Он поднялся на воздух, его крылья расплавились на солнце, и в конце концов он упал в море и утонул. В Мадрид, в Рио-де-Жанейро, в Самарканд... Я невольно посмеялся над своими мечтами. И в то же время невольно вспомнил Ореста, преследуемого духами мщения.

Я шел по темной улице вдоль канала. И вспомнил дом своих приемных родителей в пригороде. Несомненно, моя приемная мать живет в ожидании моего возвращения. Пожалуй, мои дети тоже... Но я не мог не бояться некоей силы, которая свяжет меня, как только я вернусь. На волнующейся воде канала у пристани стояла барка. Из другой барки пробивался слабый свет. Там, наверное, жили какие-то люди, семья. Также — любя друг друга и ненавидя... Но я еще раз вызвал в себе воинственный дух и, чувствуя легкое опьянение от виски, вернулся к себе в отель.

Я опять уселся за стол и взялся за неоконченные «Письма Мериме». И опять они влили в меня какую-то жизненную силу. Но, узнав, что к старости Мериме сделался протестантом, я вдруг представил себе его лицо, скрытое под маской. Он тоже был одним из тех, кто, как и мы, бродит во тьме. Во тьме? «Путь в темную ночь» стал превращаться для меня в страшную книгу. Чтобы разогнать тоску, я принялся за «Разговоры Анатоля Франса». Но и этот современный добрый пастьер нес свой крест...

Через час вошел бой и подал мне пачку писем. Одно из них содержало предложение лейпцигской книжной фирмы написать статью на тему: «Современная японская женщина». Почему они заказывали такую статью именно мне? Мало того, в этом написанном по-английски письме имелся постскриптум от руки: «Мы удовлетворимся портретом женщины, сделанным, как в японских рисунках, черным и белым». Я вспомнил название виски «Black and white» — и разорвал письмо в мелкие клочки. Потом взял первый попавшийся под руку конверт, вскрыл его и просмотрел письмо на желтой почтовой бумаге. Писал незнакомый юноша. Но не прочел я и двух-трех строк, как от слов «Ваши «Муки ада» пришел в волнение. Третье письмо было от племянника. Я вздохнул свободно и стал читать о домашних делах. Но даже здесь конец письма меня пришиб.

«Посылаю переиздание сборника стихов «Красный свет».

Красный свет! Я почувствовал, будто кто-то насмеяется надо мной, и решил спастись бегством из комнаты. В коридоре не было ни души. Держась рукой за стену, я добрался до холла. Сел в кресло и решил, как бы там ни было, выкурить папиросу. Почему-то у меня оказались папиросы «Airship»¹ (С тех пор как я поселился в этом отеле, я намеревался курить только «Star»².) Искусственные крылья опять всплыли у меня перед глазами. Я позвал боя и попросил две коробки «Star». Но, если верить бою, именно сорт «Star», к моему сожалению, был весь распродан.

— «Airship» — извольте...

Я покачал головой и обвел взглядом просторный холл. Поодаль, вокруг стола, сидели и беседовали несколько иностранцев. Среди них женщина в красном костюме, тихо разговаривая, иногда как будто поглядывала на меня.

— Миссис Таунзхед, — шепнул мне кто-то невидимый.

Имена вроде миссис Таунзхед, конечно, были мне незнакомы. Даже если так звали ту женщину... Я поднялся и, боясь сойти с ума, пошел к себе в номер.

Вернувшись в номер, я собирался сразу же позвонить в психиатрическую лечебницу. Но попасть туда для меня было бы все равно что умереть. После мучительных колебаний я, чтобы рассеять страх, начал читать «Преступление и наказание». Но страница, на которой раскрылась книга, была из «Братьев Карамазовых». Подумав, что по ошибке взял не ту книгу, я взглянул на обложку. «Преступление и наказание» — да, книга называлась: «Преступление и наказание». В ошибке брошюровщика и в том, что я открыл именно эти сверстаные по ошибке страницы, я увидел перст судьбы и волей-неволей стал их читать. Но не прочитал и одной страницы, как почувствовал, что дрожу всем телом. Это была глава об Иване, которого мучит черт... Ивана, Стриндберга, Мопассана или меня самого в этой комнате...

¹ «Дирижабль» (англ.).

² «Звезда» (англ.).

Теперь спасти меня мог только сон. Но снотворные порошки кончились все до единого. Мучиться и дальше без сна было совершенно невыносимо. С мужеством отчаяния я все-таки велел принести кофе и, как обещавший, схватил перо. Две страницы, пять, семь, десять... рукопись росла на глазах. Я населил мир моего рассказа сверхъестественными животными. Больше того, в одном из этих животных я нарисовал самого себя. Однако усталость мало-помалу затуманивала мою голову. В конце концов я встал из-за стола и лег навзничь на кровать. Наконец я, кажется, заснул и спал минут сорок — пятьдесят. Но услышал, как кто-то шепчет мне на ухо:

— *Le diable est mort...*

Сразу проснувшись, я вскочил.

За окном начинался холодный рассвет. Я стал прямо перед дверью и оглядел пустую комнату. И вот на оконном стекле на узорах осевшего инея появился крошечный пейзаж. За пожелтевшим сосновым лесом лежало море. Я боязливо подошел к окну и увидел, что на самом деле этот пейзаж образован высохшим газоном и прудом в саду. Но моя галлюцинация пробудила во мне что-то похожее на тоску по родному дому.

Как только настало девять, я позвонил в одну редакцию и, уладив денежные дела, решил вернуться домой. Решил, засовывая книги и рукописи в лежавший на столе чемодан...

30 марта 1927 г.

6. АЭРОПЛАН

Я ехал в автомобиле со станции Токайдоской железной дороги в дачную местность. Шофер почему-то в такой холод был в поношенном макинтоше. От этого совпадения мне стало не по себе, и, чтобы не видеть шофера, я решил смотреть в окно. Тут поодаль среди низкорослых сосен—вероятно, на старом шоссе—я заметил похоронную процессию. Фонарей, затянутых белым, как будто не было. Но золотые и серебряные искусственные лотосы тихо покачивались впереди и позади катафалка...

Когда наконец я вернулся домой, то благодаря жене, детям и снотворным средствам два-три дня про-

жил довольно спокойно. Из моего мезонина вдали за сосновым лесом чуть виднелось море. Здесь, в мезонине, сидя за своим столом, я занимался по утрам, слушал воркованье голубей. Кроме голубей и ворон, на веранду иногда залетали воробьи. Это тоже было мне приятно. «Вхожу в чертог радостных птиц», — каждый раз при виде них я вспоминал эти слова.

Однажды в теплый пасмурный день я пошел в мелочную лавку купить чернил. Но в лавке оказались чернила только цвета сепии. Чернила цвета сепии всегда расстраивают меня больше всяких других. Делать было нечего, и я, выйдя из лавки, побрел один по безлюдной улице. Тут навстречу мне, выпятив грудь, прошел близорукий иностранец лет сорока.

Это был швед, живший по соседству и страдавший манией преследования. И звали его Стриндберг. Когда он проходил мимо, мне показалось, будто я физически ощущаю это.

Улица состояла всего из двух-трех кварталов. Но на протяжении этих двух-трех кварталов ровно наполовину белая, наполовину черная собака пробежала мимо меня четыре раза. Сворачивая в переулок, я вспомнил виски «Black and white». И вдобавок вспомнил, что сейчас на Стриндберге был черный с белым галстук. Я никак не мог допустить, что это случайность. Если же это не случайность, то... Мне показалось, будто по улице идет одна моя голова, и я на минутку остановился. На обочине дороги за проволочной оградой валялась стеклянная миска с радужным отливом. На дне миски проступал узор, напоминавший крылья. С веток сосны слетела стайка воробьев. Но, подскакав к миске, они, точно сговорившись, все до единого разом упорхнули ввысь.

Я пошел к родителям жены и сел в кресло, стоявшее у ступенек в сад. В углу сада за проволочной сеткой медленно расхаживали белые куры из породы леггорн. А потом у моих ног улеглась черная собака. Стараюсь разрешить никому не понятный вопрос, я все-таки внешне вполне спокойно беседовал с матерью жены и ее братом.

— Тихо как здесь.

— Это по сравнению с Токио.

— А что, разве и тут бывают неприятности?

— Да ведь свет-то все тот же! — сказала теща и засмеялась.

В самом деле, и это дачное место было на том же самом свете. Я хорошо знал, сколько преступлений и трагедий случилось здесь всего за какой-нибудь год. Врач, который намеревался медленно отравить пациента, старуха, которая подожгла дом приемного сына и его жены, адвокат, который пытался завладеть имуществом своей младшей сестры... Видеть дома этих людей для меня было все равно что в человеческой жизни видеть ад.

— У нас в городке есть один сумасшедший.

— Наверно, господин Х. Он не сумасшедший, он слабоумный.

— Это есть такая штука — dementia praecox. Каждый раз, как я его вижу, мне невыносимо жутко. Недавно он почему-то отвечивал поклоны перед статуей Бато-Кандзэон.

— Жутко?.. Надо быть покрепче.

— Братец крепче, чем я, и все же...

Брат жены, давно не бритый, приподнявшись на постели, как всегда, застенчиво присоединился к нашему разговору.

— И в силе есть своя слабость.

— Ладно, ладно, будет тебе, — сказала теща.

Я посмотрел на него и невольно горько улыбнулся. А брат продолжал говорить с увлечением, слегка улыбаясь и устремив взгляд через изгородь вдаль на сосновый лес. Он был молод, только что оправился от болезни и казался мне иногда чистым духом, освободившимся от своего тела.

— Думаешь, он ушел от людей, а оказывается, он весь во власти человеческих страстей.

— Думаешь, добрый человек, а он, оказывается, злой.

— Нет, есть и бóльшие противоположности, чем добро и зло...

— Ну, например, во взрослом можно обнаружить ребенка.

— Нет, не то! Я не могу ясно выразить, но... что-нибудь вроде двух полюсов электричества. Что-то, что соединяет противоположности.

Тут нас испугал сильный шум аэроплана. Я невольно посмотрел вверх и увидел аэроплан, который,

чуть не задев верхушки сосен, взмыл в воздух. Это был редко встречающийся моноплан с крыльями, выкрашенными в желтый цвет. Куры, испуганные шумом, разбежались в разные стороны. Особенно струсила собака; она залаяла и, поджав хвост, забилась под балкон.

— Аэроплан не упадет?

— Не беспокойтесь. Братец знает, что такое «летняя болезнь»?

Закуривая папиросу, я, вместо того чтобы ответить «нет», просто покачал головой.

— Люди, постоянно летающие на аэропланах, дышат воздухом высот и поэтому постепенно перестают выносить наш земной воздух...

Выйдя из дома тещи, я зашагал через неподвижно застывший сосновый лес, мало-помалу мне становилось все тоскливей. Почему этот аэроплан пролетел не где-нибудь, а именно над моей головой? И почему в том отеле продавали только папиросы «Airship»? Терзаясь разными вопросами, я пошел по самой безлюдной дороге.

Над тусклым морем за низкими дюнами нависла серая мгла. А на песчаном холме высились столбы для качелей, но качелей на них не было. Глядя на эти столбы, я вдруг вспомнил виселицу. И действительно, на перекладине сидело несколько ворон. Хотя они видели меня, но вовсе не собирались улетать. Мало того, ворона, сидевшая посередине, подняла свой длинный клюв и каркнула четыре раза.

Идя вдоль песчаной насыпи, поросшей сухой травой, я решил свернуть на тропинку, по обеим сторонам которой стояли дачи. Слева от тропинки среди высоких сосен должен был белеть деревянный европейский дом с мезонином. (Мой близкий друг назвал этот дом «домом весны».) Но когда я поравнялся с этим местом, на бетонном фундаменте стояла только одна ванна. «Здесь был пожар!» — подумал я сразу и зашагал дальше, стараясь не смотреть в ту сторону. Тут навстречу мне показался мужчина на велосипеде. На нем была коричневая кепка, он всем телом налег на руль, как-то странно уставив взгляд перед собой. Его лицо вдруг показалось мне лицом мужа моей сестры, и я свернул на боковую тропинку, чтобы не попасться ему на глаза. Но на самой середине этой тропинки валялся брюшком вверх полуразложившийся дохлый крот.

Что-то преследовало меня, и это на каждом шагу усиливало мою тревогу. А тут поле моего зрения одно за другим стали заслонять полупрозрачные зубчатые колеса. В страхе, что наступила моя последняя минута, я шел, стараясь держать голову прямо. Зубчатых колес становилось все больше, они вертелись все быстрее. В то же время справа со сна с застывшими переплетенными ветвями стали принимать такой вид, как будто я смотрел на них сквозь мелко граненное стекло. Я чувствовал, что сердце у меня бьется все сильнее, и много раз пытался остановиться на краю дороги. Но, словно подталкиваемый кем-то, никак не мог этого сделать.

Через полчаса я лежал у себя в мезонине, крепко закрыв глаза, с жестокой головной болью. И вот под правым веком появилось крыло, покрытое, точно чешуей, серебряными перьями. Оно ясно отражалось у меня на сетчатке. Я открыл глаза, посмотрел на потолок и, разумеется, убедившись, что на потолке ничего похожего нет, опять закрыл глаза. Но снова серебряное крыло отчетливо обозначилось во тьме. Я вдруг вспомнил, что на радиаторе автомобиля, на котором я недавно ехал, тоже были изображены крылья...

Тут кто-то торопливо взбежал по лестнице и сейчас же опять побежал вниз. Я понял, что это моя жена, испуганно вскочил и бросился в полутемную комнату под лестницей. Жена сидела, низко опустив голову, с трудом переводя дыхание, плечи ее вздрагивали.

— Что такое?

— Ничего.

Жена наконец подняла лицо и, с трудом выдавив улыбку, сказала:

— В общем, право, ничего, только мне почему-то показалось, что вы вот-вот умрете...

Это было самое страшное, что мне приходилось переживать за всю мою жизнь. Писать дальше у меня нет сил. Жить в таком душевном состоянии — невыразимая мука! Неужели не найдется никого, кто бы потихоньку задушил меня, пока я сплю?

7 апреля 1927 г. (Опубликовано посмертно.)



ЖИЗНЬ ИДИОТА

ЭПОХА

Это было во втором этаже одного книжного магазина. Он, двадцатилетний, стоял на приставной лестнице европейского типа перед книжными полками и рассматривал новые книги. Мопассан, Бодлер, Стриндберг, Ибсен, Шоу, Толстой...

Тем временем надвинулись сумерки. Но он с увлечением продолжал читать надписи на корешках. Перед ним стояли не столько книги, сколько сам «конец века». Ницше, Верлен, братья Гонкуры, Достоевский, Гауптман, Флобер...

Борясь с сумраком, он разбирал их имена. Но книги стали понемногу погружаться в угрюмый мрак. Наконец рвение его иссякло, он уже собрался спуститься с лестницы. В эту минуту как раз над его головой внезапно загорелась электрическая лампочка без абажура. Он посмотрел с лестницы вниз на приказчиков и покупателей, которые двигались среди книг. Они были удивительно маленькими. Больше того, они были какими-то жалкими.

— Человеческая жизнь не стоит и одной строки Бодлера...

Некоторое время он смотрел с лестницы вниз на них, вот таких...

МАТЬ

Сумасшедшие были одеты в одинаковые халаты мышинного цвета. Большая комната из-за этого казалась еще мрачнее. Одна сумасшедшая усердно играла на фисгармонии гимны. Другая посередине комнаты танцевала или, скорее, прыгала.

Он стоял рядом с румяным врачом и смотрел на эту картину. Его мать десять лет назад ничуть не отличалась от них. Ничуть... В самом деле, их запах напомнил ему запах матери.

— Что ж, пойдём!

Врач повел его по коридору в одну из комнат. Там в углу стояли большие стеклянные банки с заспиртованным мозгом. На одном он заметил легкий белесый налет. Как будто разбрызгали яичный белок. Разговаривая с врачом, он еще раз вспомнил свою мать.

— Человек, которому принадлежал этот мозг, был инженером N-ской электрической компании. Он считал себя большой, черной блестящей динамо-машиной.

Избегая взгляда врача, он посмотрел в окно. Там не было видно ничего, кроме кирпичной ограды, усыпанной сверху осколками битых бутылок. Но и они бросали смутные белесые отблески на редкий мох.

СЕМЬЯ

Он жил за городом в доме с мезонином. Из-за рыхлого грунта мезонин как-то странно покосился.

В этом доме его тетка часто ссорилась с ним. Случалось, что мирить их приходилось его приемным родителям. Но он любил свою тетку больше всех. Когда ему было двенадцать, его тетка, которая так и осталась не замужем, была уже шестидесятилетней старухой.

Много раз в мезонине за городом он размышлял о том, всегда ли те, кто любит друг друга, друг друга мучают. И все время у него было неприятное чувство, будто покосился мезонин.

ТОКИО

Над рекой Сумидагава навис угрюмый туман. Из окна бегущего пароходика он смотрел на вишни острова Муко́дзима.

Вишни в полном цвету казались ему мрачными, как развешанные на веревке лохмотья. Но в этих вишнях — в вишнях Муко́дзима, посаженных еще во времена Эдо, — он некогда открыл самого себя.

Я

Сидя с одним старшим товарищем за столиком в кафе, он непрерывно курил. Мало говорил. Но внимательно прислушивался к словам товарища.

— Сегодня я полдня ездил в автомобиле.

— По делам?

Облокотившись о стол, товарищ самым небрежным тоном ответил:

— Нет, просто захотелось покататься!

Эти слова раскрепостили его — открыли доступ в неведомый ему мир, близкий к богам мир «я». Он почувствовал какую-то боль. И в то же время почувствовал радость.

Кафе было очень маленькое. Но из-под картины с изображением Пана свешивались толстые мясистые листья каучукового дерева в красном вазоне.

БОЛЕЗНЬ

При непрекращающемся ветре с моря он развернул английский словарь и водил пальцем по словам.

«Talaria — обувь с крыльями, сандалии.

Tale — рассказ.

Talipot — пальма, произрастающая в восточной Индии. Ствол от пятидесяти до ста футов высоты, листья идут на изготовление зонтиков, вееров, шляп. Цветет раз в семьдесят лет...»

Воображение ясно нарисовало ему цветок этой пальмы. В эту минуту он почувствовал в горле незнакомый до того зуд и невольно выплюнул на словарь слюну.

Слюну? Но это была не слюна.

Он подумал о краткости жизни и еще раз представил себе цветок этой пальмы, гордо высящейся далеко за морем...

КАРТИНА

Он внезапно... это было действительно внезапно... Он стоял перед витриной одного книжного магазина и, рассматривая собрание картин Ван-Гога, внезапно понял, что такое живопись. Разумеется, это были репродукции. Но и в репродукциях он почувствовал свежесть природы.

Увлечение этими картинами заставило его взглянуть на все по-новому. С некоторых пор он стал обращать пристальное, постоянное внимание на изгибы древесных веток и округлость женских щек.

Однажды в дождливые осенние сумерки он шел за городом под железнодорожным виадуком. У насыпи за виадуком остановилась ломовая телега. Проходя мимо, он почувствовал, что по этой дороге еще до него кто-то прошел. Кто? Ему незачем было спрашивать себя об этом.

Он, двадцатитрехлетний, внутренним взором видел, как этот мрачный пейзаж окинул пронизывающим взором голландец с обрезанным ухом, с длинной трубкой в зубах...

ИСКРА

Он шагал под дождем по асфальту. Дождь был довольно сильный. В заполнившей все кругом водяной пыли он чувствовал запах резинового макинтоша.

И вот в проводах высоко над его головой вспыхнула лиловая искра. Он как-то странно взволновался. В кармане пиджака лежала рукопись, которую он собирался отдать в журнал своих друзей. Идя под дождем, он еще раз оглянулся на провода.

В проводах по-прежнему вспыхивали острые искры. Во всей человеческой жизни не было ничего, чего ему особенно хотелось бы. И только эту лиловую искру... только эту жуткую искру в воздухе ему хотелось схватить хотя бы ценой жизни.

ТРУП

У трупов на большом пальце болталась на проволоке бирка. На бирке значились имя и возраст. Его приятель, нагнувшись, ловко орудовал скальпелем, вскрывая кожу на лице одного из трупов. Под кожей лежал красивый желтый жир.

Он смотрел на этот труп. Это ему нужно было для новеллы — той новеллы, где действие разворачивалось на фоне древних времен. Трупное зловоние, похожее на запах гнилого абрикоса, было неприятно. Его друг, нахмурившись, медленно двигал скальпелем.

— В последнее время трупов не хватает, — сказал приятель.

Тогда как-то сам собой у него сложился ответ: «Если бы мне не хватало трупов, я без всякого злого умысла совершил бы убийство». Но, конечно, этот ответ остался невысказанным.

УЧИТЕЛЬ

Под большим дубом он читал книгу учителя. На дубе в сиянии осеннего дня не шевелился ни один листок.

Где-то далеко в небе в полном равновесии покоятся весы со стеклянными чашками — при чтении книги учителя ему чудилась такая картина...

РАССВЕТ

Понемногу светало. Он окинул взглядом большой рынок на углу улицы. Толпившиеся на рынке люди и повозки окрасились в розовый цвет.

Он закурил и медленно направился к центру рынка. Вдруг на него залаяла маленькая черная собака. Но он не испугался. Больше того, даже эта собачка была ему приятна.

В самом центре рынка широко раскинул свои ветви платан. Он стал у ствола и сквозь ветви посмотрел вверх, на высокое небо. В небе, как раз над его головой, сверкала звезда.

Это случилось, когда ему было двадцать пять лет, — на третий месяц после встречи с учителем.

ВОЕННЫЙ ПОРТ

В подводной лодке было полутемно. Скорчившись среди заполнявших все кругом механизмов, он смотрел в маленький окуляр перископа. В окуляре отражался залитый светом порт.

— Отсюда, вероятно, виден «Конго»? — обратился к нему один флотский офицер.

Глядя на крошечные военные суда в четырехугольной линзе, он почему-то вдруг вспомнил сельдерей. Слабо пахнувший сельдерей на порции бифштекса в тридцать сэнов.

СМЕРТЬ УЧИТЕЛЯ

Он прохаживался по перрону одной новой станции. После дождя поднялся ветер. Было еще полутемно. За перроном несколько железнодорожных рабочих дружно подымали и опускали кирки и что-то громко пели.

Ветер, поднявшийся после дождя, унес песню рабочих и его настроение. Он не зажигал папиросы и испытывал не то страдание, не то радость. В кармане его пальто лежала телеграмма: «Учитель при смерти...»

Из-за горы Мацуяма, выпуская тонкий дымок, извиваясь, приближался утренний шестичасовой поезд на Токио.

БРАК

На другой день после свадьбы он выговаривал жене: «Не следовало делать бесполезных расходов!» Но выговор исходил не столько от него, сколько от тетки, которая велела: «Скажи ей». Жена извинилась не только перед ним — это само собой, — но и перед теткой. Возле купленного для него вазона с бледно-желтыми нарциссами...

ОНИ

Они жили мирной жизнью. В тени раскидистых листьев большого банана... Ведь их дом был в прибрежном городке, в целом часе езды от Токио.

ПОДУШКА

Он читал Анатоля Франса, положив под голову благоухающий ароматом роз скептицизм. Он не заметил, как в этой подушке завелся кентавр.

БАБОЧКА

В воздухе, напоенном запахом водорослей, радужно переливалась бабочка. Один лишь миг ощущал он прикосновение ее крыльев к пересохшим губам. Но пыльца крыльев, осевшая на его губах, радужно переливалась еще много лет спустя.

ЛУНА

На лестнице отеля он случайно встретился с ней. Даже тогда, днем, ее лицо казалось освещенным луной. Провожая ее взглядом (они ни разу раньше не встречались), он почувствовал незнакомую ему доселе тоску...

ИСКУССТВЕННЫЕ КРЫЛЬЯ

От Анатоля Франса он перешел к философам XVIII века. Но за Руссо он не принимался. Может быть, оттого, что сам он одной стороной своего существа — легко воспламеняющейся стороной — был близок к Руссо. Он взялся за автора «Кандида», к которому был близок другой стороной — стороной, полной холодного разума.

Для него, двадцатидевятилетнего, жизнь уже насколько не была светла. Но Вольтер наделил его, вот такого, искусственными крыльями.

Он расправил эти искусственные крылья и легко-легко взвился ввысь. Тогда залитые светом разума радости и горести человеческой жизни ушли из-под его взора.

Роняя на жалкие улицы иронию и насмешку, он поднимался по ничем не огражденному пространству прямо к солнцу. Словно забыв о древнем греке, который упал и погиб в море оттого, что сияние солнца растопило его точь-в-точь такие же искусственные крылья...

КАНДАЛЫ

Он и жена поселились в одном доме с его приемными родителями. Это произошло потому, что он решил поступить на службу в редакцию одной газеты. Он полагался на договор, написанный на листке желтой бумаги. Но впоследствии оказалось, что этот договор, ничем не обязывая издательство, налагает обязательство на него одного.

ДОЧЬ СУМАСШЕДШЕГО

Двое рикш в пасмурный день бежали по безлюдной проселочной дороге. Дорога вела к морю, это было ясно хотя бы по тому, что навстречу дул морской ветер. Он сидел во второй коляске. Подозревая, что в этом «рандеву» не будет ничего интересного, он думал о том, что же привело его сюда. Несомненно, не любовь... Если это не любовь, то... Чтобы избежать ответа, он стал думать: «Как бы то ни было, мы равны».

В первой коляске ехала дочь сумасшедшего. Мало того: ее младшая сестра из ревности покончила с собой.

— Теперь ничего не поделаешь...

Он уже питал к этой дочери сумасшедшего — к ней, в которой жили только животные инстинкты, — какую-то злобу.

В это время рикши пробегали мимо прибрежного кладбища. За изгородью, усеянной устричными раковинами, чернели надгробные памятники. Он смотрел на море, которое тускло поблескивало за этими памятниками, и вдруг почувствовал презрение к ее мужу, — мужу, не завладевшему ее сердцем.

НЕКИЙ ХУДОЖНИК

Это была журнальная иллюстрация. Но рисунок тушью, изображавший петуха, носил печать удивительного своеобразия. Он стал расспрашивать о художнике одного из своих приятелей.

Неделю спустя художник зашел к нему. Это было замечательным событием в его жизни. Он открыл в

художнике никому не ведомую поэзию. Больше того, он открыл в самом себе душу, о которой не знал сам.

Однажды в прохладные осенние сумерки он, взглянув на стебель маиса, вдруг вспомнил этого художника. Высокий стебель маиса подымался, ощетинившись жесткими листьями, а вспученная земля обнажала его тонкие корни, похожие на нервы. Разумеется, это был его портрет, его, так легко ранимого. Но подобное открытие его лишь омрачило.

— Поздно. Но в последнюю минуту...

ОНА

Начинало смеркаться. Несколько взволнованный, он шел по площади. Большие здания сияли освещенными окнами на фоне слегка посеребренного неба.

Он остановился на краю тротуара и стал ждать ее. Через пять минут она подошла. Она показалась ему осунувшейся. Взглянув на него, она сказала: «Устала!» — и улыбнулась. Плечо к плечу, они пошли по полутемной площади. Так было в первый раз. Чтобы побыть с ней, он рад был бросить все.

Когда они сели в автомобиль, она пристально посмотрела на него и спросила: «Вы не раскаиваетесь?» Он искренне ответил: «Нет». Она сжала его руку и сказала: «Я не раскаиваюсь, но...» Ее лицо и тогда казалось озаренным луной.

РОДЫ

Стоя у фусума, он смотрел, как акушерка в белом халате моет новорожденного. Каждый раз, когда мыло попадало в глаза, младенец жалобно морщил лицо и громко кричал. Чувствуя запах младенца, похожий на мышинный, он не мог удержаться от горькой мысли: «Зачем он родился? На этот свет, полный житейских страданий? Зачем судьба дала ему в отцы такого человека, как я?»

А это был первый мальчик, которого родила его жена.

СТРИНДБЕРГ

Стоя в дверях, он смотрел, как в лунном свете среди цветущих гранатов какие-то неопрятного вида китайцы играют в «мацзян». Потом он вернулся в комнату и у низкой лампы стал читать «Исповедь глупца». Но не прочел и двух страниц, как на губах его появилась горькая улыбка. И Стриндберг в письме к графине — своей любовнице — писал ложь, мало чем отличающуюся от его собственной лжи.

ДРЕВНОСТЬ

Облупленные будды, небожители, кони и лотосы почти совсем подавили его. Глядя на них, он забыл все. Даже свою собственную счастливую судьбу, которая вырвала его из рук дочери сумасшедшего...

СПАРТАНСКАЯ ВЫУЧКА

Он шел с товарищем по переулку. Навстречу им приближался рикша. А в коляске с поднятым верхом неожиданно оказалась она, вчерашняя. Ее лицо даже сейчас, днем, казалось озаренным луной. В присутствии товарища они, разумеется, даже не поздоровались.

— Хороша, а? — сказал товарищ.

Глядя на весенние горы, в которые упиралась улица, он без запинки ответил:

— Да, очень хороша.

УБИЙЦА

Проселочная дорога, полого подымавшаяся в гору, нагретая солнцем, воняла коровьим навозом. Он шел по ней, утирая пот. По сторонам подымался душистый запах зрелого ячменя.

— Убей, убей...

Как-то незаметно он стал повторять про себя это слово. Кого? Это было ему ясно. Он вспомнил этого гнусного, коротко стриженного человека.

За пожелтевшим ячменем показался купол католического храма...

ФОРМА

Это был железный кувшинчик. Этот кувшинчик с мелкой насечкой открыл ему красоту «формы».

ДОЖДЬ

Лежа в постели, он болтал с ней о том, о сем. За окном спальни шел дождь. Цветы от этого дождя, видимо, стали гнить. Ее лицо по-прежнему казалось озабоченным луной. Но разговаривать с ней ему было скучновато. Лежа ничком, он не спеша закурил и подумал, что встречается с ней уже целых семь лет.

«Люблю ли я ее?» — спросил он себя. И его ответ даже для него, внимательно наблюдавшего за самим собой, оказался неожиданным:

«Все еще люблю».

ВЕЛИКОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

Чем-то это напоминало запах перезрелого абрикоса. Проходя по пожарищу, он ощущал этот слабый запах и думал, что запах трупов, разложившихся на жаре, не так уж плох. Но когда он остановился перед прудом, заваленным грудой тел, то понял, что слово «ужас» в эмоциональном смысле отнюдь не преувеличение. Что особенно потрясло его — это трупы двенадцати-тринадцатилетних детей. Он смотрел на эти трупы и чувствовал нечто похожее на зависть. Он вспомнил слова: «Те, кого любят боги, рано умирают». У его старшей сестры и у сводного брата — у обоих сгорели дома. Но мужу его старшей сестры отсрочили исполнение приговора по обвинению в лжесвидетельстве.

— Хоть бы все умерли!

Стоя на пожарище, он не мог удержаться от этой горькой мысли.

ССОРА

Он подрался со своим сводным братом. Несомненно, что его брат из-за него то и дело подвергался притеснениям. Зато он сам, несомненно, терял свободу из-за

брата. Родственники постоянно твердили брату: «Бери пример с него». Но для него самого это было все равно, как если бы его связали по рукам и ногам. В драке они покатались на самый край галереи. В саду за галереей — он помнил до сих пор — под дождливым небом пышно цвел красными пылающими цветами куст индийской сирени.

КОЛОРИТ

В тридцать лет он обнаружил, что как-то незаметно для себя полюбил один пустырь. Там только и было, что множество кирпичных и черепичных обломков, валившихся во мху. Но в его глазах этот пустырь ничем не отличался от пейзажа Сезанна.

Он вдруг вспомнил свое прежнее увлечение — семь-восемь лет назад. И в то же время понял, что семь-восемь лет назад он не знал, что такое колорит.

РЕКЛАМНЫЙ МАНЕКЕН

Он хотел жить так неистово, чтоб можно было в любую минуту умереть без сожаления. И все же продолжал вести скромную жизнь со своими приемными родителями и теткой. Поэтому в его жизни были две стороны, светлая и темная. Как-то раз в магазине европейского платья он увидел манекен и задумался о том, насколько он сам похож на такой манекен. Но его подсознательное «я» — его второе «я» — давно уже воплотило это настроение в одном из его рассказов.

УСТАЛОСТЬ

Он шел с одним студентом по полю, поросшему мискантом.

— У вас у всех, вероятно, еще сильна жажда жизни, а?

— Да... Но ведь и у вас...

— У меня ее нет! У меня есть только жажда творчества, но...

Он искренне чувствовал так. Он действительно как-то незаметно потерял интерес к жизни.

— Жажда творчества — это тоже жажда жизни.

Он ничего не ответил. За полем над красноватыми колосьями отчетливо вырисовывался вулкан. Он почувствовал к этому вулкану что-то похожее на зависть. Но отчего, он и сам не знал.

«ЧЕЛОВЕК ИЗ ХОКУРИКУ»

Однажды он встретился с женщиной, которая не уступала ему и в таланте. Но он написал «Человек из Хокурику» и другие лирические стихотворения и сумел избежать грозящей ему опасности. Однако это вызвало горечь, будто он страхнул примерзший к стволу дерева сверкающий снег.

По ветру катится сугэгасá
И упадет на пыльную дорогу...
К чему жалеть об имени моем?
Оплакивать — твое лишь имя...

МЩЕНИЕ

Это было на балконе отеля, стоявшего среди зазеленевших деревьев. Он забавлял мальчика, рисуя ему картинки. Сына дочери сумасшедшего, с которой разошелся семь лет назад.

Дочь сумасшедшего курила и смотрела на их игру. С тяжелым сердцем он рисовал поезда и аэропланы. Мальчик, к счастью, не был его сыном. Но мальчик называл его «дядей», что для него было мучительней всего.

Когда мальчик куда-то убежал, дочь сумасшедшего, затягиваясь сигаретой, кокетливо сказала:

— Разве этот ребенок не похож на вас?

— Ничуть не похож. Во-первых...

— Это, кажется, называется «воздействие в утробный период»?

Он молча отвел глаза. Но в глубине души у него невольно поднялось жестокое желание задушить ее.

ЗЕРКАЛА

Сидя в углу кафе, он разговаривал с приятелем. Приятель ел печеное яблоко и говорил о погоде, о холодах, наступивших в последние дни. Он сразу уловил в его словах нечто противоречивое.

— Ты ведь еще холост?

— Нет, в будущем месяце женюсь.

Он невольно замолчал. Зеркала в стенах отражали его бесчисленное множество раз. Будто чем-то холодно угрожая...

ДИАЛОГ

— Отчего ты нападаешь на современный общественный строй?

— Оттого, что я вижу зло, порожденное капитализмом.

— Зло? Я думал, ты не признаешь различия между добром и злом. Ну, а твой образ жизни?

...Так он беседовал с ангелом. Правда, с ангелом, на котором был безупречный цилиндр...

БОЛЕЗНЬ

На него напала бессонница. Вдобавок начался упадок сил. Каждый врач ставил свой диагноз. Кислотный катар, атония кишок, сухой плеврит, неврастения, хроническое воспаление суставов, переутомление мозга...

Но он сам знал источник своей болезни. Это был стыд за себя и вместе с тем страх перед ними. Перед ними — перед обществом, которое он презирал!

Однажды в пасмурный, мрачный осенний день, сидя в углу кафе с сигарой в зубах, он слушал музыку, льющуюся из граммофона. Эта музыка как-то странно проникала ему в душу. Он подождал, пока она кончится, подошел к граммофону и взглянул на этикетку пластинки.

«Magic flute» — Mozart¹.

Он мгновенно понял. Моцарт, нарушивший заповедь, несомненно тоже страдал. Но вряд ли так, как он... Понурился, он медленно вернулся к своему столику.

СМЕХ БОГОВ

Он, тридцатипятилетний, гулял по залитому весенним солнцем сосновому бору. Вспоминая слова, написанные им два-три года назад: «Боги, к несчастью, не могут, как мы, совершить самоубийство».

НОЧЬ

Снова надвинулась ночь. В сумеречном свете над бурным морем непрерывно взлетали клочья пены. Под таким небом он вторично обручился со своей женой. Это было для них радостью. Но в то же время и мукой. Трое детей вместе с ними смотрели на молнии над морем. Его жена держала на руках одного ребенка и, казалось, сдерживала слезы.

— Там, кажется, видна лодка?

— Да.

— Лодка со сломанной мачтой.

СМЕРТЬ

Воспользовавшись тем, что спал один, он хотел повеситься на своем поясе на оконной решетке. Однако, сунув шею в петлю, вдруг испугался смерти; но не потому, что боялся предсмертных страданий. Он решил проделать это еще раз и, в виде опыта, проверить по часам, когда наступит смерть. И вот, после легкого страдания, он стал погружаться в забытие. Если бы только перешагнуть через него, он, несомненно, вошел бы в

¹ «Волшебная флейта» — Моцарт (англ.).

смерть. Он посмотрел на стрелку часов и увидел, что его страдания длились одну минуту и двадцать с чем-то секунд. За окном было совершенно темно. Но в этой тьме раздался крик петуха.

«ДИВАН»

«Divan» еще раз влил ему в душу новые силы. Это был неизвестный ему «восточный Гете». Он видел Гете, спокойно стоящего по ту сторону добра и зла, и чувствовал зависть, близкую к отчаянию. Поэт Гете в его глазах был выше Христа. В душе у этого поэта были не только Акрополь и Голгофа, в ней расцвели и розы Аравии. Если бы у него хватило сил идти вслед за ним... Он дочитал «Divan» и, успокоившись от ужасно волнения, не мог не презирать горько самого себя, рожденного евнухом жизни.

ЛОЖЬ

Самоубийство мужа его сестры нанесло ему внезапный удар. Теперь ему предстояло заботиться о семье сестры. Его будущее, по крайней мере для него самого, было сумрачно, как вечер. Чувствуя что-то близкое к холодной усмешке над своим духовным банкротством (его пороки и слабости были ясны ему все без остатка), он по-прежнему читал разные книги. Но даже «Исповедь» Руссо была переполнена героической ложью. В особенности в «Новой жизни» — он никогда еще не встречал такого хитрого лицемера, как герой «Новой жизни». Один только Франсуа Вийон проник ему в душу. Среди его стихотворений он открыл одно, носившее название «Прекрасный бык».

Образ Вийона, ждущего виселицы, стал появляться в его снах. Сколько раз он, подобно Вийону, хотел опуститься на самое дно! Но условия его жизни и недостаток физической энергии не позволяли ему сделать это. Он постепенно слабел. Как дерево, сохнущее с вершины, которое когда-то видел Свифт...

ИГРА С ОГНЕМ

У нее было сверкающее лицо. Как если бы луч утреннего солнца упал на тонкий лед. Он был к ней привязан, но не чувствовал любви. Больше того, он и пальцем не прикасался к ее телу.

— Вы мечтаете о смерти?

— Да... нет, я не так мечтаю о смерти, как мне надоело жить.

После этого разговора они сговорились вместе умереть.

— Platonic suicide¹, не правда ли?

— Double platonic suicide².

Он не мог не удивляться собственному спокойствию.

СМЕРТЬ

Он не умер с нею. Он лишь испытывал какое-то удовлетворение от того, что до сих пор и пальцем не прикоснулся к ее телу. Она иногда разговаривала с ним так, словно ничего особенного не произошло. Больше того, она дала ему флакон синильной кислоты, который у нее хранился, и сказала: «Раз у нас есть это, мы будем сильны».

И действительно, это влило силы в его душу. Он сидел в плетеном кресле и, глядя на молодую листву дуба, не мог не думать о душевном покое, который ему принесет смерть.

ЧУЧЕЛО ЛЕБЕДЯ

Последние его силы иссякли, и он решил попробовать написать автобиографию. Но неожиданно для него самого это оказалось нелегко. Нелегко потому, что у него до сих пор сохранились самоуважение, скептицизм и расчетливость. Он не мог не презирать себя вот такого. Но, с другой стороны, он не мог удержаться от мысли: «Если снять с людей кожу, у каждого под кожей

¹ Платоническое самоубийство (англ.).

² Двойное платоническое самоубийство (англ.).

окажется то же самое». Он готов был думать, что заглавие «Поэзия и правда», — это заглавие всех автобиографий. Мало того, ему было совершенно ясно, что художественные произведения трогают не всякого. Его произведение могло найти отклик только у тех, кто ему близок, у тех, кто прожил жизнь, почти такую же, как он.

Вот как он был настроен. И поэтому он решил попробовать коротко написать свою «Поэзию и правду».

Когда он написал «Жизнь идиота», он в лавке старьевщика случайно увидел чучело лебедя. Лебедь стоял с поднятой головой, а его пожелтевшие крылья были изъедены молью. Он вспомнил всю свою жизнь и почувствовал, как к горлу подступают слезы и холодный смех. Впереди его ждало безумие или самоубийство. Идя в полном одиночестве по сумеречной улице, он решил терпеливо ждать судьбу, которая придет его погубить.

ПЛЕННИК

Один из его приятелей сошел с ума. Он всегда питал привязанность к этому приятелю. Это потому, что всем своим существом, больше, чем кто-либо другой, понимал его одиночество, скрытое под маской веселья. Своего сумасшедшего приятеля он раза два-три навестил.

— Мы с тобой захвачены злым демоном. Злым демоном «конца века»! — говорил ему тот, понижая голос. А через два-три дня на прогулке жевал лепестки роз.

Когда приятели поместили его в больницу, он вспомнил терракотовый бюст, который когда-то ему подарили. Это был бюст любимого писателя его друга, автора «Ревизора». Он вспомнил, что Гоголь тоже умер безумным, и неотвратно почувствовал какую-то силу, которая поработила их обоих.

Совершенно обессилев, он прочел предсмертные слова Радигэ и еще раз услышал смех богов. Это были слова: «Воины бога пришли за мной». Он пытался бороться со своим суеверием и сентиментализмом. Но всякая борьба была для него физически невозможна. Злой демон «конца века» действительно им овладел.

Он почувствовал зависть к людям средневековья, которые полагались на бога. Но верить в бога, верить в любовь бога он был не в состоянии. В бога, в которого верил даже Кокто!

ПОРАЖЕНИЕ

У него дрожала даже рука, державшая перо. Мало того, у него стала течь слюна. Голова у него бывала ясной только после пробуждения от сна, который приходил к нему после большой дозы веронала. И то ясной она бывала каких-нибудь полчаса. Он проводил жизнь в вечных сумерках. Словно опираясь на тонкий меч со сломанным лезвием.

Июнь 1927 г. (Опубликовано посмертно.)

КОММЕНТАРИИ

УСМЕШКА БОГОВ

Стр. 5. *Padre Organtino* — историческое лицо — Pneschi-Soldo Organtino (1530—1609), итальянец, член ордена иезуитов. Прибыл в Японию в 1570 году, проповедовал в Киото. Пользуясь доверием тогдашнего фактического правителя Японии Ода Нобунага, в 1581 году основал первую в Японии католическую семинарию.

Главный храм в Риме — собор св. Петра.

...звуки рабэйки.— Рабэйка — скрипка (и с к а ж. п о р т у г. gabeca).

...в этой столице.— Имеется в виду Киото.

Стр. 6. *Сакура* — разновидности вишни, характерные для флоры Японии. Отличаются обильным цветением, плодов не дают. Сакура наряду с хризантемой считается национальным цветком Японии.

...цветы плакучей сакура.— Плакучая сакура (сидарэдзакура), *Prunus pendula*, разновидность вишни.

Стр. 8. *...японская вакханалия развернулась... словно мираж.*— Описанная ниже сцена основана на одном из главных синтоистских мифов. Как повествует «Кодзики» — свод космогонических и исторических мифов VIII в., Аматэрасу, богиня солнца — другое имя ее Охирумэмути,— удрученная дурным поведением бога Сусаноо, «дверь жилища в Гроге Небесном за собой затворила... и там осталась. Тогда во всей Равнине Высокого Неба... стало темно, вся страна... погрузилась во мрак... Поэтому все восемь мириад божеств... собрали петухов вечной ночи и заставили петть их, а богиня Амэ-но Удзумэ... перед дверью в жилище Небесного

Грота деревянную доску выставила... и, делая вид, что нашло на нее восхищение духа, она соски своих грудей открыла... Высокого Неба Равнина тогда затряслась, и все восемь мириад богов захохотали. Странно то показалось богине Аматэрасу, и... она изнутри произнесла: «Думала я, что, так как я скрылась сюда, вся Такама-но хара... и страна вся темна. Почему же все восемь мириад богов так смеются?» Тогда, отвечая, сказала ей Амэ-но Удзумэ: «Рады и веселы мы потому, что есть божество великолепнее, чем ты». (Перевод Г. О. Монзелера.) Заинтересованная Аматэрасу вышла из грота.

Стр. 8. ...*вырванной с корнем эйрии*.— Эйрия — японская сакаки, вечнозеленый кустарник, священное растение в синтоистском культе.

Стр. 9. *Охирумэмути* — японская синтоистская богиня солнца.

Стр. 10. ...*увидев красоту дочерей человеческих*... — вольный пересказ из Ветхого завета, кн. 1, гл. 6, стих 2.

Стр. 11. *Конфуций, Мэн-цзы, Чжуан-цзы* — древние китайские философы. Конфуций (правильно: Кун-цзы) — 551 — 497 гг. до н. э., Мэн-цзы — 372—289 гг. до н. э., Чжуан-цзы — 369—286 гг. до н. э.

Дао.— В учении о дао (о пути) содержатся философские основы доктрины Конфуция и доктрины Мэн-цзы, то есть конфуцианства и даосизма.

...*шелка из страны У, яшму из страны Цинь*.— У и Цинь — царства древнего Китая.

Какиномото Хитомаро — поэт VIII века, один из крупнейших авторов знаменитой антологии VIII века «Манъёсю».

...*звезды Волопас и Ткачиха* — Альтаир и Вега, расположенные по обе стороны Млечного Пути. Согласно легенде, это влюбленные, встречающиеся раз в семь лет.

У их изголовья журчала Небесная река.— Млечный Путь японски называется двойко: Аmanoгaвa — буквально: «Небесная река», старое, чисто японское название, Гинка — позднейшее название, принятое в астрономии, буквально значит «Серебряная река».

Хитомаро применил иероглифы...— В знаменитой антологии VIII века «Манъёсю» китайские иероглифы были использованы преимущественно по их звучанию (измененному согласно фонетике японского языка), то есть как фонетические буквы, без учета их значения. Этот вид письма именуется манъёгана. Впоследствии на основе такого употребления японцы, упростив ряд иероглифических знаков, создали свою фонетическую азбуку. А с другой стороны, впоследствии сами иероглифы стали упо-

треблять по их значению, для чего с иероглифом связывалось понятное японцам японское слово. Примером здесь взят знак «лодка», по-китайски «чжоу», что по-японски звучит «сю», однако японцы читают этот знак «фунэ», что значит «лодка» по-японски. (Здесь изложена только суть, употребление иероглифов в японской письменности несколько сложнее.) Соединяя иероглифы со своей фонетической азбукой, японцы создали национальный вид письменности.

...искусство каллиграфического письма.— Красиво писать кистью скорописные формы иероглифов в Китае и в Японии составляет особый вид графического искусства.

Кукай (770—835), *Косэй* (971—1027), *Дофу* (925—996), *Сари* (933—988) — знаменитые японские каллиграфы.

Стр. 12. *Ван Си-чжи* — китайский каллиграф IV века.

Чжу Суй-лян — китайский каллиграф VII века.

Лао-цзы — древний китайский философ, предположительно VI—V вв. до н. э., основатель «учения о дао», то есть о «Пути», развившегося в даосизм.

...к нам пришел из Индии царевич *Сиддхарта*.— Сиддхарта-Гаутама, легендарный основатель буддизма.

...будда *Дайнити-нёрай*.— Санскритское имя этого будды — Вайрочана. Японское название буквально значит «будда великого Солнца», отчего и возможно отождествление с японской синтоистской богиней солнца *Аматарасу*, иначе *Охирумэмути*. Отождествление будд и бодисатв с синтоистскими богами большей частью считается победой буддизма, здесь же не без оснований рассматривается наоборот — как преодоление буддизма.

Синран (1173—1262) — основатель буддийской секты *Дзёдо*.

Нитирэн (1222—1282) — основатель буддийской секты *Нитирэн*.

...в тени цветов *шореи*.— *Shorea robusta*, южное лиственное дерево, русского названия нет.

Дзёгу-тайси — принц *Сётоку-тайси* (574—621), апостол буддизма в Японии.

Стр. 13. ...в книгах с поперечными строчками, которые привезли с собой сыновья наших даймё с *Кюсю*.— Японское письмо — сверху вниз, то есть вертикальными строчками (строки располагаются справа налево). Поперечными строчками — значит, речь идет о европейских книгах. (После второй мировой войны в Японии стали выходить и книги с европейским расположением шрифта.) В 1582 году три даймё с *Кюсю*, принявшие христианство, отправили в Рим к папе своих сыновей, вернувшихся в Японию в 1590 году.

Стр. 13. ...теперь он зовется *Юри-вака*.— Есть гипотеза, что японская легенда о Юри-вака, сложившаяся к концу XV века, имеет связь с героем Одиссеи Улиссом, чье имя по-японски звучит Юрисису («вака» значит «молодой»).

Стр. 14. ...грохот каменных огненных стрел с черных кораблей.— Каменные огненные стрелы — пушечные ядра; в шестидесятых годах англо-французская эскадра обстреляла княжество на Кюсю. (Корабли Перри не вели обстрела, а только угрожающе навели пушки.)

Уруган — и с к а ж . п о р т у г . *Organtino*.

ВАГОНЕТКА

Стр. 16. *Кэн* — мера длины, равная 1,8 м.

Стр. 18. ...за спиной был грудной ребенок.— В Японии, как и в Китае и в Корее, матери носят грудных детей, иногда даже до пятилетнего возраста, подвязанными на спине.

ПОВЕСТЬ ОБ ОТПЛАТЕ ЗА ДОБРО

Стр. 21. *Росон Сукэдзаэмон* — крупный купец из провинции Идзуми, разбогатевший на торговле с южными странами.

Рикю Кодзи — основатель одной из школ чайной церемонии. В 1591 году навлек на себя немилость сёгуна и по его приказанию покончил с собой.

Рэнга — форма стихотворений, распространенная в XIV—XVI веках. Умение писать стихи было широко распространено в среде горожан.

Омура — в средние века городок при замке даймё Омуре, ныне город (в префектуре Нагасаки).

«*Амакава-никки*» — вымышленная книга.

Капитан Мальдонадо.— В те годы в порты Хёго и Нагасаки заходили голландские торговые суда. По-видимому, речь идет о капитане одного из таких судов.

Стр. 26. *Кан* — старинная японская денежная единица, около десяти иен (по курсу в конце XIX в.).

Кампаку — высшее правительственное звание IX—XIX веков, канцлер.

Стр. 27. «*Фусута*» — (п о р т у г . *fusta*) — один из старинных типов кораблей для дальнего плавания.

Стр. 33. *Сямуроя* — торговый дом Окадзи Камбэя, крупного купца.

Кяра (*Aquilaria agallosha*) — тропическое дерево, русского названия нет.

...*положив перед собой руки.*— Стоя на коленях, положить прямо перед собой руки, рядом, ладонями вниз — поза и жест, выражающие смиренную просьбу. Есть даже устойчивое выражение «просить прощения, положив руки на землю» — (тэ-о-цуйтэ аямару), что равносильно русскому «просить прощения на коленях».

Стр. 34. *Ри* — мера длины, равная 3,927 км.

То — мера объема, равная 18 л.

Удайдзин — одно из трех правительственных и придворных званий в VIII—XII веках, как придворное звание сохранилось и позже.

...*царя-льва из рассказа Эзопа.*— Васни Эзопа были переведены на японский язык и изданы португальскими миссионерами латинским шрифтом в 1593 году, они пользовались большой популярностью.

Стр. 39. *Тоётоми Хидэёси.*— См. комментарий к стр. 145.

СВЯТОЙ

Стр. 41. *Тацугоро Эдоя* — осацкий богач-купец конца XVII века, известен был роскошью и самодурством. Растратил состояние на связи с куртизанками и был лишен права жить в Осака, Киото и Эдо (старинное название Токио). Прославился как персонаж многих пьес.

САД

Исин — термин японской официальной истории, которым обозначается революция Мэйдзи 1867 года, нанесшая сильный удар японскому феодализму, способствовавшая переходу страны на капиталистические рельсы и широчайшему приобщению ее к европейской и американской культуре.

Революция Мэйдзи приняла своеобразную национальную форму: династия сёгунов Токугава — феодальных сюзеренов, являвшихся с начала XVII века фактическими правителями Японии (по их имени эти два с половиной века называются эпохой Токугава), была свергнута, и во главе правления восстановлен

император, который до 1867 года был властителем только номинальным. После революции император переехал из старинной столицы Японии — Киото, где он жил почти как почетный пленник, в резиденцию сёгунов — Эдо, тогда же переименованную в Токио.

Город Киото как столица умер. И, конечно, дороги — почтовые тракты, соединявшие его с Эдо и раньше являвшиеся важнейшими артериями страны, — теряя это свое значение, стали гложнать. Стал гложнать даже знаменитый тракт Токайдо, увековеченный в прославленной серии цветных гравюр «Пятьдесят три вида Токайдо» Хиросигэ. И тем больше было запустение на параллельных боковых трактах, как, например, Накасандо, где расположена станция, о которой идет речь в рассказе «Сад».

Одна из последних памятных по своей пышности поездок по тракту Накасандо произошла за шесть лет до революции, в 1861 году. Сёгуны, надеясь упрочить свое пошатнувшееся положение, старались установить компромисс с императорским лагерем путем брачных уз. И принцесса Кадзу, младшая сестра последнего до переворота императора Комэй, просватанная за предпоследнего сёгуна Иэмоти, в 1861 году проследовала на бракосочетание по тракту Накасандо из Киото в Эдо.

Процветанию и особой парадности ведущих в Эдо дорог способствовало одно установление сёгуна Токугава — система обязательного периодического проживания в Эдо феодальных князей — даймё. Поездки даймё совершались по особому этикету, с огромной пышностью. Для остановки их в пути при станциях строились особые дома, отделанные с той привычной для даймё роскошью, которая в эпоху Токугава превзошла роскошь обедневшей старинной придворной аристократии — кугё. При таком доме, конечно, непременно был и сад.

Эстетика классического японского сада в целом восходит к садовому искусству Китая IX—XII веков. В основе ее лежит создание живописности такого рода, о каком дают яркое представление картины классических китайских пейзажистов. Живописность такого сада создавалась из четырех элементов: воды, рельефа местности, зеленых растений, архитектурного оформления. Вода должна была быть в виде пруда, причем классической его формой была овальная с перехватом. Вода в пруде должна была быть так прозрачна, чтобы в ней отчетливо отражался островок и горбатый мостик, соединявший островок с берегом, беседка и прибрежные ивы. Вода должна была быть в виде стремительно сбегających с гор пенящихся потоков и водопадов. В особенности ценилось, если сад был расположен на фоне горы, откуда такие

естественные или искусственные водопады низвергались. Островок обычно создавался искусственно, в виде насыпанной горки, с венчающей ее сосной, или из тщательно и обдуманно нагроможденных камней. Искусственные горки бывали и на берегу. Из растений в классический средневековый сад входили только нецветущие кусты и деревья, из последних непременно вечнозеленая, причудливо изогнутая японская сосна. Цветов никаких не допускалось. Цветовая гамма, таким образом, была очень скупая и строгая, — темная зелень сосен, желтоватый песок, светлая вода, серые, поросшие мхом камни. На островке, если он был достаточно велик, или на берегу непременно стояла беседка, из которой можно было любоваться отражениями в прозрачной воде или белой пеной сбегających с горы потоков. Беседка строилась в китайском вкусе и обычно носила название, заимствованное из образов китайской классической поэзии. Имели свое название и большие каменные фонари, причем часто оно было связано со стихотворением — танка, написанным специально в связи с этим фонарем.

Красота такого сада достигалась преимущественно изысканной и иногда даже символической гармонией линий, строго рассчитанным соотношением частей — куп деревьев, искривленных веток сосны, причудливых камней, светлой поверхности пруда. Конечно, такие сады требовали беспрестанного ухода, потому что выросший не на месте куст, сдвинувшийся в сторону камень — все могло нарушить эту условную гармонию линий.

К концу эпохи Токугава, и в особенности после переворота, классическая суровая простота этого сада стала видоизменяться под натиском эстетики другого рода. Первым нарушением его было вторжение в сад цветущих деревьев. Общеизвестно, что в Японии широчайшим образом распространена любовь к цветам, так что, например, цветение вишен — это почти общенародный праздник. Японцы специально ходят смотреть в парки на цветущие вишни, глицинии, хризантемы, и это даже получило особое название «ханами» — «любование цветами». Аналогично этому существуют как особые понятия «цукими» и «юкими» — «любование луной» и «любование снегом».

Все эти «любования» — столь же демократически широко распространенное бытовое явление, как и занятия стихосложением, к которому в той или иной мере причастны японцы самых различных социальных слоев. Особенно широко распространено было в эпоху Токугава писание «хокку» — трехстиший (или хайку) и «рэнга» (так называемой поэзии хайкай). Рэнга — форма поэзии, расцвет которой падает на XIV—XV века, но культивиру-

вавшаяся и позже. Представляет собой ряд самостоятельных своеобразно соединенных звеньев, а именно: звено состоит из стиха в три строки по 5—7—5 слогов с окончанием в две строки по 7 слогов, что вместе дает танка. К этому окончанию приписывается второе начало, к этому началу — свой конец. Таким образом, получается цепь танка, в которой каждое начало имеет два конца, а каждый конец — два начала. Эта цепь и называется рэнга. Рэнга часто писалась совместно, то есть каждый участник писал очередной стих. Вместе с тем первые три строки представляли собой и самостоятельную форму — хокку. Всеобщее увлечение стихами вызвало к жизни профессию странствующих учителей поэзии, которые, переходя из города в город, из деревни в деревню, учили своих клиентов правилам писания хокку, писали сами стихи на заданные темы, занимались совместным составлением стихов, главным образом рэнга, и за это получали плату или просто кров и пищу. Завзятые любители хайку брали себе специальный поэтический псевдоним. В рассказе «Сад» упоминается такой псевдоним — Бунсицу, что значит «Литературная келья». Учителя хайкай всегда были известны только под своим литературным псевдонимом. После переворота Мэйдзи такие, если можно сказать «профессиональные любители» и «учителя поэзии» стали быстро исчезать.

Стр. 42. *Принцесса Кадзу* — сестра императора Комэй (1847—1867) и жена сёгуна Иэмоти (1846—1866).

...*грубый с виду старик инкё*.— Инкё — название главы семьи после его юридического отречения от своих прав главы. В Японии, где понятие семьи, рода развито очень сильно, права главы семьи имеют большое бытовое и юридическое значение. Обычай при достижении старческого возраста делаться «инкё», то есть формально отказываться от своих прав и передавать их старшему сыну, распространен до сих пор. В японской семье с ее традиционным культом сыновнего почитания «инкё» обычно пользуется глубоким уважением и доживает свои дни на покое.

Го — старинная японская игра типа шахмат, но более сложная.

Стр. 43. ...*средний ушел зятем*...— В Японии до сих пор, в особенности в дворянских и помещичьих кругах, в крестьянстве и купечестве, то есть всюду, где живо и юридически важно понятие семьи, рода, сохранился обычай при вымирании мужской линии брать мужа в дом жены. Такой муж порывает связь со своей семьей, принимает фамилию жены, и главой семьи со всеми вытекающими отсюда правами и бытовым положением считается не он, а его жена.

Кугэ — название аристократии, главным образом придворной, до 1867 года.

Фукудзава Юкити (1834—1901) — японский писатель и педагог.

Стр. 44. *...украсилась свертками розовой и белой ваты.* — Розовая и белая шелковая вата — один из традиционных свадебных подарков, который сначала, согласно обычаю, красуется в комнате с подарками, а потом идет на разные хозяйственные надобности.

Стр. 45. *Нэйсан* — дословно «сестрица» — фамильярное обращение к девушке, обычно к кельнерше, прислуге в гостинице и т. п.

Стр. 46. *...с лубочных картинок Оцу.* — В период Токугава, то есть в XVII — середине XIX веков, это были картинки на буддийские темы, но после революции тематика их изменилась, они превратились в жанровые картинки лубочного характера.

Ойран — название одного из высших разрядов проституток.

Стр. 49. *«Момоварэ»* — прическа молодой элегантной девушки.

БАРЫШНЯ РОКУНОМИЯ

Стр. 50. *Хёбунодаю* — одно из низших придворных званий VIII—XII веков.

Стр. 51. *Пуэрария* — вид травянистой лианы.

Стр. 52. *Сугороку* — игра в кости с передвижными фишками.

Стр. 56. *Ах, там огненная колесница!* — Огненная колесница — по буддийским представлениям, аксессуар одного из кругов ада — огненного ада.

Стр. 57. *Я вижу золотой лотос.* — По буддийским представлениям, золотой лотос — аксессуар рая.

Стр. 58. *...преподобный Найки, в миру Ёсисигэ Ясутанэ.* — Ёсисигэ Ясутанэ (934—997) — человек знатного рода, занимавший высокий правительственный пост «дайнайки»; он постригся в монахи и известен своими буддийскими сочинениями. Упоминание его имени устанавливает время действия рассказа — последняя четверть X века. Это пора наивысшего расцвета хэйанской культуры и вместе с тем та пора, когда начали проявляться признаки постепенного падения господства родовой аристократии. Уход Ёсисигэ Ясутанэ из правительственного аппарата в ряды духовенства был одним из таких симптомов упадка аристократии.

Стр. 58. *Преподобный Куя (? — 972)* — буддийский епископ.

ЧИСТОТА О-ТОМИ

Стр. 59. «*Завтра на рассвете правительственные войска начнут военные действия против отряда сёгитай в монастыре Тозёйдзан...*» — Речь идет о подавлении мятежа самураев, являвшихся сторонниками сёгуна Кэйки, отрекшегося от власти в связи с революцией 1867 года. Мятежники образовали отряд, носивший название «сёгитай», и сконцентрировались в монастыре Канъэйдзи в районе Уэно (в Токио). Мятеж был подавлен правительственными войсками 15 мая 1868 года.

Аваби — морское ушко, съедобный моллюск, часто весьма больших размеров; раковину обычно сохраняют.

Стр. 60. *Восемь... Восемь без половины.* — По принятой тогда старинной системе счисления времени сутки делились на две половины — с полуночи до полудня и наоборот, а каждая половина — на шесть промежутков, счет которых начинался с девятого, а кончался четвертым. Дневные восемь часов соответствовали теперешним четырнадцати, восемь без половины — пятнадцати, семь — шестнадцати и т. д.

Стр. 62. *Это ты, Синко?* — Здесь Синко — фамильярное сокращение имени Синдзабуро.

Стр. 67. *Мураками Синдзабуро... Минамото-но Сигэмицу!* — Первое из этих имен — обыкновенное, мещанское, под которым герой скрывался. Второе — его «настоящее» имя (вымышленное автором), говорящее о его старинном аристократическом происхождении.

Двадцать третий год Мэйдзи — 1890 год.

Маэда Масада, Тагуги Укиги, Сибусава Эйити, Цудзи Синдзи, Окакура Какудзо, Гэдзё Масао — имена реальных исторических лиц, деятелей революции 1867 года и послереволюционных десятилетий.

О-ГИН

Стр. 69. *Годы Гэнна — 1615—1624 годы.*

Годы Канъэй — 1624—1644 годы.

Сан-Джэан Багиста — и с к а ж. португ. San Joan Baptista, Иоанн Креститель.

Адзиро — способ плетенья, состоявший в том, что в соломенное плетенье вплетались наискось тонкие планки бамбука или кипарисовика. Употреблялось для плетней, а также для покрытия верха повозки.

Стр. 70. ...«преблагостная, великосердная, сладчайшая Дева Санта Мария-сама». — Из японской католической книги «Дотирина Кириситан» («Доктрина христианства»), гл. V. *Salve Virginia* (Полное название этой книги: «*Nippono Jesus no Compania no superior yori Christian ni soro no cotovari no tagaino mondo no gotogu hidai no vacachi tamo Doctrina*», 1592).

...«умерший распятым на кресте, положенный в каменную гробницу»... — Из той же книги, гл. VI, *Credo*.

Сагурамэнто — и с к а ж. п о р т у г. *Sacramento* — крещение, здесь — причастие.

...«силою божественного слова хлеб и вино, не меняя своего вида, претворяются в тело и кровь Господни». — Из той же книги, гл. X, *Santa ecclesia*.

Стр. 71. *Натара* — рождество, и с к а ж. п о р т у г. *natal*.

Вакагими-сама — дословно: «молодой господин», старинное, очень почтительное обращение.

ИЗ ЗАПИСОК ЯСУКИТИ

Стр. 86. *Токи Дзэнмаро* (род. в 1885 г.) — поэт.

Стр. 87. *Сакэ «Масамунэ»* — один из лучших сортов саке, названный так еще в IX веке.

Стр. 88. ...*Исав ради печеного мяса отказался от права первородства.* — Речь идет об эпизоде из Ветхого завета, где говорится о том, что Исав отказался от первородства за чечевичную похлебку (кн. 1, гл. 25).

Стр. 91. ...*между подокарпов и торрей.* — Подокарп — *Podocarpus macrophyllus* D., торрея — *Torreya nificera* Sieb. et Zucc., то и другое вечнозеленые тропические деревья, русских названий нет.

Стр. 92. ...*Ясукиги думал, что ящерица — ламаркианка больше, чем сам Ламарк.* — Ламарк (1744—1829) — естествоиспытатель, создатель теории эволюции, предшественник Ч. Дарвина.

БОЛЕЗНЬ РЕБЕНКА

Стр. 98. *Ити Ютэй* — псевдоним художника Коана Рюити, друга Акутагава.

Тансо — Хиросэ Тансо (1782—1856), поэт, писавший стихи на китайском языке.

Стр. 104. *Фуросики* — цветной платок, хлопчатобумажный или шелковый, в который принято заворачивать книги, покупки и т. п.

Стр. 105. *Ососу-сама* — основатель любой буддийской секты.

ПОКЛОН

Стр. 109. *Жан Ришпен* (1849—1926) — французский поэт, прозаик, драматург.

Сара Бернар (1845—1923) — знаменитая французская актриса.

А-БА-БА-БА-БА

Стр. 112. *«Кинсэн-сайда»* — сорт сидра.

Стр. 113. *...девушка во вкусе «Кэнъюся»*. — Кэнъюся — содружество молодых писателей 80-х годов, сыгравшее большую роль в развитии новой литературы. Далее приводятся детали, касающиеся быта и культуры тех лет.

«Сверстники» — роман писательницы Хигути Итиё (1872—1896).

Стр. 116. *Де Хуг* (род. около 1629 — ум. после 1677 г.) — голландский художник школы Рембрандта.

Спарго Джон (1876—?), английский социалист, эмигрировавший в Америку.

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ОСТРОВ

Стр. 119. *Хогарт* (1697—1764) — знаменитый английский художник.

Стр. 120. *Sussanrap* — перевернутое Parnassus, Парнас.

Стр. 121. *...в стиле secession* — а н г л. secessionism, стиль искусства, распространенный в конце XIX века.

Саго Харуо (род. в 1892 г.) — японский писатель, приятель Акутагава.

Стр. 126. *Котацу* — очаг, устраиваемый в углублении пола, возле него греются, покрыв ноги одеялом.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ САНЭМОНА

Стр. 127. ...на четвертом году Бунсэй.— Годы Бунсэй — 1818—1830, четвертый год — 1821.

Охранник.— Обязанность таких охранников (умамаварияку) состояла в том, чтобы охранять князя во время его поездок верхом. Поэтому они должны были искусно владеть мечом.

ПОКАЗАНИЯ ДЕВИЦЫ ИТО О КОНЧИНЕ БЛАГОРОДНОЙ ГОСПОЖИ СЮРИН, СУПРУГИ КНЯЗЯ ХОСОКАВА, ВЛАСТИТЕЛЯ ЭТТЮ, ПОСМЕРТНО НАРЕЧЕННОЙ СЮРИН ИНДЭН КАОКУ СОГЭКУ ДАЙСИ

Стр. 137. *Сюрин* (1564—1600) — дочь Акэти Мицухидэ, прозванного полководцем Корэто, историческое лицо. Приняла христианство в то время, когда уже вышел указ о его запрете. Будучи окружена войсками мятежников, покончила жизнь самоубийством.

Эттю — одна из центральных провинций.

...в пятом году эры Кэйте.— Эра Кэйте — 1596—1614 годы, пятый год — 1600 год. В этом году в октябре произошла историческая битва при Сэкигахара, в которой победу одержал Токугава Иэясу, установив там двухсотпятидесятилетнее господство сёгунов династии Токугава.

Стр. 142. *Принцесса Тагибана* — персонаж японской мифологии, жена мифического принца Ямато-такэру. Во время его похода на восток море разбушевалось, и, чтобы утихомирить гневающегося бога моря, она бросилась в воду.

Стр. 145. ...с самим Хидэёси в битве при Ямадзаки.— В этой битве в 1572 году Тоётоми Хидэёси одержал победу над Ода Нобунага, чьим приверженцем был полководец Корэто (Акэти Мицухидэ) — отец Сюрин, впоследствии, однако, возмущившийся против него и его убивший.

Стр. 146. ...сослужить госпоже службу «посредника».— При традиционном способе самоубийства — харакири, то есть разрезании живота, «посредник» отрубал голову совершившему харакири, чем прекращал его мучения.

...сам совершит «харакири вслед».— Вслед за харакири господина или госпожи должен был совершить харакири ближайший слуга.

КОМ ЗЕМЛИ

Стр. 150. *Варадзи* — соломенная обувь типа сандалий, преимущественно носится в деревне.

Стр. 151. *Тан* — мера площади, равная 9,92 ар.

Стр. 156. *Тё* — мера площади, равная 99,2 ар.

Доё — народный «памятный день», повторяющийся четыре раза в год — за восемнадцать дней до начала наступления нового времени года. Однако обычно под Доё имеется в виду «летнее», приходящееся на 20 августа.

СРАЖЕНИЕ ОБЕЗЬЯНЫ С КРАВОМ

В этой новелле речь идет о японской народной сказке, пользующейся в Японии всеобщей известностью. Один из ее вариантов имеется в сборнике «Японские сказки», М. 1956 («Месть краба», стр. 50).

Стр. 159. «*модных нынче «опасных мыслей».*— Так в период 1917—1930 годов правая пресса именовала прогрессивные идеи.

Кокусуйкай — влиятельная шовинистическая организация (1919—1945, полное название «Дайнихон кокусуйкай»), провозгласившая крайне реакционную программу.

Стр. 160. *Кропоткин в книге «О взаимопомощи».*— Полное название книги Кропоткина «Mutual aid, a Factor of Evolution» («Взаимопомощь, фактор эволюции»). Пример с крабами, приведенный в этой книге, не имеет ничего общего с японской сказкой.

ЛЮБОВНЫЙ РОМАН

Стр. 163. «*Современная любовь профессора Куриягава.*— Профессор Куриягава Тацуо (1880—1923) — автор получившей большую известность в те годы книги «Современная любовь» («Киндайно рэнъаирон»). Первая ее глава носит название «Love is best» — «Любовь выше всего».

Идзанаги и Идзанами — в синтоистической мифологии родоначальники всех божеств.

Мимикакуси — модная в 10-х годах прическа, прикрывавшая уши.

Курисима Сумико — популярная в 20-х годах киноактриса.

...*до великого землетрясения.*— Имеется в виду катастрофическое землетрясение в Токио и пяти примыкающих префектурах,

происшедшее 1 сентября 1923 года, во время которого в одном Токио погибло свыше семидесяти тысяч человек.

Стр. 164. *Вассерман* — Якоб Вассерман (1873—1934), крупный немецкий писатель.

Стр. 165. «*Сильвию*» *Шуберта*. — Видимо, имеется в виду песня «*An Silvia*» (1826) Шуберта, оп. 106, № 4.

Стр. 166. *Асакуса* — район Токио, известный огромным парком.

Стр. 167. *...движение в защиту конституции*. — Так называются парламентские выступления в защиту конституции партий Кэнсэйкай и Кокуминто, имевшие место в 1923 году и сопровождавшиеся призывами к свержению кабинета Киёура, опиравшегося только на верхнюю палату.

ОБРЫВОК ПИСЬМА

Стр. 175. *Сюнзёкай* — организация художников, пишущих в европейском стиле, образованная в 1922 году и ежегодно устраивавшая в Токио выставку.

Стр. 176. *Токутоми Рока* — японский писатель (1868—1927), расцвет славы которого падает на первое десятилетие XX века.

Арисима Такэо (1878—1923) — писатель, пользовавшийся большой известностью в последние годы жизни.

Стр. 177. *Крейслер Фриц* (1875—1962) — скрипач, пользовавшийся мировой известностью.

Торамару — знаменитый певец, специализировавшийся на жанре нанивабуси.

...будто видна башня храма Сайсёдзи. — Храм Сайсёдзи находится в Токио.

Девять колец — украшение из девяти бронзовых колец на шпигле башни храма Сайсёдзи.

Ёсано Акико (1877—1941) — известная поэтесса и писательница.

«*Перевал Дайбосацу*» — роман Накасато Кайдзан, печатавшийся в 1912 году в газете. Считается одним из первых образцов «массовой», то есть популярной художественной литературы.

Стр. 178. *Курата Момодзо, Кикүти Хироси, Күмэ Масао, Мусякодзи Санзэцу, Сатоми Тон, Сато Харуо, Ёсида Гэндзирс, Ногами Яёи*. — Перечислены наиболее известные японские писатели 10-х и 20-х годов XX века.

Следуя примеру Кёдэна и Самба. — Санто Кёдэн и Сикитэй Самба — драматурги XVII—XVIII веков, сами рекламировавшие свои произведения.

ЛОШАДИНЫЕ НОГИ

Стр. 191. *Годы Гэнкё* — 1321—1324 годы.

Стр. 194. ...редактор «Дзюнтэн ниппон», господин *Мудагучи*. — Речь идет о японской газете, издававшейся в Китае, поэтому во главе ее стоял японец, и, говоря «наша страна», автор всюду имеет в виду Японию.

Стр. 197. *Окада Сандзабуро* (1890—1954) — японский писатель.

Лейтенант Юаса — известный в те годы наездник.

У МОРЯ

Стр. 198. *Дзабутон* — плоская подушка, подкладываемая при сидении на полу.

«*История восьми псов*» — роман крупного японского средневекового писателя Бакина (1767—1848).

Стр. 199. *Рё* — старинная золотая монета.

Стр. 205. «*Типеррэри*» — распространенная после первой мировой войны песенка ирландских солдат.

ХУНАНЬСКИЙ ВЕЕР

Стр. 206. *Хуан Син* (1886—1925) — один из основателей партии Гоминьдан.

Цай Э (1873—1916) — видный китайский революционер, эмигрировал в Японию.

Сун Цзяо-жэнь (1882—1913) — видный китайский революционер.

Цзэн Го-фань (1811—1872) — политический деятель.

Чжан Чжи-дун (1837—1909) — политический деятель.

Стр. 207. *Иида-гаси* — канал в районе Бункё в Токио.

Стр. 210. ...когда воевали... *Чжан Цзи-яо* и *Тань Янь-кай*. — *Чжан Цзи-яо* — бывший военный начальник Хунани во время гражданской войны, *Тань Янь-кай* — участник революции 1911 года, принимал участие в борьбе против Юань Ши-кая. Вероятно, Акутагава здесь ошибся, поскольку эти военачальники никогда между собой не воевали.

Стр. 211. *Юань* — китайская денежная единица.

Стр. 212. *Цинская династия* — династия, правившая Китаем с 1644 по 1911 год.

Стр. 215. *Лаоцзю* (к и т а й с к.) — китайская водка.

Стр. 216. *Сэмбэй* (я п о н с к.) — японское печенье.

ДЕНЬ В КОНЦЕ ГОДА

Стр. 219. *Тетка* — старшая сестра матери Акутагава, фактически воспитавшая его.

Стр. 220. *Украшавшие ворота ветки сосны и бамбука...*— Ветками сосны и бамбука украшают ворота в канун Нового года.

Стр. 222. *Нандины* (*Nandina domestica* Thunb) — вечнозеленый декоративный кустарник, русского названия нет.

ПОМИНАЛЬНИК

Стр. 223. *«Сисянцзи»* — одна из знаменитых китайских драм периода Юань (XIII—XIV вв.).

Стр. 224. *Посмертная табличка* — деревянная табличка на подставке; на табличке тушью пишется посмертное имя покойного; аксессуар похорон, хранящийся затем у ближайших родных в домашней божнице.

Посмертное имя — имя, которое дают покойному согласно буддийскому ритуалу погребения.

Стр. 225. *Ее звали Хацуко, потому что она родилась первой.*— «Хацуко» и значит «первый ребенок». *Хаттян* — ласкательная форма от Хацуко.

...детский сад мадам Саммаз в Цукидзи.— Известный в первые десятилетия Мэйдзи (в 70-е, 80-е и 90-е годы XIX в.) частный детский сад и школа на английском языке жены английского пастора. Цукидзи — район Токио.

Двадцатые годы Мэйдзи — 80-е годы XIX века.

...обратилась к тетушке...— У Акутагава были две тетки со стороны матери. Старшая сестра — она жила в доме брата матери, то есть в доме приемных родителей Акутагава и была фактически воспитательницей Акутагава, оказавшей на него известное влияние. Другая тетка — младшая сестра матери, вторая жена его отца.

Стр. 227. *...попал в больницу с инфлюэнцей.*— Это было в 1919 году, когда по Европе и Азии прокатилась эпидемия так называемой испанки, унесшей миллионы жизней.

...меня окликнули: «А-сан!» — По первой букве имени с суффиксом «сан» гейши называют близко знакомых постоянных посетителей.

Стр. 228. *Дзёсо* — Дзёсо Утифудзи (1662—1704), поэт, писавший в жанре хайкай. Приведенное стихотворение носит заглавие «Придя на могилу Басё, думаю о своей болезни». Басё — крупнейший поэт хайкай.

ИЗ «СЛОВ ПИГМЕЯ»

ЭТИКА

Стр. 233. *Левостороннее движение* — принято в Японии, как и в Англии.

Стр. 235. ...*мораль никогда еще не была источником того, что по совести считают добром.*— В оригинале использована этимология слова рёсин — «совесть», куда входит понятие рё — «добро». Буквально последняя фраза значит: «мораль... не создала знака рё в слове рёсин».

ТВОРЧЕСТВО

Стр. 236. ...*обыкновение «одного удара и трех поклонов».*— При ваянии фигуры будды каждый сделанный штрих сопровождался тремя поклонами будде.

«*Луньши*» — древний китайский трактат о поэзии.

СКАНДАЛ

Стр. 238. «*Белый Лотос*» — сценическое имя известной певицы Акико, младшей дочери графа Янагивара. Она, бросив мужа, владельца крупных шахт в Фукуока, сбежала с молодым человеком, о чем много писали в газетах в октябре 1921 года.

Арисима Такэо (1878—1923) — писатель, 9 июня 1923 года покончил с собой вместе с возлюбленной Намита Ноаки на даче в Каруидзава.

Мусякодзи Санэацу (род. в 1885 г.) — в 1922 году развелся с женой и поселился с другой женщиной.

МЕЛОЧИ

Стр. 239. ...*лягушка, прыгнувшая в старый пруд...*— Образ заимствован из хокку знаменитого поэта Басё: «Старый пруд. Прыгнула лягушка — всплеск воды».

КАИБАРА ЭККЭН

Стр. 240. *Каибара Эккэн* (1630—1714) — известный конфуцианец.

СЧАСТЬЕ ХУДОЖНИКА

Стр. 244. *Куникида Дотто* (1871—1908) — писатель, приобрел известность на тридцать пятом году жизни.

ИСКУССТВО

Стр. 245. *Ван Шан-чжэн* (1526—1590) — китайский теоретик искусства.

Икан и сокутай — виды старинной придворной одежды.

О ТОМ ЖЕ

Стр. 246. *Тосю Сяраку* — мастер цветной гравюры по дереву начала XIX века.

...в стиле Корины.— *Корин* — крупнейший японский художник декоративного стиля (1658—1716).

О ТОМ ЖЕ

Стр. 246. *...сэр Рутерфорд Элькок, подвергшийся в храме Тодзэндзи нападению ронинов...*— В период революции Мэйдзи в этом храме, в районе Сиба в Токио, временно помещалось английское посольство. Сэр Рутерфорд Элькок в 1859 году был английским генеральным консулом, и за его энергичный протест против нечестной торговли с иностранцами консульство подверглось нападению, не причинившему, однако, ущерба.

ТАЛАНТ

Стр. 246. *...половину ста ри составляют девяносто девять ри.*— Японская поговорка (основанная на цитате из китайского древнего памятника «Чжань-гоцэ») говорит: «Для проходящего сто ри половина пути — девяносто ри», то есть самое трудное — последний шаг, завершение дела.

ЯПОНЦЫ

Стр. 248. *...будто Сарутахико-но микото употреблял косметику.*— Сарутахико-но микото — один из синтоистских богов, отличавшийся безобразием.

ЯПОНСКИЕ ПИРАТЫ

Стр. 248. *Японские пираты показали...*— Имеются в виду японские пираты XIII—XVI веков, действовавшие по всему Тихоокеанскому побережью Азии от берегов Кореи до берегов Индокитая.

«Остров золота» — так назвал Японию Марко Поло.

ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ

Стр. 250. *Тёгю Такаяма (1871—1902)* — японский литературный критик.

СМЕРТЬ

Стр. 254. *Майнлендер очень правильно описывает...*— Филипп Майнлендер (1841—1876) — немецкий философ.

НЕКИЙ САТАНИСТ

Стр. 255. *Сатанист.*— Под влиянием «Цветов зла» Бодлера в 20-х годах среди некоторых японских буржуазных писателей получили распространение настроения, именовавшиеся сатанизмом. Представителем их считался Танидзаки Дзюнъитиро.

НАРОД

Стр. 257. *...и Ли Тай-бо, и Тикамацу Мондзаэмон погибли.*— Ли Тай-бо (701—762) — крупнейший китайский поэт, Тикамацу Мондзаэмон (1653—1724) — крупнейший японский драматург.

...«Пусть драгоценность разобьется, черепица уцелет» — японская поговорка.

Стр. 257. *Первый день первого года Сёва* — 26 декабря 1925 года.

ИЗ ЗАМЕТОК «ТЁКОДО»

ГЕНЕРАЛ

Стр. 258. *Клановые кредитки* — кредитные билеты, выпускавшиеся в XVII—XVIII веках в кланах и имевшие хождение только в пределах того клана, который их выпустил.

НИЧЕГО НЕ ОТБРАСЫВАТЬ

Стр. 259. *Унсё (1827—1909)* — буддийский монах секты Сингон. После периода гонений на буддизм сделал много для его восстановления и укрепления секты Сингон. Построенный при нем храм получил впоследствии название Унсёдзи.

ИСТОРИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ

Стр. 260. *Идзуми Сикибу (X в.)* — японская писательница.

Такова Изабелла у Мериме. Таков пират у Франса. — Изабелла — героиня драмы «Жакерия» Мериме. Пират — герой рассказа «Бальтазар» Франса.

ФАНАТИКИ, СТУПАЮЩИЕ ПО ОГНЮ

Стр. 260. *«Проект закона о контроле над экстремистскими мыслями»* — правильное название: «Проект закона контроля над экстремистским общественным движением», был выдвинут в феврале 1922 года и принят в целях борьбы с рабочим движением и левой интеллигенцией. У нас в свое время был известен под названием «Закон об опасных мыслях».

ПРИЗНАНИЕ

Стр. 260. *...если бы я, как Исса, написал...* — Исса — псевдоним крупного японского поэта Кобаяси (1763—1827).

«Тюо-корон» — самый крупный общественно-политический и литературный журнал тех лет.

Стр. 261. «Исповедь глупца»... — неточный перевод «Le plaidoyer d'un fou» («Защитительная речь безумца») — произведение шведского писателя Стриндберга, написанное им по-французски.

ЧАПЛИН

Стр. 261. *Утверждают, в особенности утверждали во время великого землетрясения, будто из-за них произошли всякие беды.* — Воспользовавшись паникой в связи с катастрофическим землетрясением 1923 года, власти обрушились тяжелыми репрессиями на деятелей рабочего движения.

КАПИТАН

Стр. 262. *Сэйюкай* — крупная буржуазная партия так называемых конституционалистов (1900—1940). В годы 1912—1927 к власти пять раз приходил кабинет, целиком состоявший из членов этой партии.

КОШКА

Стр. 262. «Гэнкай» — первый фундаментальный японский толковый словарь (пять томов), составленный крупным лингвистом Оцуки Фумихико. (Вышел в 1875—1876 гг.)

БУДУЩАЯ ЖИЗНЬ

Стр. 263. *...но прятать свои произведения на горе...* — У Сыма-цзяня, знаменитого древнекитайского историка, есть рассказ о человеке, который, боясь, что его сочинения исчезнут, положил их в каменный ящик и спрятал на горе.

ДИАЛОГ ВО ТЬМЕ

Стр. 266. *Мадам Штейн* — Шарлотта фон Штейн (1742—1827), возлюбленная Гете.

Мой высший гонорар — десять иен за страницу. — В Японии литературный гонорар исчисляется по страницам стандартного формата с определенным числом знаков — четыреста. Сто японских печатных знаков в переводе на русский дают двести пять-

десять — триста русских, таким образом, гонорар Акутагава в переводе на наше счисление составлял около четырехсот иен за авторский лист. Однако надо помнить, что в 20-е годы иена почти равнялась доллару, тогда как при послевоенной инфляции доллару стали соответствовать не менее, а чаще более трехсот иен.

Все мое состояние...— В предсмертном письме Акутагава точно определил свое имущественное положение: «После моей смерти моя семья принуждена будет существовать на мое наследство. Мое наследство — сто цубо (т. е. 330 кв. м.) земли, мой домик, мое авторское право и сбережения в сумме двух тысяч иен».

...хрестоматия новой литературы.— Акутагава составил пятитомную хрестоматию для внеклассного чтения учеников средней школы, куда вошло около полтораста образцов новой японской литературы. Хрестоматия (Киндай Нихон бунгэй токухон) была издана в 1925 году.

Стр. 268. *...письма Гогена.*— Гоген, знаменитый французский художник (1848—1903) уехал на остров Таити, оставив во Франции свою семью. Акутагава имеет в виду его письма об этой разлуке.

Стр. 269. *...ангел, который на заре мира боролся с Иаковом.*— Имеется в виду эпизод из Ветхого завета, кн. 1, гл. XXII, стих 24—26.

Стр. 272. *...мы утратили дух середины, то, чему учил нас мудрец древнего Китая...*— По-видимому, имеется в виду одна из книг конфуцианского Четверокнижия — «Чжун-юн», где излагается учение о том, что в действиях и отношениях не должно быть ни недостаточности, ни избыточности.

ГОРНАЯ КЕЛЬЯ ГЭНКАКУ

Стр. 274. *...район «культурной деревни»* — так назывались пригородные районы, где были сосредоточены культурные общественные учреждения и загородные дома служащих.

Ардизия — *Ardisia japonica* Bl., вечнозеленый кустарник, русского названия нет.

Стр. 275. *Тофу* — так называемый «соевый творог», широко распространенный продукт из соевых бобов.

Вряд ли это игра слов — гэнкаку.— Гэнкаку в названии дома — собственное имя. Наричательное слово «гэнкаку», пишущееся другими иероглифами, значит «строгий».

Стр. 275. «Горудэн батто» (англ. Golden bat) — марка японских дешевых папирос.

Стр. 278. Ло Лян-фэн (1733—1799) — китайский художник.

Стр. 284. Энгава — открытая галерейка или узкий балкончик, расположенный вдоль двух или трех стен японского дома.

Стр. 285. ...«для охраны конституционного правления». — В 1913 г. партии, оппозиционные правительству, образовали Общество охраны конституции. Приведенные слова — начало декларации Общества.

«Мёон Кандзэон...» и т. д. — слова из последней части сутры «Каннон-кё».

«Каппорэ» — название когда-то популярной юмористической песенки.

Стр. 286. ...с... цветочной картой «вишня 20». — Цветочные карты — карты с изображением сосны, сливы, вишни и глицинии — вид игральных карт. «Вишня 20» — карта, дающая наибольшее число очков.

Глядя на строку Обаку... — Речь идет о картине с иероглифической надписью в стиле каллиграфии Обаку, распространенном в XVII—XVIII веках, Обаку — название храма, где этот стиль возник среди монахов, занимавшихся искусством каллиграфического письма.

Стр. 288. Наложив печать на печь... — Печать на печь, где сжигаются останки покойника, накладывается до сжигания в присутствии родственников. Сжигание, изъятие пепла и захоронение его может быть произведено и без них.

МИРАЖИ

Стр. 293. Поккури — гэта с более толстой, чем обычно, деревянной подошвой, в нижней стороне которой имеются выемки, куда прикрепляются бубенчики. Обычно их надевают детям.

В СТРАНЕ ВОДЯНЫХ

Каппа — мифическое существо, обитает под водой. Вада Сигэзиро и некоторые другие литературоведы считают, что в этом рассказе много автобиографических элементов, в частности, в образе Токка в известной мере показан сам Акутагава (например, его эстетизм в молодости). Как он сам пишет в «Зубчатых колесах» (в конце главки «Красный свет»), «в одном из «сверхъестественных животных» я нарисовал самого себя».

Стр. 299. ...который называют «Мостом Капп» — «Каппабаси». — Такой мост над рекой Адзусагава действительно есть, славится красотой видов.

Стр. 301. «Суйко-коряку» — сочинение 1802 года Кога Доана (1788—1847), где имеются описания и рисунки капп.

Стр. 302. ...около пятидесяти градусов по Фаренгейту — около пятнадцати градусов.

Стр. 315. Кунио Янагида (1875—1962) — крупнейший японский этнограф и языковед.

Стр. 331. Сведенборг Эммануил (1688—1772) — шведский ученый, философ и теолог.

Стр. 332. Француз-художник — имеется в виду Гоген.

Стр. 335. Ты знаешь имя этого поэта? — Имеется в виду великий японский поэт Басё.

ТРИ ОКНА

Стр. 364. Кимура Сигэнари — вассал Тоётоми Хидэёси, в 1615 году погиб в бою. О нем сложены легенды.

Стр. 365. В твоих глазах, смотрящих на меня... — Стихотворение из средневекового сборника «Дзэнрин-кусю». Эти стихи были помещены на обложке первого сборника новелл Акутагава.

Стр. 366. ...палуба все больше коробится. — Некоторые литературоведы полагают, что в этой главе подразумеваются под броненосцем ** сам Акутагава, а под броненосцем *** — приятель Акутагава, писатель Уно Кюдзи, который незадолго до написания этого рассказа заболел психическим расстройством. Как известно, Акутагава сам жил в это время под страхом наследственной психической болезни.

ЗУБЧАТЫЕ КОЛЕСА

Стр. 368. «Ояко-домбури» — название блюда: вареный рис с куриным мясом и яичницей-глазуньей.

Стр. 369. Каруидзава — фешенебельный горный курорт.

Стр. 370. ...«модан»... или как их там. — Господин Т. хочет сказать: «модан гару», английское «modern girl» — «модная девица». Так называли в конце 20-х годов японок, одевавшихся подчеркнуто по-европейски, стриженных, посещавших дансинги и рестораны.

Стр. 370. ...перешел на сочинения китайских классиков.— Имеются в виду так называемые Пятикнижие и Четверокнижие — собрание книг, по традиции считающихся памятниками древнейшей литературы, или же книги известных китайских мудрецов древности, как, например, «Чунь-цю» (летопись княжества Лу), которые приписываются Конфуцию. Согласно конфуцианской традиции, все эти книги излагают морально-политическое учение, восходящее к мифическим императорам-мудрецам Яо и Шуню.

Цилинь и фынхуан — образы мифологических животных, встречающихся в древнейшей китайской поэзии и трактуемые в конфуцианстве как символы.

Стр. 373. ...царя из греческой мифологии, обутого в одну сандалию.— По-видимому, имеется в виду Ликург (тезка знаменитого законодателя), мифический царь эдонян во Фракии, противник культа Диониса. За святотатственные действия против Диониса Зевс покарал его безумием. О том, что Ликург был обут на одну ногу, говорит древнегреческая эпиграмма неизвестного автора: «Этот владыка эдонян, на правую ногу обутый,— дикий фракиец, Ликург...»

Стр. 374. ...души, превращенные в деревья в дантовом аду.— Имеется в виду «Божественная Комедия» Данте, кн. 1, Ад, песнь 13.

Стр. 377. «Горная келья» — так назывался домик Нацумэ. У японских писателей принято, по обычаю старых китайских поэтов, давать своему жилищу название, обычно заимствованное из образов классической поэзии.

Стр. 378. ...книжного магазина «Марудзэн». — Марудзэн — крупный книжный магазин в Токио, в частности, имевший отдел новейшей иностранной книги, помещавшийся на третьем этаже.

...юноша из рассказа Хань Фэй-цзы... — Хань Фэй-цзы — древний китайский философ. Рассказ, который Акутагава вспоминает, впервые встречается у китайского философа и поэта Чжуан-цзы (IV в. до н. э.), глава «Цюшуй».

Стр. 379. ...рассказ об искусстве сдирать кожу с дракона... — Этот рассказ тоже впервые встречается у Чжуан-цзы, глава «Шоу-цян». Сдирание шкуры с дракона — символ бесполезного искусства.

Стр. 380. Суйко — полумифическая японская императрица. Период Суйко — 593—628 годы.

...вспомнил медную статую перед дворцом.— Имеется в виду статуя перед императорским дворцом в Токио, изображающая Кусуноки Масасигэ, одного из феодалов середины XIV века, выставляемого монархической пропагандой как образец беззаветной преданности императору и пламенного патриотизма.

Стр. 381. *«Путь в темную ночь»* («Ангя коро», 1921—1922) — роман крупного писателя Сига Наоя, который дает типичное изображение жизненных разочарований и глубокого пессимизма молодого японского интеллигента.

Стр. 384. *...памятник Сю Сюнсую.*— Сю Сюнсуй (в японском произношении) — китайский ученый XVI века Чжу Шунь-шуй, эмигрировавший в Японию.

Стр. 388. *Я сейчас же вспомнил древнего грека...*— Имеется в виду известный греческий миф о Дедале и Икаре.

Стр. 389. *...неволью вспомнил Ореста, преследуемого духами мщениа.*— Орест, по греческой мифологии, убийца своей матери Клитемнестры и ее второго мужа, за что его преследовали духи мщениа — эринии.

Стр. 391. *...населил мир моего рассказа сверхъестественными животными.*— Речь идет о повести «В стране водяных».

Стр. 392. *«Вхожу в чертог радостных птиц».*— «Радостные птицы» — метафорическое название сорок. Выражение, данное в кавычках, использует эту игру слов.

Стр. 393. *Бато-Кандззон* — один из образов Каннон, буддийской богини милосердия, у которой над головой изображается еще и лошадиная голова. Считается, вопреки обычной своей роли, богиней гнева.

ЖИЗНЬ ИДИОТА

Перед смертью Акутагава оставил это произведение своему другу, писателю Кумэ, с нижеследующим письмом.

«Следует ли публиковать эту рукопись — это уж разумеется, а также когда и где, во всем этом я полагаюсь на тебя.

Ты знаешь большинство лиц, фигурирующих на этих страницах. Но хотя я готов к опубликованию этой вещи, я не хочу, чтобы к ней был приложен указатель.

Я сейчас живу в самом несчастном счастье. Но, как ни странно, не раскаиваюсь. Я только глубоко жалею тех, у кого такой дурной муж, дурной сын, дурной родственник. Итак, прощай! В этой рукописи я не хотел, по крайней мере сознательно, заниматься самооправданием.

Наконец, я поручаю эту рукопись именно тебе, потому что ты, видимо, знаешь меня лучше других (если только снять с меня кожу городского человека). Посмейся над степенью моего идиотизма в этой рукописи.

20 июня 1927 г.»

Стр. 398. *Сумидагава* — река, протекающая в Токио.

...и под картины с изображением Пана.— В 1909 году группа писателей, поэтов и художников Токио образовала Общество Пана; все они принадлежали к новым течениям литературы и искусства. Образ Пана служил символом свободной и полнокровной жизни. Общество просуществовало три года.

Стр. 399. ...голландец с обрезанным ухом.— Имеется в виду художник Ван-Гог. Помешавшись, он обрезал себе кончик уха.

Стр. 400. *Это ему нужно было для новеллы*.— Имеется в виду новелла «Муки ада».

...он читал книгу учителя.— Речь идет о Нацумэ Сосэки.

Стр. 408. «Человек из Хокурику».— Хокурику — северная часть острова Хонсю. «Человек из Хокурику» («Косибито») — цикл из двадцати пяти стихотворений.

Сугэгаса — плетеная шляпа, формой напоминающая зонтик или гриб.

Стр. 411. *Divan* — «Западно-восточный диван» Гете,— собрание стихотворений на мотивы различных образцов восточной поэзии, главным образом персидской и арабской.

«Новая жизнь» («Синсэй», 1918) — роман Симадзаки Тосона, крупнейшего писателя, создателя японского буржуазного реалистического романа. Роман, отражая пору подъема буржуазии, проникнут оптимизмом.

Стр. 413. «Поэзия и правда» — название автобиографического сочинения Гете.

Один из его приятелей сошел с ума.— Речь идет о писателе Уно Кодзи.

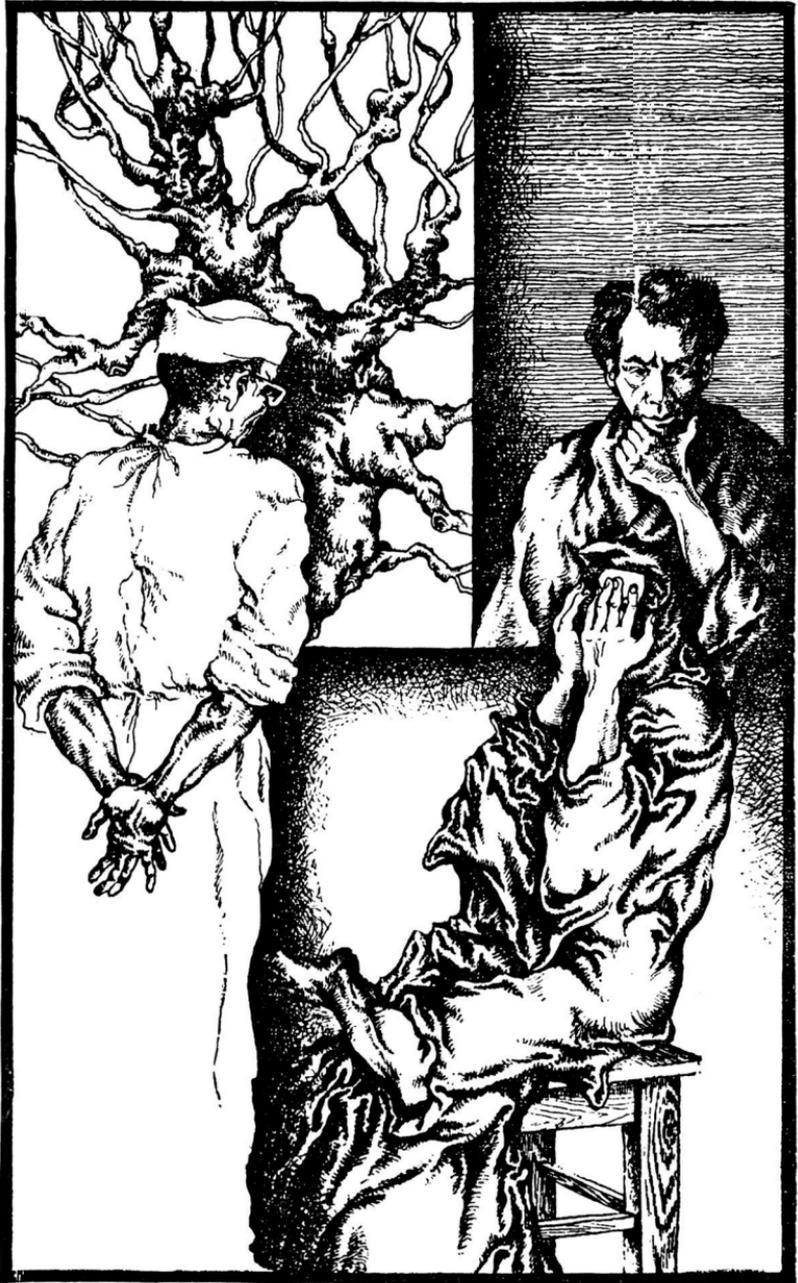
Радиэз Раймон (1903—1923) — французский писатель.

Стр. 414. *Кокто Жан* (1892—1963) — французский писатель, вначале последователь символистов; затем кубист, позднее — сюрреалист. Уход в мистику постепенно привел его к католицизму.

СОДЕРЖАНИЕ

Усмешка богов. <i>Перевод Н. Фельдман</i>	5
Вагонетка. <i>Перевод Н. Фельдман</i>	15
Повесть об отплате за добро. <i>Перевод Н. Фельдман</i>	21
Святой. <i>Перевод Л. Лобачева</i>	37
Сад. <i>Перевод Н. Фельдман</i>	42
Барышня Рокуномия. <i>Перевод Н. Фельдман</i>	50
Чистота о-Томи. <i>Перевод Н. Фельдман</i>	59
О-Гин. <i>Перевод Н. Фельдман</i>	69
Три сокровища. <i>Перевод В. Гривнина</i>	76
Из записок Ясукиги. <i>Перевод В. Гривнина</i>	86
Болезнь ребенка. <i>Перевод Б. Раскина</i>	98
Поклон. <i>Перевод А. Рябкина</i>	106
А-ба-ба-ба-ба. <i>Перевод Н. Фельдман</i>	111
Удивительный остров. <i>Перевод И. Вардуля</i>	119
Преступление Санэмона. <i>Перевод И. Львовой</i>	127
Показания девицы Ито о кончине благородной госпожи Сюрин, супруги князя Хосокава, вла- стителя Эттю, посмертно нареченной Сюрин Ин- дэн Каоку Согёку Дайси. <i>Перевод И. Львовой</i>	137
Ком земли. <i>Перевод Н. Фельдман</i>	147
Сражение обезьяны с крабом. <i>Перевод Л. Ер- маковой</i>	158
Любовный роман. <i>Перевод В. Гривнина</i>	162

Холод. Перевод Н. Фельдман	169
Обрывок письма. Перевод Н. Фельдман	175
Ранняя весна. Перевод Л. Ермаковой	180
Лошадиные ноги. Перевод Н. Фельдман	184
У моря. Перевод В. Гривнина	198
Хунаньский веер. Перевод Л. Лобачева	206
День в конце года. Перевод В. Гривнина	219
Поминальник. Перевод Н. Фельдман	223
Некий социалист. Перевод Н. Фельдман	229
Из «Слов пигмея». Перевод Н. Фельдман	232
Из заметок «Тёкодо». Перевод Н. Фельдман	258
Диалог во тьме. Перевод Н. Фельдман	265
Горная келья Гэнкаку. Перевод Н. Фельдман	274
Миражи, или У моря. Перевод Л. Лобачева	289
В стране водяных. Перевод А. Стругацкого	296
Сон. Перевод В. Гривнина	343
Зима. Перевод Л. Лобачева	350
Три окна. Перевод В. Гривнина	358
Зубчатые колеса. Перевод Н. Фельдман	367
Жизнь идиота. Перевод Н. Фельдман	396
Комментарии	417





АКУТАГАВА РЮНОСКЭ
ИЗБРАННОЕ
Том II

Редактор С. Хохлова
Художественный редактор
Ю. Боярский
Технический редактор
Л. Платонова
Корректоры Р. Андрианова и Г. Сурис

Сдано в набор 23/IV 1970 г.
Подписано к печати 30/X 1970 г.
Бумага № 1. Форм. 84×108¹/₃₂—14 печ. л.
23,52 усл. печ. л. 21,43 уч.-изд. л.
Заказ № 2991. Тираж 50 000.
Цена 87 коп.

Издательство «Художественная литература»
Москва, В-66, Ново-Басманная, 19

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий»
Москва, Краснопролетарская, 16